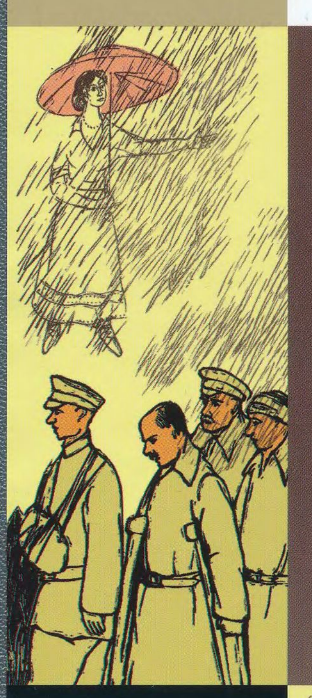
Виктория Миленко

Саша Черный

ЖЗЛ

Саша Черный





Виктория Миленко



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1706

(1506)

Виктория Миленко

САША ЧЕРНЫЙ

ПЕЧАЛЬНЫЙ РЫЦАРЬ СМЕХА

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2014

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
М 60

В оформлении переплета использованы иллюстрации к стихам Саши Черного заслуженного художника Российской Федерации А. Г. Стройло и фрагменты рисунков из журнала «Сатирикон».

знак информационной продукции **16+**

ISBN 978-5-235-03729-8

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Саша Черный интересен уже тем, что он — легенда. «Легенда в легенде», ведь в историю русской литературы он вошел знаменитым сатириконцем, одним из трех, наряду с Аркадием Аверченко и Тэффи. Журнал «Сатирикон» стал легендой, когда все его бывшие сотрудники были еще живы. И те из них, кто после революции остался в России, и те, кто эмигрировал, не без гордости считали себя сатириконцами. Их было много, но ветреная судьба распорядилась так, что в памяти столетия остались лучшие, и среди них герой этой книги.

Саша Черный не хотел, чтобы его имя ассоциировалось только с «Сатириконом», менял псевдоним – настоящее его имя Александр Михайлович Гликберг, – а также пробовал себя в лирике и прозе, но не смог предугадать, как его слово отзовется. Сатириконцем он остался навсегда, чем привлекает и сегодня. Не менее интересен он и детскими книгами, которые пережили и его самого, и XX век: «Дневник фокса Микки», «Библейские сказки», «Детский остров», «Кошачья санатория». Современное полиграфическое оформление этих милых, добрых историй даже присниться не могло их автору.

У Саши Черного нет могилы. По законам городка Борм-ле-Мимоза в Провансе, где оборвалась его жизнь, захоронения, которые длительное время никто не оплачивает, передаются в аренду другим лицам. Такой мрачной шутки даже сам Саша Черный не смог бы придумать, хотя и просил когда-то Создателя дать ему после смерти «исчезнуть в черной мгле». Создатель позволил.

Туда же, во мглу, канул и архив русского поэта, оказавшегося в эмиграции. Будто предвидя это, он в самом начале творческого пути предупредил своих будущих биографов, что надеяться им не на что:

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив,

От портного до поэта —
Всем понятен мой призыв...

А потомки... Пусть потомки,
Исполняя жребий свой
И кляня свои потемки,
Лупят в стенку головой!
(«Потомки», 1908)

Разумеется, это своего рода художественный манифест. В жизни его автор далеко не всегда был таким пессимистом и циником, каким хотел казаться. О посмертной судьбе он думал, а его жена Мария Ивановна Васильева, верный друг и литературный секретарь, понимала, что архив надо сберечь. Однако события мало этому способствовали. Первая мировая война и мобилизация, Февральская и Октябрьская революции, бегство из захваченного немцами Пскова, «сидение» в переходящем из рук в руки Вильно, наконец, эмиграция и перескакивание с места на место: Берлин, Рим, Париж, Прованс — не до архивов. Мария Ивановна, прожившая 90 лет, сохранила для нас, тех самых потомков, лишь несколько десятков фотографий мужа и рукопись воспоминаний о нем. И теперь, воссоздавая по крупицам биографию поэта, опутанную вымыслами и слухами, то и дело приходится «лупить в стенку головой».

У Саши Черного нет архива, но он был одним из тех художников, чья жизнь едва ли не полностью преломлена в творчестве. Так, на словах мало заботясь «о потомках», поэт в стихах и рассказах почти документально фиксировал события своей бурной жизни, сохраняя географические названия, порой имена и, возможно, втайне надеясь, что когда-нибудь кто-нибудь пойдет по этим следам. И желающие нашлись. В 1960 году биографию Саши Черного впервые открыла для нас Лидия Алексеевна Спиридонова-Евстигнеева, написав обширное предисловие «Литературный путь Саши Черного» к тóму его стихов, вышедшему в Большой серии «Библиотеки поэта». В 1996 году труд исследовательницы дополнил Анатолий Сергеевич Иванов, составитель и комментатор первого пятитомного собрания сочинений поэта. Без этих работ и консультации Лидии Алексеевны наша книга не смогла бы осуществиться.

Не получилась бы она и без помощи Михаила Борисовича Кизилова (Симферополь); Евгения Романовича Тимиряева (Житомир) и Александра Борисовича Ласкина (Пушкин), прояснивших многие моменты житомирской юности Саши Черного; Юлии Борисовны Сычевой (Москва), соавтора сайта «Отдав искусству жизнь без сдачи...» и специалиста в области наследия Корнея Ивановича Чуковского; Анны Евгень-

евны Хлебиной (Прага), разыскавшей редкие материалы в фондах Славянской библиотеки — Национальной библиотеки Праги; Рафаэля Дюпьи (Лаванду), знатока истории «русского Ла Фавьера»; Дмитрия Сечина (Москва), Алены Кияшко (Севастополь). Бесценной была поддержка Любови Викторовны Миленко и Ирины Чистяковой.

Владимир Набоков писал в некрологе, что после Саши Черного остались «несколько книг и тихая прелестная тень». Книги эти переиздаются до сих пор, а о жизни человека, отражением которого была «тихая прелестная тень», нам очень хочется рассказать.

Слишком долго он этого ждет.

Глава первая

СЫН ПРОВИЗОРА ИЗ ОДЕССЫ

1

«Все хотели бы родиться в Одессе, но не всем это удалось»,— любил шутить Леонид Утесов, превознося свой родной город. Александру Михайловичу Гликбергу, Саше Черному, «это удалось». Страсть к морю и морякам, незамысловатому провинциальному быту, югу и солнцу он сохранит до конца своей бурной жизни, которая и завершится на берегу моря. Правда, чужого, Средиземного, за тысячи миль от Одессы.

Поэт немного написал о своей малой родине, гораздо меньше, чем о Петербурге, который так и не смог полюбить, или о древнем Пскове, который, напротив, полюбил страстно. Пара стихотворений и единственный детский рассказ «Голубиные башмаки» (1933)* — вот и весь «одесский текст» в творчестве Саши Черного. Объяснение этому совершенно простое: он почти не помнил Одессу. Судя по всему, Саша жил в этом городе лет до восьми-девяти. Это возраст, от которого остаются в памяти лишь отдельные всполохи: запахи, звуки, цветовые пятна, ассоциации вроде тех, что нахлынули на него внезапно в эмиграции, в Париже, когда он вдыхал запах акации:

И вот в душе распахнулась завеса:
Над морем город встал облаком тонким,
И вдруг я вспомнил, Одесса, Одесса,
Как эту акацию ел я ребенком.
(«Семь чудес», 1931)

Или привкус воспоминаний: политая топленым маслом бессарабская кукуруза, фаршированные кабачки, «желтый перец в маринаде», икра из баклажанов (стихотворение «Кукуруза», 1931), а заодно запахи арбузной корки, корицы, гари от дыма пароходов.

И еще неизменные городские приметы:

* Здесь и далее указывается дата публикации произведения. До февраля 1918 года все даты приводятся по старому стилю.

Вперед по лестнице гигантской!
....
Дополз до памятника «Дюку»
День добрый, герцог Ришелье!
....
Сквозь Николаевский бульвар
Плывет змея беспечных пар.
(«В старой Одессе», 1923)

В ту пору, когда были написаны эти строки, Николаевский бульвар уже носил имя большевика Александра Фельдмана, а «гигантская лестница» называлась лестницей бульвара Фельдмана, но такую Одессу Саша Черный знать не хотел. Он сохранил в памяти со всей детской непосредственностью другой ее образ. «В ребре средь памятника бомба»*. Спрашивается, почему? «Рядом с Дюком» мороженое продавали... И еще: сколько внизу «гигантов-пароходов», нужно выбрать себе «свой» пароход.

Трогательный детский поэт и писатель, Саша Черный нет-нет да и вспоминал о собственном детстве, хотя эту тему веселой не назовешь. Его жена Мария Ивановна рассказывала, что ребенком Саша не знал ласки, подарков и игрушек, но слишком хорошо знал, что такое розги и затрещины. Он неохотно признавался, что мать его была истеричная, больная женщина (вполне вероятно, что неврастению поэт унаследовал от нее), а отца он видел редко, потому что тот работал коммивояжером и пребывал в постоянных разъездах. Дома отец появлялся едва ли не для того, чтобы нещадно драть своих отпрысков (*Александрова В.* Памяти Саши Черного // Новое русское слово. 1950. 1 октября). Что-то произошло тогда, в далеких 1880-х годах, в одесской семье провизора Менделя Гликберга, уготовившей Саше судьбу ребенка, которого «...взрослые люди дразнили и злили, / А жизнь за чьи-то чужие грехи / Лишила третьего блюда» («Под сурдинку», 1909).

Поэт всегда негодовал, когда видел большие семьи, где дети предоставлены самим себе. Он считал, что «нет страшнее ничего» и свою горечь изливал в стихах, порой доходя до цинизма. Например, в стихотворении о прескучнейшей обывательской чете Ба́нковых:

Проползло четыре года.
Три у Ба́нковых урода
Родилось за это время

* Во время Крымской войны 1853—1856 годов англо-французская эскадра произвела бомбардировку Одессы. Одно из ядер повредило постамент памятника, и после войны на этом месте была установлена чугунная заплатка со стилизованным пушечным ядром.

Неизвестно для чего.
Недоношенный четвертый
Стал добычею аборта,
Так как муж прибавки новой
К Рождеству не получил.
(«Страшная история», 1911)

Подобными пассажами, режущими слух своей грубостью, Саша Черный славился.

Сложилась одесская семья Гликбергов за три года до рождения Саши.

Восьмого июля 1877 года в городовом раввинате был зарегистрирован брак между «провизором Менделем Гликбергом и дочерью Александр. купца Меера Гликберга, девицею Марьям. Невесте было 20 лет, а жениху 25» (*Бельский М. Р.* По следам потаенной биографии Саши Черного // Мория. 2004. № 2).

Странно: брачующиеся — однофамильцы или родственники? Одесский краевед Мирон Бельский был немало поражен, обнаружив процитированную запись, и утверждал, что они могли быть только однофамильцами, так как Тора запрещает брак между родственниками. Мы обратились за консультацией к Михаилу Борисовичу Кизилову, иудаисту, доктору философских наук. Он уточнил, что евреи-раввинисты в описываемое время уже руководствовались не столько Торой, сколько Талмудом и работами позднейших раввинистических законоучителей, по которым разрешались браки между родственниками (двоюродными братьями и сестрами или, к примеру, тетей и племянником). Так что родители Саши вполне могли быть родственниками.

Вызывает вопрос указание в регистрационной записи о том, что отец Марьям был «Александр. купец». Название какого города в далеком 1877 году сократил неведомый нам служка раввината? Александровска (ныне Запорожье)? Александрии (ныне райцентр в Кировоградской области)?

Судя по возрасту брачующегося Менделя и уточнению «провизор», отец Саши уже получил диплом о базовом высшем образовании, в противном случае «Александр. купец» вряд ли отдал бы за него свою дочь. Вспомним шуточное стихотворение Саши Черного «Любовь не картошка» (1910), где Арон Фарфурник не допускает к своей дочери ухажера-студента, приговаривая: «Кончайте ваш курс, положите диплом на столе/ и венчайтесь. <...> Но раньше диплома, пусть гром вас убьет, / не встречайтесь». Провизор в то время — это промежуточная ступень между аптекарским помощником и магистром фармацеи. Отец будущего поэта, прежде чем получить эту степень, должен был проработать три года аптекарским помощником,

потом прослушать полный вузовский курс и экзаменоваться по минералогии, ботанике, зоологии, физике, химии, фармакологии, а также продемонстрировать практические навыки, в частности приготовление снадобий. Биографы Черного сетуют на то, что не обнаружили имени Менделя Гликберга в списках студентов одесского Новороссийского университета, однако почему он должен был учиться именно там?

В семье Гликбергов было пятеро детей. Через два года после свадьбы, 26 июня 1879 года, Марьям родила первенца, дочь Лидию, а год спустя, 1 октября 1880 года, появился на свет сын, названный Александром. Именно ему будет суждено прославиться и вписать свое имя в историю литературы Серебряного века. Удивительным был 1880 год! Он подарил России не только Сашу Черного, но и Аркадия Аверченко, Александра Грина, Александра Блока, Андрея Белого.

Через три года, 28 апреля, у Саши появился брат Владимир, которого, целую жизнь спустя, он вспомнит в «Голубиных башмаках»: «Младший брат мой, Володя... был необычайно серьезный мальчик. По целым дням он все что-то такое мастерил, изобретал, придумывал». Четвертый ребенок, дочь Ольга родилась 10 октября 1886 года. Она прожила семь лет и скончалась в 1893 году, когда в семье родился последний, пятый ребенок — сын Георгий (31 декабря).

Перечислим еще раз имена детей: Лидия, Александр, Владимир, Ольга, Георгий. Все имена христианские. Сашу и вовсе назвали по святцам: 1 октября — день поминовения мученика Александра Каталитского (Калитского). Совершенно очевидно, что семья Гликберг была ассимилированной, и Мендель с Марьям заботились о том, чтобы их дети в будущем успешно существовали в русском христианском окружении. Это было веяние времени: в начале 1880-х годов Одесса вступала в пору экономического расцвета, глобальных реформ, направленных на преодоление этнической замкнутости различных групп населения, расширение и взаимопроникновение культурных традиций. Так совпало, что в этот период городом руководил Григорий Григорьевич Маразли, меценат, подвижник, инициатор благоустройства Одессы и придания ей европейских черт. Именно Григорию Маразли «в середине 1880-х годов», как пишет одесский краевед Ростислав Александров, Мендель Гликберг подал прошение о разрешении открыть собственное дело (*Александров Р.* Саша Черный родился в доме у самого Александровского участка // Одесский альманах. 2011. № 45). Неизвестно, чем увенчалось это начинание. Для нас гораздо важнее то, что в документе указан адрес, по которому проживала семья: Ришельевская улица, дом Семашко, квартира 18. Тем

самым появляется возможность совершить путешествие не только во времени, но и в пространстве.

Мы в историческом центре Одессы, на Ришельевской улице, берущей начало у Оперного театра и заканчивающейся возле рынка под названием Привоз. Дом Семашко (сегодня дом 74) стоит в конце улицы, в окружении одесских достопримечательностей. Маленький Саша, выбегая из подворотни, видел перед собой Афонское Пантелеймоновское подворье, а проще говоря — сборный пункт паломников на Афон. Загадочные обносившиеся люди добирались сюда пешком из разных уголков России и жили месяцами, ожидая отправки морем дальше. Малыш ловил обрывки фраз: странники говорили о Константинополе, о далеком Иерусалиме. Мелькали названия судов Российского общества пароходства и торговли, возивших туда паломников: «Владимир», «Константин», «Паллада», «Таврида», «Цесаревич».

В минуте ходьбы — Александровский полицейский участок с пожарной каланчой. Что может быть интереснее для мальчишки, чем зрелище пожарных, несущихся по вызову? Стоит каланча на улице Новорыбной, пахнущей соответственно. Рыбу здесь продают свежую, вареную, жареную, вяленую, соленую, фаршированную, рубленую специально на форшмак. Вся улица — сплошь магазины, лавки, склады, посреднические конторы. Налево вниз — недавно построенный железнодорожный вокзал, направо — Привоз. Тут разговоры о ценах, накладных, куртажных расписках, ругань биндюжников.

Биндюжники, ломовые извозчики, для Саши находка. Улучишь момент, когда дюжий молодец отвлекся, подлетишь пулей к его кобыле, вырвешь из хвоста пук волос — и бежать! Не дай Бог заметит — сам без волос останешься. Дома смастеришь из волос леску, на ней петли, вправо и влево поочередно, вот и готов силок для ловли голубей. Прикрепишь к колышку, положишь на крыше, зерном засыплешь и ждешь... «Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зерна, пока ножку в петле не завязит» («Голубиные башмаки»). Именно на страсти к голубям погорел герой рассказа Саши Черного «Голубиные башмаки» Володя, младший брат рассказчика. Кто-то сказал мальчику, что больше всего птиц в порту, потому что они слетаются клевать лошадиный корм, пока биндюжники «грузятся». Там-то в порту, у угольной пристани, Володьку и обманул какой-то босяк: приглянулись ему Володькины желтые ботинки. Сказал, что голуби лучше всего на желтый цвет идут, велел снять башмаки и спрятаться, пока он будет голубей приманивать. Надул, конечно, сбежал с башмаками. Бедный мальчишка босиком и в слезах мчался из порта «домой на Греческую улицу».

Ловим автора на слове: улица Греческая. Именно здесь, у бабушки с дедушкой, живут по рассказу Володя и его брат, то есть сам Саша. Почему же не на Ришельевской? Разумеется, рассматривать «Голубиные башмаки» в качестве документа нельзя, однако биографу поэта Анатолию Иванову удалось найти сведения, совпадающие с этим указанием. В «Одесском альманахе» за 1894 год он обнаружил рекламу «Греческая, 31. Железная скобяная торговля. Я. Гликберг» и предположил, что этот «Я.» (Яков, Янкель) и был Сашиным дедом по отцу. Мы же, просмотрев адресные справочники Петербурга за 1907—1911 годы, когда отец Саши работал в столице, нашли там провизора Менделя Давидовича Гликберга и поэтому утверждаем, что у отца поэта было другое отчество, однако отмахиваться от привязки к Греческой улице не торопимся. Одесский купец Янкель Меерович Гликберг, владелец скобяной лавки, мог быть родным братом Сашиной матери (отчества одинаковые). В этом случае живущие здесь же бабушка с дедушкой, упомянутые в «Голубиных башмаках», вполне возможны, как и временно живущие с ними внуки. Более того, у Янкеля Мееровича, как установил Мирон Бельский, был сын Александр — вероятный персонаж одного из биографических мифов Саши Черного. Позже на вопрос о том, как возник его псевдоним, поэт отшучивался: «Нас было двое в семье с именем Александр. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей “литературы” что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем» (*Измайлов А.* Нестареющая легенда (Поэма А. Черного «Ной») // Русское слово. 1914. 30 мая, 12 июня). Оставляя в стороне такое примитивное объяснение, скажем лишь, что «белый» брат Саша вполне мог быть, но не родной, а двоюродный.

Дом 31 на Греческой улице сохранился в перестроенном виде. Его прошлую жизнь можно восстановить по рассказу: столовая, спальня, детская, прихожая, кухня. В комнатах стены оклеены обоями — признак определенного достатка. Атмосфера кухни складывается из отдельных колоритных деталей: здесь лепили вареники с вишнями и делали квас, в углах прятались мышеловки, и повсюду была разложена клейкая бумага для ловли мух. Упоминаются также «наш дворик» и большой чердак, который мальчики мечтают заселить голубями. Рассказчик, за которым, по замыслу, скрывается сам Саша, не хочет выходить из дома, потому что «в первый раз сказки Андерсена» читает. Значит, дома были книги. Мария Ивановна, вдова Саши Черного, тем не менее утверждала, что семья была «зажиточная, но малокультурная». Возможно, с точки зрения Марии Ивановны, дамы весьма образованной, это было

и так, но для местечковой еврейской семьи наличие хороших детских книг — показатель. Версия о «малокультурности» уязвима и в связи с другим моментом, о котором —ниже.

Бабушка Саши, судя по рассказу, занималась домашним хозяйством, за провинности щелкала внуков медным наперстком по голове и обзывала «шмаровозами», а дед имел собственную контору за эстакадой и угольный склад в порту. Одно упоминание этой эстакады ставит Сашу Черного в ряд маститых литераторов: ее вспоминали Исаак Бабель, Александр Грин, Юрий Олеша, Валентин Катаев. Это было необыкновенное сооружение: железнодорожный путепровод длиной в четыре километра был поднят на шесть метров над уровнем причалов, и вагоны, перегоняемые по нему, ссыпали грузы сверху прямо в трюмы пароходов. Леониду Утесову запомнилось, что здесь «творились развеселые дела — во всю ее <эстакады>длину в маленьких домиках ютились харчевни, которые назывались “обжоркой”. Здесь одесская портовая босячня жила» (*Утесов Л.* Спасибо, сердце! М.: Вагриус, 1999). Кто-то из этой «босячни» и обманул Сашиного брата Володю, а может быть, и самого Сашу Гликберга, кто знает.

Если принимать на веру автобиографичность «Голубиных башмаков», то Саше в то время должно было исполниться девять лет, раз он пишет, что Володе было шесть. Саша подошел к первому в своей жизни важному рубежу: ему пора было поступать в приготовительный класс гимназии. Для того чтобы гордо красоваться в фуражке с гербом и с ранцем на спине, недостаточно было желания, знаний и папиных или дедушкиных денег. Он из еврейской семьи, поэтому поступить будет непросто.

Детство Саши Гликберга пришлось на первые годы царствования Александра III, сопровождавшиеся пересмотром реформ его отца Александра II, убитого народовольцами. Коснулся этот пересмотр и сферы образования, куда доступ евреев вновь стал строго регламентированным. В 1887 году, когда Саше было еще семь лет, Министерство просвещения определило следующую норму численности евреев в средних и высших учебных заведениях: не более десяти процентов от общего контингента учащихся в черте оседлости, пяти процентов — вне ее и трех процентов — в Петербурге и Москве. Некоторые учебные заведения, в частности лицеи и военные школы, были вообще закрыты для евреев, в другие требовалось получить высочайший проходной балл.

Теперь вернемся к вопросу о «малокультурности» Менделя Гликберга, что вызывает сомнение. Каким бы деспотом он ни был, он задумывался об образовании своих детей. Сашу, в

частности, он не отправил учиться ремеслам и не отдал в еврейское училище, а крестил, дабы тот мог избежать унижения «процентной нормой». Случилось это в 1890 году.

Семья Гликберг, судя по всему, не была религиозной, поэтому вряд ли крещение (то есть принятие другой веры) стало для маленького Саши стрессом. По крайней мере, подобных нот в его произведениях мы не нашли. А вот упоительное счастье от того, что он стал гимназистом-«приготовишкой» — нашли. Это веселое для него время было связано уже не с Одессой, а с городком Белая Церковь на Киевщине. Именно там началась многолетняя дружба нашего героя с глубокой провинцией, мирок и анекдоты которой он полюбит всей душой.

2

«Был я тогда “приготовишкой”, маленьким стриженым человеком, — вспоминал поэт в рассказе «Самое страшное» (1928). — До сих пор карточка в столе цела: глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится... Учился в белоцерковской гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит:

Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...»

Воспетая некогда Пушкиным, Белая Церковь гордилась своим возрастом: ее предшественник, городок Юрьев, был основан Ярославом Мудрым еще в XI веке. За прошедшие с тех пор восемь столетий хозяева здесь то и дело менялись: литовцы, Речь Посполитая, русские. В 1774 году польский король подарил городок графу Франциску Ксаверию Браницкому, который впоследствии женился на Александре Васильевне Энгельгардт, племяннице светлейшего князя Потемкина. Зиму Браницкие проводили в Петербурге, а летом чаще всего жили в Белой Церкви. Стараниями Александры Васильевны здесь был заложен восхитительный парк «Александрия», а ее сын Владислав оказался причастен к появлению в городе гимназии, где учился Саша Гликберг. Она считалась в то время крупнейшей в Малороссии и появилась в Белой Церкви так.

В начале 1840-х годов Министерство образования решало вопрос о переводе куда-нибудь гимназии из Винницы, потому что ее здание пришло в полную негодность. Граф Браницкий предложил свое содействие в постройке специального помещения на Соборной площади Белой Церкви, и в 1847 году в заштатном городке родилось учебное заведение с солидной

базой. Сначала это было реальное училище, но к 1890 году его реорганизовали в гимназию с мужским и женским отделениями.

Вполне вероятно, что Саша Гликберг был в первом наборе. Поступление в гимназию стало для него таким значительным событием, что едва ли не с этого момента он начал отсчет своей жизни, а герой-«приготовишка» впоследствии пройдет через многие его рассказы и стихотворения. В 1924 году, в Риме, будучи уже убеленным сединой мужчиной, поэт надпишет одному мальчику свою книжку так: «Юрке милому мальчишке от Саши Черного приготовишки»*. Ну, можно ли нам обойти молчанием этого трогательного «приготовишку»? Этого маленького черноглазого школяра, у которого пока еще «нос... едва доставал до ручки двери» («Факирский подарок», 1924).

Вот он выскакивает на белоцерковскую Соборную площадь, где стоит гимназия, и летит не по тротуару, как все люди, а какими-то зигзагами, словно норвежский конькобежец. Полы светло-мышиной шинели, подбитые стеганой ватой, отворачиваются на ходу, как свиные уши. Шапка темно-синяя с белыми кантами заломлена по бокам пирожком, а герб в подражание старшеклассникам согнут в трубочку. На ногах «броненосцы» — огромные резиновые ботинки. Все встречные собаки лают на них. За спиной ранец из волосатой и пегой коровьей шкуры. В нем пенал, горсть грецких орехов, литой черный мяч, два учебника — арифметика и Закон Божий.

А что в карманах?

А в карманах — целый склад:
Мох, пирог с грибами,
Перья, ножик, мармелад,
Баночка с клопами.
(«Приготовишка», 1919)

Литературный двойник автора, «приготовишка» из рассказа «Самое страшное», сидит в классе «сычом», жует уныло резинку. Никак не дается ему арифметика, не может ответить на вопрос, какая разница между множимым и множителем, но зазубрил, сколько будет трижды восемь. Гораздо лучше он успевает по гуманитарным предметам и уж, во всяком случае, знает, где находится гора Казбек. Однако с Законом Божиим — беда! Сколько раз, прислонившись к спасительной стене, «приготовишка» Гликберг наблюдал на гимназических молебнах такую картину:

---

* *Праве В.* Воспоминания о Саше Черном // http://www.dordopolo.ru/product67.html

Инспектор в центре, левый глаз устал —
Косится правым, некогда молиться!
Заметить надо тех, кто слишком вял,
И тех, кто не успел еще явиться.

На цыпочках к нему спешит с мольбой
Взволнованный малыш-приготовишка
(ужели Смайлс* не властен над тобой?!):
«Позвольте выйти!» Бедная мартышка...

Лишь за порог — все громче и скорей
До коридора добежал вприпрыжку.
И злится надзиратель у дверей,
Его фамилию записывая в книжку.
(«Из гимназических воспоминаний», 1910)

Описанная сцена происходила в гимназическом православном храме святых апостолов Архипа и Филимона, размещавшемся на третьем этаже главного корпуса. Надзиратель в стихотворении — возможно, некий «Созонт Яковлевич», награжденный в рассказе «Самое страшное» убийственным сравнением: длиннющий, «вроде складной лестницы». Созонт вырастал над головами мальчишек, проявляя особую бдительность во время большой перемены, которую наш «приготовишка» ждет с нетерпением. Выйдем за ним во двор: «Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек — сад. А между ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали». Около этой стены, разделяющей два мира и два образа жизни, и построен сюжет рассказа. Главный герой, «приготовишка» Саша, играет со старшеклассниками в мяч, и вдруг тот перелетает через стену, к девчонкам, то есть к врагам, с которыми мужчине общаться не пристало. Что делать? Отважный малыш вызывается достать мяч и при помощи старших товарищей скатывается по другую сторону стены. Что тут началось! Презренные девчонки кольцом его окружили: «Тысяча губ раскрываются, перешептываются: шу-шу, шу-шу... Язычки, как жала, высовываются. <...> А я посередине — один, как мученик на костре. Стянули они круг теснее. Еще теснее... Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам — помучить... Господи, до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочут, как русалки?»

Вовремя подоспевшая классная дама девочек пристыдила, старшеклассникам попеняла, что малыша заставили через

* *Сэмюэл Смайлс* (1812—1904) — шотландский писатель, автор книг нравственно-философского характера. Наибольшей популярностью в дореволюционной России пользовалась его работа «Самодеятельность» (1859).

забор лазить. Было это под Рождество, и девочки пригласили опозорившегося гимназистика на елку. Однако, как ни уговаривала его няня, он не пошел:

«...Поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила.

И сказала таинственно:

— Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки.

А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул» («Самое страшное»).

Если счесть рассказ автобиографическим, то и няня у Саши Гликберга была, и старшая сестра Лида училась в той же белоцерковской гимназии. В остальном же — одни вопросы. Почему мальчик оказался в Белой Церкви? Сколько он там прожил? С кем? В маленькой зарисовке «Факирский подарок» поэт вспоминал, что был в Белой Церкви «как-то осенью с дядей в цирке». Дядя так и остался для нас загадкой, о цирке же необходимо сказать несколько слов.

Приехавшее в городок шапито и выступавший там факир Рачки-Чекалды (конечно, его могли звать как угодно иначе) поразили воображение маленького Саши. Малопонятные бормотания «волшебника» отложились где-то в глубинах памяти и ждали своего часа. На них наслаивались впечатления, на которые белоцерковская жизнь была щедра. Недалеко от гимназии шумел Еврейский город, выросший вокруг Торговой площади. Нечто подобное Саша видел и на одесском Привозе, однако арго и фольклор здесь были несколько иными, заметнее украинское влияние, сильнее малороссийский дух и по-гоголевски многолюдны Николаевская и Преображенская ярмарки. Репертуар балаганов — представления Петрушки, скороговорки и прибаутки карусельных дедов — Саша изучил досконально и впоследствии фольклорные стилизации удавались ему блестяще. Что же касается местного остроумия (в котором была изрядная примесь хасидского смеха), то эта самая белоцерковская Торговая площадь сформировала стиль Шолома Алейхема, знаменитого еврейского писателя и драматурга рубежа XIX—XX веков. В годы Сашиного детства здесь все помнили Шолома еще Соломоном Рабиновичем, прожившим несколько лет на Клубной улице и собиравшим у себя «Литературные субботы».

И искрометная Одесса, где началась Сашина жизнь, и Белая Церковь, где она продолжилась, для появления его особого мироощущения сделали немало. Однако для формирования подлинного чувства юмора, как известно, нужна трагедия. И она случилась.

Что именно произошло, понять трудно. Каждый име-

ет право на тайну, и Александр Михайлович Гликберг скрывал свою юношескую драму; даже жене рассказывал о ней путано. Мария Ивановна сообщила лишь о том, что в 15 лет у Саши начались ссоры с родителями и он сбежал из дома, последовав примеру старшего брата. Непонятно, откуда, из какого города сбежал, о каком брате идет речь, если Саша был старшим в семье? Дальше больше: какая-то его тетя помогла ему добраться в Петербург, где он продолжил учиться в гимназии.

Мы просмотрели справочник «Весь Петербург» начиная с 1895 года, когда Саше Гликбергу исполнилось 15 лет, и до 1898 года, когда он точно переехал в Житомир, в поисках человека, к которому мог бы сбежать мальчишка, ведь ехать в столицу, не имея там знакомых, слишком смело. И нашли: в 1895—1897 годах в Кузнечном переулке, 5/2 был зарегистрирован купец Алексей Николаевич Гликберг, который вполне мог быть Сашиным родственником.

Дальнейшие события, исходя из фактов, о которых речь ниже, беремся воссоздать так: отец беглеца, Мендель Давидович, смирился с тем, что тот живет в другом городе, устроил его перевод в петербургскую гимназию, платил за обучение и высылал сыну деньги на карманные расходы и оплату квартиры. Так продолжалось в течение года, а затем разразился скандал, о котором известно из статьи журналиста Александра Яблоновского «Срезался по алгебре», напечатанной в петербургской газете «Сын отечества» 8 сентября 1898 года. Приводим ее полностью:

«Хотя я привык ничему не удивляться, но история, которую я узнал на днях, поразила меня несказанно... В одной из местных гимназий минувшей весной “срезался на алгебре” 16-летний гимназист. Он должен был остаться на второй год в пятом классе, но родители его на это не согласились и... отказались от мальчика совершенно. Двойка по алгебре имела роковые последствия, и, с тех пор как об этом узнали родители, мальчик остался без всяких средств к существованию.

Родители его живут в Одессе и с апреля месяца до нынешнего дня не присылают ему ни копейки на содержание. Всё, что они прислали, это странное письмо, в котором назвали сына за его “проступок” подлецом. Между тем отец юноши в качестве представителя одной крупной фирмы получает, как говорят, огромное жалованье. Оставшись в чужом городе, у квартирной хозяйки, которой перестали платить, несчастный юноша пробовал писать родителям и просить о пощаде, но совершенно напрасно: письма его возвращались нераспечатанными, квартирная же хозяйка получила напоминание, что от-

ныне ей не будут платить за ее пансионера ни гроша и что с пансионером этим она может поступать, как ей угодно. Мальчик рисковал таким образом остаться на панели, но хозяйка сжалилась над ним и не нашла в себе присутствия духа прогнать его. Он остался у нее в надежде получить себе какое-нибудь "место".

Но здесь опять возникло затруднение. Пока шла переписка с родителями, он успел совсем обноситься: ни сапог, ни одежды, ни белья, нечего даже надеть, чтобы идти "искать место". Хозяйка тоже не в состоянии купить: она вдова и имеет несколько человек детей.

Неизвестно, чем бы всё кончилось и до какого отчаяния дошел бы мальчик, если бы судьба не сжалилась над ним. Выручили его из беды, однако, не отец с матерью (у него есть и мать), а совершенно чужие люди. Нашлась какая-то чиновница, которая за свой счет одела мальчика, несмотря на то, что она очень нуждается и служит в одном из учреждений за грошовое жалованье. Мальчик, таким образом, получил возможность не жить в квартире хозяйки "без сапог", а "искать себе место". И он действительно ищет его, робкий и сконфуженный, он ходит из канцелярии в канцелярию, из одного присутственного места в другое и просит работы. На всякий случай напоминаем его отцу (может быть, эти строки попадут ему), что поступок его нарушает и божеские, и человеческие законы. В божеском, впрочем, он едва ли что-либо разумеет, но человеческие исполнять обязан, и потому нелишне будет напомнить ему 172 статью 1 тома, ч. 1.

Вот как читается эта статья:

"Родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание, доброе и честное, по своему состоянию".

Фамилия и служебное положение этого более чем современного отца известно нашей редакции и не печатается здесь лишь из понятного нежелания оскорблять сыновье чувство и без того несчастного юноши».

Значит, Мендель Гликберг, узнав о том, что Сашу оставляют на второй год, проплачивать еще раз 5-й класс не собирался и рассвирепел настолько, что решил жестоко проучить сына. Судя по тому, что Алексей Николаевич Гликберг, предполагаемый родственник Саши, в 1898 году в адресных книгах уже не значится, помочь ему действительно было некому.

Но случилось чудо. Статья «Срезался по алгебре», автор которой предполагал достучаться если не до родного отца мальчика, то хоть до какой-нибудь доброй души, достигла цели мгновенно.

Добрая душа нашлась.

3

Судьбе было угодно, чтобы газету «Сын отечества» со статьей Яблоновского развернул статский советник Константин Константинович Роше, обрусевший представитель достойнейшего французского рода. Узнав о плачевном положении неведомого юноши, Роше взволновался, увидев в этом Божий знак. Год назад Константин Константинович потерял приемного сына, и теперь само провидение давало ему шанс снова ощутить себя отцом.

События разворачивались стремительно: 8 сентября 1898 года в газете вышла статья, а 2 октября Гликберг уже приступил к занятиям в 5-м классе 2-й житомирской гимназии. Что происходило в промежутке, мы попробуем воссоздать, но прежде скажем несколько слов о Житомире, без которого поэта Саши Черного, возможно, и не было бы.

Живописный город на берегах реки Тетерев, центр Волынской губернии, был основан в конце IX столетия и, по одной из легенд, имя свое получил от дружинника князей Аскольда и Дира — Житомира. В описываемое время его населяли 60 тысяч жителей, отличавшихся беспримерным интернационализмом. До конца XVIII века Житомир относился к Речи Посполитой, и с тех пор ни польский язык, ни католицизм никого не удивляли. Город входил в черту оседлости, и процент еврейского населения был очень высок. Подобно Белой Церкви, сильны были и украинские традиции — сказывалась близость к Киеву.

Улица, с которой началось знакомство Саши с Житомиром, называлась Большой Бердичевской, а квартира, в которой его приютил Роше, располагалась в жилом флигеле Мариинской женской гимназии*. Объяснение простое: мачеха Константина Константиновича, Александра Ивановна, работала надзирательницей этой гимназии, преподавала в ней немецкий язык и жила здесь же «на казенной квартире». Вместе с ней жил и Роше, не имевший собственной семьи.

Приходится удивляться, что Саша Черный, в полном смысле слова спасенный Константином Константиновичем, никогда не написал о нем ни строчки, чем изрядно запутал будущих биографов. Если бы не упоминание о Роше в мемуарах вдовы поэта и не упорный поиск житомирских краеведов, имя этого человека могло бы никогда не прозвучать. Зато Александру Ивановну Роше много лет спустя Черный увековечил в обра-

---

* Общие ведомости житомирской 2-й мужской гимназии на 1898–1899 учебный год // Государственный архив Житомирской области. Ф. 73. Оп. 1 доб. С. 2. Л. 98 об., 99. Информация предоставлена Е. Р. Тимиряевым. Современный адрес здания: площадь Королева, 10.

зе безымянной «начальницы Н-ской мариинской гимназии» в рассказе «Физика Краевича» (1928). Автобиографический герой Васенька очень любит эту женщину и называет «бабушкой». Как не похожа эта бабушка на одесскую фурию из «Голубиных башмаков», бившую внуков по лбам наперстком и обзывавшую «шмаровозами»! Александра Ивановна была вот какая:

«Блеклые обои, блеклая обивка мягких уютных пуфов и диванчика — такое же блеклое, полное лицо начальницы, такая же мягкая уютная фигура, заполнявшая кресло. Кружевные, цвета слоновой кости салфеточки на стареньких столиках с витыми ножками и такая же наволочка на старенькой голове... А пушистые, взбитые седые волосы так похожи были на лежавший между двойной рамой окна пухлый валик ваты. Правда, вата была пересыпана зеленым и алым гарусом, а серебристый ободок волос ничем не был пересыпан...<...>

Мягким спокойствием, добротой, округленностью лица и какой-то общей уютностью, что ли, веяло ото всей фигуры, которая никуда не торопится, с места зря не сорвется и очень скупа на всякую жестикуляцию».

«Бабушке» Александре Ивановне было в то время шестьдесят лет. Саша вспоминал, что над ее письменным столом «в овальных, либо округленных по углам, черного дерева рамочках висела домашняя летопись-иконостас, бесконечная родня». Разумеется, очень скоро юноша был ознакомлен со всеми изображенными на «иконостасе», и понял, что попал в очень достойную семью. До сих пор его жизнь протекала в купеческой среде, теперь же он оказался в совершенно ином мире. «Иконостас» не оставлял в этом никаких сомнений.

Достаточно взглянуть на портрет покойного супруга Александры Ивановны и отца Константина Константиновича — Константина Егоровича Роше. Это был талантливый столичный военный инженер, вышедший в отставку в чине надворного советника. Именно ему семья Роше была обязана получением потомственного дворянского достоинства. Известнейшим человеком был его родной брат Павел Егорович Роше, генерал-майор, выдающийся инженер, строитель, педагог, изобретатель «цемента Роше», раствора особой марки. А вот сама Александра Ивановна, еще молоденькая, выпускница гатчинского Николаевского сиротского института. Она вышла замуж за Роше, бывшего почти на 20 лет старше, вдовца, оставшегося с тремя детьми на руках. Одним из этих детей и был Сашин опекун Константин Константинович, который не мог не занимать на «иконостасе» почетного места.

Рассмотрим фотографии. На них Костя Роше — выпускник престижной 2-й гимназии в Петербурге; а вот он уже слу-

жащий канцелярии Волынского губернатора в Житомире, куда вся семья переехала из столицы после отставки отца. Далее Константин Константинович Роше со своим первым орденом на груди — Святого Станислава III степени. А потом с полной грудью орденов: Святого Станислава III и II степени, Святой Анны III и II степени, Святого Владимира IV степени, серебряной медалью на Александровской ленте за службу в царствование Александра II (Основные даты жизни и деятельности К. К. Роше / *Роше К.* Поэма души. Житомир: Ни-ка, 2005. С. 149—163).

Все нынешние должности Константина Константиновича Саша Гликберг, наверное, и запомнить не мог: почетный мировой судья по Житомирскому судебно-мировому округу, член различных комиссий (по устройству завещаний, по благоустройству в пожарном отношении), член правления Волынского губернского присутствия по крестьянским делам... К самому губернатору Иосифу Яковлевичу Дунину-Барковскому Роше был вхож! Для полноты картины приведем свидетельство современника, утверждавшего, что Константин Константинович был «четвертым в губернии человеком после губернатора»: «Когда убывал губернатор, губернией обычно руководил вице-губернатор. В его отсутствие руль власти переходил до председателя казенной палаты. Если не было ни одного из них, у руля "фотелю"* садился... Роше» (цит. по: *Старый журналист [О. Л. Д'Ор].* Литературный путь дореволюционного журналиста. М.; Л.: Госиздат, 1930. С. 25).

Константину Константиновичу в момент его знакомства с Сашей шел сорок девятый год. Казалось бы, карьера сложилась, жизнь наполнена, отчего же так грустен и подавлен этот деятельный человек? Оттого, что год назад в квартире на Большой Бердичевской случилась трагедия, о которой напоминают теперь фотографии прелестного мальчика в траурных рамках.

Роше воспитывал приемного сына Сережу Левченко с младенческих лет и любил его не только как родного, а с редким исступлением. Очень чувствительный и добрый человек, Константин Константинович писал стихи и умилялся в них тому, что у ребенка «...темные глазки, / Ямки на щечках и жемчуг в устах» («Сыну», 1891). Страдал и не спал ночами, когда тот болел. Приходил в ужас от мысли, что может сам тяжело заболеть и умереть: что тогда будет с Сережей?!

Вышло наоборот: Сережа умер первым. В конце ноября 1897 года убитый горем Константин Константинович шел за

---

* Здесь: кресло руководителя.

гробом мальчика по Вильской дороге, на русское кладбище Житомира. Жить было больше незачем.

С тех пор пролетел год, но время не излечивало. Достаточно прочитать стихотворение «26 ноября 1898 г.», написанное Роше на годовщину со дня смерти Сережи:

Прошел ужасный год, — год безысходной муки,
Ночей без сна, год жгучих, горьких слез...
....
Я изнемог... Как тяжко испытанье!
....
Я выплакал глаза, и, будто черным газом,
Окутан Божий мир, сливаясь с мутной мглой...
....
С тех пор я жизни цепь, — постылой и разбитой,
Как каторжник, влачу, с проклятьем и тоской.
....
И я, безумствуя, живу... полуживой...

Посмотрим на дату создания стихотворения — Саша Гликберг уже два месяца живет в семье Роше. Полагаем, что он оказался в непростой ситуации: не очень приятно осознавать, что ты должен тут кого-то заменить, оправдать надежды, что тебя неизбежно будут с кем-то сравнивать. Приятного мало и в том, что Роше, истязая самого себя, постоянно вспоминал и заново переживал то, как врачи пытались спасти Сережу, как тот боролся за выздоровление и всё повторял, что ему всего 17 лет и он так хочет жить. Наверняка Сашу часто водили на кладбище. И тем не менее никаких трагических нот в его произведениях о Житомире мы не нашли. Напротив, все они проникнуты светлым, добрым чувством и совершенно очевидно, что мальчишка был бесконечно счастлив оттого, что его петербургские мытарства закончились.

Житомира в произведениях Саши Черного очень много. Пожалуй, столько же он написал лишь о Пскове, где жил в годы Первой мировой войны, и о Ла Фавьере в Провансе, где оказался на склоне лет. Поэтому поговорим о житомирских впечатлениях.

Одно из первых и важных — это 2-я мужская гимназия* на Пушкинской улице, где Гликберг снова погрузился в учебную программу 5-го класса. Каждое утро он бежал теперь по Большой Бердичевской, потом по Первому бульвару, оттуда сворачивал на Пушкинскую, а соседи разглядывали нового воспитанника Роше и сочувственно качали головами: бедненький! О том, как выглядел Саша, говорит портрет, сделанный мест-

* Ныне природоведческий факультет Житомирского государственного университета им. Ивана Франко (улица Пушкинская, 42).

ным фотографом Киприаном Корицким: стрижка «под ноль», легкий пух над верхней губой, впалая грудь, сутулый, очень худой и щуплый. Огромные грустные черные глаза, что в будущем станут особой приметой Саши Черного, уже обращают на себя внимание, но в них еще нет жгучей страстности. Пока они зорко всматриваются в жизнь городка и ничего не упускают; даже десять лет спустя поэт припомнит каждую мелочь в комической зарисовке «Ранним утром» (1909).

...Неназываемый провинциальный город просыпается. «В парке — песнь кукушкина. / Заперт сельтерский киоск». На бульваре, под «памятничком» Пушкину, полулежит пьяный: прислонится к ступеням постамента, не удержит равновесия — и валится. По мостовой мчится лошадь, запряженная в телегу. На телеге бочка с водой. Следом катит на тройке архиерей. Идут на базар мама с дочкой, спешит пристав с шашкой под мышкой, трусят полноправно две свиньи, спешит куда-то ветеринар. Промчалась с визгом собака — значит, живодер, «гицель», уже выехал на лов. А сейчас внимание: всем закрыть носы. Провозят бочку с нечистотами. И вдруг, откуда ни возьмись, вылетают «приготовишки», смешные, маленькие. Некоторые стараются держаться величественно. Двое нещадно лупят друг друга ранцами. Третий рассыпал книжки, и его за это обругал встречный поп. Словом,

Жизнь все ярче разгорается;
Двух старушек в часть ведут,
В парке кто-то надрывается —
Вероятно, морду бьют.

Тьма, как будто в Полинезии...
И отлично! Боже мой,
Разве мало здесь поэзии,
Самобытной и родной?!

«Памятничком» Пушкину, открытым к столетию со дня рождения поэта, Житомир гордится и сегодня. По словам местного краеведа Евгения Романовича Тимиряева, и остальные реалии в стихотворении документально точны: рядом с «памятничком» по правую сторону было губернское жандармское управление, куда могли вести старушек, а в двух кварталах от того же «памятничка» — базарная площадь. Даже упомянутый сельтерский киоск присутствует на старых фотографиях города. Понятно и то, как в текст попал архиерей — в одном квартале от памятника, напротив Мариинской гимназии, при которой во флигеле жил Саша, работало архиерейское подворье. У поэта была хорошая зрительная память.

Вскоре наступила зима, и тот же путь в гимназию приобрел

новые приметы: «...крепкая зима запушила инеем все житомирские сады и бульвары. Низенькие деревянные домики под белыми метлами тополей так уютно сквозь сердечки ставень глазели через дорогу друг на друга оранжевыми огнями. По бульвару, поскрипывая по плотному снегу солидными ботинками, изредка проплывал увалень-приготовишка, за плечом коньки, на тугой бечевке салазки. <...> Вверху холодные перья облаков... внизу стылый дым ветвей, кусты в глубине садов в легких снежных париках» («Житомирская маркиза», 1926). Лиловый дуговой фонарь шипит над «кургузым памятничком Пушкина» — и тишина. Лишь изредка откуда-то из домишек доносится модный вальс «На волнах».

За неподвижной зимой грянула буйная весна, и Саша в полной мере ощутил свои 18 лет. Над городом поплыл запах сирени, от которого жителей охватила любовная лихорадка: «Снова тополи душисты, / Снова влюбчивы еврейки» («Бульвары», 1908). Пасха. На бульварах повсюду «бонтонные» гимназисты и «господа семинаристы», которые расходятся с праздничной проповеди епископа Волынского и Житомирского Антония, ректора местной Духовной семинарии. Однажды поэт вспомнит, что речь шла «...О Толстом и о Ренане / С точки зрения вселенской, / О диавольском обмане, / О войне, о чести женской...» и что сам он «...там был... дремал невольно / И зевал при этом сладко...» («Пастырь добрый», 1906). Гимназистам и семинаристам не до проповедей, у них другие интересы: водка и женщины.

Пройдет много лет, и за месяц до кончины Александр Михайлович Гликберг, удивляясь себе самому, купит на парижском базаре «сноп сирени» и черную редьку, вспоминая себя «житомирским балбесом». Была у Саши с приятелями заветная беседка в кустах сирени, где он «двум житомирским Цирцеям», чаровницам, каждой порознь, объяснялся в любви, а потом в беседке пил 57-градусную старку и закусывал редькой:

В гимназические годы
Этот плод благословенный,
Эту царственную овощь,
Запивали мы в беседке
(Я и два семинариста)
Доброй старкой — польской водкой,
Янтареющим на солнце
Горлодером огневым...

(«Меланхолическое», 1932)

Откровение поэта вызывает улыбку, поскольку именно в это время Константин Константинович Роше был назначен членом Волынского губернского комитета попечительства о

народной трезвости. Ну и пусть! Его воспитанник Саша, хватив сверх меры старки, в заветной беседке пожирал глазами некую польку Христину, которая принесла им на подносе наливку, грибы, малину и сливки. Ее «преступно-прекрасные формы» упирались в поднос и заставляли сердце гимназиста биться «смущенно, и робко, и мерзко» (стихотворение «Священная собственность», 1908). Ну до учебы ли ему было?!

Между тем весной снова нужно было сдавать экзамены за пятый класс. Этот проклятый пятый класс так и остался пятым, а вот Саша Гликберг вырос и по возрасту должен был заканчивать седьмой. Наверняка он, двумя годами старше тех, с кем сидел в классе, «столичная штучка» и подопечный влиятельного Роше, был в гимназии достопримечательностью, манкировал общими правилами. Смело можно отнести к впечатлениям этого времени сюжет стихотворения «Экзамен» (1910): лирический герой, нервно скомкав в руке программу экзамена по истории, идет на берег Тетерева с учебником, где его ждет гимназистка Люба. Изображая из себя строгого экзаменатора, она вопрошает: что сделали для науки Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей? Какой там Галилей! Герой сначала целует рот, задающий эти ненужные вопросы, потом руки «от пальцев до локтей», потом «лучистые глаза»...

Люба не могла не существовать. Саша Гликберг, живший прямо при женской гимназии, обхаживал, видимо, не одну такую Любу. Страсти кипели нешуточные, особенно на гимназических балах. Один из них поэт вспоминал: пехотный Вологодский полк прислал на бал оркестр, и гимназистки тут же закружились в вальсе с офицерами. Несчастный влюбленный гимназист, которому его пассия, «коричневая фея» в белом переднике, предпочла «шпоры», страдает и курит в пустынном классе. А вокруг

Любовь влетает из окна
С кустов ночной сирени,
И в каждой паре глаз весна
Поет романс весенний.
(«Бал в женской гимназии», 1922)

Весна распевала романс и на берегах реки Тетерев, где герой «Экзамена» учил билеты по истории. Берега эти высоки и удивительно красивы. Настоящий скалистый каньон, поросший лесом. Заросли усеяны влюбленными парами: «В Житомире много случаев было: и хохлушки, и польки, и чистокровные русские. По всем бульварам, по всей реке “шу-шу, шу-шу”, сегодня с батальонным адъютантом, завтра с семинаристом, послезавтра с ветеринарным студентом, благо у него

воротник литого серебра под драгуна. Уж такого непостоянства женского, как у нас в Житомире, и в Венеции не найдешь» («Московский случай», 1926).

Гимназисты люто завидовали военным, которым дамы отдавали предпочтение, и, не имея возможности щегольнуть формой и выправкой, брали юмором. Пару фривольных частушек тех лет Саша надолго запомнил:

Дуня, яблочко, Жар-птица,
Агромадная коса —
Разрешите в вас влюбиться
На коротких полчаса...

Как на лавочке у бани
Тайно жал я ножку Тане, —
Я такие тайности
Люблю до чрезвычайности...
(«Свадьба под каланчой», 1930)

Так и видится Саша Гликберг, исполнивший нечто подобное, а потом галантно предлагающий какой-нибудь Цирцее... прокатиться в трамвае. Трамвай в Житомире был, но жители его игнорировали. Не по бедности, а от непонимания, зачем. Саша писал, что машины «возят по два, по три пассажира — не больше, боясь, вероятно, надорваться» («Дневник резонера», 1904). Оживление наступало как раз весной и летом, когда вагоновожатому перепадали «потные туши» едущих отдыхать на природе и купаться в Тетереве. Куда-то туда, в укромную рощицу, Саша и вез свою Цирцею. Возможно, это была Нина Снесарева из «Свадьбы под каланчой»: «...в памяти облаком расплылся нежный, русый, синеглазый одуванчик. Кофейное платьице, аромат гимназических духов “свежее сено”». А может быть, и Сара Блюменберг, «звезда» и страстная натура из стихотворения «Шляпа» (1911), позволявшая ошалевшему гимназисту целовать себя в темном углу.

Именно сейчас впору было становиться поэтом, тем более что в лице Константина Константиновича Саша Гликберг обрел прекрасного литературного наставника. Роше страстно любил поэзию и сам писал стихи — возвышенно-сентиментальные, преимущественно духовные. Не без гордости он показывал своему воспитаннику семейные реликвии: портрет Александра Дюма с автографом и типографский оттиск стихотворения Афанасия Фета «На пятидесятилетие моей музы». Несомненно, Константин Константинович читал Саше свои стихи, комментировал их. Надо полагать, книг в доме было достаточно, и Роше заботился о формировании у своего воспитанника должного вкуса.

Саша Гликберг читал запоем. Удивляя местных, посещал Публичную библиотеку на Пушкинской, располагавшуюся рядом со 2-й гимназией и, по его словам, блистательно пустовавшую. Библиотекарь, увидев посетителя, всем своим видом выражал немой вопрос: «Какая нелегкая его сюда занесла?» («Дневник резонера»). Возможно, уже в это время Александра Ивановна Роше, учительница немецкого языка, привила юноше интерес к немецкой литературе и помогла в изучении языка, что в будущем ему очень пригодится.

Заслуга Роше и в том, что в их доме Саша научился понимать музыку. Внучатый племянник Константина Константиновича, В. А. Добровольский, вспоминал такую сцену: «Саша сидел за чайным столом против меня с опущенными плечами, несколько наклоненной головой, как будто усталый, со слабой улыбкой, не включаясь в разговор. После чая я играл кое-что из Скрябина, "Ноктюрн" Грига, и Саша сказал мне потом: "Да, Григ — это хорошо и глубоко"» (Воспоминания В. А. Добровольского о Саше Черном // Архив М. С. Лесмана). Музыку Саша будет любить всю жизнь, станет собирать тексты народных песен. Многие современники вспоминали его поющим под мандолину. У него были абсолютный слух и хороший голос.

В новой семье Саша Гликберг впервые увидел проявления глубокого религиозного чувства. Константин Константинович, писавший духовные стихи, пел в церковном хоре и старался быть истинным христианином. Именно от него Саша мог слышать цитаты из Писания, взятые не отвлеченно, а подтвержденные делами. Роше заставил его задуматься о жизни, воспитал в нем умение сострадать чужому горю. Свои первые житомирские летние каникулы 1899 года подросток провел необычно: он участвовал в гуманитарной экспедиции «на голод», инициатором которой выступил его приемный отец. Тогда из-за неурожая голодали 18 губерний и среди них Уфимская, где побывал Саша.

Петербургский писатель Александр Ласкин, изучив материалы житомирской прессы, воссоздал подробности этой поездки в романе «Дом горит, часы идут» (2010), к которому мы и обратимся.

Константин Константинович, сначала организовавший сбор пожертвований в пользу голодающих, к концу весны создал небольшой отряд, куда кроме него вошли три сестры милосердия, две дамы-благотворительницы и два гимназиста: Коля Блинов и Саша Гликберг. 30 мая 1899 года они выехали в Башкирию, куда целую неделю добирались поездами. Посоветовавшись с уфимским губернатором, взяли на себя северную

часть Белебеевского уезда: тридцать одну татарскую деревню. Саша и Константин Константинович непосредственно отвечали за село Ратманово с прилегающими к нему двумя селами и одним поселком. Им предстояло накормить 504 двора, 1582 человека.

Эти два месяца на страшной жаре, в отрыве от цивилизации стали для Саши испытанием на прочность. Ежедневно он вставал в пять утра: до обеда — обход голодающих, после обеда — прием просителей и посетителей, поток которых иссякал где-то к одиннадцати вечера. Саша и сам недоедал. Местность степная, никаких огородов, из мяса только жилистая баранина. Среди голодающих были настолько ослабевшие, что сами прийти за едой они не могли и приходилось разносить по домам хлеб и молоко. В жутких покосившихся избах, засиженных воронами, он насмотрелся достаточно человеческого горя: «Половину комнаты занимают низкие нары, на голых досках неподвижно сидят полуголые оборванные грязные ребятишки или лежат на невероятных лохмотьях больные, изможденные и опухшие от голода люди. Ни сундука, ни шкафа, ни одежды, ни прочей какой-нибудь утвари. Почерневшие бревна стены, потолки, одинаково пропускающие и знойные лучи солнца, и струи дождя. Буквально нет ни одного дома, где бы не было больных. Все протягивают к вам руки, все просят лекарства, наивно веря, что вы одним волшебным словом или прикосновением можете прекратить их муки» (цит. по: *Ласкин А.* Дом горит, часы идут // Нева. 2010. № 5).

Отъезд из Башкирии надолго врезался в память. За обозом шли люди, протягивали руки для пожатий, выкрикивали, обращаясь к Роше: «Прощай, бабай!» (старик), «Спасибо, бабай!», «Без тебя умирал бы!»

Саша вернулся в Житомир совершенно другим человеком — взрослым. Наверное, теперь ему вообще казалось нелепым ходить на какие-то занятия в какую-то гимназию. Именно в то время у него могли появиться друзья, изображенные в стихотворении «При лампе» (1908): подростки спорят о том, в чем спасение для интеллигента: в единении с природой, в единении с народом или «в книгах и в личной свободе»? Молодежь тогда была крайне политизированной и в протестном порыве протягивала руку «униженным и оскорбленным».

В новом учебном году (1899—1900) Гликберг снова оскандалился. По словам жены поэта Марии Ивановны, у Саши произошел какой-то конфликт с директором и его исключили из гимназии без права дальнейшего поступления. Это серьезный приговор, и для него должны были быть веские основания.

Что точно случилось, неизвестно. Мог надерзить, мог написать какие-нибудь сатирические стишки. Ведь расскажет Саша Черный в «Житомирской маркизе», что учителя физики они дразнили «рычагом первой степени», а директора он обзовет «бритым дряхленьким Кащеем» («Из гимназических воспоминаний»). Неуважение к учителям было тогда делом обычным как проявление свободомыслия. Вот один из инцидентов, случившийся в 1901 году, правда, в 1-й житомирской гимназии: «Сегодня двое учеников избили в гимназии преподавателей Гераина и Войтеха» (Конец учебного года // Русское слово. 1901. 13 мая).

У нас есть одно смелое предположение. В 1910 году в «Сатириконе» поэт напечатает стихотворение «Визиты»*, где в карикатурном виде изобразит весь житомирский бомонд, подобострастно спешащий поздравить губернатора с Пасхой. Среди спешащих и предвкушающих обильное возлияние — некий «генерал от водки», управитель акцизами, «полицмейстер напыженный», начальник тюрьмы, директор казенного банка, предводитель дворянства и директор гимназии:

Директор гимназии,
Ради парадной оказии
На коленях держа треуголку
И фуражкой лысину скрыв,
На кривой одноколке,
Чуть жив,
Спускается в страхе с моста.
Спешит губернатора скромно поздравить
С воскресеньем Христа.

(«Визиты», 1910)

Каждая строфа опуса заканчивалась издевательским резюме: «То-то будет выпито». А что, если стихотворение это старое, житомирское? Что, если оно попало в руки классному надзирателю и дошло до директора? В таком случае исключение Гликберга закономерно. Да и его покровители – Роше – были бы возмущены и оскорблены, ведь осмеянные люди входили в их ближайший круг общения. Конфликт уладить не удалось, и в квартире на Большой Бердичевской разыгралась сцена, впоследствии также описанная Сашей Черным:

За дебоши, лень и тупость,
За отчаянную глупость
Из гимназии балбеса
Попросили выйти вон...

* В стихотворные сборники вошло под названием «Праздник» («Генерал от водки...»).

Рад-радешенек повеса,
Но в семье и плач и стон...
Что с ним делать, ради неба?
Без занятий идиот
За троих съедает хлеба,
Сколько платья издерет?..
(«Балбес», 1906)

Что делать с балбесом? Не позволять же ему, в самом деле, праздно шататься?! И Константин Константинович нашел выход. Пользуясь тем, что он был членом Житомирского уездного по воинской повинности присутствия, Роше отправил своего воспитанника служить в армию. 1 сентября 1900 года, когда Сашины однокашники собирались идти в седьмой класс, он уже носил форму вольноопределяющегося*, щеголяя погонами, обшитыми черно-оранжево-белым кантом. Не думаем, чтобы Роше всерьез надеялся на то, что Саша пойдет по военной линии, где карьеру евреев негласно тормозили. Сам Гликберг позднее рассказывал, что «...два года нес лямку нижнего чина, хотя и вольноопределяющимся, но без права производства не только в офицеры, но и в унтер-офицеры» (*Лазаревский Б.* Последний разговор // Россия и славянство. 1932. 13 августа). Скорее всего, Константин Константинович просто старался изолировать воспитанника от пагубных связей и отвлечь от греховных помыслов, свойственных его возрасту.

Согласно послужному списку, разысканному Анатолием Ивановым, Александр Гликберг служил в 18-м пехотном Вологодском Его Величества короля Румынского полку. Сам поэт, став известным человеком, предпочитал говорить, что служил в Галицком 20-м пехотном полку, видимо, считая его более престижным (*Б<орис> Л<азаревский>.* Памяти А. М. Черного // Часовой. 1932. № 88).

Стать вольноопределяющимся можно было только по достижении семнадцати лет (с согласия родителей или опекунов), дополнительно выдержав экзаменационные испытания. «Вольнопёры» делились на два разряда. К первому Саша не мог быть причислен, потому что для этого требовалось образование не ниже шестого класса гимназии. Он попал во второй разряд, предусматривавший два года прохождения службы, и относился к нижним чинам, которые по сравнению с обычными солдатами имели некоторые привилегии (не назнача-

---

* Вольноопределяющийся («охотник» или «вольнопёр» на бытовом языке) в то время, до 1917 года, — военнослужащий, добровольно вступивший в армию после получения среднего или высшего образования; проходил службу на льготных условиях.

лись на хозяйственные работы и могли жить не в казарме, а на съемной квартире).

Полк, в котором оказался вчерашний гимназист, был расквартирован в нескольких часах езды от Житомира, в городке Новоград-Волынский, и входил в 5-ю пехотную дивизию, штаб которой размещался в Житомире. Трудно сказать, где именно проходил службу Александр Гликберг. О своих обязанностях он рассказывал так: «Мне было поручено обучать грамоте солдат в учебной команде, что я и делал с большим удовольствием — целых два года» (*Б<орис> Л<азаревский>*. Памяти А. М. Черного). Учебные отряды могли быть и там, и там, так что Саша, вполне вероятно, оставался в Житомире, где продолжал кружить головы местным чаровницам, а возможно, жил в Новоград-Волынском. Выразительное описание этого городка оставил отец знаменитой украинской поэтессы Леси Украинки, бывшей оттуда родом: «Глухий, забутий владою і Богом закутень. Власне, чи місто, чи село? Зусібіч — ліси, болота. Дорога занедбана. Найчастіше нею їздять археологи і поліцейські чини...»* В эмиграции, едва заслышав где-нибудь украинский «прононс», Саша Черный называл его «новоград-волынским аккомпанементом» (рассказ «Уютное семейство», 1931). Возможно, к этой поре жизни относятся такие его строки из стихотворения «Ошибка»:

Это было в провинции, в страшной глуши,
Я имел для души
Дантистку с телом белее известки и мела,
А для тела —
Модистку с удивительно нежной душой.

Стихотворение будет напечатано в «Сатириконе» в 1910 году. Лирический герой делится с читателем, что дантистка и модистка были у него десять лет назад, то есть в 1900 году, когда поэт служил в полку. Вообще армейские годы он вспоминал с теплотой: «...никто из офицеров ко мне не придирался... <...> Солдаты меня очень любили, и офицеры все относились чудесно. Был один, который меня преследовал, но и тот после успокоился» (*Б<орис> Л<азаревский>*. Памяти А. М. Черного). Некоторые эпизоды службы поэт впоследствии творчески использует и в прозе. Так, в рассказе «Случай в лагере» (1913) мы встречаемся с «вольнопёром» Шуркой, *alter ego* ав-

---

* Віртуальний музей міста Звягель // http://www.zwiahel.info/museum/room7/room7-1 «Глухой, забытый властями и Богом угол. Собственно, то ли город, то ли село? Со всех сторон — леса, болота. Дорога запущена. Чаще всего по ней ездят археологи и полицейские чины...» (перевод с украинского языка наш. — *В. М.*).

тора. События той поры отразятся и в эмигрантских произведениях Саши Черного, например, в «Солдатских сказках», цикле баек из дореволюционной армейской жизни. Он сам признавался: «...в свободное время слушал их (солдат. — *В. М.)* рассказы, часто своеобразные, а иногда будто наивные, многие из них запомнились так, что я их использовал почти через двадцать пять лет...» (*Б<орис> Л<азаревский>.* Памяти А. М. Черного).

Александр Гликберг демобилизовался 25 октября 1902 года и «вновь предстал» перед Роше. Интересно отметить тот факт, что как раз в это время Константин Константинович стал цензором городской газеты «Волынь», и если бы Саша уже обнаруживал литературные способности, он несомненно пристроил бы его по назначению. Однако этого не случилось. Главным фельетонистом «Волыни» оставался Иосиф Львович Оршер (известный под псевдонимом О. Л. Д'Ор), с которым шесть лет спустя Саша будет сотрудничать в «Сатириконе».

А Сашу после армии занесло очень далеко от Житомира — в Хотинский уезд Бессарабии, в местечко Новоселицы, маленький торговый еврейский городок на тогдашней границе с австрийской Буковиной, что-то вроде того же Новоград-Волынского. В Новоселицах были железнодорожная станция, православная церковь, синагога, школа и главное — пограничный пункт с таможней первого класса. Торговали лесом, сплавляемым по реке Прут, хлебом, кукурузой. Именно на таможне Саша проработал около двух лет. Любой другой мог бы здесь сделать карьеру, он же в Новоселицах не задержался, напротив, переполнился впечатлениями до такой крайности, что начал издеваться над нескончаемым провинциальным анекдотом и вернулся в Житомир готовым фельетонистом. Ему уже было, что сказать и на что указать людям.

Летом 1904 года Житомиру, древнему «городу N» по берегам Тетерева, не поздоровилось: на Большой Бердичевской явился «новый Гоголь» и со всем пылом молодости обрушился на местные нравы. Правда, позднее он вспоминал, что ни на что особо обрушиться было нельзя. Его литературный двойник, «фельетонист взъерошенный» из шаржа «На славном посту» (1908), грызя перо, бьется в поисках тем — кроме мордобоев и парадов ничего в городе не происходит. А развернуться никак нельзя:

Не трогай полицмейстера,
Духовных и крестьян,
Чиновников, брандмейстера,
Торговцев и дворян,
Султана, предводителя,

Толстого и Руссо,
Адама-прародителя
И даже Клемансо...

Раз нельзя никого трогать, Саша решил тронуть именно это «нельзя»: застой, скуку, болото. 2 июня 1904 года житомирцы впервые развернули новую газету «Волынский вестник» и прочли в ней остроумный пасквиль «Дневник резонера», подписанный загадочным псевдонимом «Сам по себе». Так дебютировал в печати 23-летний Александр Михайлович Гликберг.

Свой фельетон он начал с традиционной для этого жанра отсылки к классике:

«“Скучно жить на свете, господа!” — говорил Николай Васильевич Гоголь.

Думаю, если бы великому юмористу пришлось жить в Житомире — ему бы к этим словам нечего было бы прибавить».

Вот какое наблюдение вынес «резонер», то есть тот, кто в классической пьесе не принимает активного участия в действии, а только наблюдает и дает моральные оценки происходящему. Скука провинции «резонеру» окончательно опостылела. В далеком, большом мире что-то происходит, кажется, даже идет какая-то война с какими-то японцами, а здесь... ничего. Типичный диалог горожан: «Что нового? — Ничего». Правда, на улицах есть электрические фонари, трамвай, два театра. Есть еще и Тетерев, но и река «Самому по себе» неприятна: вода мутная, теплая, вообще воды уже совсем мало, а берега изуродованы каменотесами, долбящими их на булыжник. Тоска: «Остановишь лодку и смотришь, как звезды отражаются в воде, и забываешь, что ты, бедный человек, живешь в Житомире, что твое прошлое, настоящее и будущее одинаково неприглядны и тоскливы» («Дневник резонера»).

Остается гадать, как отнесся к этим жалобам Константин Константинович Роше, которому мы обязаны этим дебютом. Саша мог сколь угодно утверждать, что он «сам по себе», однако самостоятельности он не научится никогда, и в газету его привел именно Роше, который также вошел в состав редакции.

Так началась новая, литературная жизнь вчерашнего «вольнопёра» и таможенника, и были в ней все необходимые богемные атрибуты. Редактор «Волынского вестника», известная в городе писательница и общественная деятельница Мария Павловна Лобановская («Кречет»), использовала новичков вроде Саши в качестве чернорабочих: он был в редакции «и швец и жнец», сам мыл шрифт после печати, сам крутил колесо типографской машины. Его статьи, стихи и заметки со-

ставляли главное содержание газеты, для оживления которой он даже полемизировал сам с собой, выступая под разными псевдонимами (см.: *Парчевский К. К.* Саша Черный: К 25-летию литературной деятельности // Последние новости. 1930. 6 марта). Ни о каком гонораре речь не шла, и Лобановская расплачивалась с ним контрамарками в местный театр, в котором была пайщицей (*Седых А.* Юбилей без речей: К 25-летию литературной деятельности Саши Черного // Сегодня. 1930. 20 марта). Саша, засев на дешевой галерке, хмыкал: ну и нравы! Всё «по-семейному»: публика в голос обсуждает артистов и вот-вот начнет с ними общаться через весь зал. Глядь, на следующий день «Сам по себе» уже и театральную рецензию опубликовал и пристыдил земляков: мол, не умеешь себя вести, так «сиди дома — и глупостями не занимайся» («“Аида” в Житомире (в публике)», 1904).

Бедный Житомир! Довелось же ему приютить такой насмешливый ум и пожинать теперь плоды собственного гостеприимства. Кто знает, куда еще вздумается заглянуть этому Гликбергу и чем он останется недоволен? Однако и счастливый Житомир: въедливый парнишка очень скоро станет знаменит и отплатит своей второй родине сторицей. «Нашто Сашка, глядите, ну кто бы мог подумать!» — будут восторгаться житомиряне, обнаруживая знакомую фамилию на страницах столичной прессы, а их потомки и 100 лет спустя будут гордиться Гликбергом с Большой Бердичевской не менее, чем знаменитыми уроженцами Житомира, писателем Короленко и конструктором Королевым.

Но вернемся в лето 1904 года и признаем, что кое-какие события в городке все же происходили. Эхо Русско-японской войны долетало и сюда. Встречая бывших сослуживцев, Гликберг узнавал от них, что 18-й Вологодский полк с готовностью ожидает отправки на Дальний Восток. В середине июля всем миром провожали на фронт местный отряд Красного Креста, и Роше читал на митинге напутственные стихи, напечатанные потом в «Волынском вестнике»: «Идите! — с нами Бог, мольба, благословенья / России, плачущих отцов и матерей!» («Житомирскому отряду Красного Креста», 1904). Газета отозвалась и на громкие смерти: Антона Павловича Чехова (2 июля) и министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве (15 июля). Плеве был убит бомбой эсера Егора Созонова близ петербургского Варшавского вокзала. Поводом для его убийства стали еврейские погромы в Кишиневе в апреле 1903 года, чем воспользовались все революционные партии, возложив вину на министра, который на своем посту жестко противодействовал революционной деятельности и терактам.

Этот далекий и малореальный Варшавский вокзал всего через пару месяцев станет для Саши скучной повседневностью. Он еще об этом не знает и пока что скорбит о прекращении выпуска «Волынского вестника», случившемся в конце июля. Литературная карьера закончилась, практически не начавшись.

...По Тетереву плывет одинокая лодка. Опустив безвольно плечи, задумчиво смотрит на гладь воды тонкий юноша, становясь в этот миг поэтом:

Я вперед гляжу без мыслей,
И, вдыхая полной грудью
Теплый воздух летней ночи,
Опустив лениво весла,
Не борюсь с волной-шалуньей.
Что бороться?.. Разобьет ли
Лодку хрупкую о камни,
Захлестнет ее волною,
Понесет ее теченьем, —
Все равно! Я без желаний...

(«Проза», 1906)

Желания у него, конечно, были, но они не имели ничего общего с тем, что предлагала жизнь. «Сам по себе» мечтал сочинять и печататься, а ему приходилось ходить на службу на железнодорожную станцию. Какая уж тут поэзия.

Гликберг устроился работать в Южное общество подъездных путей, и теперь его видели на вокзале, где он прогуливался по перрону в форме, украшенной эмблемой железнодорожников: двумя распростертыми крыльями с колесом. Вот бы убежать, уехать, улететь отсюда! И эмблема стала счастливым талисманом.

Неизвестным нам образом — то ли благодаря очередным хлопотам Роше, то ли посредством служебного перевода — осенью 1904 года Александр Гликберг оказался в Петербурге в качестве таксировщика (конторщика) службы сборов Варшавской железной дороги. В ближайшие десять лет, вплоть до начала Первой мировой войны, он будет столичным жителем и внесет немалый вклад в создание «петербургского текста» русской литературы.

Как, должно быть, плакали житомирские Цирцеи, провожая своего Шурку в неведомую даль, и как, видимо, он смущался, обещая всем писать и непременно приезжать. Но этого не случится, потому что петербургские Цирцеи окажутся не менее хваткими и немедленно возьмут его в кольцо.

Вместе с отъездом из Житомира Саша простился и с семьей Роше. Нет никаких данных о том, что они продолжали под-

держивать близкие отношения. Александра Ивановна и Константин Константинович сыграли огромную роль в судьбе Саши Гликберга, приютив его в труднейший момент жизни, успокоив лаской и любовью, привив хороший вкус и должные моральные взгляды. У них будут свои судьбы. Александра Ивановна скончается в пореволюционном 1918 году. Константин Константинович на год переживет Сашу, до последнего вздоха продолжая заниматься церковно-просветительской деятельностью, и упокоится рядом с мачехой, отцом и Сережей Левченко. Официальной причиной его смерти запишут атеросклероз, но правда страшнее: он умрет от голода («голодомора») в 1933 году.

У воспитанника Роше начиналась очередная новая жизнь.

Глава вторая

САША ЧЕРНЫЙ

1

Александр Михайлович Гликберг родился в Одессе в 1880 году, а Саша Черный — в Петербурге в легендарном 1905 году. Все революционные события разворачивались у него на глазах, и он принял в них живое участие.

В столице, как помним, наш герой жил и раньше, однако в рассказе «Московский случай» (1926) он связал свое появление на берегах Невы исключительно с переездом из Житомира:

«...судьба меня с корнями пересадила из волынского чернозема в санкт-петербургский торф. <...>

Долго не мог привыкнуть. Очень все парадно: дворцы, проспекты, римские тройки на крышах. Нева в гранитном корсете... Слов нет, красота, но сердце зазябло и съежилось. Природа к тому же на любителя — зимой черные дни, летом белые ночи, осень и весна на один салтык*, светлой улыбки на небе не увидишь... Не одобряю.

<...> В те... времена очень я себя неуютно чувствовал в столице. Все о своем Житомире вздыхал: тополя, бульвары, Тетерев в скалах, маевки за рекой в "Зеленой роще"... Провинциал? Что ж!.. Каждому своя смоковница симпатична».

На самом деле Роше позаботились о том, чтобы Саша на первых порах чувствовал себя уютно. В Петербурге жила старшая сестра Константина Константиновича — Елена Константиновна Диксон, которая пристроила юношу, жаждущего славы, в семью своего сына Константина. Тот вращался в литературных кругах и был «нужным человеком». Саша Гликберг жил теперь на 11-й линии Васильевского острова, в доме 46, и ежедневно наблюдал из окон за стайками чопорных, надменных, порой мужеподобных девиц, что-то читающих на ходу, куда-то несущихся. Напротив его дома помещались общежития и учебные корпуса Высших женских курсов, которые звались Бестужевскими (по имени их основателя и первого руко-

* Здесь: на один манер (*устар.*).

водителя историка К. Н. Бестужева-Рюмина), и девицы были знаменитые бестужевки. Похожей на них оказалась Александра Карловна Диксон, жена главы семьи. Она преподавала на Бестужевских курсах физику и астрономию, состояла в Русском физико-химическом обществе, занималась социальной работой в Василеостровском обществе народных развлечений. Знакомясь благодаря Александре Карловне с буднями Высших женских курсов, Саша даже не представлял, насколько глубоко это учебное заведение войдет в его собственную жизнь.

Константин Иванович Диксон, племянник Роше, был публицистом, работал секретарем редакции журнала «Техническое образование» и в недавнем прошлом печатался в авторитетном журнале «Мир Божий». Именно он должен был познакомить своего «кузена из Житомира» (почти по Булгакову!) Сашу Гликберга с литературной обстановкой в столице. На правах теперь уже близкого человека он мог рассказать Саше, что издательница «Мира Божьего», где мечтает опубликоваться каждый литератор, замужем за писателем Александром Куприным, а тот работает сейчас над повестью, которая, по слухам, будет скандальной и расскажет правду об армейских беспорядках. Такая вещь очень нужна в связи с военными событиями на Дальнем Востоке. Сам Куприн отнюдь не небожитель, а большой демократ, и его запросто можно увидеть, если почаще заглядывать в трактир Давыдова на Владимирской площади или в ресторан «Вена» на углу Гороховой и Гоголя. Таковы могли быть первые сведения об Александре Куприне, полученные Сашей. В дальнейшем жизнь будет их сводить довольно часто, а в эмиграции сделает близкими друзьями.

Мы допускаем и то, что у Диксонов бывал редактор «Мира Божьего» Федор Дмитриевич Батюшков, совмещавший литературную работу с преподавательской: он читал на Бестужевских курсах историю литературы. Федор Дмитриевич был ближайшим другом Куприна и внучатым племянником знаменитого в прошлом поэта Константина Николаевича Батюшкова.

Мария Ивановна вспоминала, что наряду с Диксоном Сашу на первых порах поддержал и Александр Яблоновский, тот самый журналист, который шесть лет назад напечатал в газете «Сын отечества» статью о бедственном положении юноши, «срезавшегося» по алгебре. Яблоновский также сотрудничал с «Миром Божьим», где в 1901 году вышла прославившая его повесть «Гимназисты». Трудился он и на сатирическом поприще, отвечая за рубрику фельетона в журнале «Образование». Интересы Саши Гликберга находились именно в этой области, и от Яблоновского он мог узнать, что авторитетным фель-

етонистом считается сейчас Ипполит Василевский, пишущий под псевдонимом Буква. Он же редактирует сатирико-юмористический журнал «Стрекоза», на страницах которого некогда дебютировал Чехов. Из начинающих сатириков популярен Осип Дымов. В Москве «мэтром» слывет Влас Дорошевич, «король фельетона».

Эти разговоры с Диксоном и Яблоновским уводили Сашу Гликберга в другой мир, позволяли отвлечься от безрадостной службы. Он жил пока мечтой:

Поэт попал на Службу сборов —
Мечта и счеты — бок-о-бок...
....
Поэту есть необходимо —
Одной мечтой не проживешь...
....
Я жить хочу для впечатлений, —
Я не поденщик, я поэт!
А здесь... здесь нет иных волнений:
Дадут прибавку или нет?

(«Скверная история», 1906)

В то время тяготясь работой в службе сборов, позже Саша вспоминал ее с доброй улыбкой. Герои его рассказа «Московский случай» и сатиры «Служба сборов» во многом автобиографичны.

Мелкий клерк, безликий гоголевский Поприщин, каждое утро он понуро тащится на службу*. Вот он явился в прихожую двухэтажного особняка. Здесь — откормленный хамоватый швейцар, над которым красуется жестокое для ищущих работы объявление «Нет мест». На первом этаже — так называемая акцептация, глава которой («Начальнической плеши строгий блеск / С бычачьим лбом сливается в гротеск») проверяет счета за таксировщиками, устанавливавшими правильность оплат по той или иной таксе. До соседнего отделения его око не достает, и там сотрудники играют в чехарду.

В коридоре — своя жизнь. Здесь за вешалкой прячутся пары.

По лестницам, ведущим на элитный второй этаж, где восседает глава службы сборов, снуют пышные красавицы — работницы отдела претензий, которым делать совершенно нечего и за что они прозваны «фаворитками». А вот и «сам»:

Второй этаж. Дубовый кабинет.
Гигантский стол. Начальник Службы сборов,

---

* Служба сборов Петербурго-Варшавской железной дороги в то время располагалась в комплексе построек Варшавского вокзала, на Обводном канале, 118.

Поймав двух мух, покуда дела нет,
Пытается определить на свет,
Какого пола жертвы острых взоров.
(«Служба сборов», 1909)

Прототип начальника устанавливается легко, и столь же легко объяснить, почему ему так скучно. В 1904 году эту должность занимал Петр Денисович Потемкин, выпускник Академии художеств, человек, близкий к литературным и артистическим кругам. Понятно, что он, как и Саша, не мог увлечься цифрами и таблицами. Однако интереснее другое. Уже в то время Гликберг мог видеть здесь восемнадцатилетнего сына своего шефа, первокурсника Петербургского университета Петра Потемкина, будущего известного поэта. Через год они начнут работать бок о бок в сатирико-юмористической прессе, а через четыре года окажутся рядом за редакционным столом журнала «Сатирикон». В их отношениях будут и ревность, и соперничество, и трогательная дружба в эмиграции.

Пока же Петр Потемкин принадлежит миру, еще недосягаемому для Саши, который волочится на рабочее место в отдел местной перетаксировки и принимается, «сжав коленки», шуршать накладными и в них «копейки разыскивать». Рядом шуршит «тухлый немец Циммерман», страдающий язвой желудка и без конца бегающий в уборную.

Положение Саши не из легких:

«...со мной в комнате двадцать три девицы, один я мужчина, не считая тухлого немца Циммермана. Можете себе представить, до чего я женоненавистником стал!

Немец серьезный был... болтовни этой сорочьей при нем не было. Счеты кряхтят, перышки шелестят... чуть Циммерман за дверь... двадцать три девицы в двадцать три языка начнут щелкать (меня они не стеснялись, словно я евнухом при их счетоводном гареме состоял)» («Московский случай»).

Почему здесь столько «девиц»? Сегодня мы привыкли к тому, что в железнодорожных службах задействованы преимущественно женщины, а в то время «слабый пол» только начинал прокладывать себе путь к мужским должностям. Согласно Правилам, установленным на основании Высочайше утвержденного 17 ноября 1889 года Положения Комитета министров, женщины допускались к железнодорожным службам «в количестве, не превышающем 10 % от общего числа служащих в данной конторе», а в службе сборов «количество принимаемых на службу женщин допускается до 15 %». Эти 15 процентов и сделали из застенчивого таксировщика Гликберга невольного «женоненавистника», который, описывая их, в эпитетах не стеснялся: одну обозвал «сплошным сухожилием», у другой

«уши светятся», в третью «пером ткнешь, сыворотка прольется». Словом, паноптикум.

И все они рассматривали молодого и красивого коллегу в качестве потенциального жениха: «...ошибку в накладной поможешь соседке найти, сейчас же она к тебе, как раковина к кораблю, приклеится, внизу в буфете в кандидаты тебя произведут и на законный союз во всех этажах намекают». Совершенно озверевший Саша не замечал, что за ним внимательно и с теплотой наблюдают большие серо-голубые глаза. Их обладательницу мы пока не назовем.

Герой «Московского случая» жаловался, что из-за щебечущего гарема начал ненавидеть даже девиц на улице и своих знакомых дам. Ходил он часто в одно семейство, жившее у Пяти Углов: вдова с четырьмя дочками (не та ли это вдова-чиновница, что когда-то очень помогла оставшемуся без родителей Саше?). И их он теперь возненавидел: старшая дочка — «треска трескской, Пшибышевским все козыряла», другая — «пухла и малокровна, вроде диванной подушки: торчит в углу и ждет, кто на нее облокотится», а меньшая «даром, что подлеток, всех знакомых мужчин по рубрикам разнесла, по пятибалльной системе оценки им вывела и качества прописала. Про меня выражалась двойственно: “Кисляй Кисляевич, глаза и рост ничего — зачислен в резерв во вторую линию. Тройка с минусом”». А сама-то на кого похожа! «Килька в обмороке»! «Уксус пятнадцатилетний»!

С подобными настроениями Саша уже был готовым сатириконцем. В журнале «Сатирикон» ироническое женоненавистничество станет хорошим тоном, и сатирических красок для слабого пола Черный не пожалеет. В его стихах промелькнут и «бифштекс в нарядном женском платье» («Две басни», 1910), и «кубышка багровая» («Диспут», 1908), и монстр, у которого «Волоса, как хвост селедки, / Бюста нет — сковорода» («Панургова муза», 1908), и многое другое. Однако и журнала такого еще нет, и его бессменный руководитель Аркадий Аверченко еще живет в Харькове, служит в скучном счетоводстве каменноугольного рудника и, подобно Саше, только-только начинает печататься. Через три года они встретятся, и Аверченко значительно повлияет на судьбу нашего героя. Пока же Саша встретил женщину, которая изменила всю его жизнь. Признаемся: серые глаза принадлежали ей.

Обратимся к канонической биографии поэта: «Поначалу новоиспеченному петербуржцу пришлось заняться канцелярской работой — на службе сборов Варшавской железной дороги. <...> Его непосредственной начальницей на службе была М<ария> И<вановна> Васильева, которая проявила к нему

участие. Вскоре они связали свои судьбы узами брака» (*Иванов А. С.* Оскорбленная любовь // *Черный Саша.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 1996).

У Александра Гликберга случился служебный роман! Однако не беремся утверждать, где именно произошло это сближение. Дело в том, что Мария Ивановна в описываемое время жила рядом с Диксонами, следовательно, и с Сашей, буквально на соседней улице: 8-я линия, дом 37. Возможно, они возвращались со службы вместе, может быть, Мария Ивановна была знакома с семьей Диксон, поскольку окончила Бестужевские курсы, где преподавала Александра Карловна... Несомненно одно: «килькам» и «сухожилиям» пришлось ретироваться, а житомирским Цирцеям навсегда забыть своего Шурку. Рядом с ним до конца его дней больше не будет никакой другой женщины, кроме Марии Ивановны.

О Марии Васильевой известно немного. Она осталась в тени своего мужа, который за всю жизнь не посвятил ей ни строчки (как и Константину Константиновичу Роше), лишь единожды косвенно упомянул в стихотворении, делясь с читателями «Сатирикона» своими желаниями:

Сесть на утлый дирижабль,
Взять чернила и жену
И направить свой корабль
Хоть на самую луну.
(«Мои желания», 1909)

Жена угадывается в некоторых персонажах Сашиных рассказов, например, в образе курсистки («Люди летом», 1912) или учительницы из эмигрантской зарисовки «В лунную ночь» (1928). Однако это маскарад, игра, но никак не желание автора увековечить близкого человека. Хотелось бы восстановить справедливость и сказать несколько слов о Марии Ивановне.

Васильева была старше своего подчиненного Гликберга на девять лет, о чем впоследствии вспоминала так: «...мне даже было неловко признаться, что я полюбила почти мальчика, а он боялся признаться, что любит женщину много старше его, занимавшую не только на службе, но и в петербургском интеллигентном кругу довольно видное положение»*. Видное положение занимал и отец Марии Ивановны — статский советник Иван Иванович Васильев был известным в Петербурге педагогом. Среди мест его работы, разысканных нами в старых адресных справочниках, названы гимназия Императорского

* Здесь и далее воспоминания жены поэта цит. по: Мемуары М. И. Гликберг / Подг. к публ., вступ. ст. Л. А. Спиридоновой // Российский литературоведческий журнал. 1993. № 2. С. 237 — 248.

человеколюбивого общества, Педагогический музей военно-учебных заведений, Морской кадетский корпус. Мать Марии Ивановны приходилась родственницей известным купцам Елисеевым.

Дочь писателя Леонида Андреева, Вера, вспоминала: «...супруга Саши Черного, в прошлом именитая дворянка, фрейлина ее величества императрицы, окончившая Смольный институт и награжденная шифром, кажется, даже с бриллиантами... чрезвычайно прямо держащаяся, всегда подтянутая и аккуратная... была живой и очень энергичной женщиной... с бледно-голубыми строгими глазами. Мне она напоминала классную даму» (*Андреева В.* Эхо прошедшего. М.: Советский писатель, 1986). К сожалению, мы не можем подтвердить эти данные, потому что не нашли Васильеву среди выпускниц-смольнянок. Ее имя обнаружилось в списке выпускниц Высших женских курсов (Бестужевских). В 1902 году, в возрасте тридцати одного года, Мария Ивановна окончила историко-филологическое отделение*, то есть в литературе разбиралась и, кстати, прекрасно знала упомянутого выше Федора Дмитриевича Батюшкова, который был ее преподавателем. Однако ее интересы лежали в несколько иной плоскости: Васильева считала себя преданной ученицей профессора философии, неокантианца и выдающегося психолога Александра Ивановича Введенского.

В 1901 году, когда Мария Ивановна училась на третьем курсе, император утвердил указ о допущении к преподаванию всех предметов во всех классах женских гимназий и прогимназий лиц женского пола, окончивших Бестужевские курсы. Васильева могла бы пойти по стопам отца, однако ее амбиции простирались дальше: Мария Ивановна видела себя в науке и мечтала о профессорской кафедре. Для этого ей нужно было защитить диссертацию и получить докторскую степень, что в то время возможно было только за границей (например, в Геттингене или Гейдельберге). Пока же Васильева работала в службе сборов подобно многим другим бестужевкам. Такая карьера считалась в то время для женщины успешной.

Марии Ивановне исполнилось 33 года, когда в ее жизни появился Александр Гликберг, и она никогда не была замужем. Это кажется удивительным, учитывая то, что в молодости она считалась красавицей, и то, что отец ее работал в Морском кадетском корпусе, где были завидные женихи. Наверняка эту женщину привлекало нечто иное, нежели судьба офицерской жены, если она обратила внимание на скромного

* Электронная база данных «СПб. Бестужевские высшие курсы» // http://history.h15.ru/db/db.php?table=

житомирского поэта. Мы с трудом представляем, как родители дали ей благословение на брак с сыном одесского провизора, недоучившимся гимназистом, мелким клерком, к тому же гораздо моложе ее. Это же скандал. Однако брак состоялся, и это говорит о том, что Мария Ивановна была совершенно самостоятельным человеком, феминисткой (не зря же она была бестужевкой). Тем не менее сплетен и разговоров не хотела, поэтому семейную жизнь с молодым мужем начала подальше от Бестужевских курсов, в центре города, на улице Николаевской, 74*.

На первый взгляд со стороны Васильевой никакой корысти в этом союзе не было — ее избранник не имел ни кола ни двора. С другой стороны, он был ей очень нужен, потому что для выезда за границу, в тот же Гейдельберг, требовалось быть замужем. Поспешность, с которой состоялась свадьба — в первые же месяцы по приезде Гликберга в Петербург — невольно наводит на мысль о том, что сначала это был брак по обоюдному расчету, который очень быстро перерос в глубочайшую дружбу. Сама Мария Ивановна признавалась, что отношение мужа к ней «...не была та страстная любовь, которую он испытывал к одной девушке в Житомире, а скорее глубокая привязанность к женщине-сестре-другу». Для Саши же этот союз был перспективен во всем: он попадал в столичные интеллигентские и академические круги, а заодно получал заботливую и терпеливую няньку. Современники утверждали, что поэт не написал бы и половины своих стихов, если бы жена «днем и ночью не охраняла его покой, создавая ему условия, в которых он мог бы творить, освобождая его от всех повседневных мелочей», потому что сам он был «абсолютно не приспособленный к жизни, непрактичный, беспомощный как ребенок» (*Праве В.* Воспоминания о Саше Черном). Эта расстановка сил видна на всех их сохранившихся совместных фотографиях: у него взгляд меланхолически-беспечный, у нее — мудрый и сосредоточенный.

Семейная жизнь Александра и Марии начиналась в непростое время, под гудки бастующих фабрик и грохот митингов. Надвигалась эпоха больших потрясений. Мы уверены, что именно Васильева «посвятила» мужа в петербуржцы и сделала все для того, чтобы к концу 1905 года он активно включился в общественно-политическую жизнь столицы. Бестужевки были заражены революционными идеями еще с первых лет царствования Александра III. По этой причине курсы даже не вели набор какое-то время (1886—1889). Васильева при поступ-

---

* Ныне улица Марата, 74.

лении уже подпадала под строгие требования: для зачисления она должна была представить письменное разрешение родителей, справку о наличии средств для безбедного существования; имела право жить только дома или у близких родственников — частные квартиры исключались. Однако строгие меры не помогали: 4 марта 1901 года бестужевки приняли участие в известной студенческой демонстрации у Казанского собора. Среди исключенных за это были Лидия Александровна Фотиева, будущий секретарь В. И. Ленина, Екатерина Александровна Бибергаль, первая любовь писателя Александра Грина, и другие.

Крупнейшие в то время революционные партии вели борьбу за души молодежи, которая в общем и делила свои симпатии между ПСР (эсерами) и РСДРП (эсдеками), имевшей с 1903 года две фракции: большевистскую и меньшевистскую. Судя по некоторым Сашиным стихам 1905 года, а также по тому, что в первые годы эмиграции он сотрудничал с эсеровской пражской газетой «Воля России», можно предположить, что его политические симпатии лежали именно в этой плоскости. Вместе с тем все начинающие литераторы находились тогда под обаянием личности Максима Горького, рупора социал-демократов, и Гликберг вряд ли был исключением. Любой писатель мечтал попасть в орбиту Горького, распространявшуюся на московский литературный кружок «Среда» и на Книгоиздательское товарищество «Знание».

Российское общество лихорадило. На рубеже 1904—1905 годов ситуация, обостряемая неудачной войной с Японией, начала выходить из-под контроля Министерства внутренних дел, возглавляемого князем Петром Дмитриевичем Святополк-Мирским. В первые дни нового, 1905 года начались беспорядки: 3 января забастовал Путиловский завод, 7 и 8 января началась всеобщая забастовка, в которой приняли участие свыше шестисот предприятий Петербурга. 9 января 1905 года произошли события, известные как Кровавое воскресенье — разгон мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу с петицией царю о рабочих нуждах, закончившийся стрельбой. Святополк-Мирского, подавшего в отставку после случившейся трагедии, заменили Александром Григорьевичем Булыгиным; была учреждена должность санкт-петербургского генерал-губернатора, и на нее назначили Дмитрия Федоровича Трепова.

Разумеется, молодежь была в первых бунтовских кругах. Мария Ивановна, постоянно поддерживавшая связь с Бестужевскими курсами, рассказывала мужу о том, что руководство приняло решение отменить занятия во втором полугодии

во избежание беспорядков. Ошалевшие от свободы курсистки бродили по городу, жадно читали прокламации.

Весной Петербург взорвала повесть Куприна «Поединок» — та самая, о беспорядках в армии. Степень откровенности в изображении духовного падения офицерства действительно была беспримерной. Куприн мгновенно стал «писателем № 1», а Горький, напечатавший его повесть в сборнике издательства «Знание», в который раз заставил говорить о себе как о человеке бесстрашном.

Однако было ясно, что кульминация еще впереди, и все чего-то ждали.

Александр Гликберг, еще недавно сетовавший, что в Житомире не происходит ничего значительнее мордобоя, оказался окружен событиями и драмами эпохального размаха. О его реакции на них мы ничего не знаем, потому что принадлежавших ему публикаций этого времени пока не обнаружено. Известно одно: летом 1905 года, когда Россию всколыхнули события на Черноморском флоте (восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический») и закончилась поражением война с Японией (23 августа), они с женой находились в свадебном путешествии по Италии. Судьба преподнесла нашему герою удивительный подарок: еще недавно он любовался гранитными берегами реки Тетерев, а теперь открывал для себя красоты венецианского Гранд-канала. В дальнейшем это станет традицией: лето супруги всегда будут проводить в путешествиях, неизменно возвращаясь в сентябре, к началу учебного года. Так было и в этот раз. В Петербург они прибыли вовремя. Приближались события, которые сделали из Александра Гликберга — Сашу Черного.

2

Едва молодожены вышли на работу, как оказались и сами вовлечены в революцию. 12 октября 1905 года Служба сборов Варшавской железной дороги вместе со всеми остальными вокзальными службами поддержала бастовавших московских коллег. Остановились также Балтийская и Николаевская железные дороги, за ними — городской транспорт. Закрылись магазины.

Петербург погрузился в странное безвременье и тишину. Добираясь пешком на службу, Александр и Мария приостанавливались возле стихийно возникавших групп людей, остолбенело читавших расклеенное по городу воззвание генерал-губернатора Трепова, в котором он извещал население о том, что приказал полиции подавлять беспорядки самым ре-

шительным образом, а «при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления — холостых залпов не давать и патронов не жалеть».

Семнадцатого октября 1905 года, подчиняясь ситуации, император издал манифест о гражданских свободах, гарантировавший неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. В середине ноября газеты принесли весть о восстании в Севастополе: матросы открыто выступили против командующего Черноморским флотом вице-адмирала Григория Павловича Чухнина. 15 ноября крейсер «Очаков», ставший штабом восстания, был расстрелян артиллерией судов, оставшихся верными присяге.

От происходившего кружилась голова.

И при этом гарантированная императорским манифестом свобода слова! Можно говорить и печатать всё что угодно. Предварительная цензура отменена. Такого Россия еще не знала. Немедленно расцвела сатирико-юмористическая печать, осмелевшая настолько, что обратила свой издевательский взор на политических деятелей всех уровней власти, включая императора. Чего стоил один только рисунок в журнале «Сигнал» (который редактировал недавно приехавший в Петербург одесский журналист Корней Чуковский). Во фразе из треповского приказа «патронов не жалеть» художник очень бледно вывел первые две буквы и получилось «тронов не жалеть»! Вот когда любой поэт, имевший сатирический дар, не должен был упустить свой момент. И Гликберг его не упустил.

...Конец ноября 1905 года. На Невском проспекте, в известном «доме Зингера» идет совещание редакции журнала «Зритель». Редактор-издатель, художник Юрий Константинович Арцыбушев, ставит в очередной номер забавное стихотворение «Чепуха» какого-то начинающего автора, подписавшегося Саша Черный. Арцыбушев рискует: недавно его ознакомили под роспись с новыми временными правилами о печати, по которым издание, допускающее материал, дискредитирующий государственную власть, подлежит преследованию в судебном порядке (конфискация тиража, денежный штраф, приостановка или запрещение издания, привлечение редактора к суду с заключением в тюрьму). «Чепуха» же содержала прямые оскорбления в адрес известных высокопоставленных чиновников и самого императора. Тем не менее стихотворение было напечатано.

Двадцать седьмого ноября 1905 года на страницах «Зрителя» (№ 23) произошло рождение нового сатирического поэта Саши Черного, и больше всех этому были рады Александр и Мария Гликберги. Журнал имел тираж до ста тысяч экземпля-

ров, и, значит, огромная аудитория узнала о Саше Черном, написавшем такие стихи, что моментально запоминались, легко ложились на частушечную мелодию, словом, — уходили в народ. Однако прежде чем рассказать, что это были за стихи, поговорим о псевдониме, который пристанет к Александру Гликбергу навсегда.

По нашему мнению, псевдоним Саша Черный нельзя рассматривать вне связи с тем текстом, под которым он впервые появился. «Чепуха» — это не название произведения в привычном для нас понимании, а жанровое обозначение, которое мы сегодня подзабыли (такое же, как, к примеру, баллада или былина). «Чепухой», «небывальщиной», а в целом «скоморошиной» на Руси называли фольклорные короткие рифмованные детские сказки, абсурдные по содержанию, воссоздающие «мир наизнанку», в котором нарушены все логические связи. Исполнялись «небывальщины» под аккомпанемент дудок (отсюда еще одно название «погудки») речитативом, скороговоркой. У русского читателя того времени стихотворение-чепуха вызывало конкретную ассоциацию с веселым обманом, а его автор — со скоморохом-балагуром, сочинившим детский стишок. Мы полагаем, что в подписи «Саша Черный» изначально присутствовал игровой, смеховой смысл, выраженный в уменьшительной форме имени: автор-де сам относит себя к миру детства. Если наша догадка верна, то становится на место и рассказанная Гликбергом история происхождения псевдонима «Черный» из его одесского детства: якобы в их семье было два Александра, один — блондин, второй — брюнет; чтобы их не путать, одного прозвали белым, другого — черным. Брюнету позже детское прозвище очень пригодилось как удачная находка — городу и миру явился Саша Черный.

Глубинный смысл подобного псевдонима, как нам кажется, коренится в традиции юродства. Этакий Саша (по-детски уменьшительным именем, иногда с ласкательным суффиксом, обычно и звали юродивых), вроде дурачок, бормочет какие-то детские стишки, а на самом деле очень смелые откровения. И выходит, что его смешная чепуха — не абсурд, а предостережение, пророчество, и надо бы прислушаться к нему, как исстари велось на Руси. Позднее из этой традиции выйдут самооплевание и самоуничижение лирического героя поэта, за что его станет критиковать Корней Чуковский, справедливо утверждая, что и «Саша Черный» всего лишь элемент сатирической маски — дескать, и сам автор является объектом насмешки (*Чуковский К.* Современные Ювеналы // Речь. 1909. 16/29 августа). Может быть, и насмешки, но в той мере, в какой можно насмехаться над детским или больным, юродивым сознанием.

Возможно, далеко не сразу Гликберг понял, что придуманный им псевдоним имеет еще и пародийный оттенок — не стоит упускать из вида литературную моду тех лет: Максим Горький, Андрей Белый. Именно последний мог натолкнуть Сашу на мысль стать его антиподом и противопоставить метафизике — материю, чистоте и свету — грязь и неприглядность жизни. Подтверждение своей догадке мы обнаружили в мемуарах современника поэта Виктора Шкловского: «Саша Черный своим псевдонимом напоминает Андрея Белого» (*Шкловский В. Б.* Жили-были. М.: Советский писатель, 1964). Марина Цветаева рассказывала о том, как ее дочь Ариадна перед сном молилась за всех своих близких и обязательно за Андрея Белого, а нянька предлагала ей заодно помолиться и за Сашу Черного. Гликберг здесь был ни при чем. По словам Цветаевой, «нянька и не подозревала о существовании Саши Черного», а имя это придумала «в противовес: *в противоцвет* Андрею Белому» (курсив М. Цветаевой. — *В. М.*)*. Позднее к Саше Гликбергу могло прийти понимание, что эпитет «черный» как нельзя лучше определяет характер и «цвет» его юмора.

Словом, мы полагаем, что никаких мрачных коннотаций придуманный Сашей псевдоним поначалу не имел, а само стихотворение «Чепуха» стало необыкновенно популярным не оттого, что содержало какие-то запредельно смелые выпады против власти (такие выпады тогда содержали едва ли не все материалы сатирико-юмористической прессы), а потому, что было просто остроумным и, возможно, очень смешным. Нам по прошествии столетия уже трудно уловить комизм, который улавливал читатель того времени, иначе не пошла бы «Чепуха» гулять по Петербургу и ее автор, как говорится, не проснулся бы знаменитым.

В «Чепухе» в атмосферу чехарды и небылицы вовлечены ведущие военные и политические деятели. Всего 14 имен, все подлинные. Не назван только «высокий господин маленького роста», «папа», но намек на Николая II был понятен всем. Четырнадцать куплетов, организованных по принципу дурацких перевертышей, повествуют о том, чего не может быть, и таким образом рождается сатирический эффект. Вот, к примеру, первый из куплетов:

Трепов — мягче сатаны,
Дурново — с талантом,
Нам свободы не нужны,
А рейтузы с кантом.

---

* *Цветаева М. И.* «Пленный дух» (Моя встреча с Андреем Белым) // http://tsvetaeva.lit—info.ru/tsvetaeva/proza/plennyj—duh—1.htm

Конечно, к генералу Трепову, отдавшему приказ «патронов не жалеть» и усмирявшему октябрьское восстание в 1905-м, никакие степени «мягкости» были не приложимы. «Талант» Петра Николаевича Дурново, министра внутренних дел в кабинете графа Витте, состоял в поддержке черносотенных организаций. Оба, и Трепов и Дурново, напрямую связаны со строками о предпочтении «рейтуз с кантом» (форма жандармерии) — политическим свободам, чего в то время никак не могло быть.

Фантастичен и второй куплет «Чепухи»:

Сослан Нейдгарт в рудники,
С ним Курлов туда же —
И за старые грехи —
Алексеев даже.

Дмитрий Борисович Нейдгарт и Павел Григорьевич Курлов — одесский и минский губернаторы, подавлявшие революционное движение «на местах», — если и могли быть сосланы, то лишь в вывернутой наизнанку чепухе. Адмирал Евгений Иванович Алексеев — наместник на Дальнем Востоке, с началом Русско-японской войны также главнокомандующий Дальневосточными вооруженными силами и, по мнению общественности, виновник поражения России — был «сослан», но не в рудники, а в Государственный совет.

В той же вывернутой наизнанку чепухе могло случиться то, что случилось в следующем куплете с Павлом Александровичем Крушеваном — создателем бессарабского отделения Союза русского народа (если вспомнить, что в программу союза входила не только защита монархии от революционных потрясений, но и борьба с «засильем инородцев»):

Монастырь наш подарил
Нищему копейку,
Крушеван усыновил
Старую еврейку...

Мы не станем здесь рассматривать все куплеты «Чепухи», остановимся лишь на тех, которые впоследствии доставили серьезные неприятности издателю «Зрителя» Арцыбушеву:

Разорвался апельсин
У Дворцова мóста... —
Где высокий гражданин
Маленького роста?*

---

* Это своего рода пародия на популярную петербургскую нескладушку:

На углу Большой Морской
У Тучкова моста
Жил высокий господин
Маленького роста и т. д.

Также приведем куплет, от которого лишился бы дара речи Константин Константинович Роше, воспитывавший Сашу в религиозном духе.

Как известно, императрица Александра Федоровна долго не могла подарить Николаю II наследника. В 1903 году они побывали в Сарове на церковных торжествах по случаю прославления преподобного Серафима Саровского, где императрица молилась о даровании ей сына, увезла с собой в Петербург икону преподобного, а через год случилось чудо — родился цесаревич Алексей. Автор «Чепухи» подобные чудеса относит к разряду небывальщины:

Появился Серафим —
Появились дети.
Папу видели за сим
В ложе у Неметти...*

Крамольное стихотворение привело к тому, что на Арцыбушева было заведено уголовное дело, где фигурировал выпуск журнала с «Чепухой». Возмущенный цензор обвел эти строфы красным карандашом, а строфу «Разорвался апельсин...» дополнительно отчеркнул синим**. На двадцать пятом номере «Зритель» был запрещен, а Арцыбушева приговорили к двум с половиной годам заключения (был оправдан после кассационной жалобы в Сенат).

Саша, вкусив скандальной славы, с головой ушел в революционную сатирическую журналистику. Псевдоним, который стал известен тысячам читателей, он решил сохранить, хотя и от подлинного имени не отказался. Спустя годы поэт посетует на то, что стихи, опубликованные под псевдонимом «Саша Черный», неизменно оказывались талантливее тех, которые вышли под именем «А. Гликберг». Он будет страстно желать избавиться от этого «детского» Саши, вырасти из него, но тщетно: маска отомстит и прирастет навсегда. Наступит и

---

* «У Неметти» — разговорное название одного из театров, принадлежавших предприимчивой актрисе Вере Александровне Линской-Неметти (1856 – 1910): среди них основанный ею в 1887 году «Театр и сад Неметти», репертуар которого составляли легкие комедии и фарсы, а в 1904-м — Невский (Новый Петербургский) театр В. А. Неметти с тем же репертуаром. Намек на увлечение императора Николая II «актрисками», в чем, насколько известно, он замечен не был (если не считать его юношеское, в бытность наследником, увлечение балериной Матильдой Кшесинской); характерный для того времени пример демонизации монарха и монархии со стороны радикально настроенной части творческой интеллигенции. — *Прим. ред.*

** Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 777. Оп. 25. Ед. хр. 919.

то время, когда виски у него уже посеребрятся, а его по-прежнему будут называть Сашей. Придется смириться.

Но вернемся в Петербург 1905 года. Столица бурлила. Через несколько дней после выхода «Зрителя» с «Чепухой» газета «Наша жизнь» опубликовала очерк Куприна «События в Севастополе (Ночь 15 ноября)», присланный им из крымской Балаклавы. Писатель, недавно прогремевший «Поединком» и получивший репутацию едва ли не нового «буревестника», стал очевидцем подавления восстания на Черноморском флоте и расстрела крейсера «Очаков». В очерке Куприн дал убийственную характеристику командующему флотом адмиралу Чухнину, жестоко наказавшему бунтовщиков.

Вскоре, в середине декабря, вернулся из Крыма и сам взбешенный Куприн. За очерк о Чухнине его выслали из Балаклавы, где он только-только начал благоустраивать дачный участок. Этот скандал широко обсуждался в редакции сатирико-юмористического журнала «Молот», с которым Куприн согласился сотрудничать. Журнал имел к нашему герою непосредственное отношение. «Молот» выпускала семья Диксон: Александра Карловна значилась издательницей, а ее супруг редактировал журнал совместно с художником Николаем Николаевичем Герардовым. Так, после закрытия «Зрителя» популяризацией творчества Саши Черного занялись его «сводные» родственники по линии Роше.

Первый номер журнала увидел свет 22 декабря 1905 года, и одним из ударов «Молота» по наковальне революции стало опубликованное в нем стихотворение Саши Черного «Мундирную честь заливают вином...». Поэт зарифмовал инцидент в ресторане: некий штатский случайно толкнул находившегося там корнета и не извинился, за что корнет зарубил «обидчика» шашкой. Армейская тема в те декабрьские дни была одной из самых животрепещущих, поскольку митингующая общественность возмущалась поведением гарнизонов в городах при подавлении оппозиционных выступлений. Эти настроения, в частности, были отражены Валентином Серовым в картине «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»: на безоружную демонстрацию летят на полном ходу кавалеристы, кто обнажив шашку, кто прицелившись, кто оголив штык. Картина была воспроизведена в первом номере журнала «Жупел» (1905), за которым стоял Горький.

Саша Черный, несмотря на собственное утверждение, что в армии ему было хорошо и никто к нему не придирался, тоже принялся разоблачать порядки и во второй номер «Молота» дал стихотворение «Словесность», из-за которого журнал немедленно закрыли. В качестве эпиграфа поэт поместил тезис

из воинского устава: «Звание солдата почетно», а под ним развернул небольшую сценку. Унтер-офицер издевается над солдатом, а тот то ли от тупости, то ли от страха не может ни повторить восторженного догмата о звании солдата, ни ответить на вопрос, «кто у нас бригадный». Поток брани, от «фефелы» до «идиота» и «собачьей морды», перемежается ударами то в ухо, то в зубы.

«Словесность» вряд ли могла расшатать устои российской армии, но стала приговором Константину Ивановичу Диксону и его журналу. «Молот» пришлось ликвидировать, а Диксон попал под суд. Чтобы скрыться от наказания, он бежал за границу. Саша же продолжал работать с бывшим коллективом «Зрителя», который вновь и вновь возрождал журнал под новыми именами, а также с журналом «Леший», редакция которого располагалась на улице Гоголя, прямо во дворе облюбованного богемой и литераторами ресторана «Вена». Саша Черный имел полное право здесь пировать — в 1906 году он уже выпустил первый сборник стихов «Разные мотивы».

Появление этой тонкой книжечки, подписанной подлинным именем А. М. Гликберг и имеющей на обложке ремарку «Доход поступает в пользу библиотеки служащих С.-Петербурго-Варшавской ж. д.», представляется нам большой загадкой. Вряд ли можно заподозрить Сашу, который недавно женился и должен был на какие-то средства содержать семью, в благотворительности в пользу родного предприятия. Следовательно, книгу издало само предприятие, потому она и подписана настоящим именем, а не псевдонимом. Затрудняемся сказать, почему биограф поэта Анатолий Иванов предположил, что тираж «Разных мотивов» оплатил Константин Константинович Роше, и вывод этот сделал на единственном основании: летом 1906 года в той же типографии* вышла книга самого Роше «Поэма души».

Позволим себе усомниться в том, что действительный статский советник, патриот и гражданин, глубоко религиозный человек Роше дал деньги на издание крамольных революционных стихов, а они в сборнике «Разные мотивы» представлены. Одна лишь «Чепуха», где автор оскорбил не только память преподобного Серафима Саровского, но и Синод, должна была в корне пресечь желание Константина Константиновича и дальше помогать Александру Гликбергу на литературном поприще. И потом: если издание финансировал Роше, причем здесь библиотека служащих железной дороги? Что

* «Электропечатня» Я. Ф. Кровицкого, располагавшаяся на улице Разъезжей, 6.

касается выбора типографии, то как раз в это время она выполняла заказ Бестужевских курсов, печатая отчет Общества вспоможения окончившим курс наук за 1905 год. Мария Ивановна состояла в этом обществе, и наверняка типографию нашла именно она.

Определить точное время выхода «Разных мотивов» — начало 1906 года — можно по косвенным признакам, а именно по датировке помещенных в сборнике стихотворений петербургского периода. Это стихи, опубликованные в журналах в ноябре 1905-го — начале января 1906 года, не позднее. Ни второй «Чепухи»*, напечатанной в «Масках» 1 февраля, ни других стихотворений зимы — весны 1906 года в сборнике нет, да и открывающее его стихотворение «1906» убедительно намекает на то, что автор встречает именно этот новый год и пытается заглянуть в будущее. Прогнозы его таковы, что могли быть только в самом начале 1906 года, а позднее уже воспринимались скептически:

Новый год стоит в передней,
Новый год сейчас придет,
Год борьбы, борьбы последней —
Что с собою принесет?
Казнокрадам суд народный,
Палачам тюрьмы позор!..
Всем врагам народ свободный
Свой объявит приговор.

И так далее. Общий пафос ясен.

Помимо произведений, рожденных революцией, в «Разные мотивы» вошли стихи, привезенные из Житомира, а также созданные в первое время пребывания в столице («Осень в Петербурге» и «Скверная история» о конторщике-поэте, вынужденном томиться в службе сборов). Общее впечатление от сборника довольно тоскливое, не случайно Гликберг предпочитал никогда о нем не вспоминать. Поэтический почерк еще очень неуверенный, автор боится хоть на шаг отойти от образцов, которые кажутся ему авторитетными, и почти не смеет говорить по-своему. Там же, где он осмеливается, немедленно чувствуется, что это написал Саша Черный. К примеру, в сатирическом наброске «Правовед»:

Профиль лошади английской,
Взгляд стеклянный мертвеца,
Фат с величьем олимпийским
И с душою наглеца.

* Саша Черный в общей сложности опубликовал три «Чепухи»: в «Зрителе» (1905. № 23), «Масках» (1906. № 1) и «Сатириконе» (1908. № 6).

....
И невольно пораженный,
Если случай с ним столкнет,
Долго думаешь смущенный:
Человек он — или скот?

Едва ли не самый важный момент, отмеченный нами в первой книге Саши Черного, это адресат стихотворения «Кровь ударяет горячей волною в виски...»: «Всем нищим духом посвящаю». Здесь мы впервые встречаемся с тем типом лирического героя, что станет одним из основных в сатириконском творчестве поэта, — «нищим духом» интеллигентом. Он же станет одной из Сашиных авторских ролевых масок. В 1905—1906 годах поэт употреблял понятие «нищие духом» не в каноническом библейском смысле, а в буквальном: человек «с горькой улыбкой безверья», раздавленный и малодушный, сломленный и опустошенный. Со временем Саша Черный вернется к исконному смыслу этого поняния, и его лирический герой отчетливо заговорит голосом «нищего духом» блаженного, любимого Богом*.

Сборник «Разные мотивы» прошел незамеченным. Впрочем, сотрудники библиотеки Варшавской железной дороги, вне всяких сомнений, им гордились и поставили куда-нибудь на видное место. Их сотрудник Гликберг всю зиму 1906 года заставлял о себе говорить, оперативно откликаясь на актуальные события. Он и комментировал ожидание открытия Государственной думы («Чепуха: Репортаж за неделю», «Две Думы»), и клеймил воинствующих черносотенцев, в том числе епископа Волынского и Житомирского Антония** («Пастырь добрый»). Последнее стихотворение — настоящий нож в спину семье Роше, боготворившей проповедника. Так ославить Житомир и заодно своих покровителей!

К весне 1906 года поэт начал уставать. Не от борьбы, как он ее понимал, а от того, что ничего не меняется и всё утонуло в болтовне:

Слишком много разговоров,
Пересудов, перекоров.

---

* В святоотеческом толковании под *нищими духом* понимаются те, кто стремится стяжать важнейшую христианскую добродетель – смирение, кто склоняется перед заповедями Божиими с пониманием, что ничего доброго нельзя сделать без Божией помощи и благодати. Через пророка Исайю Бог называет их угодными Себе: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:2). Антипод *нищего духом* – человек гордый, считающий себя духовно богатым (см.: *Иоанн Златоуст, святой.* Беседы на святаго Матфея евангелиста). – *Прим. ред.*

** Епископ Волынский и Житомирский Антоний в 1905 году поддержал основание Союза русского народа и возглавил его Волынское отделение.

Бесконечных рассуждений,
Полувзглядов, полумнений...
Слишком много.
....
Слишком много слуг лукавых,
Партий правых, жертв кровавых,
И растет в душе тревога,
Что терпения у Бога
Слишком много!
(«Слишком много разговоров...», 1906)

Политические баталии начинали утомлять. Всё чаще Саша Черный слышал стенания о том, что не все ли равно, кто у власти, лишь бы прекратились кровопролитие, аресты и неразбериха. Бессмертный обыватель всё отчетливее подавал голос. В известном Сашином стихотворении «Жалобы обывателя» (1906) этот голос превращается в стон отчаяния:

Моя жена — наседка,
Мой сын, увы, эсер.
Моя сестра — кадетка.
Мой дворник — старовер.
Кухарка — монархистка,
Аристократ свояк.
Мамаша анархистка.
А я, я — просто так.

Лирический герой, осатанев от общего семейного помешательства, восклицает: «Я просто обыватель, я просто жить хочу!» Не представляя, как унять домочадцев, он просит помощи у Бога, заламывает руки в отчаянии, мечтает сбежать в Америку.

Сбежать из России собирался и сам Саша Черный.

Имя поэта исчезло со страниц печати в марте 1906 года и не появлялось там около двух лет. Общее место всех биографий Гликберга — утверждение, будто все это время он слушал курс лекций в Гейдельбергском университете. Однако с чего бы вдруг ему там оказаться? Мы считаем, что поездка в Гейдельберг нужна была Марии Ивановне, а муж ее сопровождал и посещал лекции в качестве вольнослушателя. Не исключено и то, что жена старалась хоть немного «подтянуть» его до своего образовательного уровня. Тем более что поступить в российский университет Саша Черный не смог бы по многим причинам, прежде всего потому, что не окончил полного курса гимназии. Вполне возможно и то, что супруги скрывались. Опасаясь репрессий, которыми уже определенно запахло, многие активные участники революционных событий, и литераторы в том числе, уезжали в то время за границу пере-

ждать, пересидеть. Достаточно вспомнить Максима Горького или Леонида Андреева.

Летний учебный семестр в Гейдельбергском университете начинался 15 апреля 1906 года. Саша Черный, покидая Россию, предрекал:

Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин, —
Воля улыбнется!
Полицейский! будь покоен —
Старый гнет вернется...
(«Пародия», 1906)*

Поэт не ошибся: через пару лет он вернется в другую страну, присмиревшую и затаившуюся, удерживаемую железной хваткой нового премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Сейчас же Сашу Гликберга, посредственного в прошлом гимназиста, ожидал легендарный Гейдельберг — царство демократии, интеллекта, студенческих пирушек и потрясающих видов. Он уезжал с Варшавского вокзала, с перрона, сборы за который высчитывал около трех лет.

Варшава.

Торн — граница. Проверка документов.

Берлин с его мрачной сутолокой. Поезд до Гейдельберга — и здравствуй, свобода!

Мария Ивановна будет работать над диссертацией, а Саша, как и полагается добропорядочному ваганту, — сидеть в пивной «У Перкео» и писать стихи.

---

* Пародия на басню Козьмы Пруткова «Юнкер Шмидт» (1854).

Глава третья

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ВАГАНТ

Вагантами средневековая Европа окрестила бродяг, которые зарабатывали на хлеб насущный сочинительством и пением. Значительный процент этого веселого и крамольного потока составляли студенты, шатавшиеся во время вакаций по дорогам и потешавшие горожан и селян эпикурейскими виршами. Именно они сложили знаменитый гимн «Гаудеамус», право на который уверенно оспаривает Гейдельбергский университет, основанный в XIV веке и бывший тогда четвёртым по старшинству после Болонского, Пражского и Венского университетов на территории Священной Римской империи*. Около года Саша Черный, прибывший сюда весной 1906 года, будет чувствовать себя вагантом.

Знакомство с новой страной началось для поэта с центрального вокзала Берлина, где нужно было ожидать поезда до Гейдельберга. В германской столице, которая ничего интересного ему с женой не подарила, мы могли бы и не задерживаться, если бы не одно обстоятельство: именно этот город спустя 14 лет приютит их, беженцев из революционной России. Поэтому посмотрим, какое впечатление произвел Берлин на героя Сашиных стихотворений.

Берлин у русских путешественников тех лет вызывал на редкость одинаковые отрицательные эмоции: серость, скука, кич, какая-то тяжеловесность жизни, проявляющаяся в том числе и в пище. Саша Черный не стал исключением. Ему были смешны «нелепые монументы из чванного железа», большей частью изображающие «квадратных Вильгельмов на наглых лошадях», пошлые магазины, заваленные барахлом, и живущий в этом городе «толстый шаблон» одинаковых лиц.

---

*Священная Римская империя (с 1512 года – Священная Римская империя германской нации) — государственное образование, существовавшее с 962 по 1806 год и объединявшее многие территории Европы. В период наивысшего расцвета в состав империи входили: Германия (ее центр), Северная и Центральная Италия, Нидерланды, Чехия, а также некоторые регионы Франции.

Поэт не мог не спуститься в метро, потому что до сих пор ничего подобного не видел. Спустился — и тут же почувствовал себя ненужной песчинкой в аду:

Над крышами мчатся вагоны, скрежещут машины,
Под крышами мчатся вагоны, автобусы гнусно пыхтят.
О, скоро людей будут наливать по горло бензином,
И люди, шипя, по серым камням заскользят!
Летал по подземной дороге, летал по надземной,
Ругал берлинцев и пиво тянул без конца.

(«В Берлине», 1911)

В Берлине было страшно и неуютно, всё гремело и лязгало... Спокойствие пришло в Гейдельберге, куда цивилизация, казалось, недоставала. Один из путешественников тех лет, прибывший туда учиться в университете, так передавал свои первые впечатления от городка: «...приветливый утренний Гейдельберг показался мне прелестною, сказочною идиллией... Направо от меня возвышались подернутые легким туманом Оденвальдские горы. Среди них живописно гнездился знаменитый Гейдельбергский замок со своею древнею круглою башней. Налево быстро нес свои глинистые воды широкий от долгих дождей Неккар, перехваченный старинным горбатым мостом. По параллельной Неккару главной улице неторопливо катился маленький открытый трамвайчик. Через мост у вокзала пыхтел совершенно игрушечный паровозик с двумя такими же игрушечными вагончиками. Среди красных черепичных крыш тесного города возносилась в перламутровое небо готическая башня собора» (*Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. Т. I. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956. С. 99). Известный философ Федор Августович Степун учился в Гейдельберге с перерывами в 1902—1910 годах и, вполне вероятно, в какой-то момент «совпал» с Сашей Черным и его женой, хотя в мемуарах их не вспоминал.

У Степуна и Марии Ивановны были общие интересы: оба увлекались философией. В Гейдельберге в то время преподавали крупнейшие представители Баденской неокантианской школы — Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт. Стены аудиторий еще помнили лекции Гегеля, проработавшего здесь два года (1816—1818). Желающие посещать лекции и семинары по философии, согласно принятой процедуре, после подачи документов должны были нанести личный визит Виндельбанду. Степун, прошедший тот же путь, вспоминал, что профессор жил буржуазно: студентов принимал в дорого обставленном кабинете, переполненном книгами и украшенном портретами великих философов в рамах.

Попробуем представить себе знакомство Саши Черного с городком по приметам в его стихах. Мария Ивановна могла отправиться к профессору Виндельбанду и одна, дабы записать себя и мужа на посещение определенных курсов. Где мог быть в это время муж? Возможно, что он еще и не вставал с постели, а если все же встал, то проклинал звуки фисгармонии, под которую хозяева пансиона заводили псалмы, нарушая сон постояльцев «сквернопением в стихах».

Место, где они с женой поселились и жили «благородно и легко», остается не до конца разгаданным. Судя по стихам поэта, это был горный пансион «высоко над Гейдельбергом», и в город ему приходилось спускаться. Он жаловался, что в столовой пансиона по стенам были развешаны изображения почек, печени и сердец, пораженных алкогольным недугом. Хозяева поддерживали церковную организацию «Голубой крест» (*Blaue Kreuz*), сражавшуюся с алкоголизмом. Благочестие хозяев, впрочем, сочеталось с фантастической жестокостью. Каждый день после пения псалмов хозяин умильно кормил кроликов, а по пятницам деловито их резал под навесом у стены.

Отталкиваясь в своем поиске от организации «Голубой крест», мы и обнаружили нужное место. Вполне возможно, что Саша Черный жил в отеле «Вартбург», стоявшем в горах, неподалеку от главной достопримечательности Гейдельберга — средневекового замка курфюрстов Пфальца. Собственно, отель занимал третий этаж, второй был отведен для лечения хроников (хоспис), а на первом располагалась та самая столовая со страшными картинками. Кормили здесь, по мнению поэта, отвратительно:

Суп с крыжовником ужасен,
Вермишель с сиропом — тоже,
Но чернила с рыбьим жиром
Всех напитков их вкусней.
Здесь поят сырой водою,
Молочком, цикорным кофе
И кощунственным отваром
Из овса и ячменя.
О, когда на райских клумбах подают такую гадость,
Лучше жидкое железо пить с блудницами в аду.

(«KINDERBALSAM», 1910)

Сбежим отсюда вместе с Сашей в город, где он, по собственному признанию, «часами... сонно слоняться готов» (стихотворение «В полдень тенью и миром полны переулки...», 1922), и отправимся завтракать по-настоящему — супом с крыжовником сыт не будешь — и, разумеется, пить пиво.

Спустившись по склону холма, Саша оказывается на Га-

уптштрассе, главной улице Гейдельберга, и вливается в людской поток. Жара... Призывно распахнуты окна пивных и трактирчиков. Идти трудно: народу много, а тротуар очень узкий. Взгляд праздного поэта задерживается на странных для русского глаза студентах: физиономии их изранены, в руках палки, на головах одинаковые шапочки с вышитыми эмблемами, некоторые украшены перьями, которые Саша сравнивает с оперением цветных попугаев («Улица в южно-германском городе», 1910). Студенты громко хохочут и явно навеселе, почти возле каждого вьется кривоногий бульдог. Поэт уже знает, кто это такие, — местная экзотика, корпоранты, с которыми не стоит связываться. В витринах магазинов, куда он переводит взгляд, чего только нет: булки, трубки, гипсовые фигурки Иисуса, книги... Пока Черный глазеет на витрины, расскажем о корпорантах, с которыми он вскоре окажется в одной пивной.

Нельзя сказать, чтобы русские студенты, приезжавшие в Гейдельберг, были совсем незнакомы с понятием корпорации. В России подобные формы студенческого самоуправления (например, землячества) существовали с начала XIX века и создавались в подражание тем же немецким корпорациям, имевшим интересную историю и традиции. Первые объединения студентов по национальному признаку, так называемые «nationes» («нации»), возникли в XIII веке в Болонском университете, старейшем в Европе. Идея стала популярной и со временем оформилась в корпоративные образования по различным признакам: национальному, географическому, по принадлежности к факультету. Каждая корпорация имела свой девиз, атрибутику (знамена, гербы, гимны), систему ритуалов, связанных с принятием новичков, переходом из младших категорий в старшие, с выборами и т. д. Новички носили титулы «пеналера» или «фукса» и мечтали стать «буршами», для чего нужно было проучиться какое-то время, сдать вступительный экзамен на знание дуэльного кодекса и на умение пить пиво, принять участие в нескольких поединках, заработать побольше шрамов. Чем больше шрамов, тем солиднее корпорант. Обладатель шрама от уха до рта считался непререкаемым авторитетом.

Дуэль являлась обязательным элементом кодекса чести корпорантов и в начале XX века, потому Саша Черный, оказавшийся вместе с ними в гостеприимном трактире «Перкео», едва ли не самом популярном в то время, был осторожен.

У входа поэт с улыбкой рассмотрел вывеску: смешной карлик в нарядном камзольчике, с маленькой шпажкой в ручонке. Это гейдельбергский шут Перкео, ставший символом города. Он жил в XVIII веке при дворе Карла Филиппа, славился

безудержным пьянством и, по преданию, прозвище получил так: на вопрос, хочет ли он выпить еще, шут всегда отвечал: «Perche no?» («Почему нет?») Смерть его была не менее шутовской, нежели жизнь: якобы однажды он выпил вместо вина стакан воды и с непривычки испустил дух. Войдем в трактир, присядем у окна и вместе с поэтом выглянем на улочку, с которой только что пришли:

Жара. У «Perkeo» открылись окошки.
Отрадно сидеть в холодке и смотреть:
Вон цуг корпорантов. За дрожками дрожки...
Поют и хохочут. Как пьяным не петь!
(«Улица в южно-германском городе»)

Буянят корпоранты за соседним столом. Похоже, что нашему герою довелось наблюдать настоящую «саламандру» (один из их обрядов): презус, старшина корпорантов, выкрикивает длиннейший тост, делая в нужных местах паузу, заполняемую оглушительным ревом всей компании, затем корпоранты по его команде поднимают кружки, по команде их осушают и одновременно, одним ударом, ставят их на стол:

Качаясь, председатель с кружкой
Встает и бьет себя в жилет:
«Собравшись... грозно... за пирушкой,
Мы шлем... отечеству... привет...»
Блестит на рожах черный пластырь.
Клубится дым, ревут ослы,
И ресторатор, добрый пастырь,
Обходит, кланяясь, столы.
(«Корпоранты», 1911)

Свои впечатления поэт запечатлел и в прозе: «Несколько длинных буршей, качаясь перед самой эстрадой, подымали кружки, бормотали что-то, чокались с герр директором и изо всех сил старались показать остальному обществу, что они ужасно пьяны и готовы на всё. Бульдоги выглядывали из-под стульев своих хозяев, ловили на лету подачки и опять равнодушно укладывались, — домой еще не скоро. Какой-то корпорант-фукс в малиновом кепи, улыбаясь, как рыжий в цирке, полез на эстраду, пробрался к турецкому барабану и под поощрительный хохот своей корпорации бахнул кулаком в тугую кожу. Потом смутился и, не зная, что ему дальше делать, глупо раскланялся и сошел к своим» («Мирцль», 1914).

Судя по всему, Сашу мало воодушевляла эта алкогольная истерия. То ли дело местные «валькирии с кружкой» — кельнерши!

Улыбнулась корпорантам,
Псу под столиком — и мне.
Прикоснуться б только к бантам,
К черным бантам на спине!
(«Кельнерша», 1922)

Опасно поэта оставлять один на один с местными Валькириями, к тому же напоминавшими своими формами житомирских чаровниц. Пользуясь правом повествователя, перенесем к поэту в трактир Марию Ивановну, что совсем не противоречит возможной реальности, и побродим вместе с ними по городу, посетив те места, без которых представление о Гейдельберге будет неполным.

По мосту через реку Неккар попадаем на другой берег и подымаемся к знаменитой Философской тропе. Мария Ивановна, должно быть, испытывает здесь особое чувство: по этой тропе некогда прогуливались Гегель, Фейербах. Сашу, возможно, более волнует то, что здесь же ходили Гёте, Гюго, Марк Твен, Тургенев... Может быть, им приходит на память финал «Отцов и детей»: девица-эмансипе Кукшина изучает архитектуру в Гейдельбергском университете. С Философской тропы они смотрят на противоположный крутой берег реки, стараясь разглядеть свой пансион. Руины замка видны отчетливо, значит, какой-то из аккуратных домиков под цветными крышами — их.

Спускается вечер. Наши герои бродят среди руин Гейдельбергского замка. Он тоже символ города. Построенный то ли в XIII, то ли в XIV столетии и некогда величественный замок пережил немало нападений, десятилетиями растаскивался жителями и все равно являет собой романтическое зрелище. Задрав голову, Саша Черный рассматривает самую высокую башню, объект паломничества праздных гуляк и любителей пикников. «Возле башни палатка с открытками: / Бюст со спицами спит над салфеткой...» — вспоминал поэт, увековечив безвестный «бюст», как видно, вкусно поевший и вздремнувший в тот момент, когда насмешливый Саша обратил на него внимание («Немецкий лес», 1910). Увековечил он и другой сюжет: к «горной башне “с видом”», пыхтя, ползут «немецкие быки», при них «почтенные комоды» в подоткнутых юбках. Маршируя, их обгоняют члены ферейна* «Любителей прогулок»: «Десятков семь орущих, красных булок, / Значки, мешки и посредине флаг» («Как францы гуляют», 1910).

Ферейн распространяется по поляне, а Саша и Мария Ивановна с трепетом подходят к «дереву Гёте» — так здесь назы-

* Ф е р е й н — общество *(нем.)*.

вают огромное дерево гинкго билоба, растущее в саду замка. Девяносто один год назад рядом с ним стояли седовласый Гёте и его последняя любовь Марианна фон Виллемер. Гёте читал любимой женщине стихи:

Существо ли здесь живое
Разделилось пополам,
Иль, напротив, сразу двое
Предстают в единстве нам?
(«Гинкго билоба», 1815)

От поэзии — к прозе, и вот уже Саша Черный с женой рассматривают удивительный экспонат внутри замка — самую большую в мире винную бочку. Царь-бочкой назвали ее русские путешественники по аналогии с кремлевскими Царь-колоколом и Царь-пушкой. Рядом с бочкой — деревянная раскрашенная фигура уже знакомого нам шута Перкео. По легенде, именно он некогда посоветовал владельцу замка создать эту бочку, дабы собирать налог с виноделов натуральной оплатой. Бочка такая огромная, что поверх нее соорудили танцплощадку.

Возвращались домой, когда на Гейдельберг уже спустилась ночь:

На замковой террасе ночь и тьма.
Гуляют бюргеры, студенты и бульдоги,
Внизу мигают тихие дома,
Искрятся улицы и теплются дороги.
(«На замковой террасе», 1911)

Кому-то подмигивали дома, а Саше в пансионе «печенки грешных пьяниц» дружно «моргают со стены» («Карнавал в Гейдельберге», 1909). И вместе с тем:

Так, над тихим Гейдельбергом
В тихом горном пансионе,
Я живу, как римский папа,
Свято, праздно и легко.

Вот сейчас я влез в перину
И смотрю в карниз, как ангел:
В чреве томно стонет солод
И бульбулькает вода.

Чу, внизу опять гнусавят.
Всем друзьям и незнакомым,
Мошкам, птичкам и собачкам
Отпускаю все грехи...
(«KINDERBALSAM»)

Дни летели и были наполнены не только праздным шатанием. Поговорим об академической стороне пребывания Саши Черного в Гейдельберге.

Анатолий Иванов, вероятно, видевший какие-то документы, утверждал, что поэт в качестве вольнослушателя посещал лекции философского факультета в течение двух семестров: летнего (с 15 апреля по 15 августа 1906 года) и зимнего (с 15 октября 1906 года по 15 марта 1907 года). Какие это были лекции, попробуем предположить, исходя из задач Марии Ивановны. В то время каждый желающий получить докторскую степень должен был пройти такую же процедуру, что и сегодня в российских вузах при защите кандидатской диссертации. Помимо представления в срок рукописи (на немецком языке), требовалось сдать три экзамена: по философии, государственному праву и немецкой литературе.

Существует как минимум два указания на то, что Мария Ивановна научную степень получила. Корней Чуковский вспоминал, что она была доктор философии (*Чуковский К.* Саша Черный // *Чуковский К.* Современники: Портреты и этюды. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 367). Максим Горький после того, как чета Гликберг гостила у него на Капри, писал жене: «...она (Мария Ивановна. — *В. М.*) читает логику и психологию на Бестужевских курсах — профессорша» (цит. по: Мемуары М. И. Гликберг. С. 238). Нам не удалось найти имени Васильевой среди преподавателей Бестужевских курсов, однако по возвращении из Германии она будет допущена к работе на Высших женских курсах Раева, о чем мы расскажем в свое время. Диссертации Марии Ивановны в библиотеке Гейдельбергского университета тоже нет, зато там есть ее перевод работы французского философа Фредерика Полана «Воля», изданный в Петербурге в 1907 году*. Тема работы полностью совпадает с направленностью философских семинаров Виндельбанда, автора работы «О свободе воли» (1904).

Вне всяких сомнений, Саша Черный на семинарах бывал, хотя его Гейдельбергский цикл, достаточно объемный, содержит единственное стихотворение, подтверждающее его присутствие в университетской аудитории. Оно посвящено именно Виндельбанду, который на многих производил странное впечатление. Федор Степун, бесконечно уважавший этого профессора и писавший под его руководством диссертацию, тем не менее про себя дразнил его «пивоваром» и описывал так: «Грузный человек с очень большим животом и маленькой головкой, вместо шеи — красная складка над очень низким во-

* См.: *Полан Ф.* Воля / Пер. с фр. языка М. И. Васильевой. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1907.

ротником» (*Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. С. 100). Другой русский студент, Николай Николаевич Алексеев, признавался, что в Москве его поражало изящество стиля Виндельбанда, а когда в Гейдельберге «на кафедру вошел полный, с бородой клочьями и визжащим, фальцетным голосом философ, то в его устной речи пропало все изящество и блеск мысли» (цит. по: *Дмитриева Н. А.* Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 59—60). Это противоречие сразу же заметил и Саша Черный: все хотят учиться у Виндельбанда, но слушать его тяжело. Поэт описал одну из лекций. Студенты внимательно слушают профессора, «не упуская слова», и вдруг, оборвав рассказ, тот сообщает, что следующей лекции не будет, так как ему нужно «в ученое собранье»:

Вмиг крики поднялись
И топот ног и ржанье —
Философы как с цепи сорвались:
«Hoch! Hoch!* Благодарим! Отлично! Браво!»
Профессор посмотрел налево и направо,
Недоуменно поднял плечи
И, улыбаясь, перешел к дальнейшей речи.
(«Философы», 1911)

Поясним: дружное топанье ногами — это знак высочайшего одобрения, то есть студенты университета вели себя не взрослее школяров, кричащих «ура!» при известии, что учитель заболел. Возможно и другое объяснение: слушать Виндельбанда и называться его учеником было престижно, однако далеко не все студенты хорошо знали немецкий язык. «Ты — маленький немец, а я — иноземец», — писал Саша в стихотворении «С приятелем» (1910), обращенном к маленькому немецкому мальчику Фрицу, который что-то пытается объяснить русскому дяде, а тот ничего не понимает, и приходится им гулять молча. Эту же тему Саша Черный довел до фантасмагории, если не до трагизма в рассказе «Как студент съел свой ключ и что из этого вышло» (1908). Герой его, русский студент, в неком германском университете записался слушать лекции по химии и бактериологии, но при этом ни слова не понимал. Как-то, перепив с друзьями, он потерял ключ и не мог попасть домой. Пытаясь объяснить полицейскому, в чем дело, он перепутал все немецкие слова и вместо «потерял ключ» сообщил, что проглотил ключ величиной в десять сантиметров. Его прооперировали, но ничего не нашли, кроме пива. Студенту это

* Возглас радости и одобрения, аналогичный русскому «ура!».

уже было все равно, потому что он умер на операционном столе. Возвращаясь к автору этого мрачного рассказа, зададимся вопросом: что он мог понимать на лекциях Виндельбанда, даже если бы тот читал их по-русски? Философия – сложнейшая наука, и нужна специальная подготовка.

Другое дело литература. Можно кое-как усваивать теоретические аспекты лекций, но при этом слушать оригинальные тексты на немецком языке, улавливать мелодию, ритм, экспрессию. Саше Черному повезло: он оказался сопричастен самой истории литературы, ведь Гейдельбергский университет — это целая эпоха в становлении немецкого романтизма. Здесь в 1805—1809 годах сложилась школа, участники которой («вторые романтики», после йенских) проявляли повышенный интерес к национальной культурно-исторической традиции и заложили основы мифологического подхода к изучению фольклора. Исследования гейдельбергских романтиков (Ахима фон Арнима, Клеменса Бретано, братьев Гримм и др.) носили в известной степени националистический характер, что в то время объяснялось оккупацией страны Наполеоном*.

Разумеется, какие-то знания у Гликберга были и до Гейдельберга, и с творчеством корифеев немецкой литературы он наверняка был знаком по переводам Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева. Возможно, он читал и ранее «Германию. Зимнюю сказку» Генриха Гейне. Однако подлинное открытие этого поэта произошло в Гейдельберге, где Саша пережил важнейший для художника момент узнавания себя в другом. О таком моменте вспоминала Марина Влади, жена Владимира Высоцкого. Однажды Высоцкий ворвался к ней, потрясая какой-то книгой. Негодуя, он кричал: «Это слишком! Ты представляешь, этот тип, этот француз — он все у меня тащит! Он пишет, как я, это чистый плагиат! Нет, ты посмотри: эти слова, этот ритм тебе ничего не напоминают? Он хорошо изучил мои песни, а? Негодяй! И переводчик, мерзавец, не постеснялся!» Увидев имя автора, Влади долго хохотала: «Задыхаясь, я наконец говорю, что от скромности ты, по-видимому, не умрешь и что тот, кто приводит тебя в такое бешенство, не кто иной, как наш великий поэт, родившийся почти на целый век раньше тебя, — Артюр Рембо. Ты открываешь титульный лист и краснеешь от такого промаха. И, оставив обиды, ты всю ночь с восторгом читаешь мне стихи знаменитого поэта» (*Влади М.* Владимир, или Прерванный полет. М.: Прогресс, 1989. С. 99).

---

* Гейдельбергский университет, сохраняя эту традицию, в 1920-е годы поддержит созданную Гитлером партию национал-социалистов. Здесь в 1921 году защитит докторскую диссертацию по филологии Йозеф Геббельс, будущий рейхсминистр народного просвещения и пропаганды нацистской Германии.

То же случилось с Сашей Черным, который вдруг ощутил духовное и творческое родство с Гейне, а возможно, и уловил переклички своей и его биографий. Гейне, сын купца-еврея, тоже не оправдал надежд своих родителей, мечтавших видеть его экономистом или бухгалтером, а имя свое прославил как поэт в дни французской Июльской революции 1830 года.

«Германия. Зимняя сказка» стала для Саши Черного путеводителем по стране в прямом и переносном смысле. Одно дело читать эту поэму в Житомире или даже Петербурге, и совершенно другое — вслушиваться в диалог лирического героя и великой реки Рейн, стоя на берегу этого самого Рейна. Поэт открывал для себя Германию через Гейне, сверяя с ним собственные впечатления. И рождались сходные интонации. В сатире Саши Черного «На Рейне» (1911) герой совершает речную экскурсию, восхищаясь природой и возненавидев пассажиров, из-за которых пароходик кажется ему «плавучей конюшней». А за бортом и по берегам — чудеса: «Зелено-желтая вода поет и тает, / И в пене волн танцуют жемчуга»; «Сереет замок-коршун вдалеке». Он наводит на замок бинокль в предвкушении тайны, но видит все то же: пунцовые перины и длинного немца с моноклем. А вокруг объевшиеся и обпившиеся рейнвейном мещане, «облизываясь», по-хозяйски хвалят Рейн. Торжество филистеров, полвека назад выводивших из себя Гейне и возмутивших теперь Сашу Черного:

Нет, Рейн не ваш! И вы лишь тли на розе —
Сосут и говорят: «Ах, это наш цветок!»
От ваших плоских слов, от вашей гадкой прозы
Исчез мой дикий лес, поблек цветной поток...
....
Гримасы и мечты, сплетаясь, бились в Рейне,
Таинственный туман свил влажную дугу.
Я думал о весне, о женщине, о Гейне
И замок выбирал на берегу.

(«На Рейне», 1911)

Саша открывал для себя немецкий XIX век, особенно прикипая душой к бунтарям. Он влюбился в австрийского юмориста Морица Готлиба Сафира, в биографии которого также обнаружил что-то знакомое. Уроженец еврейского венгерского местечка, Мориц (Моисей) рассорился с родителями, видевшими его исключительно раввином, в 11 лет сбежал из дома и самостоятельно добрался до Праги, после чего был лишен отцом материальной поддержки, много путешествовал. Во время австрийской революции 1848 года Сафир возглавлял Ассоциацию революционных писателей, но вскоре отказался от председательства и уехал в Баден, где пересиживал волнения.

Вполне вероятно, что Саша Черный тоже ощущал себя поэтом в изгнании. Нельзя сказать, что, уехав из России, он успокоился. Скорее, взял тайм-аут, усиленно восполнял пробелы в образовании, общался с умными людьми и продолжал жить в атмосфере бурных политических диспутов, ведь он оказался на родине социал-демократии. В Гейдельберге, на Мерцгассе, работала русская читальня, открытая хирургом Николаем Ивановичем Пироговым, курировавшим в 1862—1866 годах обучение и работу молодых русских ученых в университете. Теперь, по словам Федора Степуна, читальня жила политикой и революцией, настроения здесь задавала среда «западно-русского социалистического еврейства», стены были украшены портретами русских писателей и борцов за свободу. В читальне организовывались публичные лекции, на которые нелегально привозились докладчики, представлявшие различные революционные партии. Русские ни на минуту не переставали следить за тем, что происходит дома, а попутно приобщались к местной жизни и участвовали во всех городских мероприятиях.

Одиннадцатого ноября 1906 года Саша Черный оказался в праздничной толпе и ровно в 11 часов 11 минут вместе со всеми приветствовал начало Гейдельбергского карнавала. Ему уже объяснили, что «11» считается числом дураков и каждый в этот день и час обязан быть дураком. Поэт был ничуть не против:

Город спятил. Людям надоели
Платья серых будней — пиджаки,
Люди тряпки пестрые надели,
Люди все сегодня — дураки.

Умничать никто не хочет больше,
Так приятно быть самим собой...
(«Карнавал в Гейдельберге», 1909)

В карнавальном шествии Саша узнавал «происхождение» огромных паяцев и ряженых шутов: вот некто в костюме «кичливой старой Польши», вот «глупый Михель с пышною супругой», за ними белый клоун «надрывается белугой». Шум, крик невероятный. Сам он весь осыпан конфетти, карманы полны пойманных конфет. С безудержным детским восторгом Саша любовался картинами человеческого единения, равенства, уничтожения всех сословных границ, пусть и временного, праздничного, вместе со всеми отдавался стихии смеха: «Смех людей соединил, / Каждый пел и каждый пил, / Каждый делался ребенком». Поэт прекрасно понимал, что все это ненадолго, что через пару дней бюргеры снова станут бюргерами и наглухо запрутся в своих домах. Но так хотелось детства!

Так хотелось петь вместе со студенческим хором, пищать, танцевать джигу на столе, лить на столы пиво, ходить по улице, шутя и ругаясь, смеясь и толкаясь!

Карнавал позволил Саше приобщиться к европейскому смеху в его максимально свободном выражении. Немаловажно и то, что в Германии он смог хорошо познакомиться с немецкой сатирико-юмористической печатью, считавшейся в России образцом для подражания, в частности с журналом «Симплициссимус» («Simplicissimus» — «Простодушнейший»). Основанный десять лет назад, он славился великолепной сатирической графикой, смелыми выпадами в адрес императора Вильгельма, за что его издатель Альберт Ланген то и дело платил штрафы и скрывался от ареста. Журнал выходил огромным тиражом и своей быстрой популярностью был обязан, среди прочего, и тому, что носил название знаменитого немецкого плутовского романа Гриммельсгаузена «Симплициссимус» (1669). Саша Черный даже побывал на родине журнала — в Мюнхене, столице Баварии.

Образовательные поездки по стране были обязательным требованием к обучающимся в Гейдельбергском университете, поэтому поэт проехал Германию вдоль и поперек. Наиболее сильные для сатирического ума впечатления он описал довольно выразительно. Так, в Мюнхене он с ухмылкой застыл перед огромной бронзовой дамой, символом Баварии. Появилась она по прихоти баварского короля Людвига I, не пожалевшего средств на возведение этого монстра высотой около 19 метров. Саша возопил:

Мюнхен, Мюнхен, как не стыдно!
Что за грубое безвкусье —
Эта баба из металла
Ростом в дюжину слонов!

Между немками немало
Волооких монументов
(Смесь Валькирии с коровой), —
Но зачем же с них лепить?

У ног «бабы из металла» герой стихотворения купил билет и полез в ее чрево, где была спиральная лестница, ведущая в голову, на смотровую площадку. Чертыхаясь в темноте, добрался до головы, взглянул на чудный Мюнхен сверху и уже хотел спуститься на землю, как вдруг дорогу ему перекрыл тучный баварец. Перекрыл наглухо — он застрял.

Гром железа... Град советов...
Хохот сверху. Хохот снизу...

Залп проклятий — и баварец,
Пятясь задом, отступил.

Кое-как выкатившись на волю, толстяк потребовал вернуть деньги за билет, ведь он не долез до головы. Саша хохотал:

О, наивный мой баварец!
О, тщеславный рыцарь жира!
Не узнать тебе вовеки,
Что в «Баварской» голове!
(«Бавария», 1911)

Севернее Баварии лежит Тюрингия, где находится Веймар — центр германского Просвещения, город, священный для любого литератора. Здесь прошли последние годы Гёте и Шиллера, здесь они и похоронены. Постоим вместе с Сашей Черным и Марией Ивановной на старинной Театральной площади, перед памятником этим двум поэтам. Изваянные рука об руку, они несколько корректируют реальность. В жизни Шиллер ростом был выше Гёте, но скульптор намеренно нарушил пропорции, сделав выше Гёте в знак его неоценимых заслуг перед немецкой и мировой литературой.

Саша Черный посетил дом, где скончался Шиллер, великий поэт-бунтарь. Вспоминал, что похоронили Шиллера в общей могиле, а на следующий день после похорон здесь, именно здесь, где сейчас он стоит, исполнялся «Реквием» Моцарта. Дом сохранился как мемориальный по счастливой случайности: семья поэта очень нуждалась, и долг за этот дом выплатили покровительствовавшие ему герцоги Веймарские. Какой трагизм! Публика в музее меж тем совершенно праздная, служители налево и направо торгуют памятью революционного поэта. Обрюзгшие немцы в очках, лежа на витринах, глазеют, сверяясь с каталогом, на перчатки Шиллера и другие личные вещи. Им это гораздо интереснее, нежели его «Разбойники» и «Вильгельм Телль». А вот и кабинет Шиллера, святая святых — перо поэта, пустая чернильница, клавикорды.

Здесь писал и умер Фридрих Шиллер...
Я купил открытку и спустился вниз.
У входных дверей какой-то толстый Миллер
В книгу заносил свой титул и девиз...
(«В немецкой мекке», 1910)

Возмутили его также посетители и служители дома Гёте. Та же неприятно поразившая Сашу страсть к интимным мелочам, та же жажда выставить на всеобщее обозрение то, что вовсе для этого не предназначено: «Всё открыто для праздных

входящих коровниц / До последней интимно-пугливой черты» («В немецкой мекке»). «Целый лабаз» пафосных экспонатов: придворные ордена и бюсты сильных мира сего, портреты, акварели, гипсы, гравюры...

Под липой сидел я вдали
И думал, как к брату,
К столу прислонившись:
Зачем мне вещи его?
Как щедрое солнце,
Иное богатство мне, скифу чужому,
Он в царстве своем показал.
И, помню, чело обнаживши,
Я памяти мастера старого
Тихо промолвил: «Спасибо».
(«Гёте», 1932)

Однако верхом пошлости показалось Саше Черному кладбище, где упокоились великие поэты. Улица, ведущая к нему, сплошь была усеяна сувенирными лавочками — вперемежку с мылом, пряжками, бутылочными пробками, сигаретными коробками с изображениями Шиллера и Гёте, их родственников, покровителей. Старинный склеп, и тот — источник заработка. Какой-то немец в дворцовой фуражке продал поэту билет на могилы...

Быть может, было нелепо
Бежать из склепа,
Но я, не дослушав лакея, сбежал, —
Там в склепе открылись дверцы
Немецкого сердца:
Там был народной славы торговый подвал!
(«В немецкой мекке»)

От увиденного хотелось бежать, уехать немедленно.

И наконец берлинские картинки. 12 января 1907 года в стране прошли выборы в рейхстаг. Саша Черный оказался в толпе, жадно ожидавшей объявления их результатов. Вильгельм II выступал с балкона рейхстага — «Объясненье в нежных чувствах / Императора с народом»:

О победе и знаменах
Император на балконе
Им прочел стихи из Клейста
В театрально-пышном тоне.
(Не цитировал лишь Канта,
Как на свадьбе дочки Круппа*, —

* Свадьба Берты Крупп, дочери богатейшего немецкого промышленника, «пушечного короля», и Густава фон Боллен унд Хальбаха состоялась в октябре

Потому что Кант народом
Понимался очень тупо.)
Но в тираде о победе
Над врагом-социалистом
Император оказался
Выдающимся стилистом.
(«Исторический день», 1910)

Определенный политический вызов в этих строках есть: выборы 1907 года дали плачевный результат для социал-демократии, которой герой стихотворения, очевидно, сочувствует. В рейхстаг прошло всего 29 ее кандидатов, в то время как на прошлых выборах 1903 года их было пятьдесят шесть. Сашу огорчило, что немцы кричали «Hoch!» Вильгельму, зная о таких результатах.

В России ему пришлось огорчиться еще больше.

Поэт с женой пробыли в Гейдельберге до середины марта 1907 года, как говорилось выше. Что с ними происходило дальше и когда они вернулись в Петербург — неизвестно. Нам остается лишь предположить, что к сентябрю, к началу учебного года, поскольку Марии Ивановне предстояло устраиваться на работу.

Столица была уже не та, что в «дни свободы».

Уезжая весной 1906 года, Саша Черный еще жил разговорами о грядущем первом созыве Думы, теперь же он читал отчеты о работе Третьей думы и хмыкал: «Благодарю тебя, Единый, / Что в Третью Думу я не взят»* («Молитва», 1908). Подобно многим тогда, поэт следил за темпераментными выступлениями Владимира Митрофановича Пуришкевича, национал-монархиста, одного из создателей Союза русского народа, саркастически заметив: «Пуришкевич был уже пределом, / За который трудно перейти» («Герой нашего времени», 1909).

Во многих российских губерниях было введено положение чрезвычайной охраны, а кое-где и военное. Губернаторы, генерал-губернаторы и градоначальники, облеченные огромными полномочиями, имели право высылать лиц, казавшихся им подозрительными, приостанавливать выпуск периодических

1906 года (когда Саша Черный и Мария Ивановна уже жили в Гейдельберге). Император не только присутствовал на свадьбе, но и вел невесту к алтарю.

* Третья Государственная дума была избрана после досрочного роспуска Второй думы, произошедшего 3 июня 1907 года («Третьеиюньский переворот»). Новое положение о выборах в Государственную думу, утвержденное императором, позволило значительно сократить присутствие в Думе эсдеков, ограничить кадетов и, напротив, усилить все проправительственные фракции. Большинство мандатов принадлежало депутатам от буржуазной партии «Союз 17 октября» (октябристам), представитель которой Николай Алексеевич Хомяков стал председателем Третьей Государственной думы.

изданий. Положение о чрезвычайной охране распространялось и на прессу, узаконивая систему штрафов и фактически возрождая предварительную цензуру. На Россию обрушилась негласно поощряемая новая безыдейная литература. Из рук в руки передавались порнографический роман Михаила Арцыбашева «Санин» (1907) и приключения сыщика Ната Пинкертона. «Маркса сбросили в обрыв / Санин с Пинкертоном», — мрачно резюмировал Саша Черный («Чепуха», 1908).

Поэт воскрес для российской публики в самом начале 1908 года вместе с восставшим из пепла журналом «Зритель», который некогда сделал его известным. 11 января, в первом номере, читатели снова увидели имя, не встречавшееся им несколько лет. В малоостроумном стихотворении «О tempora...» Саша Черный обругал общество за страсть к порнографии и параллельно пнул главу партии октябристов*, депутата Третьей Государственной думы Александра Ивановича Гучкова. Пнул как-то лениво, без злости... В пореволюционной, вновь цензурной России наступил кризис тем, и уже во втором номере «Зрителя» Саша ломал «в горести перо» и, как некогда в Житомире, восклицал: «Ах, дайте тему для сатиры / Цензурной, новой и живой!..» («Безвременье», 1908).

В эти же январские дни 1908 года на Невском проспекте происходили события, которые вскоре совершенно изменят жизнь Саши Черного.

В Петербург из Харькова уже приехал Аркадий Аверченко.

---

* «Союз 17 октября» (октябри́сты) — праволиберальная политическая партия (1906—1915), которая объединяла крупных землевладельцев и предпринимателей, сторонников конституционной монархии. Союз назван в честь Манифеста 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка». — *Прим. ред.*

Глава четвертая

КОРОЛЬ ПОЭТОВ «САТИРИКОНА»

Год 1908-й: на старте

В первые дни нового, 1908 года на Невском проспекте состоялась историческая встреча. Впрочем, ее участники вряд ли подозревали о том, что войдут в историю. По крайней мере, в тот момент.

Пройдемся по Невскому в сторону Дворцовой площади и замедлим шаг на скрещении проспекта с Малой Морской улицей, у дома 9. В те времена, о которых мы ведем рассказ, здесь стоял другой особняк: тоже угловой, трехэтажный, зазывал аппетитными вывесками: «Булочная», «Чайный магазин», «Фрукты». Их дополняла еще одна — «Художественно-юмористический журнал "Стрекоза"». С нее-то всё и началось.

Именно эта вывеска заинтересовала молодого человека очень высокого роста, в пенсне. Его одежда, редкая для Петербурга розовощекость, некоторая неуверенность жестов выдавали провинциала. Потоптавшись у вывески, он наконец потянул на себя входную дверь и прошел в редакцию «Стрекозы».

Звали молодого человека Аркадием Тимофеевичем Аверченко. Недавно он прибыл из Харькова, где в 1905 году стал фельетонистом, а после подавления революции успел попробовать свои силы в качестве редактора нескольких сатирических журналов, последовательно погубленных цензурой. С официальной службы (Аверченко работал конторщиком) его выгнали, жить было не на что, и молодой журналист отправился искать работу в столицу. В «Стрекозу» он пришел, по его позднему признанию, из-за лени, поскольку редакция журнала располагалась в центре и не нужно было кружить по малознакомому городу в поисках подходящего издания. Положение дел в «Стрекозе» он, разумеется, не знал, а оно было таково.

Журнал выходил уже свыше тридцати лет и порядком наскучил публике. Его аудиторией были «офицерские библиотеки, рестораны, парикмахерские и пивные; поэтому о жур-

нале и сложилось у среднего интеллигентного читателя такое убеждение, что “Стрекозу” читать можно лишь между супом и котлетами, в ожидании медлительного официанта, вступившего с поваром в перебранку, или повертеть ее в руках, пока парикмахер намыливает вашему более счастливому соседу щеку» (*Аверченко А.* Мы за пять лет // Новый Сатирикон. 1913. № 28). В журнале существовали проблемы объективного и субъективного свойства. В числе объективных — общий кризис сатирико-юмористической печати, обусловленный известными пореволюционными реалиями. К субъективным относилось то обстоятельство, что «Стрекозой» четвертый год *de facto* руководил молодой и малоопытный журналист Михаил Германович Корнфельд, к тому же фигура несамостоятельная: *de juro* всеми делами издания ведала его родственница Эмилия Маврикиевна Корнфельд, не желавшая никаких перемен. Корнфельд привык во всем полагаться на постоянного редактора «Стрекозы», маститого фельетониста Ипполита Федоровича Василевского (Букву), но тот в 1907 году по состоянию здоровья сложил с себя обязанности и поселился вдали от столицы. Одновременно серьезно заболел ведущий карикатурист журнала Александр Александрович Лабуц (Овод).

Всё рушилось на глазах. Михаил Германович остался один и смутно представлял себе, что делать. В этот критический момент ему было 24 года. Образованный молодой человек, имевший за спиной историко-филологический факультет Петербургского университета, отчетливо понимал, что журнал нужно реформировать, чтобы хоть немного приблизить его к изданию уровня мюнхенского «Симплициссимуса», который считал «окруженным ореолом недосягаемости образцом». Корнфельд не парил в облаках, ему нужно было действовать, потому что «Стрекоза» катастрофически теряла подписчиков. И Михаил Германович действовал: подыскал молодых художников — отчасти из стремления влить в дело свежую кровь, отчасти, думается, вследствие плачевных финансовых дел. Вкус у него оказался отменным, потому что в «Стрекозе» появились будущие мэтры сатирико-юмористической графики Алексей Александрович Радаков и Николай Владимирович Ремизов-Васильев. Первый, отметивший в 1908 году тридцатилетие, имел разностороннее академическое образование: Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1900), петербургское Центральное училище технического рисования барона А. Штиглица (1905). Немаловажным Корнфельду показалось и то, что Радаков стажировался в парижской мастерской художника Теофиля Стейнлена, культовой фигуры монмартрской богемы, автора знаменитой афиши кабаре «Le chat

noir» («Черная кошка»). Ремизову, придумавшему себе псевдоним Ре-ми и на первых порах помечавшему рисунки значком нотного стана с нотами «ре» и «ми», похвастаться пока было нечем. Ему шел двадцать первый год, и он только-только поступил в Императорскую Академию художеств, в мастерскую профессора Дмитрия Николаевича Кардовского. Однако Ре-ми был, несомненно, талантлив и славился работоспособностью. Он привел в «Стрекозу» свою сестру Анну Владимировну (Мисс).

Помимо Радакова и Ре-ми Корнфельд пригласил своего товарища, чертежника и художника Александра Юнгера (Баяна), а также заручился поддержкой Александра Бенуа, основателя объединения «Мир искусства», Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Александра Яковлева, Ивана Билибина и других художников. С авторами было труднее. Корнфельд привлек поэта-сатирика Константина Антипова, публиковавшегося под псевдонимом Красный, что в паре с Сашиным псевдонимом Черный позже обеспечит некоторую литературную игру. Обращался Михаил Германович и к Тэффи (Надежде Александровне Лохвицкой), но она к предложению сотрудничества отнеслась без энтузиазма. Тут-то и появился в «Стрекозе» бывший харьковский конторщик Аркадий Аверченко.

Впоследствии Корнфельд вспоминал, что пришедший был «большой, толстый, близорукий, веселый и беззаботный провинциал, еще не “приспособившийся” к петербургской жизни», а Аверченко говорил, что его встретил «совсем молодой бритый господин с ласковыми глазами и очень хорошими манерами». Почувствовав себя несколько увереннее благодаря приветливому приему, визитер «впился жадными глазами глубокого провинциала в приятное бритое лицо издателя» (*Аверченко А.* Мы за пять лет).

Разговорились. Аверченко сообщил, что принес кое-что, рассказал о том, что делишки его в Харькове шли неважно, последний журнальчик расходился мизерным тиражом в три тысячи экземпляров... Корнфельд удивленно вскинул глаза: «Стрекоза» с ее известной маркой, стажем и столичным статусом едва справлялась с реализацией тиража в семь тысяч. К концу беседы Михаил Германович почувствовал симпатию к гостю и пригласил его присутствовать на редакционном заседании. Опуская перипетии дальнейшего воцарения Аверченко в редакции, скажем лишь, что сначала он получил место конторщика, потом — секретаря, потом... Впрочем, не станем опережать события. Вернемся к нашему герою.

В середине марта 1908 года, через два месяца после встречи Корнфельда и Аверченко, в «Стрекозе» появился Саша

Черный, потому что «Зритель» снова закрыли. Вряд ли поэт считал «Стрекозу» журналом перспективным и наверняка без особого энтузиазма наблюдал за тем, как Аверченко донимал издателя своей идефикс — сменить опостылевшее всем название «Стрекоза».

Аверченко был рядовым секретарем редакции, но уже приобрел авторитет. Этот харьковский журналист оказался настоящим «человеком-оркестром» и запросто мог выпускать журнал в одиночку. Он был и фельетонист, и поэт, и художник-карикатурист, и театральный критик, и кладезь идей, и прекрасный организатор. Без особого труда Аверченко увлек своей идеей о перемене «вывески» редактора «Стрекозы» художника Алексея Радакова, который даже придумал название для нового проекта — «Сатирикон», в честь одноименного романа Петрония. Название единодушно одобрили, тем более что оно походило на «Симплициссимус», о котором грезил Корнфельд: тоже начиналось на «с» и тоже отсылало к известному литературному памятнику. Однако издателя уговорили пока только на полумеры: решили продолжать рассылать подписчикам «Стрекозу», а «Сатирикон» пустить в розничную продажу, приучая читателя к новой марке.

Первый выпуск «Сатирикона» должен был заставить говорить о себе, стать во всех смыслах ударным. Работа закипела. Фирменное начертание нового заголовка поручили Добужинскому, рисунок на обложку — Баксту. На обороте обложки шел художественный цикл «Наши шаржи», и Ре-ми получил задание выполнить шарж на Леонида Андреева, бывшего в то время на пике популярности, а Саша Черный — написать на него пародию, чтобы она перекликалась с рисунком Ре-ми.

Первого апреля 1908 года, в День смеха, Саша разворачивал первый выпуск «Сатирикона» и искал свое стихотворение. Возможно, он испытал досаду, обнаружив его только на десятой полосе. На первой же, самой престижной, красовались стихи Петра Потемкина, начинающего поэта и сына бывшего Сашиного начальника в службе сборов. Это не было случайностью: у Потемкина недавно вышла книга стихов «Смешная любовь», ставшая бестселлером, и его имя было на слуху, в отличие от подзабытого имени Саши Черного. Потемкин дал в «Сатирикон» очень остроумный шарж на критика реакционной газеты «Новое время» Виктора Петровича Буренина, так понравившийся публике, что фрагмент моментально ушел в народ:

Водочка откупрена,
Плещется в графине...

Не ругнуть ли Куприна
По этой причине?
*(«Раздумье критика.
Посвящается В. Буренину», 1908)*

Стихотворение Саши Черного пародийно обыгрывало вынесенную в эпиграф цитату из рассказа Леонида Андреева «Проклятие зверя»: «Это не было сходство, допустимое даже в лесу, — это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих». Герой рассказа оглушает исповедью испуганного горожанина, вдруг обнаружившего, что он похож на других не только внешне, но и внутренне, что обывательское обезличивание неизбежно проникает в душу и делает из человека, духовной личности — «дегенерата». Посему нужно бежать из города в лес, к морю. Саша Черный передал те же мысли иронично:

Все в штанах, скроенных одинаково,
При усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах...
....
Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак...
(«Все в штанах, скроенных одинаково...», 1908)

Дала материал в номер и Надежда Тэффи, которую Аверченко сумел уговорить. Не можем не отметить, что Надежда Александровна публиковалась как в первом выпуске «Сатирикона», так и в последнем выпуске «Нового Сатирикона» (1918. № 18), все десять лет не покидая журнал. Снимаем шляпу.

Итак, первый номер журнала вышел. Явился он на свет с хулиганским манифестом редакции, заявившей: «В “Сатириконе”, как в зажигательном стекле, мы сосредоточим жалкую и кошмарную действительность и силою ядовитой сатиры будем “жечь сердца”, а буде некоторые читатели не верят, то сатириконцы доверительно им сообщают, что по отношению к этой самой действительности они держат в кармане — нет, не браунинг, а известную комбинацию “из трех пальцев”».

Оставалось ждать, как новое детище примет публика и оправдается ли расчет Аверченко на то, что смена «вывески» сыграет свою решающую роль. Впрочем, времени на ожидание не было. Работать приходилось каторжно, ведь параллельно с «Сатириконом» продолжала выходить и «Стрекоза», отныне имевшая подзаголовок «Сатирикон». Саша Черный писал и туда и туда. Бывая в редакции, он видел совершенно заполош-

ного Аверченко, которому приходилось своими материалами под разными псевдонимами почти полностью заполнять содержание обоих журналов и к тому же не повторяться.

«Сатирикон» набирал вес. Уже второй номер вновь сделал Сашу Черного знаменитостью. Он опубликовал в нем стихотворение «Бульвары» о Житомире, и столичный читатель оценил анекдотизм провинциального быта в его исполнении. Поэт удачно подметил апогей скуки — губернатор при полном параде едет... к тете:

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

Эта строфа стала визитной карточкой Саши Черного. По свидетельству Корнея Чуковского, ее часто декламировал вслух Куприн. Лиля Брик вспоминала, что в их компании эти строки распевали хором на мотив «Многие лета» (*Брик Л.* Из воспоминаний // Современницы о Маяковском. М.: Дружба народов, 1993). Десятилетия спустя именно эту строфу тут же вспоминали русские эмигранты при упоминании имени Саши Черного. Дело здесь, думается, не только в остроумии, но и в политических аллюзиях. Губернаторы в то неспокойное время назначались, как правило, крутого нрава, и любая шпилька в адрес губернатора, выставлявшая его в смешном свете, воспринималась читателем определенных взглядов одобрительно. Тем более что прямых выпадов против власти предварительная цензура не пропускала. Даже за намеки можно было угодить в тюрьму или нарваться на огромный штраф. Приведем характерную миниатюру Аверченко из того же номера «Сатирикона»:

«— Как дела?

— Получил.

— За статью?

— По статье.

— Много?

— 500.

— Без замены?

— С» (Ave. Редакционный лаконизм // Сатирикон. 1908. № 2).

Поясним: тот, кого спрашивают, оштрафован за какую-то свою статью на 500 рублей, с заменой пребыванием под арестом. Обычная практика в то время. Вспомним книгу Саши Черного «Разные мотивы», опубликованную под его настоящим именем А. Гликберг. Два года назад она вышла без цензу-

ры, а теперь, в 1908 году, ее пересматривал Комитет по делам печати и задним числом осудил автора по трем статьям. Саша, впрочем, не пострадал. Комитет сетовал на то, что его местонахождение неизвестно. Конечно, неизвестно: поэт ни разу не указал в адресных книгах свои координаты; адрес всегда был помечен фамилией и служебными данными Марии Ивановны. Вместе с тем фамилия Гликберг регулярно появлялась в «Сатириконе» — в скобках после псевдонима Саша Черный — и если бы ее обладателя искали как следует, быстро обнаружили бы. Значит, не особо усердствовали. А вот Константину Ивановичу Диксону, который, как помним, скрылся от судебного преследования за границей, не повезло. В 1908 году он вернулся в Петербург, тут же был обнаружен и в мае все-таки посажен в «Кресты», где отсидел полтора года.

На Сашу Черного посыпались предложения работы: от Ильи Василевского (Не-Буквы), редактора запрещенной газеты «Свободные мысли», которую он реорганизовывал в газету «Утро»; от издателя журнала «Весна» Николая Георгиевича Шебуева. Оба одновременно сотрудничали в «Сатириконе». Для чувства общности журналу недоставало лидера, который всех объединил бы своими идеями. Всем было очевидно: вскоре Аверченко сменит Радакова на посту редактора, что и случилось в конце мая. Это событие Саша пропустил, потому что находился вместе с Марией Ивановной на курорте. Радаков его материально поддержал, опубликовав в седьмом номере «Сатирикона» сразу три Сашиных вещи — два стихотворения и фельетон, и он отбыл к морю, обязуясь высылать материал по почте.

Поэт с женой поехали на модный эстонский курорт, названный в начале XX века «Жемчужиной Балтийского моря», — Гунгербург* (с немецкого «голодный город»). По легенде, странное название появилось по прихоти Петра I в начале Северной войны: царь, осматривая эту местность на предмет строительства здесь укреплений, проголодался, но жители были так бедны, что не смогли его накормить.

Городок раскинулся в сосновом бору. Великолепный курзал, украшенный деревянным кружевом, — центр курортной жизни. В зелени прячутся дачи — деревянные дома, построенные в местном «гунгербургском» стиле с причудливыми резными балконами и террасами. В десятке шагов от пристани — почта, откуда Саша отправлял стихи в «Сатирикон» и здесь же получал авансы, гонорары и газеты. Чуть дальше — базарная площадь, где есть всё необходимое: и мясная лавка, и табачный магазин, и кондитерская-кафе, и булочная Юргенсона.

* Ныне Нарва—Йыэсуу (Эстония).

За двумя парками — Светлым и Темным — район Шмецке с дальним рядом дач. Там поэт с женой сняли вскладчину с другими курортниками домик. Себя и своих соседей Саша Черный позднее опишет в рассказе «Люди летом» (1910). «Все жили на одной даче, и все очень любили друг друга»: лаборант по физике, курсистка, «докторша», учительница истории и художник-портретист. Персонажи гротескны, однако некоторые прототипы угадываются. Себя, как нам кажется, Саша изобразил лаборантом, а Марию Ивановну — курсисткой, потому что эта героиня часами просиживает над тетрадкой, куда заносит тезисы из философского трактата Теодора Липпса «Воля», «в числе трех других “Воль”», которые ей нужно «одолеть к осени».

Теперь у поэта появился новый адрес: Гунгербург (Шмецке). С такой пометой в «Сатириконе» будут напечатаны шесть его «Посланий». Если читать их в хронологическом порядке, отчетливо видно, как герой, поначалу еще отслеживающий новости политики, постепенно теряет к ним интерес и начинает вести растительную жизнь. Саше Черному необыкновенно удавались такие записки «человека-овоща», который находит счастье в лежании под кустом смородины и поглощении, как в «Послании втором», «ледяной простокваши». Это стихотворение весьма ценил Венедикт («Веничка») Ерофеев, утверждавший, что с Сашей Черным ему очень хорошо, что к этому поэту, жившему и творившему в эпоху столь пафосного Серебряного века, он испытывает «приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности — закадычность. И “близость и полное совпадение взглядов”»; в компании Саши всё можно, ведь «он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова», что с ним «“хорошо сидеть под черной смородиной” (“объедаясь ледяной простоквашей”)»*. Венедикт Ерофеев, автор поэмы в прозе «Москва — Петушки» (который говорил о себе: «Мой антиязык от антижизни...»), со знанием дела отметил особенность творческого «зуда» близкого ему поэта: «У Саши Черного... свой собственный зуд — но зуд подвздошный — приготовление к звучной и точно адресованной харкотине».

В Гунгербурге эта «харкотина» полетела в обитателей местного курзала. По Черному, здесь нет людей и лиц, это карнавал уродов: «брандахлысты в белых брючках», «старый хрен в английском платье», пажи «в лакированных копытах»...

Щеки, шеи, подбородки,
Водопадом в бюст свергаясь,
Пропадают в животе,

* *Ерофеев В.* Саша Черный и другие // http://www.litlikbez.com/jumor—erofeev—venedikt—sasha—chernyj—i—drugie.html

Колыхаются, как лодки,
И, шелками выпираясь,
Вопиют о красоте.
....
Как наполненные ведра,
Растопыренные бюсты
Проплывают без конца —
И опять зады и бедра...
Но над ними, — будь им пусто, —
Ни единого лица!
(«Мясо», 1909)

Чем не иллюстрация карнавальной теории Михаила Бахтина?! Чем не тела, оставшиеся недооформленными? Перевернутый мир, попранная красота, плотские отправления — какой контраст с господствовавшей тогда в литературе поэтической эстетской линией! Не зря «провозвестники будущего», футуристы, ломая стереотипы, боготворили Сашу Черного. Маяковский обожал «Мясо» и, по словам Лили Брик, читал его «с суровой гадливостью» (*Брик Л.* Из воспоминаний // Современницы о Маяковском).

Попав к морю, Саша погрузился в детство и анабиоз. Стремясь дистанцироваться от любых проявлений цивилизации, его герой лезет «на смолистую сосну» и, разомлев от тридцатиградусной жары, засыпает. Внезапно его сон грубым окриком прерывает дачный сторож: «Эй, мужчина! <...> / Слезьте с дерева, да скоро ж! / Дамский час давно настал». То есть дамы купаются неглиже, нечего подсматривать. Герой и вправду видит над дамской выгородкой красный флаг — сигнал всем мужчинам прятаться — и бурчит, что не пошел бы смотреть на эти «дряблые» тела даже за деньги. Заканчивается опус философски: «В лес пойду за земляникой... / Там ведь дамских нет часов, / Там никто меня мужчиной не облает из кустов» («Зимний сон», 1908). Еще лучше — пойти туда, где вообще нет женщин, то есть за специальную выгородку, где мужчинам разрешено отдыхать голышом. Об этом стихотворение «У моря» (1909):

Голый доктор, толстый и большой,
Подставляет солнцу бок и спину.
Принимаю вспыхнувшей душой
Даже эту дикую картину.
Мы наги, как дети-дикари,
Дикари, но в самом лучшем смысле.

Герой этого стихотворения, совершенно слившись с песком и солнцем, предлагает выбросить одежду «в сине море» и уподобиться беспечным галкам, дремлющим на заборе. Но его друг доктор, человек XX века, отрезал:

«Фантазер! Уже в закатный час
Будет холодно, и ветрено, и сыро.
И притом фигуришки у нас:
Вы — комар, а я — бочонок жира.
Но всего важнее, мой поэт,
Что меня и вас посадят в каталажку».
Я кивнул задумчиво в ответ
И пошел напяливать рубашку.

Саша Черный самоироничен. В архиве Марии Ивановны сохранилась фотография, сделанная на пляже в Гунгербурге: Саша, скрестив ноги, сидит в полосатом купальном трико. Грустно-ехидный взгляд Чарли Чаплина, фигура того самого «комара». Всё так.

Интересно, что и «голый доктор» — реальное лицо. Его звали А. Григорьевым, и ему поэт посвятил стихотворение «Из “Шмецких” воспоминаний» (1909). Двое мужчин в сумерках блаженствуют на веранде приморской кофейни и пьют шоколад. «Весь запад в пунцовых пионах, и тени играют с песком». Идиллия. Впрочем, нет, не идиллия. Какая-то «лиловая жирная дама» тоже уставилась на закат и закрыла Саше вид. Он хулиганит: «— Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас. / Вы задом заставили солнце, — а солнце прекраснее вас...» Спутник краснеет от ужаса, а Саша его успокаивает: «— Не бойся! Она не услышит: в ушах ее ватный клочок».

Описанная кофейня находилась недалеко от Гунгербургского кургауза, в самом центре пляжа, и принадлежала молочнику Нымтаку. Здесь же работал кинематограф. Двухэтажный деревянный дом с высокими готическими окнами стоял в сосновом лесу на песчаных дюнах. От него к морю вела лестница, обрываясь у рядов скамеек, где по вечерам собиралась большая компания любоваться на закат. Любовался и Саша: «О, море верней валерьяна врачует от скорби и зла...» («Из “Шмецких” воспоминаний»). К сожалению, поклонникам поэта ныне не удастся присесть здесь за столик с чашкой шоколада и вспомнить его стихи — кофейня сгорела в годы войны.

О чем могли говорить на веранде Саша Черный и доктор Григорьев? О том же, о чем и вся интеллигенция, обсуждавшая летом 1908 года две животрепещущие темы: младотурецкую революцию и грядущий восьмидесятилетний юбилей Льва Толстого (отлученного в 1901 году от Церкви), который власти пытались проигнорировать. В ходе беспорядков в Турции правящий султан Абдул-Хамид II вынужден был восстановить конституцию 1876 года и созвать парламент. Саша отправил в «Сатирикон» стихотворение, в котором удивлялся, что турец-

кая революция прошла «бескровно и в несколько дней» и что конституция у турок такая короткая. Он выступил с ёрническим рацпредложением заслать к туркам «напрокат» «Гучкова, Крупенского, Маркова / Володю* и прочих ребят»:

И если б Володи с Гучковыми
Остались у турок навек,
Не звал бы их нежными зовами
Назад ни один человек.
(*«Толчками турецкой военщины...», 1908)*

Это стихотворение утверждал к печати уже не Алексей Радаков. В конце мая он уступил свое кресло новому редактору: выпуск «Сатирикона» (1908. № 9), в котором было напечатано «Послание первое» из Гунгербурга, впервые был подписан Аркадием Аверченко. Этот номер вышел в расширенном объеме (шестнадцать страниц вместо двенадцати), так как «Стрекоза» больше не существовала. «Сатирикон» ее поглотил. По словам Аверченко, «подписчики “Стрекозы” и опомниться не успели, как превратились в подписчиков “Сатирикона”». Эксперимент удался, и новое издание уверенно становилось на ноги. Его сотрудники готовили августовский спецвыпуск, посвященный юбилею Льва Толстого (№ 21), однако Саша участия в нем не принял. Вполне вероятно, что он не считал возможным иронизировать не только над великим писателем, но и на какую-либо связанную с ним тему.

Лето закончилось. К началу сентября супруги вернулись в Петербург. Марии Ивановне предстояло начать учебный год сразу в трех учебных заведениях: в женских гимназиях В. А. Субботиной** и имени Святой Ефросиньи Суздальской***, а также на Высших историко-литературных курсах Н. П. Раева. Преподаванием на курсах она несомненно гордилась, ведь их учредитель Николай Павлович Раев некогда ее саму принимал на Бестужевские курсы, которыми руководил до 1905 года. Теперь он открыл собственные частные Высшие женские курсы (Вольный женский университет), с юридическим и историко-литературным отделениями.

Появились у жены Саши Черного и другие обязанности. Мария Ивановна вошла в состав совета Общества вспоможения окончившим курс наук на Санкт-Петербургских высших женских курсах. Так называлась структура, которая объединяла их выпускниц, устраивала для них вечера встреч («чаепи-

---

* Имеется в виду В. М. Пуришкевич.

** Располагалась по адресу: Калинкинская площадь, 3—5.

*** Другое название — гимназия М. А. Холодняк; находилась по адресу: Васильевский остров, 17-я линия, 70.

тия») и кружки взаимопомощи, помогала в трудоустройстве и издании научных трудов. В 1908 году общество насчитывало 720 членов, из них 402 петербурженки. Все они платили членские взносы, средства поступали и за счет организации публичных лекций профессоров из числа бывших выпускниц. Мария Ивановна как член совета общества занималась и материальными делами. Помимо этого, она вступила в Философское общество при Петербургском университете, а осенью 1908 года все силы отдавала подготовке неслыханного доселе мероприятия — Первого Всероссийского женского съезда (о котором речь впереди). Саша оказался полностью предоставлен сам себе. Неудивительно, что именно в это время он попал, нет, не в плохую, а в очень хорошую и веселую мужскую компанию.

Появившись в «Сатириконе», поэт сразу понял, что здесь всё изменилось. В редакторском кабинете вместо огромного и разбросанного Радакова сидел не менее огромный, но очень собранный и деловитый Аверченко. О нем, разумеется, и сплетничали, и шушукались, ибо не всем он нравился. Некоторых смущала быстрота, с которой он сделал карьеру. Например, поэт Василий Князев утверждал впоследствии, что Аверченко «очень скоро, перешагнув через гиппопотамную тушу» и «трон Радакова», прорвался к власти, однако и «на троне оставался малокультурным конторщиком»*. Это подчеркивал и фельетонист О. Л. Д'Ор, вспоминая, что «Аверченко большой образованностью не отличался» (*Старый журналист [О. Л. Д'Ор]*. Литературный путь дореволюционного журналиста). Тот же Князев считал, что все сатириконцы делились на две группы: «культурную и мелкокультурную». Главой последних, по его мнению, был Аверченко, а в числе первых он называл Сашу Черного. Выходит, в 1908 году, прожив четыре года с Марией Ивановной и вернувшись из Гейдельберга, наш герой производил впечатление «культурного» человека.

Саша Черный стал частью интересного редакционного организма. Головой его был Аверченко, правой и левой руками — Радаков и Ре-ми, ставшие близкими друзьями «головы» и расторопно претворявшие в жизнь все ее идеи. Душой, позволявшей оперативно и быстро продвигать «Сатирикон» в массы, являлись поэты, и лучшим из них, по единодушному признанию современников, стал Саша Черный. Корней Чуковский утверждал: «...сатириконский период был самым счастливым периодом его писательской жизни. Никогда, ни раньше, ни потом, стихи его не имели такого успеха. Получив

* *Князев В.* Радаков и Аверченко // РГАЛИ. Ф. 2041. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 1—10.

свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нем стихов Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть» (*Чуковский К.* Саша Черный [Предисловие] // Саша Черный. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 6). В памяти писателя Михаила Слонимского, бывшего в то время питерским подростком, из всех авторов «Сатирикона» удержались только три имени и среди них поэт: «"Сатирикон" сам шел в руки на каждом углу, — он был <...> остроумен. Аверченко, Тэффи, Саша Черный с азартом читались всеми возрастами» (*Слонимский М.* Завтра. Проза. Воспоминания. Л., 1992). Подростком тогда был и известный драматург Евгений Шварц, вспоминавший: «Саша Черный первые и лучшие свои стихи печатал в "Сатириконе", чем... усиливал влияние журнала» (*Шварц Е.* Позвонки минувших дней. М.: Вагриус, 2008. С. 58). Наконец, приведем авторитетное мнение Александра Куприна: «Величайшей заслугой "Сатирикона" было привлечение Саши Черного в редакционную семью. Вот где талантливый, но еще застенчивый новичок из "Волынской газеты"* приобрел в несколько недель и громадную аудиторию, и широкий размах в творчестве, и благодарное признание публики. <...> И дружески-интимной, точно родной стала сразу читателям его простая подпись под прелестными юморесками — Саша Черный» (*Куприн А.* Саша Черный // Возрождение. 1932. 9 августа). Вместе с тем сам Саша, как это нередко бывает, недопонимал значение «Сатирикона» в своей жизни и считал себя достойным лучшей участи. Он едва ли не единственный покинет журнал по собственному желанию.

Однако до этого момента еще далеко. А пока на дворе 20 сентября 1908 года, пятница, и Саша Черный спешит в редакцию журнала на «расклейку». Так сатириконцы называли общие совещания, на которых утверждался макет («сигнал») очередного выпуска и одновременно планировались темы для будущего номера, материал по которым нужно было сдать к следующей пятнице. Встречи эти, по словам Саши, были «веселые и дурашливые, но вместе с тем и строго деловые» (*Черный А.* Памяти А. Т. Аверченко // Иллюстрированная Россия. 1925. № 16). Дорогу в редакцию между тем веселой не назовешь: набережные источали миазмы карболовой кислоты, которой их обработали, — в конце августа в городе началась эпидемия холеры. Пресса подняла шум и нагнетала панику, «Сатирикон» не отставал. Саша, едва вернувшись из Гунгербурга, сочинил иронические «Меры предохранения против заболевания холерой», вроде: «Трамваев не избегай. Зарезанные

* Правильно: «Волынского вестника».

трамваем холеры не боятся» (Сатирикон. 1908. № 23). В том же номере появилось его стихотворение «Опять опадают кусты и деревья...», отрывок из которого сегодня часто цитируют, но никогда не поясняют бытовые реалии сентября 1908 года:

По улицам шляется смерть.
Проклинает
Безрадостный город и жизнь без надежд,
С презреньем, зевая, на землю толкает
Несчастных, случайных невежд.

Между тем «случайные невежды», которых смерть «на землю толкает», — это зарезанные трамваем, пущенным в столице год назад, в сентябре 1907 года. Они были в то время постоянными героями мрачных карикатур и юморесок «Сатирикона»*.

Трамваев, наводивших на петербуржцев ужас, поэт избежать не мог, так как снова жил на Васильевском острове. О его новой квартире мы расскажем позже, а пока представим тех, кто собрался в большой редакционной комнате на Невском, 9, и начнем с дамы.

Единственной женщиной-писательницей в «Сатириконе» была Надежда Александровна Тэффи, сестра знаменитой поэтессы Мирры Лохвицкой («русской Сафо»), к этому времени уже ушедшей из жизни. Тэффи тоже начинала как поэтесса, но оказалось, что ее призвание — сатирико-юмористическая проза, которой она увлеклась под влиянием творчества Чехова. В 1905 году Надежда Александровна сотрудничала с журналом «Сигнал», редактируемым Корнеем Чуковским. Она была необыкновенно остроумна, умна, элегантна и теперь благосклонно принимала знаки внимания, оказываемые ей мужским коллективом «Сатирикона».

Главой этого коллектива, помимо Аверченко, оставался издатель Михаил Германович Корнфельд, с которым читатель уже знаком. Его роль на «расклейках» Саша описывал так:

На журнальном заседанье
Беспристрастней нет созданья:
«Кто за тему, ноги вверх!
А рисуночки — в четверг».
(«Сатириконцы», 1909)

---

* Например, картинка: на путях лежит разрезанный натрое человек. Подпись «Все к лучшему» и диалог:

«Вагоновожатый (*смущенно*). — Простите... Я вас, кажется, немного помял.

Раздавленный. — О, не беспокойтесь! Я все равно шел топиться» (Сатирикон. 1908. № 20).

Всех тех, кто задирал «ноги вверх», то есть постоянных сотрудников, мы представлять не станем. Остановимся лишь на поэтах, кто в известной степени конкурировал с Сашей Черным.

Имя Петра Потемкина мы уже не раз называли. В 1905 году он дебютировал в том же «Сигнале», где редактором был Чуковский, который ему покровительствовал. Затем поэт выпустил упоминаемую выше книгу стихов «Смешная любовь», принесшую ему славу певца столичной богемы. Осенью 1908 года Петр Петрович все еще носил студенческий мундир и как раз перевелся на историко-филологический факультет Петербургского университета. Саша Черный позже вспоминал, что в то время Потемкин был «студент-словесник, похожий скорее на лицеиста, изящный и сдержанный» (*Черный А.* Путь поэта [Предисловие] // *Потемкин П.* Избранные страницы (Стихи). Париж, 1928. С. 5).

Если Потемкин был только похож на лицеиста, то поэт Александр Авдеевич Оцуп, писавший под псевдонимом Сергей Горный, в прошлом им являлся: он окончил с золотой медалью Императорскую Николаевскую Царскосельскую мужскую гимназию, которая была наследницей знаменитого Царскосельского лицея. Высшее образование Александр Авдеевич получил в столичном Горном институте, в память о котором и взял себе псевдоним. Горный любил рассказывать о том, как на первом курсе института проходил практику на далеком донбасском руднике, и там ему запомнился некий конторщик, славившийся остроумием. Каково же было его удивление, когда, появившись в «Сатириконе», он узнал этого самого конторщика... в редакторе Аркадии Аверченко. Аркадий Тимофеевич, став теперь его шефом или, как любил говорить Горный, «батькой», старого знакомца никоим образом не выделял, разве что был с ним на «ты», хотя сам Горный, судя по их сохранившейся переписке, обращался к нему на «вы».

Больше всего пространства в редакционной комнате занимал поэт Александр Рославлев, человек необъятной толщины, чей огромный живот был столичной достопримечательностью, а сам его владелец нередко повторял, что именно животом в литературу и пройдет. И прошел: был уже маститым автором пяти сборников стихов. Вот как описывал его Саша Черный:

Без галстука и чина,
Настроив контрабас,
Размашистый мужчина
Взобрался на Парнас.
Как друг, облапил Феба,

Взял у него аванс
И, сочно сплюнув в небо,
Сел с Музой в преферанс.
(«Эпиграммы», 1924)

Рославлев считался близким другом Куприна; их совместные кутежи с ужасом вспоминали владельцы как столичных, так и провинциальных трактиров. Крымская Алушта, к примеру, долго не могла опомниться после их визита осенью 1906 года. По словам Чуковского, Рославлев и Куприн «сочно» плевали на общественное мнение, и оба имели репутацию «загубленных водкой людей». Тем не менее Аверченко прекрасно относился к Рославлеву и, возможно, именно через него заручился согласием Куприна примкнуть к сатириконцам, что и случится в конце 1908 года.

Скандалил и не пропускал ни одной драки и поэт Василий Князев, гордившийся тем, что в 1905 году его исключили из петербургской земской учительской семинарии «за политику». Он был еще совсем молод — 21 год — однако вел себя с претензией, зная о том, что Аверченко ему симпатизирует. Саша Черный недолюбливал Князева, считая, что тот как поэт не имеет своего лица и занимается плагиатом, в том числе и у него самого. Сашины симпатии заслужил другой начинающий поэт — Самуил Маршак, печатавшийся в «Сатириконе» и под своим именем, и под псевдонимом Доктор Фрикен. Их с Сашей Черным свяжет добрая дружба.

Наконец, нам осталось представить Константина Михайловича Антипова, писавшего под псевдонимами Красный и А. Зарницын. Первым он обычно подписывал сатиры, вторым — переводы, которыми увлекался.

Конкуренция среди поэтов «Сатирикона» была жесткая, и если Саша Черный, совершенно не обладавший «пробивными» способностями, взял верх, то это, безусловно, говорит о том, что его стихи оказались стопроцентно созвучными времени. Однако не все так считали. Сергей Горный многие десятилетия спустя писал: «Близь Аверченки “ютился” и издавался юркий и желчный поэт... с семитическим, но... не скорбным, а с разъедающим привкусом сарказма <лицом> — Саша Черный. Все его “поэзы”, которые заучивались в наши дни студентами и особенно курсистками наизусть... издавались “батькой”» (*Горный С.* Парнас на Неве*). Зло сказано. С завистью.

Теперь обратимся к дате, собравшей всех этих людей за одним столом. На заседании 20 сентября было решено, что

* Рукопись воспоминаний Сергея Горного (А. А. Оцупа) хранится в Бахметевском архиве Колумбийского университета. Фрагмент публикуется с разрешения Кирилла Иосифовича Финкельштейна (Бостон).

следующий выпуск журнала будет тематическим — «Студенческим». Тему выбрали скользкую, метили, вне всякого сомнения, в нового министра народного просвещения Александра Николаевича Шварца, назначенного 1 января 1908 года и, по мнению либеральной общественности, проводившего крайне реакционную политику. «Старец Шварец», как его однажды обозвал Саша, выступал против создания при учебных заведениях молодежных организаций, тормозил развитие женского высшего образования, ужесточил требования «процентной нормы». Сатириконцы придумывали темы для рисунков, хохотали, попутно выясняя, у кого какой студенческий опыт. Разумеется, Черный оказался бесценен, поскольку имел собственного «информатора»: Марию Ивановну. Предвкушая веселое хулиганство, поэт летел домой работать.

Судя по тому, что в итоге вышло из-под его пера, допрошена была не только жена, но и студентки Петербургского женского медицинского института, «медички». В юмореске «Окрошка из профессоров», которую Саша подписал клоунским псевдонимом «Буль-буль», высмеивался преподавательский состав именно этого вуза: профессора С. С. Салазкин (физиологическая химия), Р. Л. Вейнберг (анатомия), А. К. Бороздин (история русской литературы), И. И. Лапшин (психология и философия) и другие. «Буль-буль» не пощадил даже профессора Александра Ивановича Введенского, учителя Марии Ивановны, рассказав всей читающей России о его «любимых изречениях»: «1). “На первом курсе студент не должен тратить свой досуг попусту”. 2). “Человек не может знать, что думает собака, виляя хвостом, т. к. у него никогда не было хвоста”».

Саше было нетрудно собрать информацию — в его квартире постоянно бывали и курсистки, и медички, потому что близкая подруга Марии Ивановны Валентина Владимировна Соболева преподавала в мединституте.

К следующей «расклейке» Саша принес в «Сатирикон» и «Окрошку», и пародийную смету «Бюджет студента», и стишок «Немецкие студенты», навеянный недавними гейдельбергскими впечатлениями. Обыгрывая тезис Шварца, что «в Европе студенты политикой не занимаются», поэт выразительно обрисовал, чем европейские студенты занимаются вместо политики: пьют до смерти и «колют» друг друга «в рожу». Материал был дружно одобрен. Спланировали макет. Аверченко собрал оттиски всех рисунков, приклеил к ним сопроводительные надписи и отправил на утверждение в Цензурный комитет. Эта структура существовала при Главном управлении по делам печати, подчинявшемся Министерству внутренних дел, то есть в описываемое время — непосредственно Петру Аркадьевичу

Столыпину. Рисунки ложились на стол цензору — графу Илье Владимировичу Головину, исполнявшему в 1908 году обязанности председателя Цензурного комитета. Теперь сатириконцам оставалось ждать. Ждали и подписчики журнала, гадая, чем он на этот раз их порадует.

По словам Аверченко, российский интеллигент «перед изданием субботнего номера еще в пятницу был охвачен “сатириконовской лихорадкой”, ночью плохо спал, а ранним утром в субботу гнал горничную на улицу купить свежий номер» («Автобиография», 1923). Пока интеллигента лихорадило, Аверченко ждал звонка из канцелярии Головина. Звонок поступал в субботу, часов в одиннадцать: «Граф Головин просит господина Аверченко пожаловать в Цензурный комитет». Аркадий Тимофеевич ехал. Головин не любил принимать решений, и если они не могли договориться, Аверченко переправляли этажом выше, к начальнику всего управления по делам печати Алексею Валериановичу Бельгарду. Тот имел прямой выход на Столыпина, с которым дружил, и часто многие картинки были спасены благодаря Бельгарду. Но не в этот раз. Из Цензурного комитета редактор «Сатирикона» помчался в типографию и буквально на ходу изымал из печати не прошедшие цензуру рисунки. Практически все.

«Студенческий» выпуск «Сатирикона» получился траурным, черно-белым, а из рисунков, отвечавших теме, остался один невинный шарж Ре-ми на профессора Ивана Ивановича Боргмана, избранного в «дни свободы» ректором Петербургского университета. Вместо остальных красовались нелепые заставки, изображающие облака и веселых гусей. Таких случаев в истории «Сатирикона», увы, будет еще немало.

Сотрудники журнала и радость, и печаль традиционно отмечали и заливали вином в ресторане «Вена», который нам мимолетно уже знаком: в 1906 году рядом с ним была редакция журнала «Леший», где работал Саша. Вот уже пять лет, как именно сюда, в «Вену», спешил любой начинающий литератор в надежде завести нужные знакомства и хотя бы одним глазком взглянуть на маститых и знаменитых. С 1908 года здесь появилась новая шумная и беспокойная компания сатириконцев во главе с Аверченко, который поселился через дом от ресторана и сделал его своей «штаб-квартирой». Вот какой эта компания запомнилась Корнею Чуковскому:

«Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодовитый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала. Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими, пушисты-

ми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потемкина, и над всеми возвышался Ре-ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист — с милым, нелепым, курносым лицом.

Вместе с ними, в их дружной компании, но как бы в стороне, на отлете, шел еще один сатириконец, Саша Черный, совершенно непохожий на всех остальных. Худощавый, узкоплечий, невысокого роста, он, казалось, очутился среди этих людей поневоле и был бы рад уйти от них, подальше. Он не участвовал в их шумных разговорах и, когда они шутили, не смеялся. Грудь у него была впалая, шея тонкая, лицо без улыбки.

Даже своей одеждой он был не похож на товарищей. Аверченко, в преувеличенно модном костюме, с брильянтом в сногсшибательном галстуке, производил впечатление моветонного щеголя. Ре-ми не отставал от него. А на Саше Черном был вечно один и тот же интеллигентский кургузый пиджак и обвислые, измятые брюки» (*Чуковский К.* Саша Черный [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. С. 5).

Оставляя пока без комментария портрет нашего героя, набросанный Корнеем Ивановичем, заметим, что это шествие Чуковский мог наблюдать как раз на подступах к «Вене», потому что ресторан был в двух шагах от редакции «Сатирикона»* и долгие годы служил сотрудникам журнала настоящим домом. Зайдем туда и мы (а представить его атмосферу по многим описаниям нетрудно).

Почтительный швейцар, давно прикормленный Аверченко, тут же сообщает, кто из знакомых лиц уже в ресторане. Прихожая с раздевалкой, где без конца трезвонит телефон: заказывают столики на вечер. В залах шумно и накурено. Интерьер тематический: на стенах в элегантных рамах развешаны автографы и рисунки постоянных посетителей. Так надо, ведь «Вена» давно имеет репутацию литературного ресторана, и ее владелец Иван Сергеевич Соколов старательно зазывает и стимулирует богему, что обеспечивает ему приток любопытствующих. Отдельная «беспроигрышная гарантия» распространяется на знаменитого Александра Куприна, который здесь являет себя миру. Как-то Ре-ми, глаза которого за фотографическую точность называли «кодаками», наблюдал за его пьяной оргией и зарисовал ее с тончайшим, если не сказать специфическим, психологизмом — для рубрики «Наши шаржи» в «Сатириконе», где рисунок был помещен (1908. № 3). Александр Иванович, криво восседая за столом, уже спит (видны белки закатившихся глаз), однако огромной ручищей любовно удержи-

* Ресторан «Вена» располагался в бельэтаже здания по адресу: улица Гоголя (ныне Малая Морская), 13 / Гороховая, 8.

вает полную рюмку, и чувствуется, что никому ее не отдаст. Под рисунком ядовитая подпись «Поединок». И экспромт Красного «Некий “Венец”» (то есть завсегдатай «Вены»):

Он сидит,
Согнувшись выпью,
И твердит:
«Нальете — выпью...
Я титан!
Я гений невский,
Ведь я пьян,
Как Пшибышевский!»
(«Некий “Венец”», 1908)

Саша Черный очень уважал Куприна как писателя, и ему, как и многим другим, бывало больно видеть Александра Ивановича в том амплуа, в каком он нередко представал в «Вене». Все знали о непростой семейной ситуации Куприна: год назад он расстался с первой женой, издательницей журнала «Мир Божий», ставшего теперь «Современным миром», и сошелся с другой женщиной, очень скромной, бесприданницей. Живут невенчанными — жена не дает развода. Новая жена родила Александру Ивановичу дочь, и теперь они втроем мыкаются, не могут устроиться, переезжают с места на место. Куприн сам страдает от своего алкоголизма и от соблазнов скрывается в Гатчине. Он в творческом кризисе, мечется от одной темы к другой. Написал великолепный маринистический цикл «Листригоны» о крымской Балаклаве, откуда его выслали два года назад, а потом вдруг ошарашил всех «Суламифью» и «Морской болезнью», написанными в угоду модной «проблеме пола». Саша Черный грустно шутил:

...Куприн,
Без всяких видимых причин,
В «Морской болезни» смело
Разделся неумело.
(«Шутка», 1908)

Однако имя Куприна все еще гремело, и сатириконцы, несмотря на печальные «венские» картинки, мечтали, чтобы он пришел в их журнал. Осмеливались мечтать и о сотрудничестве с Леонидом Андреевым, но тот жил в Финляндии, на своей даче в Валемельсуу, и выйти на него можно было при помощи Чуковского, бывшего соседом Андреева, к тому же много писавшего о нем.

Скажем несколько слов о Корнее Чуковском, которому суждено будет сыграть огромную роль в творческой судьбе нашего героя. Если бы Корней Иванович в конце 1950-х годов

не вспомнил чудесным образом о Саше Черном и не задумал переиздать его стихи в популярной поэтической серии, возможно, массовый читатель и не узнал бы этого имени.

Момент их знакомства документально не зафиксирован. Анатолий Иванов на том основании, что в архиве Чуковского хранится рукопись двух стихотворений Саши 1905 года, предположил, что они познакомились уже тогда. Вполне вероятно, ведь они могли сойтись просто по принципу сближения земляков: детство Чуковского прошло в Одессе, в районе Привоза, то есть там же, где и Сашино. В 1905 году оба были вчерашними провинциалами, штурмующими столицу, однако к 1908 году, о котором идет речь, положение вещей изменилось. Чуковский уже стал знаменит в той области, которой любой литератор подспудно опасается, — в критике. В его багаже были нашумевшие статьи, вышедшие отдельными сборниками, — «От Чехова до наших дней: Литературные портреты. Характеристики», «Леонид Андреев большой и маленький», обе 1908 года. Чуковский работал в солиднейшей газете «Речь», печатном органе партии кадетов. С ним старались не ссориться, ему оказывали знаки внимания. Аверченко посвятил Корнею Ивановичу фельетон «Большой человек» (Сатирикон. 1908. № 31), а Ре-ми нарисовал на него добрый шарж — долговязая фигура с узнаваемым профилем играет куклами Леонида Андреева и Ната Пинкертона (Сатирикон. 1908. № 28). Саша тоже старался дружить. Как умный и скромный человек, он и сомневался в себе, и далеко не всегда был уверен в написанном. Достаточно вспомнить его шуточное стихотворение «Переутомление» (1908) о страхах исписавшегося поэта, бьющегося в поисках рифмы:

Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин разбитым горшком...

И критик Петр Пильский, и поэт Макс Волошин (Вакс Калошин) могли в то время пощекотать нервы сочинителям, но особенно опасались Чуковского, который в оценках бывал беспощаден. Обратим внимание на то, как Корней Иванович описывал Сашу: «лицо без улыбки» и т. д. А вот Александр Куприн утверждал, что лицо Черного сияло «светлой детской улыбкой» (*Куприн А. И.* Поэт-одиночка: О Саше Черном // Журнал журналов. 1915. № 7). Кто прав? Думается, в общении с Чуковским Саша просто не улыбался, он был настороже.

Судя по всему, в 1908 году они были уже достаточно хорошо знакомы. Настолько, что Корней Иванович бывал до-

ма у Саши Черного и оставил интересное для нас свидетельство. По его словам, Саша «вместе с седоватой женой» жил «в полутемной петербургской квартирке, как живут в номере дешевой гостиницы, откуда собираются завтра же съехать»; в этом жилище, кроме множества книг, «не было ни одной такой вещи, в которую он вложил бы хоть частицу души: шаткий стол, разнокалиберные гнутые стулья». Выходит, Мария Ивановна не занималась бытом и никакого домашнего уюта, что феминистки считали буржуазным пережитком, своему мужу не создавала. Немаловажны и такие детали, как Сашины «один и тот же интеллигентский кургузый пиджак и обвислые, измятые брюки». Совершенно очевидно, что эта пара жила духовной жизнью, не заботясь о суетном и внешнем.

Теперь комментарий к «полутемной петербургской квартирке», которую вспоминал Чуковский. В 1908—1909 годах Саша Черный жил по адресу: Васильевский остров, 15-я линия, 72, квартира 37*. Этой квартире мы обязаны появлением известных строк:

Васильевский остров прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркер.
....
Как молью изъеден я сплином.
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.

(«Под сурдинку», 1909)

Упомянутый «балконец» и саму квартирку поэт, похоже, избрал своей добровольной тюрьмой и в отсутствие волнующих тем и вдохновения автоматически описывал. Трудно подсчитать его стихи, герой которых слоняется из угла в угол, подглядывает за соседями, скучает и не знает, чем себя занять:

Шагал от дверей до окошка,
Барабанил марш по стеклу
И следил, как хозяйская кошка
Ловила свой хвост на полу.

---

* Адрес указан в справочнике «Весь Петербург» за 1908 год, а более точный, с номером квартиры, в брошюре: Высшие женские курсы в С.-Петербурге: Краткая историческая записка, 1878—1908 гг. СПб.: Комитет Общества для доставления средств Высшим женским курсам, 1908. С. 71.

Свистал. Рассматривал тупо
Комод, «Остров мертвых»*, кровать.
Это было и скучно и глупо —
И опять начинал я шагать.
(«Культурная работа», 1908)

Или:

За окном непогода лютеет и злится...
Стены прочны, и мягок пружинный диван.
Под осеннюю бурю так сладостно спится...
....
(«Интеллигент», 1908)

Обстановка квартирки Саши Черного скудна и в его стихах. Шкаф, стол. Мутное окно. «Залитый чаем и кофейной гущей» кактус («Пробуждение весны», 1909). А еще тараканы. У Саши они всегда веселые и смышленые. Вот они заслушались романсом и даже «задумались слегка», бросив жевать черный хлеб («Быт», 1909). А вот черный таракан «важно лезет под диван» («Колыбельная. Для мужского голоса», 1910). Поэт рад их обществу, и своим маленьким читателям объяснял: «Тигр свирепей всех зверей, / Таракан же всех добрей» («Живая азбука», 1914). Он приветствовал любое проявление жизни и с умилением наблюдал за тем, как из-под картин и фотографий на стенах выползают «прозрачные клопенки», а в цветочных горшках копошатся «зелененькие вошки» («Комнатная весна», 1910).

Иногда поэт покидал свою тюрьму. Как видно, ощущая потребность в семейной обстановке, он появлялся в тесной квартире за Нарвской Заставой, где жил Самуил Маршак с родителями. Маршаку в то время был 21 год, и он только начинал печататься. История его жизни была не из обычных и в чем-то перекликалась с Сашиной. Самуил увлеченно рассказывал о том, как в 13 лет познакомился с критиком и заведующим художественным отделом Публичной библиотеки Владимиром Васильевичем Стасовым, как при его содействии переехал из Воронежской губернии в Петербург и поступил в 3-ю гимназию. Стасов же позже, в 1904-м, представил его Максиму Горькому. Узнав о том, что Самуил после переезда в Северную столицу часто болеет, Горький предложил ему пожить у своей жены, Екатерины Павловны Пешковой, в Ялте. Так вышло, что в семье Пешковых Маршак прожил около двух лет. Когда он вернулся в Петербург, Стасов уже умер, а Горький к тому времени поселился на Капри. Самуил остался без покровителей и принялся самостоятельно прокладывать

---

* Речь идет о репродукции картины Арнольда Бёклина «Остров мертвых».

себе путь в литературе. Ему немного помогал друг юности, поэт Яков Владимирович Годин, которого Саша Черный знал еще с 1905 года по совместной работе в диксоновском «Молоте».

Маршак, Годин и Черный дружили. По воспоминаниям Юдифи Яковлевны Маршак-Файнберг, сестры Самуила Маршака, их встречи проходили в возвышенном ключе: «Среди близких друзей брата поэты — Саша Черный и Яков Годин. Оба они часто бывали у нас дома. Когда приходил Саша Черный, сразу же начиналось чтение стихов. И он и Самуил Яковлевич знали наизусть, чуть ли не целиком, многих поэтов, и, когда они бывали вместе, дом наш буквально наполнялся стихами» (*Маршак-Файнберг Ю. Я.* Частица времени // «Я думал, чувствовал, я жил...» М.: Советский писатель, 1971). Чтение стихов порой выплескивалось на улицу и завершалось весьма своеобразно. Много лет спустя Маршак рассказывал об этом писателю Валентину Дмитриевичу Берестову, а тот в воспоминаниях передал нам:

«Рядом с Маршаком молодой, худощавый человек с бледным, измученным лицом. Он всего на семь лет старше Самуила Яковлевича, но уже знаменит. Это Саша Черный. Впрочем, за те часы, пока они без цели бродят по городу и читают стихи, оживление Маршака передалось и ему. Саша Черный ведет Маршака к себе в меблированные комнаты. Пьют вино и снова читают, читают... Вскоре выясняется, что приятнее всего читать стихи, сидя под столом. Но приходит женщина, строгая, старообразная, ученая, настоящий синий чулок, и выдворяет их оттуда.

— Нечто вроде жены, — мрачно представляет ее Саша Черный» (*Берестов В.* Кленовый лист под подушкой // «Я думал, чувствовал, я жил...»).

Хорошо же Маршак отозвался о Марии Ивановне! Да и Саша не лучше. Конечно, понять поэтов можно: пришла женщина и испортила праздник, всю поэзию своей ученостью убила. Представить можно и чувства Марии Ивановны, вернувшейся домой измотанной после чтения лекций и обнаружившей теплую компанию, тем более что наблюдала она такую картину регулярно. Описанная сцена могла происходить в 1908—1909 годах, когда Марии Ивановне уже было около сорока лет. Не зря Чуковский вспоминал о жене Саши Черного с заметным пиететом: «Жена его, Мария Ивановна, была доктор философии. Она преподавала в высших учебных заведениях логику, и, признаться, я ее немножко побаивался. Да и он (Саша. — *В. М.*), кажется, тоже» (*Чуковский К.* Саша Черный // *Чуковский К.* Современники: Портреты и этюды. С. 367).

Мария Ивановна в последние дни 1908 года была задействована в организации небывалого мероприятия — Первого Всероссийского женского съезда. Он торжественно открылся 10 декабря в Александровском зале городской думы, вместившем 1053 делегатки со всей страны. «Сатирикон» не мог не осветить это событие и сделал это, разумеется, устами Саши Черного, знакомого с «женским вопросом» не понаслышке. Поэт иронично призывал участниц съезда отказаться от борьбы за свои права и состязания с мужчинами, ибо это нелепо:

Не спорьте о мужских правах, —
Все объяснимо в двух словах:
Нет прав у нас,
Как и у вас.
....
Вы с нами пламенно ползли —
Вы с нами нынче на мели.
И вы, и мы —
Добыча тьмы.
....
Не спорьте о мужских правах,
Все объяснимо в двух словах:
Коль пас, так пас,
Для нас и вас.
(«Женщинам», 1908)*

Однако феминистки отчаянно спорили. Работа съезда шла по четырем направлениям: «Деятельность женщин в России на различных поприщах»; «Экономическое положение женщин и вопросы этики в семье и обществе»; «Политическое и гражданское положение женщины» и «Женское образование в России и за границей». Последний вопрос был больным, и Саша разбирался в нем настолько хорошо, что посчитал нужным защитить российских женщин. От Марии Ивановны он знал, что Бестужевские курсы вот уже много лет официально никак не могут признать высшими и тяжба эта затянулась. Прочитав как-то в кадетской газете «Речь» о том, что на заседании Государственного совета снова будет подниматься этот вопрос, Саша Черный высказался однозначно:

Возможно ль «высшими» иль нет
Признать Бестужевские курсы?
Иль, может быть, решит Совет
Назвать их корпусом иль бурсой?

Ведь курсы высшие — давно,
И в самом высшем смысле слова,

---

* В стихотворные сборники вошло под названием «К женскому съезду».

Ведь спорить с этим так смешно,
Как называть реку коровой.
(«Все то же», 1909)

Пусть поэт не совсем грамотно обошелся с ударением в слове «река», зато как ему были благодарны курсистки!

В творческом отношении 1908 год заканчивался для Александра Михайловича и Марии Ивановны весьма удачно. У супругов появились постоянная, интересная работа, новые знакомства, новые планы. Вместе с тем и старая, почти забытая жизнь могла напомнить о себе. В один из дней Саша вполне мог встретить по пути домой... своего отца. Судя по адресному справочнику, провизор Мендель Давидович Гликберг в 1908 году жил совсем недалеко от сына, на 16-й линии Васильевского острова, в доме 49. Его данные появляются в справочнике с 1907 года, когда Саша Черный еще был в Германии. Так что вряд ли отец перебрался в столицу к прославившемуся сыну (жена рядом с Менделем Давидовичем в справочнике не значится). Трудно представить себе, чтобы, живя неподалеку друг от друга, отец с сыном ни разу не встретились. Мария Ивановна в мемуарах сообщала, что отец ее мужа работал в Санкт-Петербургской химической лаборатории. Значит, они имели сведения о занятиях Менделя Давидовича. Упомянутая лаборатория, вопреки научному названию, занималась производством косметики и парфюмерии. Кто не помнит легендарный советский «Тройной» одеколон и выпускавшую его фабрику «Северное сияние»? Название «Северное сияние» появилось только в 1953 году, а до того это была все та же лаборатория, четырехэтажный корпус которой и по сей день стоит на Измайловском проспекте. «Тройной» одеколон тогда считался лекарственным средством и продавался в аптеках. За его распространением по Российской империи, а также за границей и следил отец Саши Черного. Недавно удалось установить, что Мендель Давидович Гликберг скончался 6 сентября 1911 года в возрасте 59 лет и был похоронен на петербургском Преображенском еврейском кладбище*. Выходит, отец поэта крещеным не был. Вот и всё, что мы можем о нем сказать.

Итак, Саша Черный подошел к концу 1908 года уже достаточно известным поэтом. Его имя красовалось рядом с именами Александра Блока, Александра Куприна, Леонида Андреева, которых Аркадий Аверченко все-таки заполучил в сотрудники «Сатирикона».

К Саше постепенно приходило осознание принадлежности

---

* Еврейские корни. Генеалогический портал // http://forum.j-roots.info/viewtopic.php?f=53&t=139&start=60

к особому сатириконскому братству, сплоченному не только радостью творчества, но и общей бедой — запретом на острую сатиру. Незадолго до Нового года в «Сатириконе» появилась его «Песня сотрудников сатирического журнала» с таким эпилогом:

Превратим старушку лиру
В балалайку. Жарь до слез!
Благородную сатиру
Ветер северный унес...

С этим северным ветром и сам Саша Черный покинул столицу, чтобы провести новогодние праздники в Финляндии.

Год 1909-й: на взлете

Наступивший год принесет Саше Черному титул «короля поэтов» «Сатирикона». Так его назовут в московском декадентском журнале «Золотое руно»*. Пока же, не ожидая от «новорожденного» никаких особых чудес, наш герой посвятил ему ерническую здравицу «1909», напечатанную в первом номере «Сатирикона» и разошедшуюся на цитаты:

Родился карлик Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод,
    Тоскливый шут и скептик,
    Мудрец и эпилептик.
....
Ну, как же тут не поздравлять?
Двенадцать месяцев опять
    Мы будем спать и хныкать
    И пальцем в небо тыкать.
....
Да... Много мудрого у нас...
А впрочем, с Новым Годом вас!
    Давайте спать и хныкать
    И пальцем в небо тыкать.

Сам автор антиздравицы в первые дни нового года «хныкал» в финском местечке Сальмела**, на берегу озера Пюхавеси. «Жил в десяти километрах от Выборга, — вспоминал он, — в сосновом доме со старинной мебелью, на берегу засыпанного снегом озера, две недели не читал ни одной строчки (как это было хорошо!), вставал рано, ходил по лесам и знакомился сам с собой» («Опять», 1909). Продолжая летнюю гунгербургскую традицию, поэт и отсюда отправил в «Сатирикон» послание в

* См.: Золотое руно. 1909. № 7/8.
** Ныне Мянтюхарью.

стихах «Из Финляндии», обругав эту страну, как полагается, и отметив только один плюс: «Конечно, прекрасно молчание финнов и финок».

На обратном пути Саша с женой побывали в печально известном финском городке Иматра, расположенном недалеко от Выборга, на севере Карельского перешейка. Его достопримечательность — водопад Иматранкоски — в первые годы XX века был модным местом самоубийств*. Эта тенденция стала настолько угрожающей, что именно в 1909 году железнодорожные кассы Петербурга прекратили продавать билеты в один конец, до Иматры.

Был на Иматре. — Так надо.
Видел глупый водопад.
Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»

Извините. Очень надо...
Я приехал отдохнуть.
А за мной из водопада
Донеслось: «Когда-нибудь!»
(«Из Финляндии», 1909)

О том, что поэт видел водопад воочию, а не в воображении, рассказал Корней Чуковский. По его словам, возвращаясь в Петербург, Саша заехал к нему в Куоккалу и, греясь у печки, «признался, что водопад Иматра нагнал на него смертельную скуку и что бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься туда вниз головой» (*Чуковский К.* Саша Черный [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. С. 13). Читая сегодня эту фразу и ничего не зная о мрачном водопаде, мы улавливаем единственный смысл: поэт был на грани нервного срыва. Однако в то время Саша Черный и Чуковский понимали ее совершенно иначе. Сашина реплика означает: я понимаю тех, кто бросился в этот поток, самому то и дело хотелось.

Для чего Саша заехал в Куоккалу, дачный поселок в окрестностях Петербурга, на берегу Финского залива, и грелся у печки «дачи Анненкова», которую снимала семья Чуковского? Конечно, не для того, чтобы рассказать об Иматре. У

* В 1972 году в Иматре установили единственный в мире памятник самоубийцам — «Дева Иматры».

них состоялся деловой разговор. Судя по всему, Саша просил у Чуковского содействия в деликатном деле издания сборника своих стихов. Корней Иванович, уже выпустивший книгу «От Чехова до наших дней» в солиднейшем издательстве Вольфа, производил впечатление человека, который мог реально помочь. Скоро мы увидим, чем эта история закончилась.

Саша и Мария Ивановна вернулись в Петербург не позднее 17 января. Дата устанавливается точно, так как поэт писал, что сразу же по приезде «пошел на Андрея Белого». Лекция Белого «Настоящее и будущее русской литературы» была прочитана в зале Тенишевского училища именно 17 января 1909 года. Вслушиваясь в затейливые речи Белого и не понимая ни слова, Саша все отчетливее осознавал, что финская сказка отходит в небытие, а жуткий Петербург снова становится реальностью: «...я встал и тихонько вышел, купил на улице “Биржевые” и, прижимаясь к домам, ежась и закрывая глаза, пошел с ужасом домой» («Опять», 1909).

«Ужаса» в стихах Саши Черного и в прошлом году было немало:

О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный...
(«Опять опадают кусты и деревья...», 1908)

Или:

Восемь месяцев зима, вместо фиников —
морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма —
так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой
головой...
(«Желтый дом», 1908)

В этих и других «ужасных» стихах поэта всегда присутствует герой, на которого мы впервые обратили внимание еще в 1906 году, — «нищий духом» пореволюционный сдавшийся интеллигент:

«Я жених непришедшей прекрасной невесты,
Я больной, утомленный урод».
(«Интеллигент», 1908)

«Ужас» этот наплывал и в новых стихотворениях:

В зеркало смотрю я, злой и невеселый,
Смазывая йодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,
Из зрачков сочится скука многих лет.
Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?
Я?! О, нет, не надо, ради Бога, нет!
(«Отъезд петербуржца», 1909)

Иногда Саша Черный дерзал говорить «мы», обобщая опыт целого сонма «нищих духом»:

Где событья *нашей* жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем Бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.
(«Ламентации», 1909)

Это «мы», проецируемое на некое целое, подразумевает включение в общий ряд и самого автора. Выше мы говорили о том, что успех Саши Черного объясняется точным соответствием его творчества определенным умонастроениям значительного количества читателей. Не углубляясь в эту тему, попытаемся объяснить феномен популярности поэта категориями, которые никогда ранее к нему не применялись, а именно тем, что он являлся «голосом поколения» 1900-х годов. Кто-то обвинит нас в том, что мы передаем Саше Черному титул Александра Блока. Ни в коем случае! Просто Блок и Черный — это разные «голоса». Если отважиться на более близкие нам по времени аналогии, то между ними приблизительно та же разница, что существовала в протестные 1980-е годы между Борисом Гребенщиковым и Виктором Цоем. Первого называли «богом», и ценители его поэзии составляли круг интеллектуально-посвященных эстетов. Второго окрестили «человеком мостовой», и доступность его ироничной и незамысловато-наступательной философии стяжала ему популярность тысячекратно большую, нежели кому-либо другому из поэтов тех лет. Саша Черный, подобно Виктору Цою, был *понятен* и *осязаем*. Переклички в творчестве этих двух авторов (которых мы осмелились сравнивать исключительно в разрезе определенной проблематики!) удивительны. Попробуйте угадать, кому из них принадлежат эти строки:

Каждое утро снова жизнь свою начинаю
И ни черта ни в чем не понимаю.
....

Я, лишь начнется новый день,
Хожу, отбрасываю тень с лицом нахала.
Наступит вечер, я опять
Отправлюсь спать, чтоб завтра встать.
И все сначала.

А эти?

Напялил пиджак и пальтишко
И вышел. Думал, курил...
При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал,
Махал рукой, возмущался...

Первый текст Виктора Цоя, второй — Саши Черного, а герой в них тот же. Похожее время рождало похожее творчество. Достаточно сказать, что мотив болезни, свойственный тогда для Черного, во многом определял проблематику молодежной протестной поэзии 1980-х годов. Например, у того же Цоя: «Мама, мы все тяжело больны, / Мама, я знаю, мы все сошли с ума!» («Мама», 1988). Или у Ильи Кормильцева: «...Оставь безнадежно больных, / Ты не вылечишь их, и в этом все дело» («Доктор твоего тела», 1987). И разумеется, в «Палате № 6» (1984) Александра Башлачева, герой которой, разбивая лоб о табу и запреты, сдается: «Спасибо главврачу / За то, что ничего теперь хотеть я не хочу. / Психически здоров. Отвык и пить, и есть. / Спасибо. Башлачев. Палата номер шесть». Не нужно уходить в постмодернистские дебри, чтобы услышать и понять крик души молодого человека, не находящего пути для применения своих сил и реализации творческих потенций. То же чувствовала молодежь эпохи модерна, подросшая к 1909 году и с завистью смотрящая на тех, кто успел проявить себя в 1905-м. То же чувствовали и «те, кто успел», отчеливо понимая, что 1905 год вряд ли возвратится. Эту неприкаянность, изрядно приправленную самоиронией, и удалось точно выразить Саше Черному. Однако между ним и вышеназванными «советскими» авторами есть существенное различие: те творили вне конъюнктуры и за свои стихи не получали денег (сначала). «Сатирикон» же был вполне дитя капиталистического общества, организм, учитывавший критерии спроса.

В какой мере сам Саша Черный мог ощущать себя «больным, утомленным уродом», живущим подобно слизню? Мы затрудняемся сказать, что, собственно, такое ужасное и трагическое могло происходить в его жизни в это время. У них

с Марией Ивановной всё было в порядке. Он — популярный поэт, она — уважаемый преподаватель. О каких еще далях могли мечтать эти двое? Да, историко-политический фон был невеселым: послереволюционные репрессии в России, страшное землетрясение в Мессине, возвращение во Франции казни через гильотинирование. Однако что из этого? Столетие спустя наши потомки, изучая информационные источники, будут удивляться, как мы вообще жили, принимая во внимание терроризм, киллеров, птичий грипп и падение метеоритов. Подобный взгляд на реалии «столыпинской» эпохи мог существовать в советском литературоведении, не знакомом с информационными технологиями капиталистического общества, но никак не сегодня. Сто лет назад пресса нагнетала страсти так же, как и сейчас, и тот же «Сатирикон» в выборе тем руководствовался отнюдь не личными предпочтениями его авторов, а конъюнктурой. Писали о том, что продавалось. Писали так, как продавалось. Если хорошо продавались пессимизм и суицид, то отчего бы их и не продать? По нашему мнению, «сплин» и «нафталин» Саши Черного — это его очередная роль, маска, такая же, как трагический грим Пьеро на лице Вертинского, который в жизни отнюдь не был меланхоликом. Это мода, отвечавшая болезни эпохи, а возможно, даже издевка над ней. Достаточно вчитаться в известное Сашино стихотворение «Молитва» (1908), последнюю строфу которого цитируют очень часто. В ней герой просит Создателя об устройстве своей посмертной судьбы:

Дай мне исчезнуть в черной мгле, —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.

Разве можно принимать ее всерьез, учитывая общую ироническую, даже ёрническую интонацию всего стихотворения? И начинается оно с пародии на лермонтовскую «Молитву» («Не обвиняй меня, Всесильный...», 1829), и сакральное в нем щедро перемешано с земным. Если это беседа с Богом, то почему герой ведет ее «с блаженной миной»? При чем здесь Третья дума, куда он, к счастью, не взят, и всё остальное? Да и последняя строфа, по нашему мнению, тоже пародия, истоки которой на поверхности. Это плевок в сторону декадентов, и, бросая пафосные слова о мгле и рае, автор сам над ними смеется. «Молитва» — очередная скоморошина Саши Черного, но никак не философское послание или «завет», как ее сегодня трактуют. Достаточно сказать, что в первой публикации в газете «Утро» стихотворение называлось «Благодарность Алла-

ху», то есть и название комически обыгрывало фразеологизм «слава Аллаху!». Эту авторскую игру и в то время мало кто понял, почему и случился инцидент с Корнеем Чуковским, о чем рассказ впереди.

Была тем не менее одна тема, касаясь которой Саша Черный ничуть не притворялся. В первых числах февраля 1909 года он рассказал читателям «Сатирикона» о своей мечте:

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты...
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.
(«Мои желания», 1909)*

Поиск «вершины голой» — один из лейтмотивов творчества поэта, который, в отличие от культивирования суицида, не был маскарадным. От людей он действительно уставал. Это не придумано, это — невроз, знакомый и понятный любому, кто им также страдает. Неврозом объясняется и частое упоминание в стихах Саши Черного имени Робинзона Крузо, неизменно с оттенком недостижимого идеала: необитаемый остров, как и стремление героя многих его стихов спрятаться: влезть на дерево, зарыться в песок, запереться в квартире. Наконец, отсюда любовь Саши к мифу о Всемирном потопе, похожая на мечту: чтобы тупые лица и рты, произносящие глупости, смыло, потому что он физиологически не переносил бездуховность, «мясо», как называл определенную категорию людей. «Вершину голую» Саша Черный искал всю жизнь и, что удивительно, нашел во французском Провансе, до которого еще очень далеко.

О том, что он страдал неврастенией, можно говорить с уверенностью. Основание для такого утверждения дает, к примеру, известное стихотворение «Быт»**, напечанное в «Сатириконе» 8 марта 1909 года. Мы приведем его полностью:

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.

---

* В стихотворные сборники вошло под названием «Два желания».

** В стихотворные сборники вошло под названием «Обстановочка» и без посвящения К. Чуковскому. О том, что стихотворение в свое время разошлось на цитаты, говорит хотя бы тот факт, что в 1924 году Сергей Есенин в одном из писем отсылку к этому тексту использовал как понятную любому: «Жизнь тихая, келейная. За стеной кто-то грустно насилует рояль...» (*Есенин С. А.* Письмо Бениславской Г. А., 20 декабря 1924 г. Батум // *Есенин С. А.* Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М.: Наука; Голос, 1995—2002).

Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.
Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастья полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.
Безбровая сестра в облезлой кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль».
Как не понять? В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

Обычно этот текст комментируют очень узко: в нем-де изображены уродливые приметы быта, в котором нет места подвигу, присутствует гротескная образность и т. д. Мы же предлагаем мысленно его озвучить. Ревет пацан, стучат костяшки счет, стонет офлюсенный супруг форсихи, надрывно свистит голодный чижик, орет бедная кошка, жиличка-белошвейка воет романс, гремит ее машинка, чья-то сестра лупит по роялю, дребезжат стаканы, и в довершение пытки мерно капает с потолка. Хороша обстановочка! Здоровый человек и не обратил бы на нее внимания, но появление в финале капели для Саши Черного закономерно как мечта о том, чтобы падающие капли превратились в ливень и затопили жуткую квартирку.

Интересно, что «Быт» имел посвящение Корнею Чуковскому. То ли потому, что Корней Иванович сам был шаток в отношении нервов и мог оценить трагизм ситуации, то ли оттого, что милая семейка из стихотворения была подсмотрена в родной для обоих Одессе, то ли Саша просто хотел напомнить Чуковскому о себе. Весной 1909 года он все еще ждал от Корнея Ивановича помощи в издании своего поэтического сборника и очень нервничал из-за того, что тот молчит. Наконец, не выдержав, отправил в Куоккалу письмо, сохранившееся в архиве Чуковского. Оно не датировано, но, как увидим в дальнейшем, могло быть написано не позднее августа 1909 года.

«Многоуважаемый Корней Иванович!

Душа моя страдает, время идет, и я волнуюсь, как родильница перед первыми родами. Книжка висит над головой и

положительно мешает думать и работать — хочется выйти из круга ее мотивов, в нем становится тесно, — но чтобы прислушаться к новым голосам в себе — надо хоть иллюзию спокойствия. Перехожу к прозе: Ваше предложение переговорить с Вольфом было бы для меня чрезвычайно ценно.

Теперь со дня на день жду разрешения попытки, никаких новых шагов, конечно, не делаю и вообще так измотался, что минутами хочется уже ничего не писать, не издаваться, не торговаться, плюнуть на все и открыть кухмистерскую в Швейцарии.

Конечно, только минутами...

Умоляю Вас, Корней Иванович, всей мукой рождения первой книги, знакомой и Вам: если Вы не сказали, чего нужно и как нужно у "Вольфа" — сделайте это. И если Вам откажут, я, ей-Богу, ничего над собой не сделаю и буду Вам так признателен, как и при утвердительном ответе.

Тогда попытаюсь еще побегать по книжным фабрикам, прикинуться практичным, независимым и пр. Жду и ничего не делаю.

Преданный Вам

Саша Черный» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245).

Все это замечательно, учитывая, что издательство Вольфа, куда Саша сам пойти не решался, располагалось на той же 16-й линии Васильевского острова, где он жил. В то время как Чуковскому нужно было приезжать издалека, что для него тогда бывало проблематично даже материально. Душевное состояние Черного можно не комментировать, оно знакомо каждому, кто пристраивал в издательство свою первую (и не первую тоже) книгу. Каждый произносил эту фразу: «Жду и ничего не делаю», то есть отдаюсь на волю судьбы, а вдруг оно само как-нибудь сделается. И у Саши Черного оно «сделалось». Правда, не у Вольфа, не в этом году и не при помощи Чуковского. Всему свое время.

В «Сатириконе» между тем кипели рабочие будни. Информационных поводов для глумления хватало. Пресса затрубила о грядущем пятидесятилетии литературной деятельности издателя Алексея Сергеевича Суворина, которого в описываемое время никакие прошлые заслуги (например, близкая дружба с Чеховым) уже не спасали от нападок либеральной общественности. Сатириконцы, бесконечно полемизируя с издаваемой Сувориным национал-монархической газетой «Новое время», избрали и его самого, и ведущего фельетониста газеты Михаила Осиповича Меньшикова постоянными мишенями издевок. Они негодовали, читая о пышных приготовлениях к суворин-

скому юбилею и вспоминая, как в прошлом году обошлись с юбилеем Льва Толстого. Одновременно с интересом ожидали, что же будет в этом году, в дни столетия Гоголя?

Саша Черный вместе с другими желчно ругался, читая отчеты о праздновании юбилея Суворина, прошедшего 27 февраля 1909 года. Были и торжественные молебны, и драгоценные подарки от Его Величества, и бал в Дворянском собрании, и поклоны от всех думских фракций... Льву Толстому и не снился такой юбилей. Впрочем, в то время, исповедуя «опрощение», он его, возможно, и не хотел бы.

«Сатирикон» поздравил Суворина на второй день торжеств, в субботу, 28 февраля, в девятом номере журнала. Для этого выпуска Саша написал «кисло-сладенький романс», который начал прославлением «маститого старичка», справляющего юбилей «между Толстым и Гоголем», но быстро устал и начал резать правду-матку:

...На лире лопнули струны со звоном!..
Дрожит фальшивый, пискливый аккорд...
С мяуканьем, визгом, рычаньем и стоном
Несутся кошмаром тысячи морд:
Наглость и ханжество, блуд, лицемерье,
Ненависть, хамство, и жадность, и лесть
Несутся, слюнявят кровавые перья
И чертят по воздуху: Правда и Честь!

Высказавшись в адрес Суворина, Саша Черный вместе с другими сатириконцами начал готовиться к юбилею Гоголя, чье имя для него было свято. Российские власти, сумевшие замолчать восьмидесятилетие отлученного от Церкви Толстого, теперь старались сделать максимум возможного для памяти писателя воцерковленного. 20 марта 1909 года, в день рождения Гоголя, во многих университетах, средних и начальных учебных заведениях были отменены занятия и вместо них совершались панихиды, ставились студенческие спектакли, проводились научные чтения. «Гоголевский номер» «Сатирикона» (№ 12) вышел накануне, 19 марта, с карикатурой работы Ре-ми на обложке. Городовой склонился перед своим начальником: «Ваше благородие! На Толстого приказывали не пущать, на Суворина — тащить... Как теперь прикажете?» С небес на эту картину, хитро прищурившись, взирает Гоголь. Ничего не изменилось на разухабистой российской дороге! Всё те же гоголевские герои кругом; личины новые надели, а нутро не переделать. Саша написал об этом сатиру «Смех сквозь слезы». Глядите-ка: Чичиков пристроился в интендантстве и «на мертвых душ портянки поставляет»; Манилов — председатель

Думы; болтливость и фамильярность Ноздрева пригодились в охранном отделении, а вот поручик Пирогов теперь служит в Ялте (намек на генерала Думбадзе).

В последующие дни Саша Черный пребывал в крайнем раздражении и уже был недоволен порядками в «Сатириконе». Об этом известно из его письма московскому литератору Казимиру Ромуальдовичу Миллю*, которому он сообщал: «Остальные ваши вещи, кроме "О господине Пустозвоне", которая уже пошла, по справке у г. Аверченко, "не подошли". Между нами говоря, удивительного в этом ничего нет: г. Аверченко сам так много пишет, что для стороннего материала, даже самого интересного, нет просто места. De facto — ему приходится редактировать главным образом свои собственные произведения, и говорить нечего, что каждая строка, написанная им, будет всунута в номер... Думаю, для вас это не новость» (цит. по: *Спиридонова Л. А.* Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 47). Сколько ехидства! Прозрачен намек на то, что Аверченко редакторский оклад не отрабатывает, ведь правит свои собственные рукописи, за которые также получает гонорар. И упрек и намек справедливы лишь отчасти: Аверченко, выступавшего под различными псевдонимами, действительно в «Сатириконе» было слишком много, однако и Сашу Черного он печатал тоже много, на выигрышных местах, поручая ему и стихи, и комментарии к карикатурам на обложке. Складывается впечатление, что Саша снова смертельно устал от Петербурга, срывался по любому поводу и считал дни до того момента, когда у жены закончатся занятия и они смогут отсюда сбежать.

Бежать мечтал не он один. В редакцию приходил Александр Куприн и жаловался, что устал мыкаться по углам с маленьким ребенком и хочет осесть «на земле», что работать в Петербурге совершенно невозможно: как ни прячься, богемные приятели находят, сбивают. Александр Иванович начал большую, скандальную вещь о проституции, «Яму», а закончить никак не может. Он решил поселиться, что удивительно, в Житомире. Оказалось, что на Пушкинской улице, куда Саша бегал в гимназию, живет его родная сестра. Вскоре Житомир напомнил о себе Саше Черному неожиданным образом:

* *Казимир Ромуальдович Милль* (псевдоним Полярный; 1878—1932) — писатель, переводчик. Аверченко через журнальную рубрику «Почтовый ящик» поощрял его писать, например: «Москва. — Полярному. Присылайте еще. Одна вещь идет (Сатирикон. 1909. № 5). Или: «Москва — Полярному. Шлите еще и еще» (Сатирикон. 1909. № 8).

газетчики радостно смаковали подробности тамошней жизни Куприна, который то назвал своего пуделя Негодяем и смущал прохожих, громко выкрикивая его имя, то привел того же Негодяя в театр и едва не сорвал спектакль... Милый Житомир, как ты далеко!

Освобождение от Петербурга пришло в мае и оказалось не самым веселым: Черный уезжал «на кумыс» в Башкирию. И путь неблизкий, и радости мало отдыхать в компании чахоточных больных. Значит, была необходимость. На прощание Саша подарил читателям «Сатирикона» стихотворение «Отъезд петербуржца»:

Середина мая и деревья голы...
Словно Третья Дума делала весну!
В зеркало смотрю я, злой и невеселый,
Смазывая йодом щеку и десну.
....
Синие кредитки вместо Синей Птицы
Унесут туда, где солнце, степь и тишь.
Слезы увлажняют редкие ресницы:
Солнце... Степь и солнце вместо стен и крыш.

Эти строки, морщась от «смазанной йодом щеки» и «редких ресниц», читал у себя в Куоккале Чуковский. Через два месяца он припомнит эти безобразные мелочи и построит на них обвинительный акт Саше Черному. Не подозревая о сгущающихся над ним тучах, поэт добирался в Башкирию, туда, где впервые побывал десять лет назад с Роше «на голоде».

Далека дорога! Из Петербурга поездом до Нижнего Новгорода, оттуда пароходом сначала по Волге и по Каме, потом вверх по реке Белой, змеей извивавшейся среди поросших лесом предгорий Урала, до Уфы. Из Уфы снова поездом, а затем на плетеных таратайках по ухабистой дороге до деревни Чибинли, где была кумысолечебница. Зато цель оправдала средства: Саша оказался на вершине столь голой, что его урбанистская истерика очень скоро прекратилась.

Экзотика в Чибинли была невероятная. Никого вокруг. Речка Дёма. Степь, уходящая за горизонт. Шальной дурман ковыля.

В деревне мертво и безлюдно.
Башкиры в кочевья ушли,
Лишь старые идолы нудно
Сидят под плетнями в пыли,
Икают кумысной отрыжкой
И чешут лениво под мышкой.
(«Кумысные вирши», 1909)

Целебные свойства кумыса башкирам были известны испокон веку, а русские обратили на них внимание только в середине XIX столетия. Это кислое кобылье молоко имеет разную степень крепости, и от процента содержания спирта зависит его воздействие на человека: он либо становится возбужденным, опьянев, либо может успокоиться, заснуть. Саша, судя по всему, предпочитал крепкий кумыс: «Обняв кумысную бутыль, / По целым дням сижу как пьяный...» («Кумысные вирши»). В то время разрешалось выпивать до четырех бутылок в день, поэтому наш герой впал в свое любимое состояние анабиоза и «человека-овоща». Душа его находилась «вполне во власти тела», и все жизненные устремления свелись к созерцанию собственной правой ноги, что, кажется, «на девять фунтов пополнела».

От чего лечился Саша Черный? В «Кумысных виршах» он назвал себя «катарным сатириком», тем самым намекнув на проблемы с желудком, что нередко является следствием повышенной нервной возбудимости. В одном из его рассказов мы нашли и описание симптомов: «...к вечеру легкий приступ морской болезни. Нервы... надо бороться» («Первое знакомство», 1912).

Итак, наш больной под палящим башкирским солнцем «с мокрым платком на затылке» созерцал свою правую ногу. «Ни книг, ни газет, ни людей!» — восклицал он и отправлял в столицу, адский город, свои «Кумысные вирши». Там их печатал Аверченко, едва ли не единственный из сатириконцев проводивший лето в Петербурге. В июньском письме Рославлеву он жаловался, что «занят по пояс» и ему «так скучно»: Ре-ми уехал, Радаков в Старом Симеизе, «наглец Бибилин» куда-то пропал*. Вокруг душный каменный ад и очередная эпидемия холеры. Мертвый летний сезон, кризис тем. И вдруг — такой подарок! 16 августа Чуковский разразился в «Речи» разгромной статьей в адрес «Сатирикона». Посвящения стихов и поклоны не помогли.

Нужно ли объяснять, почему разгромную статью мы назвали «подарком»? Тираж кадетской «Речи» составлял 40 тысяч экземпляров, и если представить, сколько ее подписчиков, прочитав статью, заинтересовались «Сатириконом» и стихами того самого Саши Черного, которого Чуковский обозвал «имфузорией» и «лимонной головой», то недолго и до предположения, что статья была заказной. Впрочем, есть одно «но»: с Сашей Черным Чуковский обошелся уж очень круто. Аверченко не стал бы жертвовать своим ведущим сотрудником в угоду рекламному скандалу (хотя кто знает?).

* Письмо Аркадия Аверченко Александру Рославлеву // ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 21.

Статья Чуковского называлась «Современные Ювеналы», и ее автор сам опасался последствий: «Я пишу это впопыхах и боюсь, что в спешном наброске многое сказалось не так и многое совсем не сказалось». Начинался его «спешный набросок» с выборки цитат из Сашиных стихов, тех, где его лирический герой ругает себя последними словами: «дурак», «истукан», «осел», «идиот». Корней Иванович, отмечая стремление современных поэтов к совершенно иным материям — провозглашению себя богами, — называет Сашу Черного «удивительным поэтом», который «выводит себя на позор». Подобное умонастроение показалось критику родственным тому, что было изложено в «Вехах»*, симптомом безнадежной болезни интеллигенции, для которой самооплевание стало нормой, а смерть из таинства вдруг сделалась скучной повседневностью. «В том-то вся и суть... что “Сатирикон” — это “Вехи”, а Саша Черный — это Гершензон, — утверждал Чуковский. — И даже “Сатирикон” важнее, показательнее “Вех”, потому что “Вехи” — это уже рецепты и диагнозы, а “Сатирикон” — это еще слепая боль». Впрочем, Чуковский не хотел бы обидеть доцента Гершензона сравнением с Сашей, ведь Черный «писатель микроскопический, но... разве для иного биолога инфузория не бывает иногда знаменательнее мастодонта!» И сам «Сатирикон», по мнению Чуковского, занят самооплеванием, сам себя отрицает и сам над собой издевается. Если вы встретите на его страницах насмешку над сексуальными предпочтениями поэта Михаила Кузмина, то не удивляйтесь тому, что в том же номере вы увидите его имя в составе сотрудников этого журнала, замечал критик, прочтете фельетоны о художниках-модернистах, и они здесь же, рисуют в этом же журнале. Это

* Авторами философско-публицистического сборника «Вехи» (1909) выступили Михаил Осипович Гершензон (он же был инициатором «Вех»), Николай Александрович Бердяев, Сергей Николаевич Булгаков, Александр Соломонович Изгоев, Богдан Александрович Кистяковский, Петр Бернгардович Струве и Семен Людвигович Франк. Книга вызвала острую дискуссию в прессе, и более всего нападок выдержал Гершензон, автор статьи «Творческое самосознание». Сосредоточившись на духовном облике интеллигенции второй половины XIX — начала XX века, автор обнаружил нарушение единства чувственно-волевой и рассудочно-разумной сфер души, что делает невозможным естественное, органическое развитие личности. По мнению Гершензона, русский интеллигент, привыкнув всегда оглядываться на чужое мнение, пришел к тому, что стал считать собственное самосовершенствование чем-то постыдным и теперь стремится раствориться в общественной деятельности, чтобы не раствориться в собственной пустоте. Удается это единицам, отсюда и отсутствие всякой деятельности или суицид. Место жизни заняла иллюзия жизни личности. Революция 1905 года могла дать лишь политическую свободу (свободу самоопределения и правовую обеспеченность), но не внутреннюю свободу и душевное здоровье. Пришел день сегодняшний и принес низвержение идеалов и отсутствие авторитетов в общественном сознании.

система: «...никаких пристрастий, никаких влечений. “Ты, читатель, не верь нам, мы сами себе не верим, мы просто ‘так себе’. Лишь бы смешно, мы и над собой посмеемся”».

Затем Чуковский обратил свой взор на Аверченко и Ре-ми, «китов» журнала. Обоим, по его словам, свойственны «прожорливость... крепчайшие зубы и феноменальный желудок», им все об стенку горох, они оба «румяны и безмятежны». Таковы новые Ювеналы — ни принципов, ни полета. Даже удивительно, что «Сатирикон» преследует цензура — и Чуковский припомнил «студенческий номер», о котором мы рассказывали выше.

Не думаем, чтобы Аверченко и Ре-ми были особо обижены, Чуковский во многом верно понял их политику. Не таков был Саша Черный. Корней Иванович вспоминал, что тот «разгневался чрезвычайно»: «Статья моя, к немалому моему огорчению, так сильно задела поэта, что он прекратил всякие отношения со мной» (*Чуковский К.* Саша Черный [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. С. 16). Еще бы! Проглотить такие оскорбления под силу только очень уверенному в себе человеку (к примеру, тому же Аверченко), а Саша таким не был. Немало его огорчила и неразборчивость литературного критика, который почему-то не провел границы между автором и лирическим героем. Это огорчение чуть позднее отразится в ответной шпильке — известном стихотворении «Критику» (1909):

Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет»,
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт — мужчина. Даже с бородою.

Справедливости ради следует заметить, что и Корнею Ивановичу было не по себе. В одном из писем этого времени он нервно сообщал: «...противно и ненужно все, что пишу — и мой стиль, и мои “коленца”, и мое “вдохновение”. Если бы я был читатель, никогда не читал бы Корнея Чуковского, — по крайней мере так себя чувствую» (Письмо К. И. Чуковского В. В. Розанову // *Чуковский К.* Собрание сочинений: В 15 т. Т. 14. С. 198). Их отношения с Сашей Черным прервались на несколько лет.

«Сатирикон» же от статьи Чуковского, вне всяких сомнений, только выиграл. Дела журнала шли в гору. К концу 1909 года, в ноябре, случилась, правда, одна неприятность. Здание на Невском, где была редакция, готовилось под снос, и при-

шлось переезжать на набережную Фонтанки, 80. По этому адресу находилось в некотором смысле «родовое гнездо» Михаила Корнфельда. Некогда здесь жил его отец, купец Герман Карлович Корнфельд, владелец фабрики каучуковых штемпелей и металлических надписей, а также издатель «Стрекозы», предшественницы «Сатирикона». Теперь здесь жил сам Михаил Германович Корнфельд вместе со старшей сестрой Софьей. Хоть и не Невский проспект, а место бойкое: берег Фонтанки, вид из окон на Суворинский (Малый) театр и Апраксин Двор. Четырнадцать лет спустя, в 1925 году, эти места оживут в стихотворении Саши Черного «Сатирикон»:

Над Фонтанкой сизо-серой
В старом добром Петербурге
В низких комнатах уютных
Расцветал «Сатирикон».
За окном пестрели барки
С белоствольными дровами,
А напротив Двор Апраксин
Подымал хоромы ввысь.

В низких комнатах уютных
Было шумно и привольно...
Сумасбродные рисунки
Разлеглись по всем столам.
На окне сидел художник
И калинкинское пиво,
Запрокинув кверху гриву,
С упоением сосал.

На диване два поэта,
Как беспечные кентавры,
Хохотали до упаду
Над какой-то ерундой...
Почтальон стоял у стойки
И посматривал тревожно
На огромные плакаты
С толстым дьяволом внутри.

Тихий крохотный издатель
Деликатного сложенья
Пробегал из кабинета,
Как испуганная мышь.
Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами
За издателем помчался.
Чтоб аванс с него сорвать...

А в сторонке в кабинете
Грузный медленный Аркадий,
Наклонясь над грудой писем,
Почту свежую вскрывал:

Сотни диких графоманов
Изо всех уездных щелей
Насылали горы хлама —
Хлама в прозе и в стихах.

Ну и чушь! В зрачках хохлацких
Искры хитрые дрожали:
В первом ящике почтовом
Вздернет на кол — и аминь!
Четким почерком кудрявым
Плел он вязь, глаза прищурив,
И сифон с водой шипучей,
Чертыхаясь, осушал.

Ровно в полдень встанет. Баста!
Сатирическая банда,
Гулко топая ногами,
Вдоль Фонтанки шла за ним
К Чернышеву переулку...
Там в гостинице «Московской»
Можно вдосталь съесть и выпить.
Можно всласть похохотать.

Хвост прохожих возле сквера
Оборачивался в страхе,
Дети, бросив свой песочек,
В рот пихали кулачки:
Кто такие? Что за хохот?
Что за странные манеры?
Мексиканские ковбои?
Укротители зверей?..

А под аркой министерства
Околоточный знакомый,
Добродушно ухмыляясь,
К козырьку взносил ладонь:
«Как, Аркадий Тимофеич,
Драгоценное здоровье?» —
«Ничего, живем — не тужим.
До ста лет решил скрипеть!»
....

(«Сатирикон», 1925)

Стихотворение это настолько информативное, что, комментируя его, мы одновременно продолжаем рассказ о работе Саши Черного в «Сатириконе». Упомянутые им «низкие комнатки» были в квартире 10, а плакаты «с толстым дьяволом внутри» появятся грудами на редакционных столах в феврале следующего, 1910 года, когда сатириконцы будут заняты организацией грандиозного бала-маскарада. В 1909-м плакатов еще не было, но сам «дьявол» уже был: он впервые появился на сатириконской рекламе 3 октября 1909 года. Это

был обаятельный толстяк-сатир с рожками и свиным хвостиком, в шутку как-то нарисованный Ре-ми. Картинка так всем понравилась, что ее единодушно избрали эмблемой журнала.

Нетрудно заметить, что впечатления автора стихотворения каким-то образом завязаны на редакционную почту: он упоминает стоящего у стойки почтальона и чертыхающегося Аверченко, вскрывающего и читающего почту. Объяснение есть: приблизительно в это время Черный был секретарем редакции. Точнее сказать не можем, так как в «Сатириконе» не печатались сведения о персонале. О том, что Саша был секретарем, вспоминал О. Л. Д'Ор и он же утверждал, что «Сашу Черного заменил Валентин Горянский» (*Старый журналист [О. Л. Д'Ор].* Литературный путь дореволюционного журналиста. С. 92). По другим данным, после Саши секретарем работал не то Петр Потемкин, не то Георгий Ландау.

Аркадий Аверченко и Саша Черный. Трудно представить более разных людей. Аверченко был очень цельной натурой, редко сомневался в себе и знал, чего хочет. Жил и разговаривал громко, приучил себя ко всему на свете относиться с юмором, беспечно. Черный был полной противоположностью: он терпеть не мог быть в центре внимания, сразу смущался и терялся, разговаривал тихо, часто бывал желчен, равнодушно относился к внешнему виду, всему показному. Если у этих двоих случались минуты задушевности, то они могли найти сходное в своих судьбах: оба по рождению были южане (Черный — одессит, Аверченко — севастополец), оба из купеческих семей, оба в прошлом работали конторщиками. Однако если они и ладили, то заслуга в этом принадлежала уж точно не Черному. И конфликты были. Об этом косвенно свидетельствует хотя бы карикатура работы Ре-ми, опубликованная в одном из последних выпусков «Сатирикона» за 1909 год: сатириконцы с пригорка наблюдают за парадом своих персонажей, над которыми насмехались в течение уходящего года. Саша изображен таким, каким его описывал Чуковский: кургузый пиджачишко, обвисшие брючки, согбенный и почему-то плешивый, хотя такой проблемы не имел никогда. В ироничном комментарии к рисунку, наверняка написанном Аверченко, он назван «мрачным, злобным», «бросающимся иногда даже на своих» (Итоги года // Сатирикон. 1909. № 50). Мы располагаем еще одной оценкой, которую редактор журнала дал своему сотруднику. В рукописном отделе Российской национальной библиотеки хранится автограф незавершенного стихотворения Аверченко «Послание к сатириконцам», без даты, однако смысл, полагаем, очевиден:

С миной
(Боги, что за вид!)
Мистер Саша Черный
Над стихом корпит!
Слюни, нюни, слякоть,
А в ...... мир!
Как же тут не плакать
Как (дешевый — зачеркнуто. — *В. М.*) ...... сыр*.

Сам Саша Черный, много лет спустя вспоминая своего шефа Аркадия Аверченко, рассказывал о тех его чертах, которые его восхищали: «...исключительная работоспособность, никогда ему не изменявшая. Качество отнюдь не великорусское — железное упорство хохла, гнувшего свою линию, умение работать, не остывая, не поддаваясь никаким настроениям, с точностью машиниста, ведущего свой поезд от станции до станции» (*Черный А.* Памяти А. Т. Аверченко). По своему служебному положению наш герой был вхож в рабочий кабинет Аверченко и потому так зримо описал в стихотворении «грузного, медленного» Аркадия, вскрывающего почту и содрогающегося при чтении присланных рукописей. Эту же сцену он вспомнит в некрологе памяти Аверченко: «Сотни и сотни акцизных и телеграфно-почтовых графоманов заваливали своими корявыми куплетами и набросками редакционный стол. Аверченко все сам читал, молниеносно процеживал, натыкал несчастных авторов, как жуков, на булавки своего юмора, двумя-тремя словами распластывал на последней странице и хоронил на дне редакционной корзинки» (*Черный А.* Памяти А. Т. Аверченко). На последней странице журнала помещалась рубрика «Почтовый ящик», где редактор «Сатирикона» вел переговоры со своими корреспондентами, редко привечая, а чаще убийственно осмеивая их. Среди «телеграфно-почтовых графоманов» нашелся один особо настырный, телеграфист Надькин из Двинска, досаждавший сатириконцам несколько лет. Вот его первые стихи, присланные в редакцию (1908. № 9):

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать,
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать!

Аверченко на основе этих строк выстроил в ответ целый фельетон «Поэт» (1909). Надькина это не смутило, он был упорен, присылал свои вирши под разными псевдонимами (Крестьянин, Юный Шиллер), всех доконал — и благодаря этому об-

* ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 21.

рел бессмертие. Склоняли его сатириконцы на все лады, да так, что Виктору Шкловскому, например, стало жаль несчастного графомана из Двинска. «Телеграфист — загнанный, маленький человек — был аттракционом в “Сатириконе”», — вспоминал он (*Шкловский В. Б.* Жили-были).

Саша Черный Надькину и ему подобным не сочувствовал. Многие такие «таланты» являлись прямо в редакцию, и именно Саша должен был докладывать шефу о цели их визита, которую они не всегда могли сформулировать. Потом, дожидаясь приема, они развлекали его декламацией, и тут уж оставалось, сцепив зубы, только дивиться многообразию человеческой глупости.

Не вдаваясь в подробности, вспомним некоторых визитеров из рассказов Аверченко, наверняка писанных «с натуры». К примеру, однажды сатириконцы смеха ради похвалили в «Почтовом ящике» двух стихоплетов, приславших «ногопись» из Грузии, а те взяли и явились в столицу становиться знаменитостями. Аверченко, чувствуя свою вину, долгое время выдавал им какие-то авансы под что-то, пока, наконец, не придумал, как использовать их кавказский темперамент и предприимчивость. Он предложил им добывать рекламные объявления для «Сатирикона», получая за это свой процент, и так, сам того не ведая, направил их на путь истинный. В скором времени благодарные горцы угощали его в роскошном ресторане и благодарили за содействие доходному делу. Однако это было скорее исключение из правила. Чаще приходили другие посетители: написав какую-нибудь ерунду, они норовили попасть на прием непременно к Аверченко и, развалясь перед ним в вальяжной позе, снисходительно соглашались — «так и быть» — отдать свой шедевр в «Сатирикон». Аркадий Тимофеевич недоумевал: почему никто не пошел бы, не имея опыта, проситься на работу сапожником или часовщиком, а вот заявить себя писателем приходит в голову каждому второму? Являлись к нему и совершенно сумасшедшие люди, и такие, кто доверительно предлагал взять себя на место секретаря редакции, а действующего уволить.

Однако вернемся к стихотворению Саши Черного «Сатирикон» и объясним, почему «ровно в полдень» наступала «баста» и сотрудники журнала «цугом» шли вдоль Фонтанки. Аверченко был гурманом, и мало что в жизни могло отвлечь его от трапезы. После переезда редакции журнала добираться до ресторана «Вена» стало далековато, и сатириконцы нашли себе поблизости новую «штаб-квартиру». Гостиница «Московская», куда в стихотворении направлялась «сатирическая банда», появилась в нем для ритма. На самом деле название

было другим: «...обсуждение тем иногда переносилось в просторную столовую “Мариинской гостиницы” в Чернышевом переулке — в двух шагах от редакции, — но уж подлинно таких веселых заседаний во всем Петербурге не было. Председатель — редактор, внешне сдержанный и неповоротливый, был среди своих неистощимо весел, но как-то под сурдинку, исподтишка, точно раскачивая других. И собрания эти проходили, словно нескончаемый пикник молодых кентавров, которые в числе прочих развлечений вздумали выпускать еженедельный “смешной” журнал» (*Черный А.* Памяти А. Т. Аверченко). «Мариинская гостиница Щукина двора» находилась в Апраксином Дворе, на противоположном берегу Фонтанки. Столовая гостиницы содержалась товариществом официантов и славилась румынским оркестром. Здание сохранилось, и столовая в нем работает по сей день*. Скверик, в котором дети, «бросив свой песочек», дивились хохоту «мексиканских ковбоев», был и есть сейчас в центре площади Ломоносова. Арка министерства, где шефа «Сатирикона» приветствовал «околоточный знакомый», — это проездные пропилеи дома 1 на площади Ломоносова, занятого в те годы Министерством народного просвещения.

Следует оговориться: стихотворение «Сатирикон» было вызвано ошеломившим многих событием — трагически ранней кончиной Аркадия Аверченко, похвалявшегося тем, что «до ста лет решил скрипеть», а ушедшего в возрасте сорока четырех лет. Саша Черный был потрясен этой смертью и писал о покойном в ностальгическом тоне. А вот о том, как он чувствовал себя в компании «кентавров» тогда, в 1909 году, судить трудно. Обычно в связи с этой темой биографы поэта приводят свидетельство Чуковского, утверждавшего, что Саша, «совершенно непохожий на всех остальных», выглядел так, словно он «очутился среди этих людей поневоле и был бы рад уйти от них подальше. Он не участвовал в их шумных разговорах и, когда они шутили, не смеялся. <...> Он чувствовал себя в “Сатириконе” чужаком» (*Чуковский К. И.* Саша Черный [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. С. 6).

Объективен ли Корней Иванович?

Скажем так: по складу характера Саше Черному в общем претили подчеркнутая публичность, купеческий размах, шумные пирушки. Нам даже кажется, что и здоровье Аверченко — физическое и душевное (или внешнее культивирование этого, учитывая его раннюю смерть) — могло раздражать «катарного сатирика» и неврастеника Сашу Черного. Однако зачем в

* Ныне улица Ломоносова, 3.

таком случае он ходил с сатириконцами в ту же «Вену» или столовую? Не заставляли же его, в самом деле. Думаем, Чуковский все же выдавал желаемое за действительное, не любя «Сатирикон». Сам же Саша Черный, по крайней мере в то время, явно ощущал себя частью целого и не особо страдал от отдельных издержек.

Осенью 1909 года сатириконцы обсуждали новую идею. Планируя подписную рекламу, они задумали в качестве подарка читателю на будущий год выпустить юмористический альманах — «роскошно иллюстрированную» «Всеобщую историю, обработанную “Сатириконом” под его углом зрения». Аверченко, рекламируя это издание, уже предпринял новый маркетинговый ход — смело заявил, что «Сатирикон» открыл новую страницу в истории русского смеха, «выбрал... свой собственный путь» и, вступая в третий год своего существования, уверенно смотрит вперед. Разумеется, это было возможно только при слаженной работе коллектива, и, надо признать, большинство сотрудников этому условию соответствовали. Так, например, в конце 1909 года сатириконцы обнаружили редкое единодушие в отношении одного из самых больных тогдашних вопросов — «еврейского». В то «время реакции» в адрес еврейства звучали обвинения в том, что оно играло лидирующую роль в революционных потрясениях 1905—1907 годов. Общество разделилось: одна часть заняла самодержавно-охранительную позицию, другая требовала перемен. И вот на этом драматическом фоне сатириконцы решились выпустить тематический «Еврейский номер», заявив в редакционной статье, что испытывают «живое сочувствие к угнетенной стороне» (От редакции // Сатирикон. 1909. № 47).

Саше Черному был предоставлен карт-бланш — выпуск открывался его стихотворением «Еврейский вопрос». Поэт подал голос в защиту своего народа:

Для всех, кто носит имя человека,
Вопрос решен от века и на век —
Нет иудея, финна, негра, грека,
Есть только человек.
....
Но что — вопрос еврейский для еврея?
Такой позор, проклятье и разгром,
Что я его коснуться не посмею
Своим отравленным пером...

(«Юдофобы», 1909)

Не хочет он касаться и черносотенных изданий, совершающих «веселые рейсы / По старым клоакам оплаченной лжи». Перефразируя библейскую истину: «...нет ни Еллина,

ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» – из «Послания к Колоссянам» Апостола Павла (Кол 3:11), поэт тем самым утверждал, что нельзя в чем бы то ни было обвинять огульно целый народ. У каждого народа есть и свои герои, и свои мерзавцы. Если не так, то «отчего же из ста юдофобов / Полсотни мерзавцев, полсотни ослов?». Под стихотворением Саша Черный поставил красноречивую подпись: «Гейне из Житомира». Думается, не случайно. Во время житомирского погрома в апреле мятежного 1905 года был убит его юношеский приятель Николай Блинов, с которым когда-то они ездили в Башкирию «на голод». Он не был евреем, но бросился защищать евреев и погиб. Добавим, что в 2012 году в израильском городе Ариэль Николаю Блинову был установлен памятник.

В конце ноября 1909 года Саша Черный узнал на «расклейке», что Аверченко решил выпустить следующий тематический выпуск — о Москве, и дабы он получился актуальным и веселым, предложил совершить в Первопрестольную творческую командировку. Идею шумно поддержали, и уже через несколько дней сатириконцы целой компанией десантировались на московском Николаевском вокзале. В том, что Саша Черный участвовал в поездке, нет никаких сомнений, потому что его сатира «Побег» в тематическом номере определенно является отчетом о ней.

Побывали в «модном» Московском Художественном театре на спектакле по пьесе Тургенева «Месяц в деревне» и, конечно, не забыли осмотреть памятник Гоголю на Пречистенском бульваре, открытый в дни недавних торжеств и вызвавший много толков. Далеко не всем тогда понравилась работа скульптора Николая Андреева, изобразившего писателя в скорбной позе, укутанным в плащ, с поникшей головой. Бросался в глаза его грустный длинный нос. «Больная птица» — такое сравнение приходило многим на ум. Сатириконцы же свое впечатление сформулировали так (*П.* Скульптору Андрееву // Сатирикон. 1909. № 51):

Он выбрал Гоголя «Портрет»,
Когда поэт
Страдал последние недели.
Испортив множество резцов,
В конце концов —
Он сделал Гоголя из «Носа» и «Шинели».

Аверченко остался доволен результатами командировки. Он станет прибегать к таким «десантам» и в дальнейшем, а

год спустя задумает целую «экспедицию» в Западную Европу. Сейчас же, в преддверии Нового года, он поставил в последний предпраздничный выпуск журнала анонимный сатирический цикл «Сатириконцы (Рождественский подарок)», посвященный ему самому, Корнфельду, Радакову, Ре-ми, Юнгеру, Яковлеву и Черному. Цикл сопровождало пояснение-мистификация: «Настоящее произведение прислано в редакцию неизвестным автором под странным девизом: "Turdus sibi malum cacat". Подозревая в авторстве одного из своих сотрудников, желая пробудить в нем раскаяние и вывести его на чистую воду, — помещаем этот гнусный пасквиль целиком». Анатолий Иванов перевел латинскую фразу как «Дрозд, гадящий самому себе» и, обнаружив в русских эмигрантских журналах — берлинской «Жар-птице» и парижской «Иллюстрированной России» — один из псевдонимов Саши Черного *Turdus*, присвоил этот цикл ему. Мы отнеслись бы к этому осторожнее: ни тип комизма, ни тон не похожи на стиль Саши Черного, а аргумент Иванова, что никто из тех, на кого написаны эпиграммы, кроме Радакова, «не баловался рифмами», кажется нам уязвимым. Почему бы в таком случае цикл не мог сочинить Радаков? Вполне сносные стихи писал и Аверченко. Однако не станем спорить, суть не в авторстве, а в том, что понятие «сатириконцы» стало корпоративным. И в этом сообществе автор цикла отвел Саше Черному роль «безнадежного пессимиста», которую он играл долгие годы:

Как свинцовою доской,
Негодуя и любя,
Бьет рифмованной тоской
Дальних, ближних и себя.

Солнце светит — оптимист,
Солнце скрылось — пессимист,
И на дне помойных ям
Пьет лирический бальзам.

Безбилетный пассажир
На всемирном корабле —
Пил бы лучше рыбий жир,
Был бы счастлив на земле.
(«Сатириконцы» // Сатирикон. 1909. № 52)

Следующим шагом по внедрению в массы сатириконского мифа стала идея персонифицированно явить себя миру. С ее реализации начнется следующий год. Задействованы все — никаких отпусков.

Год 1910-й: триумф

В наступившем 1910 году сатириконцы уже уверенно стояли на пороге своего золотого века. Дела шли настолько успешно, что возникла идея организовать на Масленой неделе комический благотворительный бал-маскарад.

Замысел был грандиозным: совместить в едином пространстве «зала Павловой» на Троицкой улице и шутовские аттракционы, и балет, и театр миниатюр. Огромная работа — декорации, костюмы, оформление зала — ложилась на плечи художников. Привлекли выдающегося балетмейстера и ведущего танцора Мариинского театра Михаила Фокина, который согласился поставить для сатириконцев балет «Карнавал» на музыку Шумана и исполнить в нем роль Арлекина. Коломбину танцевала знаменитая балерина Тамара Карсавина, а на роль Пьеро пригласили Всеволода Мейерхольда. Костюмы для балета шились по эскизам Льва Бакста, на репетиции приходил Сергей Дягилев. Приходил не просто так: уже летом он покажет этот балет парижской публике на сцене *Opéra Garnier.*

Видимо, занятостью можно объяснить то обстоятельство, что на новогодние праздники Саша Черный никуда не уезжал. По крайней мере, никаких его посланий, ставших традиционными, в январских номерах «Сатирикона» нет. Зато там есть стихотворение «Всероссийское горе», по нашему мнению, одно из лучших в наследии поэта. Оно не случайно имело подзаголовок «Всем добрым знакомым с отчаянием посвящаю». Это крик души художника, которому мешают. Это отчаяние несчастного интеллигента, не умеющего выставить из своего дома праздных болтунов и дошедшего до крайней степени нервности.

Вот герой стихотворения предвкушает, как засядет сейчас за перевод...

> В двенадцать влетает знакомый.
> «Вы дома?» К несчастью, я дома
> (В кармане послав ему фигу),
> Бросаю немецкую книгу
> И слушаю, вял и суров,
> Набор из ненужных мне слов.

Так проходит два часа. Наконец, выпроводил и, пошатываясь, направился к оставленной немецкой книге. Звонок... «Пришел первокурсник-щенок». Влюбился в кого-то и восторженно словоблудил.

> В четыре ушел он... В четыре!
> Как тигр я шагал по квартире,

В пять ожил и, вытерев пот,
За прерванный сел перевод.

Звонок... «Собрат»-поэт просит взаймы полтинник. Пожалуйста, полтинника не жаль. Но у того за пазухой рукопись, и он читает, читает, читает, искушая героя: «Ударь его лампою в ухо! / Всади кочергу ему в брюхо!»... Явилась «рябая девица», прочла «Месяц в деревне» и делится впечатлениями...

Зачем она замуж не вышла?
Зачем (под лопатки ей дышло!)
Ко мне направляясь, сначала
Она под трамвай не попала?

И пошла карусель...

Какие-то люди звонили.
Какие-то люди входили.
Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Я бегал тихонько на кухню
И плакал за вьюшкою* грязной
Над жизнью своей безобразной.

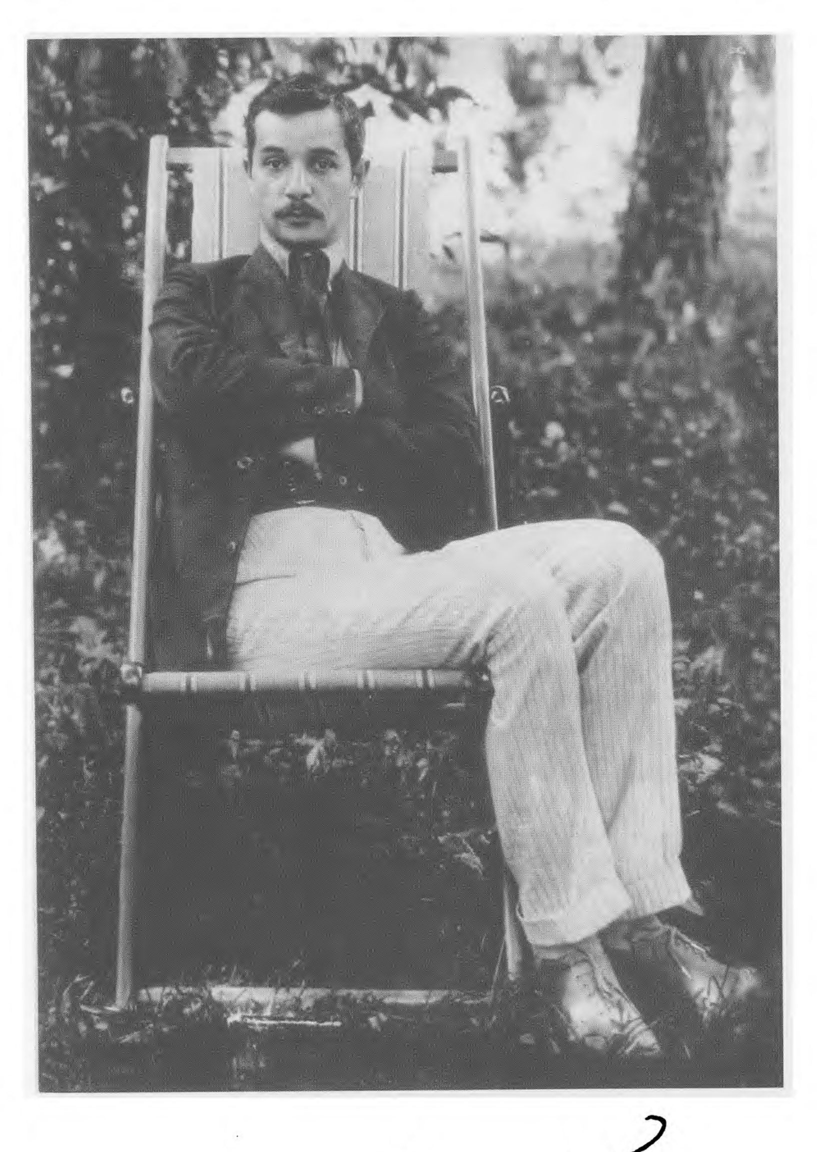
Что поделаешь — слава! Сюжет объясняется и совершенно конкретными реалиями. В описываемое время Саша с Марией Ивановной, вероятно, по служебным причинам, переменили адрес, сняв квартиру на Фонтанке, 68, непосредственно на пути между редакцией «Сатирикона» и «залом Павловой» на Троицкой улице**, где планировалось проведение того самого бала. Коллеги бегали туда-сюда по нескольку раз в день, вызывали Сашу в редакцию, волновались. К тому же центр, место людное.

Первый сатириконский бал широко рекламировался. По Невскому бегали «сэндвич-мэны» с плакатами, на которых «толстый дьявол» зазывал всех в «зал Павловой» на невиданное зрелище. Некоторые петербуржцы хмыкали. «Многое, что отлично в Париже, у нас как-то некстати. Я думаю, “Сатирикон”, несмотря на большой успех, еще несколько чужд русскому обществу», — замечал театральный и литературный критик Сергей Ауслендер. Кое-кому казалось кощунственным, что бал совпадал с похоронами великой актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской, проходившими в тот же день, 20 февраля 1910 года, в Александро-Невской лавре при огромном стечении народа. Не странно ли, что сатириконцы и многие из актеров, рыдавших на похоронах, вечером того же дня развлекали публику?

---

* Вьюшка — задвижка в дымоходе.

** Ныне улица Рубинштейна, 13.



Саша Черный.

Дом с внутренним двориком, где прошло детство Саши Гликберга. *Одесса, улица Ришельевская, 74. Современное фото*

Греческая улица, описанная Сашей Черным в рассказе «Голубиные башмаки». *Одесса. Открытка начала XX в.*

«Приготовишка» — любимый литературный герой поэта.
Рисунок художника Г. И. Самойлова к рассказу Саши Черного «Невероятная история» (Румяная книжка. Белград, 1931)

Гимназия, где учился в приготовительном классе Саша Гликберг.
Белая Церковь. Фото 1890-х гг.



Гимназист Александр Гликберг.
Житомир. Фото 1898–1899 гг.



Константин Константинович Роше, в семье которого воспитывался будущий поэт.
Житомир. Фото 1918 г.

Здание Мариинской женской гимназии, где жила семья Роше.
Житомир. Открытка начала XX в.



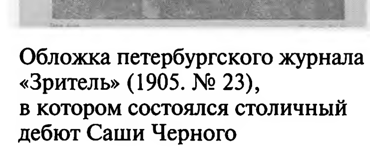
«Бестужевка» Мария Ивановна Васильева, будущая жена поэта

Пансион корпорации «Вартбург», в котором предположительно останавливались супруги Гликберг. *Гейдельберг, Германия. Фото 1910-х гг.*

Корпоранты на отдыхе с традиционными пивными кружками. *Кадр из фильма «Старый Гейдельберг». 1915 г.*







Обложка петербургского журнала «Зритель» (1905. № 23), в котором состоялся столичный дебют Саши Черного

Обложка знаменитого журнала «Сатирикон» (1908. № 25) – «Студенческий выпуск», претерпевший нападки цензуры и критику К. Чуковского

Стихотворение «Чепуха», под которым впервые появился псевдоним Саша Черный

Чепуха.

Треповъ—мягче сатаны,
Дурново—съ талантомъ,
Намъ свободы не нужны,
А рейтузы съ кантомъ.

* * *

Сосланъ Нейгардъ въ рудники,
Съ нимъ Курловъ туда же—
И за старые грѣхи
Алексѣевъ даже.

* * *

Монастырь нашъ подарилъ
Нищему копѣйку,
Крушеванъ усыновилъ
Старую еврейку...

* * *

Взялъ Линевичъ въ плѣнъ спьяна
Три полка съ обозомъ...
Умножается казна
Вывозомъ и ввозомъ.

* * *

Витте родиной живетъ
И себя не любитъ.
Вся страна съ надеждой ждетъ,
Кто ее погубитъ.

* * *

Разорвался апельсинъ
У Дворцова моста...—
Гдѣ высокій господинъ
Маленькаго роста?

* * *

Сей высокій человѣкъ,
Ѣдетъ заграницу;
Изъ Манчжуріи калѣкъ
Отправляютъ въ Ниццу.

* * *

Мучимъ совѣстью, Фроловъ
Съ горя застрѣлился;
Губернаторъ Хомутовъ
Слѣдствія добился.

* * *

Безобразовъ заложилъ
Перстень съ бриллiантомъ...
Веселъ, сытъ ученъ и милъ
Пахарь ходитъ франтомъ.

* * *

Шлется Стесселю за честь
Отъ французовъ шпага—
Манифестъ—иначе есть
Важная бумага...

* * *

Іоаннъ Кронштадтскій простъ,
Но душою хлибокъ...
Спряталъ чертъ свой грязный хвостъ—
Не было-бъ ошибокъ!..

* * *

Интендантство, сдавъ ларекъ,
Все забаставало,
А Суворинъ старичекъ
Перешелъ въ «Начало».

* * *

Появился Серафимъ—
Появились дѣти.
Папу видѣли за симъ
Въ ложѣ у Неметти...

* * *

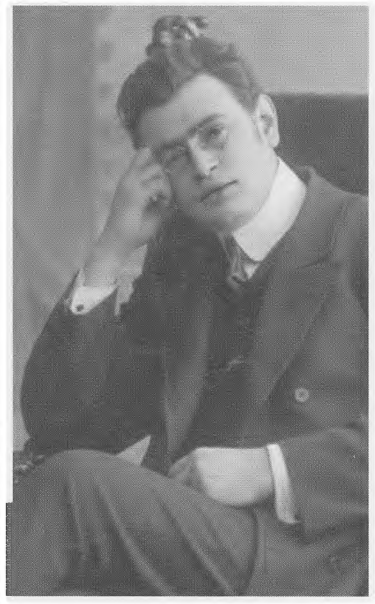
Въ свѣтъ пустилъ святой синодъ
Безъ цензуры святцы,
Витте-графъ пошелъ въ народъ...
Что-то будетъ братцы?..

* * *

Высшей милостью труха
Хочетъ общей драки...
Все на свѣтѣ чепуха,
Остальное враки...

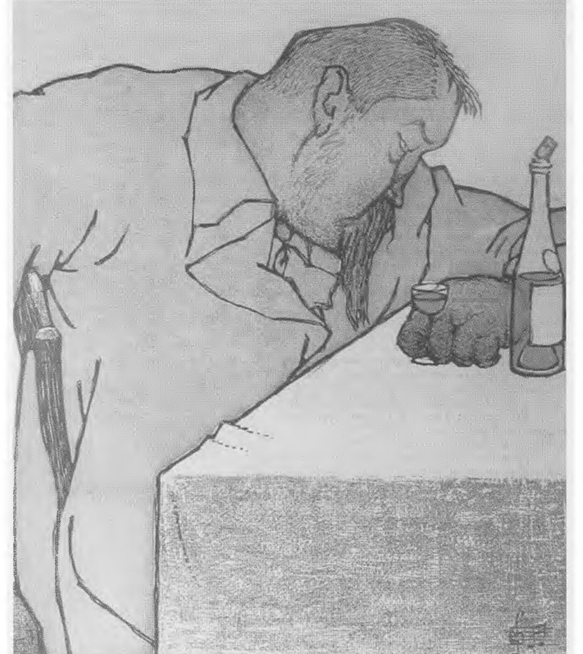
САША ЧЕРНЫЙ.





Сергей Горный.
1921 г.

Аркадий Аверченко.
1912 г.



«Поединок».
Дружеский шарж на Александра Куприна работы Ре-ми, опубликованный в «Сатириконе». 1908 г.





Художник-сатириконец Алексей Радаков. *Фото 1920-х гг.*

Любимица сатириконцев Тэффи



Художник Ре-ми (Николай Ремизов). *Портрет работы И. Е. Репина. 1917 г.*



«Наши критики (Корней Чуковский, Петр Пильский и Максимилиан Волошин)». *Шарж работы Ре-ми. 1908 г.*

Фирменная эмблема журнала «Сатирикон», названная Сашей Черным «толстый дьявол-балда»



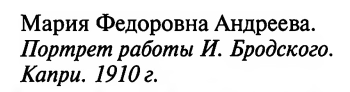
Шарж на сатириконцев работы Ре-ми. Первый справа – Саша Черный, «бросающийся иногда даже на своих». *1909 г.*



Максим Горький. *Офорт работы В. Фалилеева. Капри. 1912 г.*



Саша Черный. *Офорт работы В. Фалилеева. Капри. 1912 г.*



Мария Федоровна Андреева. *Портрет работы И. Бродского. Капри. 1910 г.*



Саша Черный на Капри. *Фото Ю. Желябужского. 1912 г.*



Супруги Гликберг и Фалилеевы. Слева направо: А. М. Гликберг, М. И. Васильева, Е. Н. Качура-Фалилеева, В. Д. Фалилеев. *1915(?) г.*

Вера Евгеньевна Беклемишева, редактор издательства «Шиповник»



Зиновий Исаевич Гржебин, совладелец издательства «Шиповник»





Зауряд-чиновник штаба 5-й Армии Александр Гликберг (сидит третий справа) среди сослуживцев. *Двинск. 1915 г.*

Мария Ивановна Васильева в форме сестры милосердия. *Офорт работы В. Д. Фалилеева. 1915 г.*



Фронтовик Гликберг. *Офорт работы В. Д. Фалилеева. 1915 г.*



г. Псковъ. Пловучій мостъ, рѣка Великая и Завеличье.

Псков: вид на плавучий мост через реку Великая и Спасо-Мирожский монастырь. *Фотооткрытка. 1910-е гг.*

Сотрудники военного комиссариата Северного фронта. Стоит в центре — А. М. Гликберг, справа от него — поэт Г. А. Вяткин; сидят слева направо: Д. В. Савицкий, В. Б. Станкевич, В. С. Войтинский, Б. Н. Ковалевский. *Псков. 1917 г.*



Вольноопределяющийся 2-го разряда Александр Михайлович Гликберг.
Варшава. Август 1914 г.

На балу «Сатирикона», который состоялся, невзирая ни на что, были и таверна «Вытекший глаз» с «трагическим буфетчиком Рославлевым», и пьеса-пародия Аверченко «Коготок увяз, всей птичке пропасть», и постановка «Редакционный день “Сатирикона”», и оперетка из негритянской жизни «Топси», недавно написанная Тэффи, и балет «Карнавал» (Бал «Сатирикона» // Сатирикон. 1910. № 10). Аверченко и Ре-ми, хозяева бала, расхаживали в костюмах французских голодранцев, апашей: клетчатые штаны с бахромой, лихо заломленные фуражки. Толпу собрал вокруг себя генерал Александр Матвеевич Кованько, начальник Офицерской воздухоплавательной школы, бегавший с воздушным шариком в руках; его спина и ее нижняя часть были украшены фривольными перышками (Бал «Сатирикона» в зале Павловой, в С.-Петербурге, 20-го февраля // Огонек. 1910. № 9).

Саша Черный вряд ли отвертелся от участия в этом мероприятии, которое не одобрял. Позже, уйдя из «Сатирикона», в числе побудительных причин он назовет «танцклассное направление», которое избрал журнал. Выскажется он и по поводу одной бальной затеи, о которой очевидец рассказывал следующее: в зале были развешаны огромные картонные паяцы, от которых к публике спускались веревочки. Танцующие непрерывно дергали за них, и создавалось впечатление всеобщей беспрерывной пляски (*Хохлов Е. С.* «Сатирикон» и сатириконцы // Русские новости. 1950. № 257). Саша же посчитал этих паяцев тревожным симптомом деградации коллег, переметнувшихся от революционных баррикад к бездумному маскараду:

Акулы успеха!
Осмелюсь спросить —
Что вы нанизали на нить?
Картонных паяцев. Потянешь — смешно,
Потом надоест — за окно.
Ах, скоро будет тошнить
От самого слова «юмор»!..
(«Юмористическая артель», 1911)

«Сатирикон» действительно становился похожим на артель: производство расширялось, и Корнфельд уже заговаривал о создании собственного издательства и открытии еще одного проекта — «Синего журнала». Объявили подписку на собрание сочинений Марка Твена, скончавшегося в прошлом году, готовили новую издательскую серию — «Дешевую библиотеку “Сатирикона”», в которой планировали выпускать произведения самих сатириконцев и мировую сатирико-юмористическую классику. Вполне вероятно, что именно для этой серии Саша Черный го-

товил перевод немецкой книги, который ему не давали закончить персонажи «Всероссийского горя».

Михаил Корнфельд не зря суетился: его ведущих сотрудников уже приманивал конкурент — издательство «Шиповник», купившее у Аверченко и Тэффи рукописи сборников рассказов. И Михаил Германович пошел ва-банк. Он зарегистрировал издательство, купил типографию на Бассейной и в срочном порядке выпустил книги Аркадия Аверченко («Веселые устрицы») и Саши Черного («Сатиры»). Так осуществилась Сашина мечта: в марте 1910 года он мог забрать из типографии сборник своих стихов, над которым немало потрудился.

Поэт тщательно продумал структуру сборника, разделив все сатиры по тематическому принципу на шесть групп. Первая, «Всем нищим духом», включала те произведения, за которые его препарировал Чуковский, и открывалась филиппикой «Критику», да еще и набранной курсивом. Это был ответ Корнею Ивановичу. Далее шли разделы «Быт», «Авгиевы конюшни» (о нравах писательской среды), «Невольная дань» (сатира на разные политические и культурные темы), «Провинция» (подарок Житомиру) и «Лирические сатиры». Всё очень стройно, логично, здраво.

По нашему мнению, «Сатиры» — лучшая книга стихов Саши Черного (всего их будет три). Здесь было собрано то, что уже прошло через журнал, то есть получило одобрение сначала Аверченко, затем значительной читательской аудитории. Это важно, ведь злободневные сатиры, вырванные из привычного контекста — в данном случае веселого, яркого, иллюстрированного журнала — и помещенные на нейтральный белый лист, воспринимаются уже совершенно по-другому, становятся голыми, сиротливыми, а огрехи начинают бросаться в глаза. «Сатиры» же (и это немаловажно!) воспринимались как часть «Сатирикона», чему способствовали и указание Корнфельда в качестве издателя, и обложка работы Ре-ми, и заставки, нарисованные Добужинским.

Книгу выпустили тиражом в десять тысяч экземпляров и разослали для отзывов в редакции крупнейших столичных и провинциальных газет. Полетела она и в родную для Саши Одессу, в крупную газету «Одесские новости». Легла и на стол Корнея Чуковского. Можно представить, насколько трепетал Саша, если даже Аверченко, отправив Чуковскому свои «Веселые устрицы», в сопроводительном письме подобострастно просил дать отзыв «об общем тоне» и обложке и завершал просьбу подписью «Ваш покорный раб и холопишка Аркашка Аверченко»*.

* Письмо Аркадия Аверченко Корнею Чуковскому // ОР РГБ. Ф. 620. Карт. 60. Ед. хр. 6.

Саша Черный вообще сбежал из Петербурга.

Именно бегством от рецензентов и «доброжелателей» мы беремся объяснить его внезапный апрельский отъезд в глухую деревню Заозерье на Псковщине. Но могла быть и другая причина, более возвышенная: в эти дни поэт страстно и безнадежно влюбился. В мартовском выпуске «Современного мира» он начал читать бунинскую «Деревню» — и его сердце дрогнуло. Самозабвенную любовь к Бунину Саша пронесет через всю жизнь, а сейчас, возможно, ему и самому захотелось получить опыт деревенской жизни и понять, действительно ли любовь обречена.

Черного занесло в непролазную, но красивейшую глушь. Заозерье стоит на берегу огромного Ктинского озера. Вокруг березовый лес. Цветут анемоны, жужжат пчелы. Время словно остановилось:

Вишни буйно вскрыли цвет —
Будет много меда.
Мне сейчас не тридцать лет,
А четыре года.
(«На пчельнике», 1910)

Бродят мужики, «девственные», обросшие, разглядывают Сашу как невидаль, а он — их:

Крестьяне на шляпу мою реагируют странно:
Одни меня «барином» кличут — что скажешь в ответ?
Другие вдогонку, без злобы, но очень пространно,
Варьируют сочно и круто единственно-русский привет.
(«В деревне», 1910)

Поэт чувствует себя «с Марса упавшим»: здесь совершенно другая жизнь. За пару монет, на которые в Петербурге вряд ли что купишь, он обрел свежайший хлеб, сметану, сало, а главное — безграничную ласку и приветливость. Куда это исчезло в безумной столице? «Бывал я в гостиных, торчал по ночным ресторанам, / Но меня ни один баран не приветил. Никто!» («В деревне»). Однако Черный пасует перед серьезным противоречием: крестьяне работящи и добры, но уровень их культуры повергает его в отчаяние. Грамотных нет. В первый день Пасхи повсюду слышны брань и «циничные песни под тявканье пьяной гармони». Девушки и хороводы остались «в рамах на выставках»: женское население Заозерья под гармошку пляшет на холме «па д'эспань».

В 1910 году первый день Пасхи пришелся на 18 апреля. Такова ориентировочная дата пребывания нашего героя в Заозерье. Он прожил там, судя по всему, недолго, потому что в последних числах месяца уже был в Петербурге и делился с читателями

«Сатирикона» впечатлениями от поездки. Хорошо, что Саша отдохнул и переключился, ведь ему предстояло понервничать: во многих изданиях вышли рецензии на «Сатиры».

Первый по времени отзыв появился в газете, которую поэт наверняка разворачивал с напряженной решимостью. Снова кадетская «Речь», и снова Чуковский (1910. № 105. 13 апреля). Статья «Юмор обреченных». Вопреки тревожным ожиданиям на сей раз тон Корнея Ивановича оказался значительно более уважительным, настроение скорее задумчивым, оценки осторожными, хотя он и не преминул заметить, что «Сатиры» лучше было бы назвать «Песнями самоубийцы». Чуковский размышлял о том, что современная литература является отражением специфического ощущения жизни — тошноты от нее и всех ее форм, утраты красоты мира: «Для нас, для нашего поколения, весь мир встает, как некое уродство, как отвратительный музей карикатур». Раз так, то нет ничего удивительного в том, что «один из поколения», «какой-то талантливый поэт», просто «сочинил, создал образ “героя нашего времени”, “молодого самоубийцы”, назвал его Сашей Черным и заставил его лирически пропеть о своей душе». Отметим с удовлетворением: Чуковский внял критике и отныне разводил поэта и его лирического героя, препарируя теперь исключительно последнего и пытаясь нарисовать его портрет. Портрет этот таков: «Саша — есть средний интеллигент нашего времени, тот самый, который в шестидесятых годах был бы нигилистом, в семидесятых — народником, в девяностых — марксистом или ницшеанцем, — то самое пушечное мясо идей, которое и осуществляет в русском обществе различные “течения”, “направления”, “идеологии”». Книга, написанная этим «Сашей», думающим, что это «Сатиры», на самом деле его последнее, прощальное письмо, «которое распечатает пристав, когда выломают дверь и вынут посиневшего Сашу из петли». Тут же, впрочем, Корней Иванович спохватился, памятуя о прежних своих заблуждениях: «Повторяю, “Саша Черный” не автор, а художественный образ, “тип”, но, если говорить об авторе “Саши Черного”, то в его лице мы должны приветствовать новую литературную силу».

Саша Черный мог «выдохнуть»: в целом рецензия была положительная. Радуясь, что его наконец поняли, поэт ответил на нее чудесным и, к сожалению, основательно забытым сегодня стихотворением «Больному», напечатанным в «Сатириконе» в мае. Это была настоящая проповедь, и ее автор, вне всякого сомнения, давал понять, что нельзя называть его стихи «песнями самоубийцы», ведь он знает, какой страшный грех самоубийство. Вот когда должно было порадоваться сердце житомирского статского советника Константина Констан-

тиновича Роше! Наконец его воспитанник начал обнаруживать серьезные признаки религиозного сознания.

Первая же строка этого стихотворения: «Есть горячее солнце, наивные дети...», дохнув жаром пустыни, погружает нас в библейский мир, а лирический герой, носитель наивного, «нищего духом» сознания, находит какие-то детские оправдания существованию мира земного: если в нем нет ничего хорошего, то как объяснить, что «были на свете / И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ»? Они же были хорошие?

Наш мир — работа Творца, и присутствие Его силы постоянно, ее только нужно уметь разглядеть:

Есть незримое творчество в каждом мгновеньи —
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья —
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...

Совершенно по-детски, удивленно раскрыв глаза и словно удерживая за руку отчаявшихся, герой просит не «бросаться в пролеты», а остаться жить. Иначе «скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц», которым неведомы сомнения и «проклятые вопросы»:

Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...
Оставайся! Лишь в них оправданье земли.
Адресов я не знаю — ищи неизвестных,
Как и ты, неподвижно лежащих в пыли.

Подымая лежащих в пыли, поэт ведет их в тот мир, который они потеряли: в царство Доброй Воли, мир горний.

Есть еще острова одиночества мысли —
Будь умен и не бойся на них отдыхать.
Там обрывы над темной водою нависли —
Можешь думать... и камешки в воду бросать...

Разве не найти спасения в христианских заповедях? Может быть, стоит их вспомнить и, например, взять и возлюбить ближнего? Не метя высоко, просто стать «женой или мужем, сестрой или братом, / Акушеркой, художником, нянькой, врачом»? Отдавать себя людям и ничего не ждать взамен: «Все сердца открываются этим ключом».

Герой стихотворения готов подать пример: он и сам раньше был болен, а теперь стремится сделать все, чтобы тот, кто уже направился к пролету, остановился и улыбнулся, даже хочет рассмешить: «Этот черный румянец — налет от дренажа, / Это Муза меня подняла на копье». Теперь он открыт новым

далям и, заканчивая проповедь, вновь возвращается к библейской цитате, смыкающейся с первой строкой стихотворения:

А вопросы... Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.

По силе воздействия некоторые строки этого стихотворения мы бы поставили в один ряд с другими подобными строками, которые создавались другими авторами в разное время, но с той же целью — остановить идущих к пролету. Невольно вспоминается финал стихотворения Маяковского «Сергею Есенину» (1926):

В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней*.

Или другие слова, сказанные Цоем: «Смерть стоит того, чтобы жить» («Легенда», 1988). Именно они остановили потом многих из тех, кто после гибели самого Цоя решил последовать за ним.

В стихотворении Саши Черного «Больному» мы впервые встречаемся с новым типом лирического героя — «нищим духом», но уже в библейском смысле этого понятия. Скорее всего, это юродивый, чей голос позднее в творчестве поэта совершенно органично транспонируется в детский и даже собачий. Это будет сознательный выбор художника, отвергнувшего серьезный «взрослый» мир.

Пока же у Саши Черного было благостное и окрыленное состояние, вполне вероятно, оттого, что его первую книгу (о «Разных мотивах» 1906 года он никогда не вспоминал) благосклонно приняла читающая Россия. Вернемся к рецензиям на «Сатиры».

Сборник поддержали модернисты. Николай Гумилёв писал в «Аполлоне»: «Саша Черный избрал благую часть — презрение. Но у него достаточно вкуса, чтобы заменять иногда брюзгливую улыбку улыбкой благосклонной и даже добродушной. Он очень наблюдателен и в людях ищет не их пороки... а их характерные черты, причем не всегда его вина, если они оказы-

* Маяковский намеренно перефразировал финал предсмертного стихотворения Есенина «До свиданья, друг мой...» (1925): «В этой жизни умереть не ново, / Но и жить, конечно, не новей».

ваются только смешными. <...> Кроме того, у него есть своя философия — последовательный пессимизм, не щадящий самого автора... <...> и даже его угловатость радует, как обещание будущей работы поэта над собой. Но и теперь его “Сатиры” являются ценным вкладом в нашу бедную сатирическую литературу» (*Гумилёв Н.* Письма о русской поэзии // Аполлон. 1910. № 8). Однако это был отзыв от «своих»: сатириконцы и аполлонцы дружили. К тому же Гумилёв был на шесть лет моложе Саши Черного и не считался еще серьезным авторитетом. Саше важнее было мнение «стариков», критиков прежней закваски, так как он всей душой тянулся к классическому канону и модернистские экивоки находил преходящими. С особым трепетом, вероятно, раскрыл он майскую книжку «Современного мира» и прочитал рецензию ведущего критика журнала Владимира Павловича Кранихфельда. В статье «Литературные отклики» тот назвал Сашу Черного «типичнейшим представителем молодой литературы», который сумел сочетать в своей сатире отрицание действительности и одновременно радость жизни и веру в светлое завтра. Критик сосредоточил свое внимание на сатирическом даре Черного, называя его «сатириком нашей размагниченной интеллигенции и ее быта» (*Кранихфельд Вл.* Литературные отклики. Литературная экскурсия // Современный мир. 1910. № 5). Возможно, с затаенной надеждой Саша мечтал: а вдруг рецензию прочтет Бунин, когда станет искать в номере продолжение своей «Деревни»? А вдруг и Горький, с начала года ставший сотрудником «Современного мира», прочтет эти строки на далеком Капри?

Пока же, правда, не на Капри, а в итальянском местечке Кави ди Лаванья отзыв на «Сатиры» написал маститый литератор Александр Валентинович Амфитеатров и прислал его в «Одесские новости». Теперь наш герой «за Одессу» мог быть спокоен. Саша Гликберг, сын провизора с Ришельевской улицы, прославился! Первые же строки амфитеатровской рецензии «Записная книжка: О Саше Черном» должны были заставить Сашу забыть об упреках Чуковского: «С огромным и глубоким, редким наслаждением прочитал я сборник “Сатир” Саши Черного. В этой умной и сильной книжке прекрасно все, кроме, пожалуй, заглавия. Оно суживает характер и значение поэзии Саши Черного» (*Амфитеатров А. В.* Записная книжка: О Саше Черном // Одесские новости. 1910. 29 июня/12 июля). В отличие от Кранихфельда Амфитеатров увидел в Саше Черном в первую очередь лирика, а не сатирика-публициста. Политические сатиры показались ему как раз самым слабым местом книги, и Александр Валентинович не мог не посетовать на то, что журнальная работа, заставляющая писать к сроку и на

заданную тему, убивает любое творчество и учит «ремесленным компромиссам». Амфитеатров счел маску Черного модификацией пушкинского Евгения из «Медного всадника» — человечка, раздавленного Петербургом. «И этого *страшного* поэта иные провозглашают смешным забавником?» — удивлялся Амфитеатров, относя стихи Черного к категории *Galgenhumor*, «юмора висельника» (курсив А. В. Амфитеатрова. — *В. М.*). Александр Валентинович приветствовал рождение нового имени: «Это молодое дарование — целиком все еще впереди».

Наконец, нашелся критик, разглядевший игровую природу творчества поэта. Не зря же Лев Наумович Войтоловский, похваливший Сашу на страницах крупной провинциальной газеты «Киевская мысль», был по своему основному образованию врачом-психиатром. «Саша Черный как бы рожден актером, — писал он. — Природа наделила его всеми дарами, необходимыми в этой области. И прежде всего — поразительной силой перевоплощения. Он с замечательной легкостью проделал всю минорную гамму интеллигентских переживаний» (*Войтоловский Л. Н.* Литературные силуэты. Саша Черный // Киевская мысль. 1910. 30 мая).

Саша Черный теперь был нарасхват. Напечатал два стихотворения в тринадцатом номере альманаха «Шиповник», обещал высылать материал для нового иллюстрированного журнала «Солнце России», для «Современного мира», а также в крупные провинциальные газеты «Одесские новости» и «Киевская мысль». Аверченко не запрещал подрабатывать, однако все лучшее, конечно, требовал отдавать в «Сатирикон».

Летом 1910 года Саша и Мария Ивановна, возможно, в ознаменование пятилетия своей первой совместной поездки в Италию, вновь проехались по крупнейшим итальянским городам и остались на отдых на курорте Санта-Маргарита. Это восточное побережье Лигурии, самый центр Итальянской Ривьеры, точка пересечения основных туристических маршрутов: Ниццы, Флоренции и Милана. Один из забавных эпизодов вояжа поэт воспел в стихах и отослал в «Сатирикон». Во Флоренции он подслушал диалог двух «бравых русских», которые в сувенирном ряду жарко спорили, гордясь своими познаниями в области античного искусства:

«Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля!»
— «Брось, Петруша! Стиль дорийский
Слишком явно в них сквозит...»

Я взглянул: лицо у Фили
Было пробкового стиля,

А из галстука Петруши
Бил в глаза армейский стиль.
(«Стилисты», 1910)

Тема «русские за границей» казалась сатириконцам смешной и неисчерпаемой. Осенью они начали обсуждать подписную премию читателям на следующий год и решили, что это будет юмористический отчет о поездке сотрудников журнала в Западную Европу, что-то вроде «Простаков за границей» Марка Твена. Командировочные расходы брал на себя Корнфельд. Сразу было заявлено: поедут Аверченко, Радаков и Ре-ми. Наверняка в редакции шептались: мол, конечно, кто же еще? Сашу это вряд ли задевало, ведь Европа не была для него книгой тайн.

Так мы незаметно подошли к первому серьезному возрастному рубежу в жизни нашего героя. 1 октября 1910 года Александру Михайловичу Гликбергу, Саше Черному, исполнилось 30 лет. Он не мог не подводить для себя итоги, о которых мы можем судить очень осторожно, исключительно объективно, со стороны. Мы записали бы в его актив сложившуюся карьеру, но считал ли он сам себя успешным и не желал ли большего? Дома он не построил, дерево только мечтал посадить, когда найдет «вершину голую». И самое очевидное: у него была одна затаенная печаль, которая с годами перерастет в подлинную драму. У них с женой не было детей. Конечно, на всё Божья воля, но в стихах Черного нет-нет да и проскальзывали мысли о том, что мир устроен несправедливо, раз Бог не посылает детей тем, для кого это было бы высшим счастьем, и с избытком дарит тех, кому дети только обуза. Мария Ивановна вспоминала об интересном случае (который произойдет в следующем, 1911 году). Некая житомирская подруга ее мужа попала в неприятную историю, родила от кого-то ребенка, а растить его не имела возможности. Тогда она отдала младенца Александру Михайловичу и Марии Ивановне, и те его с радостью приняли. Но не сложилось: через некоторое время малыша у них отобрали родственники непутевой мамаши.

О tempora! О времена! Любопытно, что еще до этого случая, осенью 1910 года Саша Черный написал грустное стихотворение, разошедшееся по всей огромной стране и сохранявшее популярность долгие годы, даже тогда, когда страна уже называлась СССР. Его также пели, ибо это была «Колыбельная (Для мужского голоса)». Музыку в 1917 году написал Вертинский и включил песню в свой репертуар, что еще более способствовало популярности. Не правда ли, странно, что колыбельная «для мужского голоса»? Но в сумасшедшем Петербурге 1910 года никого не удивляло, что младенец брошен на отца, а мать «уехала в Париж».

Мужчина не знает слов колыбельных песен, поэтому придумывает их на ходу, вплетая в знакомые с детства обороты вроде «А-а-а...» и «Спи, мой мальчик» свои нервные мысли по поводу бегства жены. И в конце концов не то всхлипывает, не то сам засыпает:

Жили-были два крота...
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, —
Мать уехала в Париж.

Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...

Кот козу увез в Париж...
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через... год... вернется... мать...
Сына нового рожать...

Конечно, Вертинский обратил внимание на эти стихи, ведь их можно сыграть. Саша же гордился тем, что его «чижа» пел сам Шаляпин. Об этом достоверно известно из дневника Константина Петровича Пятницкого. Будучи у Горького на Капри, он записал 30 августа 1911 года: «Посидели на скамье у виллы Горького. <...> Звоню и вхожу в дом. <...> Шал[япин] бросается навстречу. Поет колыб[ельную] песню на слова Саши Черного»*. В 1930-е годы собственную музыку для «Колыбельной» написал советский певец и композитор Вадим Алексеевич Козин. В 1960-е годы «чижа» перевела на французский Эльза Триоле**, а ее близкий друг шансонье Ги Беар положил стихи на музыку и часто исполнял. В СССР эту композицию впервые услышали в 1972 году, когда «Мелодия» выпустила пластинку Беара.

Итак, к концу 1910 года Саша Черный стал всероссийской знаменитостью, и ему довелось испытать все то, что обычно испытывают знаменитости. В первую очередь узнать о появлении самозванца. Поэт получил одновременно несколько писем из редакций далеких провинциальных газет «Восточная заря», «Сибирская мысль» (обе иркутские) и «Рыбинский вестник», дружно интресовавшихся: правда ли он тот самый Александр Васильевич Соколов из Петербурга, который пред-

* Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 95. М.: Наука, 1988 // http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0460.shtml

** Перевод был опубликован в антологии «La poésie russe» (1965), вышедшей под редакцией Эльзы Триоле.

ложил им сотрудничество и присылает стихи, подписанные псевдонимом Саша Черный? Александр Михайлович вскипел и дал опровержение в «Сатириконе», благодаря которому мы и узнали об этой истории (Необходимые разъяснения // Сатирикон. 1910. № 51). Другой анекдот подбросила родная Одесса, где появился поэт-куплетист Саша Красный.

В канун нового, 1911 года Черный читал о себе нелицеприятные вещи, на сей раз написанные Антоном Крайним — Зинаидой Гиппиус:

«Вдруг заговорили о "возрождении смеха". Чему обрадовались? И кому: Саше Черному, Аркадию Аверченко и Тэффи. О Саше Черном в "Речи" было длинно написано и указано даже, что будто это "смех сквозь слезы". <...>

"Возрожденный смех должен занять подобающее место", сказал себе Саша Черный и пошел со своею специальностью на страницы "серьезных" газет и альманахов; нынче уже оттуда он объявляет, что "бюро" ему стало близко, как собственное "бедро", и думает, что это необыкновенно смешно и возродительно.

Никак нельзя быть против смеха. Но когда происходит торжественное возрождение — то, прежде всего, ничего не происходит. "Они смешат — а нам не смешно..." скажем, перефразируя Л. Толстого. Если на человека отовсюду лезут, желая смешить, — нельзя смеяться» (*Крайний Антон [Гиппиус З. Н.]*. Разочарования и предчувствия // Русская мысль. 1910. № 12).

Строки, вызвавшие неодобрение Гиппиус, были взяты ею из стихотворения «Прекрасный Иосиф», опубликованного в 13-й книге петербургского издания «Литературно-художественные альманахи издательства "Шиповник"»:

Диван, и рояль, и бюро
Мне стали так близки в мгновенье,
Как сердце мое и бедро,
Как руки мои и колени.

Разумеется, «бюро — бедро» — это не рифма, как и «мгновенье — колени». Упрек справедлив, но популярности Саши Черного критика повредить уже не могла.

Казалось бы, ему оставалось почивать на лаврах, но он был не рад своей сатириконской славе. «Известность — шумная, безмерная и бестолковая российская известность пришла к нему очень рано, — вспоминал современник поэта Николай Рощин. — В России не было эстрады, не знавшей Саши Черного. Но известность эта не погубила его, как погубила многих. От нее он взял только опыт — понимание силы слова и ответственности за него» (*Рощин Н.* Печальный рыцарь // Возрождение. 1932. 7 августа).

Александр Михайлович Гликберг хотел заниматься серьезной литературой. В «Сатириконе» планировался большой новогодний вечер юмора, но он не хотел в нем участвовать и начал искать пути к отступлению из журнала.

Год 1911-й: уход

Праздничные дни наступившего нового года поэт провел сепаратно от коллег. Расклеенные по городу афиши кричали о том, что 4 января в зале Петровского училища состоится вечер юмористов, в котором примут участие все сатириконцы. Цель вечера — познакомить публику с основными тенденциями современной юмористики. В перечне участников имя Саши Черного соседствовало с именами Аверченко, Городецкого, Осипа Дымова, Куприна, графа Алексея Толстого, Тэффи. Однако зрители, пришедшие на концерт, Сашу лицезреть не смогли. Осип Дымов, ведущий вечера, объяснил, что поэт захворал и стихи его прочтет артист Филимон Марадудин (Вечер юмористов // Русское слово. 1911. 6 января).

На самом деле Саша просто сбежал и в это время ходил на лыжах в Кавантсаари, маленьком финском местечке под Выборгом. Возвращаться в Петербург ему не хотелось:

Ах, быть может, Петербурга
На земле не существует?
Может быть, есть только лыжи,
Лес, запудренные дали,
Десять градусов, беспечность
И сосульки на усах?
(«На лыжах», 1911)

Он знал, что, вернувшись, снова окунется в «танцклассную» атмосферу редакции, потому что сатириконцы решили повторить прошлогодний благотворительный бал и назначили его на 15 февраля. Ожидались помпезность (на этот раз арендовали зал Дворянского собрания на площади Искусств) и много веселья, не очень сочетавшегося с тем печальным поводом, к которому приурочили мероприятие. В конце декабря прошлого года произошли сильнейшие землетрясения в Ташкенте и Верном, и средства собирались в пользу пострадавших.

Саша не ошибся: на Фонтанке, 80, было шумно и людно. За билетами на бал приходили и сюда. Ощущение бедлама возникало и оттого, что с недавнего времени здесь же засела редакция «Синего журнала», нового детища Корнфельда. Это было типичное «желтое» издание, печатавшее светские сплетни, скандальные фотографии, фантастику и другое малохудо-

жественное чтиво. Сотрудники в «Синем журнале» были соответствующие, и не случайно Максим Горький называл его «свиним». Все то, чего Саша не выносил, — фамильярность, бестактность, навязчивость, цинизм, — прочно угнездилось на Фонтанке.

Грядущий бал поглощал все силы. В работу были вовлечены огромное количество народа и едва ли не весь техперсонал Нового драматического театра, в мастерских которого Радаков и Ре-ми готовили декорации, а швеи шили костюмы. Руководителем маскарада пригласили знаменитого артиста Александринки Владимира Николаевича Давыдова.

Саша с неодобрением наблюдал за тем, как над программой бала корпел новый фаворит Аркадия Аверченко — некто Георгий Ландау, разысканный через «Почтовый ящик». Этот человек вообще-то был инженером и служил в Ведомстве путей сообщения. Саша Черный в раздражении писал своему московскому приятелю Миллю: «Я почти задыхаюсь, но держусь крепко до весны. С весны я больше не “сатириконец”» (цит. по: *Спиридонова Л. А.* Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. С. 47). Почему нужно было держаться до весны? Наверное, у поэта был контракт, и он просто дожидался окончания его действия. В воспоминаниях Радаков утверждал, что Саша уволился без объяснения причин (см.: *Иванов А.* «Ах, зачем нет Чехова на свете!» Проза Саши Черного [Предисловие] // *Черный Саша.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1996). Как нам кажется, Сашу Черного, считавшего, что журнал сдает позиции, заставляли «задыхаться» даже рекламные плакаты «Сатирикона», выпущенные в 1911 году. На них был изображен знаменитый дрессировщик Владимир Леонидович Дуров, который лежит на оттоманке и увлеченно читает «Сатирикон», а вместе с ним журналом очень интересуется поросенок. Граница между тем, что забавно, и тем, что пошло, явно стиралась.

Саша сотрудничал и с другими изданиями, внимательно присматривался к ним, собираясь начать новую жизнь. Он остановил свой выбор на только что основанном журнале «Современник», которым фактически руководил Александр Амфитеатров, недавно приветствовавший в лице Саши Черного новый большой талант. Саша знал, что на самом деле за «Современником» стоят Горький и его единомышленники. Вот где снова можно было вернуться к революционной сатире!

Пока же он по инерции или, как любил говорить, «под сурдинку» оставался сатириконцем и даже периодически посещал с коллегами ресторан «Вена». Одно из последних в его творческой судьбе сатириконских сборищ состоялось здесь в

конце февраля — начале марта 1911 года, и повод был весьма необычный. Друг редакции, поэт и журналист Василий Каменский, купивший моноплан «Блерио XI», впервые поднялся в воздух над гатчинским летным полем! Каменский вспоминал, что отмечать его полет в «Вене» пришли Аверченко, «развеселый Алексей Радаков с бакенбардами Пушкина, долговязый черный Ре-ми, европеец Яковлев, всегда всклокоченный, “точно с постели сброшенный” поэт В. Воинов, тихий, но острый, как шило, В. Князев и совсем тихий, флегматичный Саша Черный» (*Каменский В. В.* Степан Разин; Пушкин и Дантес. Художественная проза и мемуары. М.: Правда, 1991. С. 551). Те же краски: «совсем тихий, флегматичный». Однако в тихом омуте... В эти дни Саша вынашивал планы мести. Перед уходом из «Сатирикона» ему нужно было рассчитаться со старыми долгами.

В середине марта 1911 года с новой силой вспыхнул затухший было конфликт с Чуковским: Черный поместил в журнале сатиру «Корней Белинский (Опыт критического шаржа)», остроумную, злую. Стараясь набросать портрет критика новой формации, Саша отметил и любовь Чуковского к экзотическим названиям, которые он давал своим статьям и рецензиям («Корявый буйвол», «Окуни без меха»), и высокомерную небрежность его трактовок классических произведений (например, отчего бы не написать, что Тарас Бульба убил сына своего Андрия не за измену Сечи, а «на спор»?) и т. д. Глядишь, и набирается строк этак сотня:

Надравши стружек* кстати и некстати,
Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на áнглийской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.
....
Post scriptum. Иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош!
Тогда гремит в нем гений исполинский
И тогой с плеч спадает макинтош!..

Удар достиг цели. Евгений Шварц, работавший в начале 1920-х годов секретарем Чуковского, вспоминал, как шеф читал однажды ему эти стихи:

«Начал читать Корней Иванович, весело улыбаясь, а кончил мрачно, упавшим голосом, прищурив один глаз. И, подумав, сказал:

---

* «Литературные стружки» — рубрика, которую К. И. Чуковский вел в газете «Речь»; там публиковались и высмеивались книжные, газетные и другие «ляпы».

— Все это верно»*.

Так было в 1920-х, а тогда, в 1911 году, Чуковский невозмутимо парировал выпад Черного статьей «Устрицы и океан» (Речь. 1911. 20 марта / 2 апреля), в которой направил свои критические стрелы уже не на часть (Сашу Черного), а на целое, то есть на сам «Сатирикон». По мнению Корнея Ивановича, этот журнал, поначалу «нерутинный, несмердяковский», объявивший войну серым будням и серым людям, а также «Ее Величеству Матери Пошлости», теперь скатился до того, что потрафляет вкусам именно средних обывателей, «устриц», помещая для них виньеточки с полуголой или вовсе голой женской натурой, опостылевшие анекдоты о жене и неожиданно вернувшемся муже и «кокоток, кокоток, кокоток». Теперь каждая «устрица», идя по Невскому, не может обойтись без того, чтобы не крикнуть: «Газетчик! Дай-ка “Сатирикон”!» Грустно и это, и то, что потрафлять низменным вкусам приходится «настоящим талантам»: Саше Черному, Ре-ми, художнику Яковлеву. Надо же, тупые «устрицы» завели себе теперь «такой превосходный журнал»! Как выросли они, как самодовольно кричат: «А ну-ка, Саша, изобрази!» И «Саша становится в позу» и изображает.

«Устрицы очень довольны.

— Здóрово, Саша, ей-Богу. А ну-ка, загни еще».

Куда девался бунт против мещанства? Кто теперь помнит «Песню о Буревестнике»?! Вместо нее на Фонтанке «порхает какая-то птичка, этакий миленький чижик-пыжик!». Соколы стали Чижами.

Если Саша Черный и сомневался в том, уходить ли ему из журнала, то после появления этой статьи должен был поторопиться. 2 апреля он напечатал в «Сатириконе» свое последнее стихотворение «Колумбово яйцо» (1911. № 14) и откланялся.

Что и говорить, это было эффектно. Его уход стал полной неожиданностью. На пике популярности! Казалось бы, что еще надобно этому человеку? Поступок Черного имел и негативную этическую окраску. Уйдя из журнала в середине года, он создал коллективу реальные проблемы: кто знает, сколько претензий от подписчиков, поклонников именно Саши Черного, получил тогда Аверченко. Зачем же так — исподтишка?

Годы спустя Алексей Радаков утверждал, что Саша Черный «думал, что он величайший прозаик. Стихи это так, ерунда, между прочим» (цит. по: *Иванов А.* «Ах, зачем нет Чехова на свете!» Проза Саши Черного [Предисловие] // *Черный Саша.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4). Сатирик Ефим Зозуля, пришедший в «Сатирикон» в 1915 году, передавал общую точ-

* *Шварц Е.* Белый волк // http://chukovskiy.ouc.ru/belii—volk.html

ку зрения, бытовавшую там: «Он (Саша Черный. — *В. М.*) решил, что ему нужно печататься в более “солидном” журнале»*. Похоже, всё верно. Дальнейшие эксперименты нашего героя действительно будут направлены на прозу, и в «солидные» журналы он будет стучаться, но ни то ни другое не принесет ему успеха. Жизнь покажет, что, уйдя из «Сатирикона», он совершил распространенную ошибку: посчитал, что его имя само по себе достаточно громкое и держаться за прославившую его марку не стоит. Так ему тогда казалось.

В апреле 1911 года сатириконцы подводили итоги своей трехлетней работы уже без Саши Черного.

Саша же ни о чем не жалел и писал Миллю в Москву: «От “Сатирикона” я эмансипировался. <...> Ура и — “Вперед без страха и сомненья!”**» (цит. по: *Спиридонова Л. А.* Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. С. 47). Нам известно, куда это — «вперед!». Письмо Миллю датировано 17 апреля, и в это время Черный почему-то оказался в Киеве, но долго там не задержался. Его метания по стране весной и летом 1911 года вообще с трудом поддаются объяснению. Мы даже предполагаем, что он хотел переехать из Петербурга и подыскивал себе «вершину голую».

О киевских днях напоминают несколько стихотворений, позволяющих говорить о том, что это была частная и одновременно деловая поездка. Например, «Пуща-Водица» рассказывает о трамвайном вояже в этот курортный район, а «Описание одного путешествия (Шутка)» — о веселой лодочной «прогулке без цели» по Днепру с неназываемым «сотрудником “Киевской мысли”», бородатым, «как Сарданапал». Анатолий Иванов предполагал, что спутником Черного мог быть критик Лев Наумович Войтоловский, опубликовавший в прошлом 1910 году положительный отзыв о его «Сатирах». В связи с этим назовем один из киевских адресов, где побывал поэт: редакцию «Киевской мысли» на Фундуклеевской улице, 19, напротив Оперного театра. Здание театра в апреле 1911 года еще никто не разглядывал с оттенком скандального любопытства. Разглядывать его станут после 1 сентября, когда здесь произойдет последнее покушение на председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина, закончившееся его смертью.

После Киева Саша Черный и Мария Ивановна оказались в Крыму, и мы можем утверждать, что их знакомство с полуостровом началось с Севастополя. Именно этот город, а не Симферополь, как сегодня, был в то время воротами на южный

---

* *Зозуля Е. Д.* Сатириконцы // http://www.rulife.ru/mode/article/764/

** Первая строка стихотворения А. Н. Плещеева «Вперед! без страха и сомнения...», более известного как «Гимн петрашевцев» (1846?).

берег полуострова, куда следовали Саша с женой. Севастополь не мог не заинтересовать их. В течение всего года он не сходил с новостных полос газет. Московский кинопромышленник Александр Ханжонков получил Высочайшее дозволение на съемки полнометражной эпопеи «Оборона Севастополя», и как раз летом город жил рассказами о том, как по Приморскому бульвару и бастионам разгуливали актеры и массовка в военной форме времен Крымской войны 1853—1856 годов. Даже если знакомство поэта с Севастополем было мимолетным, он надолго запомнил панораму бухт и флот, вспомогательные суда которого стояли прямо у железнодорожного вокзала. Много лет спустя Черный попадет в Тулон, военно-морскую базу Франции, и напишет: «Город такой симпатичный, на Севастополь даже чуть-чуть похож» («Буйабес», 1926).

Из Севастополя Александр Михайлович и Мария Ивановна выехали в сторону Ялты. Сколько они пробыли в Крыму и когда именно приехали, понять трудно. В крымских стихах поэт говорит то о весне, то упоминает приметы, свойственные августу: «Съел виноград. Вздремнул немножко. / Ем дыню роговою ложкой...» («В старом Крыму», 1911). Более точно он обозначил место, где они отдыхали: «Над головой белеют сакли, / Ай-Петри — глаз не отвести!»; «Пузатый шмель — и тот в Мисхоре / Испанским тенором поет...» («В старом Крыму»).

Мисхор — татарская деревня в 12 километрах от Ялты, осененная зубчатой вершиной горы Ай-Петри, тогда еще не была курортной зоной в современном ее виде. Неудивительно, что Саша с женой поселились именно в Мисхоре: они не любили курортных городов и всегда искали какую-нибудь глушь. Достаточно вспомнить Шмецке под Гунгербургом, где они отдыхали летом 1908 и 1909 годов.

Крым в то время был другим, настоящим Востоком: названия в основном тюркские, проводниками подрабатывали татары, одетые в национальные костюмы, они предлагали лошадей для прогулок в горы. Аборигены селились в маленьких белых саклях на горных склонах. Вокруг известковых оград — виноградники и кипарисы. Можно предположить, что хозяйку, сдававшую Саше жилье, звали Зирэ, ибо ей посвящено одноименное стихотворение. Правда, поэт не совсем точен фонетически: у крымских татар есть женские имена Зе́ре, Зе́ра (к ним сложно подобрать рифму), но нет Зирэ.

Погрузившись в атмосферу Востока и, возможно, вспоминая любимого им персидского поэта XIV века Гафиза, Саша Черный экспериментировал с поэтической формой и написал газель:

Чья походка, как шелест дремотной травы на заре?
Зирэ.
Кто скрывает смущенье и смех в пестротканой чадре?
Зирэ.
....
Чье я имя вчера вырезал на гранатной коре?
Зирэ.
И к кому, уезжая, смутясь, обернусь на заре?
К Зирэ!

(«Зирэ», 1911)

Жить на Южном берегу Крыма и не посетить Ялту было бы странно. Тем более что там находится дача Антона Павловича Чехова — место, священное для любого литератора. Конечно, Александр Михайлович и Мария Ивановна там побывали и вполне могли познакомиться с матерью писателя Евгенией Яковлевной и сестрой Марией Павловной. Обе жили на даче летом и отчаянно боролись за спасение дома. Они не имели средств на его содержание и призывали общественность изыскать хоть какое-то финансирование, чтобы не пришлось сдавать помещения в аренду, нарушив тем самым первозданность чеховской обстановки. Как было Саше не вспомнить историю с веймарским домиком Шиллера, который чудом спасли богатые покровители поэта? С трепетом он бродил по саду, останавливался у деревьев, еще помнивших прикосновение рук Антона Павловича, и старался представить себе жизнь здесь лет десять назад:

Сколько вздорных — пеших и верхом,
С багажом готовых междометий
Осаждало в Ялте милый дом...

День за днем толклись они, как крысы,
Словно он был мировой боксер.
Он шутил, смотрел на кипарисы
И прищурясь слушал скучный вздор.
(«Ах, зачем нет Чехова на свете!», 1922)

Как можно превращать частную жизнь человека в зрелище?! Если бы Саша Черный успел попасть сюда еще при Чехове, то подошел бы тихонько к решетке, чтобы издали посмотреть на него, а если бы Антон Павлович, не дай Бог, его заметил, — немедленно бы «склонясь, закрыл лицо руками / И исчез в вечерней тишине».

Однако жизнь берет свое, а ялтинская, праздная и пестрая, тем более. Герой другого Сашиного стихотворения ловит рыбу на ялтинском молу. Рядом сурово воет пароход, на баркас садятся чайки... «Солнце жарит, мол безлюден». Сто́ит страшный зной, и если кто его и выдерживает, так это рыбаки:

У руля на брюхе боцман
Спит и всхрапывает тихо.
Весь в смоле у мачты юнга,
Скорчась, чинит
Старый парус.
(«Штиль», 1911)

Наблюдая за размеренной крымской жизнью, любуясь горами, вставшими вокруг Ялты сине-седой стеной, мисхорскими древними соснами, добравшимися почти до моря и цепко схватившимися корнями за скалы, Саша с женой и не подозревали, что через 15 лет они будут мучительно все это припоминать, бродить по южному побережью другой страны — Франции, стараясь найти местечко, которое напоминало бы Крым.

Тем же летом 1911 года они любовались и другими красотами — тургеневскими местами, окрестностями Мценска, селом Кривцово на Орловщине.

Предполагаем, что это была творческая командировка. Поэт хотел перемен, и «хожение в народ» позволило ему написать рассказ «Первое знакомство» (1912), которым он заявил о себе как прозаик. О том, почему он оказался именно в Кривцове, рассказчик говорил так: «Кто я? Зачем здесь? <...> Я мог бы теперь быть в Сицилии или в Каире. <...> Отчего же я здесь? Ах, да! Петр Петрович посоветовал: сказал, что в стране, в которой мы живем, есть свой необъятный Каир, — очень удобный к тому же Каир, потому что в нем говорят по-русски. Назвал знакомое село: далеко от города, не очень бедно, есть пруд...» Полагаем, что имя Петра Петровича подлинное, и речь идет о сатириконце Потемкине, уроженце Орла, хорошо знавшем окрестности. Думаем, что и само повествование автобиографично: «...все обычное отошло, душа, словно пустая квартира, — все выбросила и ждет новых жильцов...» Словом, ожидание новой жизни и новые поиски себя.

Знакомство с орловским селом принесло рассказчику больше вопросов, нежели положительных эмоций. Да и сатирик в авторе, к тому же «в простое», не дремал. Восхищаясь простотой и трудолюбием местных жителей, он обостренно воспринимал проявления дикости сельского житья-бытья. Почему дети здесь «грязны до омерзения»? Почему баба, у которой муж заразился коровьей чумой, повезла его не в больницу, а к попу? Почему всё загажено и цветник местной фельдшерицы мужики превратили в нужник, а потом и вовсе вытоптали? Почему здесь нет никаких представлений об элементарной гигиене? Картинки взывали: вот напротив школы на лужайке расселись бабы и ищут вшей «у больших и малышей». Тут же прилег и школьный сторож Сысой, уткнувшись лбом в колени жены:

Увидав такой пейзаж,
Я замедлил свой вояж
И невольно проронил:
«Ты бы голову помыл!»
Но язвительный Сысой,
Дрыгнув пяткою босой,
Промычал из-под плеча:
«Эка, выдумал!.. Для ча?»
(«Консерватизм (Миниатюра)», 1911)

Несмотря на все попытки сблизиться с жителями села, рассказчик так и остается для них странным человеком в пиджаке, которого они не то опасаются, не то стесняются. А вообще лучше бы ему уехать. Разговорить их трудно, если же удается, поражает скудость желаний. Едва он начал грезить о покупке кинематографа и просвещении мужиков, как услышал от них, что вершина их желаний — это переезд в город и должность дворника. Сам он спасается от депрессии чтением Поля Верлена в оригинале, а мужики глушат водку. «Что ж, у кого водка, у кого Верлен, — замечает рассказчик. — Причина одна... Да и сам господин Верлен не оттого ли и пил, что слишком больно писать иные строки?»

Интеллигенту и мужику никак не договориться. Рассказчик покидает село без сожаления и, трясясь в телеге, с радостью наконец приветствует незнакомый город, контуры которого показались на горизонте: «...за железнодорожным мостом засияли купола: шесть, семь, девять, двенадцать. Слава Богу, приехали в культурное место!» Это был Болхов, облюбовавший высокие берега реки Нугрь, патриархальный, грязный, заброшенный и бесконечно красивый:

Двадцать пять церквей пестрят со всех сторон:
Лиловые и желтые и белые в полоску.
Дева у окна скребет перстом прическу.
В небе караван тоскующих ворон.
(«Уездный город Болхов», 1911)

Саша Черный вернулся в столицу с новым материалом, полный планов, и обнаружил дома груду писем от поклонников с недоуменными вопросами и просьбами вернуться в «Сатирикон». Необходимо было как-то объясниться, и поэт решил ответить сразу всем, «оптом». В «Киевской мысли» он опубликовал стихотворное послание с сатириконским заголовком «В пространство» (так Аверченко помечал свои ответы в «Почтовом ящике», если автор критикуемой рукописи не оставлял координаты).

Первая строфа стихотворения стала крылатой:

В литературном прейскуранте
Я занесен на скорбный лист:
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

Поэт удивляется тому, что ему приходится объясняться. Разве никто не понимает, что невозможно писать о светлом и веселом, когда так «много рухляди людской»?

Я в мир, как все, явился голый
И шел за радостью, как все...
Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

Не его вина в том, что он стал пессимистом, и ему самому, пожалуй, тяжелее всех. Остается недоумевать, отчего другим весело и почему они считают пессимизм болезнью вроде заикания.

На кого он намекал, ясно. Ну не мог Саша Черный не заглянуть в «Сатирикон»! И что же он там увидел? Аверченко, Радаков и Ре-ми все-таки отбыли в зарубежную «экспедицию», и Ландау (новичок, без году неделя!) с ними. Интересно. Исполняющим обязанности редактора назначен Потемкин... Еще интереснее... Всё у них там в порядке...

Возможно, Саше подсознательно хотелось бы, чтобы после его ухода в «Сатириконе» что-то рухнуло, чтобы его уговаривали вернуться, а осознавать, что там всё хорошо и никто словно не заметил его отстутствия, было неприятно и горько. Поэтому, как нам кажется, он и нападал на сатириконцев, привлекая к себе внимание. Вскоре после послания «В пространство» он поместил в той же «Киевской мысли» декларативную сатиру на бывших коллег под названием «Юмористическая артель», откровенно давая понять, что на поприще смеха трудятся теперь ремесленники:

Все мозольные операторы,
Прогоревшие рестораторы,
Остряки-паспортисты,
Шато-куплетисты и бильярд-оптимисты
Валом пошли в юмористы.
Сторонись!

«Артель» усвоила законы быстрого и дешевого успеха. Обложка поразухабистее, под ней «скотные» остроты. Поразвязнее — и готово: «Галерка похлопает, / Улица слопает... / Остальное — неважно». Работа на поток — «Раз-раз! / В четыре странички рассказ», а сюжет высосан из пальца, «немного сальца», всё в кучу: Дума, адюльтер, «комический случай в Ба-

туме», главное, чтобы всё «с пылу с жару» и «побольше гама». Наловчились во всем потакать той самой невзыскательной, «средней» публике, тем самым «устрицам», над которыми еще недавно сами потешались:

Средним давно надоели
Какие-то (черта ль в них!) цели —
Нельзя ли попроще: театр в балаган,
Литературу в канкан.
Ры-нок тре-бу-ет сме-ха!

Саше Черному больше было не по пути с сатириконцами. Провинцию он об этом оповестил. Оставалась столица, где 5 ноября 1911 года в «Речи», не раз обижавшей поэта устами Чуковского, было опубликовано его «Письмо в редакцию». Помимо прочего, Саша заявил, что считает «несовместимым с задачей сатирического журнала то увеселительно-танцклассное направление, которое всё определеннее проводят в “Сатириконе” за последнее время» и «выразителем» которого он никогда не был.

Конечно, это донкихотство, но именно его современники выделяли как определяющую черту характера Александра Михайловича Гликберга. Чуковский называл это его качество «требовательной, суровой честностью, не знающей никаких компромиссов». Мы же позволим себе всплеснуть руками: как Саша Черный сумел остаться таким максималистом? Как мог в 30 лет, имея за плечами тяжелый жизненный опыт, слепо поддаваться эмоциям? Неужели он не понимал, что́ из чего берется, и всерьез рассчитывал на то, что не пропадет и без «Сатирикона»? Если же ему это было все равно, то как он собирался существовать? На что, вернее, на кого рассчитывал? Обрубать все концы, не имея никаких запасных вариантов, может только человек, имеющий какой-то гарантированный материальный статус. В противном случае картина получается не совсем приглядная: выходит, что рассчитывал он на жену. Впрочем, мы не удивимся, если когда-нибудь станет известно, что именно она подтолкнула его к уходу из «Сатирикона».

В любом случае сатириконская страница жизни была перевернута.

Похоже, без сожаления.

Оставалось теперь вытравить саму память об этих годах. Александр Михайлович и Мария Ивановна начали с того, что переехали подальше от редакции, рядом с которой встреч с бывшими коллегами избежать было невозможно.

Глава пятая

КРЕСТОВСКИЙ ЗАТВОРНИК

1

Новый, 1912 год Саша с женой встретили на новом месте. Крестовский остров, улица Надеждинская, 5, дача Ломова — таким будет их адрес в ближайшие годы. Здесь они станут обсуждать поездку на Капри к Горькому, здесь родится поэма «Ной», отсюда поэт уйдет на фронт, а Мария Ивановна на этот адрес будет получать от него письма.

Вот уж действительно переехали так переехали!

Флигель дачи Ломова, который они снимали, был так далеко от центра Петербурга, что теперь никому не взбрело бы в голову явиться к Саше просто так, потому что «по пути». Если бы и нашелся такой редкий человек, то ему пришлось бы сначала добираться трамваем на Петербургскую сторону, затем брать извозчика или садиться в конку и ехать до Крестовской аптеки, что у Большого Крестовского моста, потом еще брести берегом реки. Но зато каким берегом! Черный вспоминал: «Тот же Петербург, но знакомые, перебравшись к нам весной через горбатый мост по конке откуда-нибудь с Гороховой, все, бывало, удивлялись. Черемуха у нас в саду цвела, — прямо не дерево, а Монна Ванна. Райская яблоня бледным румянцем разгоралась... Речка своя была... Крестовка. Пристань, лодчонка. Наберешь знакомых и повезешь их лимонную водку пить под Елагин мост. Вверху копыта гудят, внизу мы сидим, покачиваемся и закусываем. Соловьи в кустах аккомпанируют. Где уже мне — только Фету впору описать...» («Сырная пасха», 1925).

Поэт говорил о флигеле на Крестовском с такой же страстностью, с какой булгаковский Мастер вспоминал свой подвал в арбатском переулке. Много лет спустя Александр Михайлович трепетно описывал детали: в кабинете в шкафу «кротко блестели золотыми буквами корешки книг», на стене над диваном портреты: «курчавый, благосклонный Пушкин, седые, бородатые Тургенев и Толстой, гусар Лермонтов с вздернутым носиком» («Кавказский пленник», 1929). Жила здесь и мандолина, с которой Саша будет неоднократно изображен в годы эмиграции.

Разумеется, дачу нашла Мария Ивановна. Ее владелец, инженер-техник Василий Андреевич Ломов, согласно адресному справочнику за 1911 год, работал в Мужском и женском коммерческом училище Санкт-Петербургского общества ревнителей коммерческого образования. Домик с флигелем стоял прямо на берегу речки Крестовки; по соседству была дача британского посла с английским гребным клубом. Каждое утро, выходя во двор, Саша видел перед собой Каменный остров, вдали справа — Мало-Крестовский мост, слева впереди — Елагин мост, переброшенный на Елагин остров.

Качается пристань на бледной Крестовке.
Налево — Елагинский мост.
Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,
А небо — как тихий погост.
(«Весна на Крестовском», 1921)

Там, на Елагином, в отдалении, «воняя бензином в просторы», гремели моторы автомобилей, принимая в себя людей с «брезгливо-обрюзгшими» лицами и унося их «на Стрелку» острова гулять по старинному английскому парку («На Елагином», 1912).

Места, в которых поселился Саша, имели темную репутацию. Еще недавно здесь работал Крестовский увеселительный сад и, возвращаясь под утро домой, многие его посетители кто спьяну, а кто по доброй воле оказывались в водах Крестовки. Первую помощь им оказывала та аптека, у которой нужно было сходить с конки и брести до дачи Ломова. Здесь по ночам было пустынно и не дежурили городовые. Мост через речку прозвали мостом самоубийц; в этих местах любил гулять Блок, и, по одной из версий, именно они вдохновили его на известные строки «Ночь, улица, фонарь, аптека...».

В стихах Саши Черного, посвященных Крестовскому острову, нет ничего мрачного, потому что ему было здесь хорошо. Аптеку он вспоминал в веселом стихотворении «На “островах”» (1921), описывая зимнюю поездку в санях, с бубенцами.

Промелькнул орел аптеки.
Солнце кажет алый щит.
Спит Нева. Снег режет веки,
Мост под полозом гудит.
....
Прокатились. Вон наш вейка*:
Ждет на тумбе за ларем.
«Сколько?» — «Ридцать пять копейка».
Побренчали серебром...

---

* Вейка *(финл.)* — в старом Петербурге финн-извозчик с разукрашенной ленточками и бубенцами запряжкой.

Наконец поэт смог полностью уединиться. Он не хотел ничего знать о суетном литературном Петербурге, нигде бывать и никого видеть. Мария Ивановна не могла себе позволить такой роскоши и продолжала ездить в гимназию Субботиной и на курсы Раева, преодолевая теперь гораздо большие расстояния. Она дорожила своей работой. Гимназия к этому времени стала весьма престижной, потому что ее взяла под августейшее покровительство великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. Мария Ивановна оставалась связующим звеном между издателями и своим мужем, который хандрил и в январе 1912 года интересовался исключительно судьбой своего рассказа «Первое знакомство» о деревне Кривцово, отданного в московский альманах «Земля». Деловую корреспонденцию он теперь подписывал «А. Гликберг (Саша Черный)» или «А. Черный — прежде Саша Черный», прозрачно намекая на то, что старый псевдоним у него более не в чести. Причем раздражало его именно фамильярное «Саша».

Полностью избавиться от контактов с бывшими коллегами, разумеется, не удалось, ведь для этого пришлось бы сменить профессию. Поэт неизбежно сталкивался с ними, например, в редакции журнала «Солнце России», и потому возлагал основные свои надежды на другую редакцию — «Современника», где сатириконцев не было, но, к сожалению, не было и постоянного заработка. Александр Амфитеатров, с которым Саша начал переписываться, сложил с себя редакторские полномочия, и журнал пребывал в стадии реорганизации. Между тем нужно было на что-то жить, и Черный, простившись с «Сатириконом», прибился к другому берегу — издательству «Шиповник», которое в некотором смысле конкурировало с Корнфельдом. Вряд ли со стороны поэта это был случайный выбор.

Первый контракт Александр Михайлович подписал здесь летом 1911 года, после возвращения из деревни Кривцово. Он продал издательству новый поэтический сборник «Сатиры и лирика», которым, вне всяких сомнений, бросал вызов Аверченко и К°: «Я не пропал без вас!» Столь же декларативным видится и обильное включение в книгу лирических произведений, написанных уже в «свободном плавании», после ухода. Оформление книжки было много скромнее, нежели у предыдущей, корнфельдовской: единственной иллюстрацией стал стилизованный венок из осенних листьев на обложке. Тираж был несравненно ниже — 2400 экземпляров (прежде 10 тысяч), однако Черный с потерями не считался и определенно очень торопился. Сделал он и еще один жест — продал «Шиповнику» сборник переводов произведений австрийско-

го юмориста Мориса Сафира. Он вышел под названием «Избранные рассказы» в том же 1911 году, и вполне вероятно, что эта рукопись изначально готовилась для «Дешевой библиотеки “Сатирикона”», но опять же демонстративно была передана конкурентам. Складывается впечатление, что у Саши перед уходом все-таки произошел серьезный конфликт или с Корнфельдом, или с Аверченко, и если о нем до сих пор ничего неизвестно, это значит лишь то, что стороны предпочли не выносить сор из избы.

«Шиповник» занимал огромную квартиру на Николаевской, 31, и хозяйкой здесь была литературный секретарь издательства Вера Евгеньевна Беклемишева. Именно ее первой всегда встречал Саша Черный. Это была молодая дама с безукоризненными манерами, стройная, сухощавая, с умными, внимательными глазами, бывшая бестужевка. Она работала здесь и по призванию (потому что сама писала), и по личным причинам — Вера Евгеньевна была женой владельца «Шиповника» Соломона Яковлевича Копельмана. Эта женщина обладала редким даром располагать к себе людей, вызывать их на откровенность, со всеми ладить. Чуковский вспоминал, что именно она, очень любя Сашу Черного, прикладывала «много усилий, чтобы удержать его».

Переговоры поэт обычно вел не с Копельманом, а с его компаньоном, художником Зиновием Исаевичем Гржебиным, человеком хватким, смелым, остро чувствующим конъюнктуру. Он также умел располагать к себе, держался нарочито простецки, создавал вокруг себя домашнюю атмосферу. В его рабочем кабинете жил огромный сибирский кот, предпочитавший спать на столе, среди рукописей. Саша окрестил его, впервые увидев, «толстой муфтой с глазами русалки», и прозвище прижилось. Вместе с тем Гржебин был человек и отчаянный, и рисковый. Его имя впервые прозвучало в революционном 1905 году, когда он редактировал сатирический журнал «Жупел», с которым сотрудничал Горький. Последствия этого сотрудничества оказались для Зиновия Исаевича плачевными: ему пришлось посидеть в тюрьме. Не побоялся он пойти и на осложнение отношений с Горьким, когда несколько лет назад буквально переманил из «Знания» Леонида Андреева, предложив тому более выгодный контракт. Теперь Андреев был лицом издательства «Шиповник», и именно здесь Саша смог познакомиться с ним ближе. По словам Марии Ивановны, в те редкие дни, когда ее мужу удавалось встретиться с Андреевым, он старался как можно дольше быть с ним, гулять, говорить. Возвратившись поздно ночью, он будил жену и восторженно шептал: «Знаешь, я опять бродил с Андреевым по

городу и возвращаюсь домой, как всегда после встречи с ним, как бы обновленным, с верой в лучшее, что есть в каждом человеке!» (цит. по: *Андреева В.* Эхо прошедшего. С. 207). Любопытные слова, учитывая то, что оба, Черный и Андреев, имели репутацию людей циничных и во всем разуверившихся.

В начале 1912 года, первого года без «Сатирикона», основные издательские контакты нашего героя были сосредоточены в «Шиповнике», поэтому он совершенно не удивился, получив в январе письмо из издательства на фирменном бланке. Однако, вчитавшись, призадумался: письмо было от Чуковского, с которым, казалось бы, они расстались навсегда. Корней Иванович сообщал, что Гржебин запускает новый альманах для детей «Жар-птица», составление и редактирование поручено ему, почему он и просит Александра Михайловича дать что-нибудь детское. Затем настал черед удивляться Корнею Ивановичу: он написал Черному на всякий случай, совершенно не рассчитывая на помощь, и вдруг получил в ответ горячую поддержку. Впоследствии он всегда гордился тем, что привел в детскую литературу Сашу Черного. И добавлял, что их помирили «малые дети».

Черный и Чуковский как детские поэты родились одновременно: на страницах первого номера «Жар-птицы» за 1912 год. Оба до этого были заняты совершенно другими материями, и обоим жизнь вдруг подарила второе дыхание. Детские книги — это вечно, это вне политики и конъюнктуры, это, выражаясь без пафоса, хлеб на все времена, и они будут выручать и Корнея Ивановича, и Александра Михайловича в тяжелейшие моменты их дальнейшей жизни. На книжках первого вырастут многие поколения советской детворы, а второй станет другом русских малышей, растущих в эмиграции.

Саша выслал для альманаха стихотворения «Приставалка» и «Баю, кукла, баю-бай». У Корнея Ивановича были к ним некоторые замечания, которые он после «Корнея Белинского» и других перипетий опасался высказывать, но как редактор был обязан это сделать. Черный воспринял критику на удивление спокойно: «Я не только “не сержусь”, но очень рад, что есть живой человек, который вместо отметок “хорошо—плохо” интересуется работой по существу и в деталях» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245).

Поэт расценивал новую для него работу как очень ответственную и серьезную. Он чувствовал в себе силы, а главное, страстное желание сделать на этом поприще как можно больше. Пригодились теперь и прорвались потоком и собственная нерастраченная нежность, и, что еще важнее, собственная «детскость», умение посмотреть на мир снизу вверх, удивлен-

ными глазами. Саша находил особое удовольствие в том, чтобы уходить в мир наивного сознания, естественности. Он растворялся в этой стихии и всей душой стремился и в обыденной жизни как можно больше общаться с детьми, предпочитая их общество любому другому. Благо Крестовский остров, куда он сбежал от мира взрослых проблем, был и в этом смысле подарком. Чуковский вспоминал картину, которую наблюдал както по пути к Саше Черному. Еще не доходя до дачи Ломова, он услышал звонкие голоса, кричавшие: «Саша, Саша, скорее сюда!» – а потом увидел лодку, набитую малышами. Корней Иванович оторопел: правил ею Саша Черный. Он катал детей до Крестовского моста и обратно и нисколько не обижался на их фамильярность. Это были обычные, незнакомые дети, которые, по словам Чуковского, днями напролет околачивались на берегу и клянчили у каждого встречного: «Дяденька, прокати!» И вот нашелся такой «Саша», что прокатил. Корней Иванович вспоминал:

«...по лицу его я не мог не заметить, что здесь, на природе, среди детей, он совершенно другой. Волосы у него растрепались, плечи молодо выпрямились, трудно было поверить, что этот беззаботный гребец еще так недавно твердил в отчаянно-горьких стихах, что его

...так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой...»

(*Чуковский К. И.* Саша Черный [Предисловие] // *Черный Саша*. Стихотворения. С. 7).

И снова та же ошибка. «Брякать» хотелось не Саше, а его «нищему духом» герою. Если автор и разделял эти настроения, то теперь на Крестовском простился с ними. Приближалась спасительная весна, по которой он всегда так тосковал и первые признаки которой на острове ощущались гораздо явственнее, нежели в городе. Много позже Саша Черный, вспоминая в эмиграции свой «скит», описывал его весенним, оттепельным раем, куда нет хода петербургским порядкам. Здесь, наплевав на регламент, вовсю «лезут почки», галки под кустами «незаконно» сбились в стаю, «нелегальные шайки» ручейков оккупировали лужайки, птицы орут «бесцензурно», рыбки все сплошь «беспаспортные», а наглая Нева «контрабандно» стремится слиться с морем («На Елагином»).

О родине каждый из нас вспоминая,
В тоскующем сердце унес
Кто Волгу, кто мирные склоны Валдая,
Кто заросли ялтинских роз...

Под пеплом печали храню я ревниво
Последний счастливый мой день:
Крестовку, широкое лоно разлива
И Стрелки зеленую сень.
(«Весна на Крестовском»)

Саша Черный был спокоен и собран. Он посчитал обретение «детской темы» подарком свыше и задумал написать об этом большую философскую поэму. Он много думал о том, каким должен быть обновленный журнал «Современник». 21 июля 1912 года Александр Амфитеатров, все еще живший в Италии, сообщил Горькому на Капри: «...вчера получил письмо, что едет, от Саши Черного с женою» (Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 95). Горький по причине, о которой чуть ниже, интересовался сатириконцами и мог передать супругам Гликберг через Амфитеатрова приглашение заехать к нему на Капри. Могли они принять такое решение и по своей инициативе. В любом случае в августе 1912 года Александр Михайлович и Мария Ивановна появились на террасе каприйской виллы Горького «Серафино»*, к которой в то время были прикованы взоры всего читающего мира.

2

На остров Капри ходил пароход из Неаполя.

Едва оказавшись на борту, наши герои, подобно тысячам других путешественников, стали живой добычей аборигенов и обреченно начали отсчитывать лиры налево и направо... Сначала на них обрушился местный оркестр, загремел, заплясал, потом пароход неожиданно остановился возле «Голубой пещеры». К борту подлетела туча лодок, их владельцы расхватывали пассажиров и везли к скалам. Там каждая лодка ожидала своей очередной волны, которая вбрасывала ее в узкое, чуть выше и шире лодки, отверстие скалы. Искусные гребцы предупреждали: по команде «цито» нужно мгновенно опуститься на дно лодки или согнуться, убрав голову и плечи. Гребцы убирали весла, и лодки проплывали из зала в зал по синему водяному дворцу.

Пароход пришвартовывался в бухте Марина Гранде, и здесь на тех, кто сходил на берег, нападали торговцы кораллами, изделиями из мозаики, черепаховыми гребнями. Наконец, отбившись от прилипчивых итальянцев, Александр Михайлович и Мария Ивановна по крутому склону горы, мимо садов, раскинувшихся на уступах, поднялись на Пьяцца Умберто

* Горький жил на вилле «Серафино» с февраля 1911 года, до этого арендовал виллу «Спинола».

Примо, главную площадь острова. Окруженная со всех сторон сомкнувшимися стенами приземистых построек, она напоминала зал. Взгляд задерживался на высокой часовой башне, в окружении неизменных курортных ресторанных столиков. Отсюда открывался вид на море, на соседние Неаполь, Сорренто; сам городок лежал внизу.

Мы не знаем, где именно Саша Черный остановился на Капри, да и точные сроки его пребывания там темны. Горький в письме Екатерине Павловне Пешковой, датируемом концом августа 1912 года, сообщал о присутствии поэта на Капри уже в прошедшем времени: «Приезжал Саша Черный и оказался — седым; лицо молодое, моложе возраста — 32 г., — а волосы седые. Очень милый и, кажется, серьезный парень» (Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 95). В фондах московского Литературного музея имени А. М. Горького хранится фотопортрет Саши Черного, сделанный на Капри Юрием Желябужским, сыном Марии Федоровны Андреевой, в то время гражданской жены Горького. Никак нельзя сказать, что поэт на снимке седой; с проседью, возможно, но не более того.

Желябужский увлекался фотографией и запечатлел многих из тех, кто летом 1912 года составлял компанию «буревестнику в изгнании» и с кем, следовательно, познакомились наши герои. Например, писателей Алексея Силыча Новикова-Прибоя или Алексея Алексеевича («Алексеича») Золотарева. Последний упоминается в Сашиной стихотворной шутке «Литераторы на Капри» (1912) — творческий галдеж оглашает окрестности виллы Горького, доносится с прибрежных скал, из плещущихся в море барок:

Пониже, средь кактусов пыльно сухих
Весь воздух тоской намозолен:
«Почто, Алексеич, задумчив и тих?» —
«Последней главой недоволен».

Алексей Золотарев и многие другие из гостей Горького представляли собой совсем иное окружение, нежели то, к которому Саша Черный привык в «Сатириконе» и вообще в Петербурге. Это были люди много пережившие и повидавшие, идейные, с твердыми убеждениями, настоящие мужчины, — Соколы, а не Чижи. Например, Золотарев студентом Петербургского университета принял участие в студенческой демонстрации, был сослан в Рыбинск, потом вступил в РСДРП, сидел в Бутырке за агитацию, вторую ссылку отбывал в Нарымском крае, где заболел туберкулезом. Горький его обогрел и побуждал теперь к литературному творчеству.

Весьма необычен был молчаливый и державшийся несколько особняком литератор Иван Егорович Вольнов, чьи рассказы Саша Черный встречал в «Современнике». Пристальный взгляд, огромная физическая сила и нерешительная улыбка. Во время морских купаний Саша увидел, что все тело Вольнова в рубцах, а потом узнал его историю: в прошлом он был эсером-боевиком, три года просидел в Орловской каторжной тюрьме; однажды надзиратели избили его до полусмерти, а потом облили соленой водой, разъевшей кожу. Из Орла Вольнова погнали в Сибирь, с каторги сбежал и вот теперь оказался на Капри. Ободренный Горьким, написал начало автобиографической эпопеи «Повесть о днях моей жизни», посвященное будням орловской деревни, откуда был родом. Общая с Сашей тема в то время. О русской деревне на Капри вообще спорили много.

А друг Вольнова Новиков-Прибой? О нем впору было писать приключенческий роман. Бывший матрос Балтфлота, революционер, в Цусимском сражении попал в плен к японцам. Вернувшись в родное село, написал очерки о цусимской трагедии, сразу же запрещенные цензурой; потом, спасаясь от ареста, перешел на нелегальное положение, бежал в Финляндию, затем в Англию, а недавно приехал сюда, к Горькому, которого считает своим учителем.

Был на Капри и народ более легкомысленный, богемный — художники, которых Горький любил и привечал. Александр Михайлович и Мария Ивановна особенно подружились с супругами Вадимом Дмитриевичем и Екатериной Николаевной Фалилеевыми, гостившими здесь уже второй раз. Современник вспоминал, что эта пара «была легкая, жизнерадостная, увлеченная искусством, — всегда была масса смеха, добрых шуток, высоких разговоров о живописи, музыке, театре»*. Понятно, чтó привлекло Сашу Черного в Фалилееве: он почувствовал в нем «своего художника», напоминающего «бородато-пухлое дитя» (стихотворение «Игрушки», 1921). Детскость, доброта, непосредственность были лучшим ключом к сердцу поэта. Что же касается художника, то лицо Саши Черного его сразу заинтересовало, и тогда же, на Капри, Фалилеев выполнил портрет нового знакомого в технике офорта: упрямый наклон головы, плотно сжатые губы, взгляд отрешенный, погруженный в себя. Когда Вадим Дмитриевич наведывался к Саше, на его окрик: «Кто идет?» – он шутливо отвечал: «Боттичелли». Эта шутка сохранилась в Сашином стихотворении «На веранде кромешная тьма...» (1912).

* *Яковлев А.* Появился талантливый юноша // http://www.mirleonova.org/leonov_live_v_yakovlev.html

Нравы на Капри были свободными, люди доброжелательными. В стихотворной зарисовке «Там внизу синеет море...» (1912) Саша Черный изобразил колонию русских художников и между прочим упомянул одно имя: «У художницы Маревны / Роза в желтых волосах, / А глаза воды синей...» Значит, он успел там познакомиться с Марией Брониславовной Воробьевой-Стебельской, тогда двадцатилетней девушкой, приехавшей учиться живописи на Капри и попавшей в свиту Горького. Алексей Максимович сразу прозвал ее «Марьей Маревной — прекрасной королевной», поскольку Мария Брониславовна, красавица-полька, напомнила ему героиню одноименной русской сказки. Горький, по воспоминаниям самой Марии, сказал ей: «Ни у кого никогда не будет такого имени, гордись и оправдай его». Так и вышло: вскоре художница окажется в Париже, этой мекке художников и поэтов, станет завсегдатаем Монпарнаса, подружится с Пикассо, Диего Риверой, ее портрет напишет Модильяни, и в конце концов войдет в историю живописи XX столетия как создательница собственного стиля — дивизионизма.

Однако мы увлеклись свитой. Перейдем к главному лицу. Алексею Максимовичу, живущему шестой год в эмиграции, исполнилось 44 года. Он — магнит острова Капри, от чего, похоже, порядком устал. Его облик того времени сохранил портрет, выполненный тем же Вадимом Фалилеевым: изрядно морщинистое лицо, умные и внимательные глаза, при этом роскошные усы и шевелюра почти без проседи. Жена писателя, актриса Мария Федоровна Андреева, некогда слывшая первой красавицей Москвы, все еще очень привлекательна, одета по последней европейской моде, приветлива, ровна со всеми.

Саша Черный был очарован ею. По возвращении в Петербург он отправит Горькому стихотворное послание для Марии Федоровны, где с любовью опишет и ее белый шарф, и сонноблагосклонные движения, и глаза насмешливой Мадонны, и похожий на звуки арфы голос. Припомнит и то, как катался в лодке с Горьким, а с берега раздался тревожный возглас Андреевой: «Алеша, ты б надел пиджак!» — и позавидовал «Алеше»:

Имел бы я такую мать,
Сестру, свекровь иль даже тетку,
Я б надевал, влезая в лодку,
Под шубу пиджаков штук с пять.
(«М. Ф.», 1912)

Это, конечно, шутка. Александру Михайловичу грех было жаловаться. Мария Ивановна играла в его жизни такую же роль — она была и мать, и жена, и друг, и литературный сек-

ретарь, и первая слушательница стихов. С той лишь разницей, что не занималась хозяйством и не обременяла себя устройством светских раутов. Андреева же стоически несла эту нагрузку, едва ли не ежедневно обеспечивая прием самых разных людей.

Вилла «Серафино», белоснежный итальянский палаццо, имела открытую террасу с двумя рядами дорических колонн, увитых виноградом. Здесь сервировались многолюдные обеды и ужины; здесь о многом говорили, еще больше спорили, смеялись. Под столами попрошайничали левретки Марии Федоровны Андреевой (судя по одной карикатуре Фалилеева этого времени, их было четыре). Саша Черный, сам сумасшедший собачник, не мог их не описать, к тому же адресуясь к их хозяйке:

Когда взыскательным перстом
Она, склонясь, собачек гладит,
Невольно зависть в грудь засядет:
Зачем и я, мол, не с хвостом?
(«М. Ф.»)

Последняя игривая строка вполне могла бы стать эпиграфом к одной из самых известных Сашиных книг — «Дневнику фокса Микки», которую он напишет в эмиграции. К тому времени он уже, как видно, устанет завидовать тем, кто с хвостом, и перевоплотится наконец.

О чем говорили на Капри Саша Черный и Максим Горький? Стенограмм и протоколов никто, разумеется, не вел, однако попробуем воссоздать темы их бесед по косвенным данным.

В представлении Горького Саша устойчиво ассоциировался с «Сатириконом». После отъезда поэта Алексей Максимович писал Екатерине Павловне Пешковой: «Послал тебе стихи Саши Черного, одного из талантливейших людей в “Сатириконе”» (цит. по: Горький и его современники. Исследования и материалы. М.: Наука, 1989). То есть Горький так и не понял, что Саша там больше не работает, а разговор об этом, как нам кажется, не мог не заходить. Дело в том, что прошлым летом к Алексею Максимовичу приезжали Аверченко, Радаков, Ре-ми и Ландау. Трудно представить, чтобы Горький, при его любви ко всяким устным байкам, не рассказал их коллеге Саше Черному, как они вместе ходили в ресторанчик «Гаудеамус», где очень весело провели время. Вряд ли и Александр Михайлович, уже нацеленный на «Современник», упустил свой шанс и не сказал Горькому о том, что хотел бы заниматься сатирой настоящей, жесткой, а не «танцклассной», и мечтает об орга-

низации сатирического отдела в каком-нибудь серьезном издании, в том же «Современнике».

Тем летом на Капри вообще много говорили о перспективах «Современника». Горький сетовал на то, что настойчиво зовет к себе нового редактора Евгения Александровича Ляцкого, чтобы потолковать о журнале как следует, а тот все не едет. Черный мог поинтересоваться у Горького, не думает ли он сам редактировать «Современник» (об этом спрашивали все). Алексей Максимович уклонялся от однозначного ответа, но, судя по дальнейшим событиям, заручился Сашиным обещанием писать для журнала.

Случались у них беседы и с глазу на глаз. Поэт поделился с Алексеем Максимовичем замыслом, не дававшим ему покоя: написать собственную версию мифа о Ное. Говорили они и о детской литературе, судя по тому, что Горький читал Саше свою сказку «Воробьишко», трогательную историю маленького Пудика, который учился летать.

Побывав на Капри, наш герой, подобно многим, не избежал магнетизма Горького. Их последующая переписка говорит о том, что Александр Михайлович проникся к Алексею Максимовичу бесконечным уважением с оттенком некоторого подобострастия.

Затем поэт, как и планировал, поехал к Александру Амфитеатрову в городок Феццано, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение человеку, поддержавшему два года назад его «Сатиры». Их встреча состоялась где-то до 24 сентября 1912 года, потому что в этот день Амфитеатров писал Горькому на Капри: «Был у меня Саша Черный и понравился мне чрезвычайно. Тем паче, что он Вас очень любит» (цит. по: Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 95). 26 сентября Горький на это ответил: «Саша Черный и мне очень полюбился: талантливый и чистый такой» (Там же). Идиллия. Оставалось только ждать, когда будет запущен обновленный «Современник», где Саша Черный мог бы блистать в сатирическом отделе.

Обстоятельства этому благоприятствовали. Когда поэт был у Амфитеатрова, к Горькому, наконец, прибыли Ляцкий и издатель «Современника» Петр Иванович Певин. Они уговаривали его вернуться в журнал, просили разрешения поместить его имя в составе сотрудников. Горький окончательного ответа не дал, однако с этого времени взял на себя общее редактирование журнала. Не забыл он, видимо, и о разговоре с Сашей Черным, поскольку начал немедленно подыскивать сотрудников для отдела сатиры. Написал фельетонисту «Киевской мысли» Николаю Иванову и псковскому поэту-«знаньевцу»

Александру Черемнову (гостившему на Капри в декабре прошлого года) и, предложив сотрудничество, просил высылать материал на адрес Ляцкого. Самому Ляцкому настойчиво велел нанести визит на Крестовский остров.

Так, 6 октября 1912 года Горький писал с Капри Ляцкому: «Очень прошу вас: тревожьте Черного... для октябрьской книги».

На следующий день: «Повидайтесь с Черным, требуйте у него стихов. Хорошо бы отдел сатиры начать с октября же!»

В середине октября: «Сашу Черного — видели? Сообщите мне его адрес».

Семнадцатого октября Ляцкий сообщил на Капри известный нам адрес: Надеждинская, 5, однако, судя по всему, визит на дачу Ломова не наносил, ограничившись письмом. Мы думаем, что личной встречи не было, потому что свои соображения об отделе сатиры Саша Черный изложил Ляцкому письменно: «С сатирическим отделом, многоуважаемый Евгений Александрович, пока, мне думается, придется подождать. Причина простая: нет работников. Если исключить совершенно заголившихся сатириконцев, то, кроме трех—пяти лихачей-куплетистов... никого сейчас в России нет. <...> Об Иванове (о котором писал Горький) Вы сами говорили, что то, что прислано, — слабо. Черемнов ничего не прислал. Амфитеатров, кажется, тоже. Значит, ни о каком отделе сейчас говорить не приходится. Пока надо просто печатать сатиры (в стихах и в прозе) в числе прочего художеств<енного> материала — само собой, если это сатира, а не куплеты и не маленькие фельетоны»*.

И снова плевок в адрес «совершенно заголившихся» бывших коллег. Что Саша Черный имел в виду? Видимо, окончательное падение до потребы публики. Сатириконцы действительно осваивали новые сферы — эстрадно-театральные. Радаков и Потемкин стали завсегдатаями артистического кабаре «Бродячая собака», и Потемкин, бывший тихоня-словесник, прослыл там дебоширом и выпивохой, устраивая шутовские пляски в паре с женой, актрисой Хованской. Аверченко в компании с Дымовым и Азовым летний сезон провели как артисты — в гастролях по стране. Поняв прибыльность этого дела, Аверченко начал писать для многочисленных театриков миниатюр одноактные пьесы и скетчи, в которых было все что угодно, кроме политической сатиры. Полагаем, что тайную зависть у Саши могло вызвать единственное новое начинание Корнфельда: осенью 1911 года тот стал выпускать детский юмористический журнал «Галчонок». Редактировал его Рада-

* ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 2. № 145.

ков, а музыкальный отдел возглавил профессор Лядов, перед которым Александр Михайлович благоговел.

«Сатирикон» продолжал процветать, богатеть, разрастаться. Черный же оказался на обочине. Его уделом стали походы по редакциям толстых журналов и — увы! — отказы. Пробовал работать с маститым «Русским богатством», но там не брали его стихи. К концу года наметился разрыв и с «Современным миром». В письме редактору журнала Кранихфельду Саша сетовал: «Все у меня незадача с "Современным миром" — многого даже не пойму. Говорил о сатире, — нельзя, традиция не позволяет, потом решили, что одно стихотворение не определяет лица автора, нужен "цикл". Потом решили, что "цикл" — слишком много и не надо вовсе "сатиры". С юмором (в стихах) то же: юмор причислен ко второму сорту поэзии, но юмор в прозе почему-то в журнале допустим. Переводов из Гейне тоже нельзя» (цит. по: *Евстигнеева Л.* Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. С. 49). Сатирического отдела в «Современнике» так и не получилось, а те отдельные вещи, которые там печатались, не приносили ни славы, ни денег. Поэт жаловался в письме Горькому: «С "Современником" пока туго. Вы пишете, чтобы давать больше, а они определили сатирическую норму, ни на вершок больше; 2 страницы сатирических стихов в номере. Дорого — мол. Весь мой гонорар в номер не превышает 40 р., — если будет 50—60, это их разорит... А соображать, когда пишешь, чтобы вышло ровно две страницы, совершенно скучно» (цит. по: Горький и его современники. Исследования и материалы. М.: Наука, 1989).

Некоторые литературные связи были у поэта в Москве. Его рассказ «Первое знакомство», о судьбе которого он переживал в начале года, вышел в альманахе «Земля», органе Московского книгоиздательства писателей. Эта организация появилась в 1912 году по инициативе Викентия Вересаева, пайщиками ее были писатели горьковского круга, некогда группировавшиеся вокруг кружка «Среда». Например, обожаемый Сашей Черным Иван Алексеевич Бунин. В октябре 1912 года поэт узнал, что грядет 25-летие литературной деятельности Бунина, в помещении московского Литературно-художественного кружка пройдет торжественное чествование юбиляра и что желающие принять в нем участие должны подать письменную заявку. Поэт вместо заявки отправил Ивану Алексеевичу поздравление, которое заканчивалось просьбой:

Растроганный Черный поэт
В знак памяти просит... портрет*.

* ОГМТ. Ф. 14. № 3391/38.

Бунин просьбу удовлетворил, сопроводив свой фотографический портрет дарственной надписью:

Спасибо за милый привет,
Талантливый «Черный поэт»!
Примите на память портрет.

Дорогой подарок наверняка украсил стену флигеля на Крестовском, составив компанию портретам Толстого, Тургенева, Пушкина и Лермонтова.

В конце 1912 года «растроганному Черному поэту» было чем гордиться: он познакомился с «самим» Максимом Горьким, переписывался с ним и запросто мог взять да и попросить у него что-нибудь. «Очень хочу наладить детский сборник и, если Вы мне поможете, я справлюсь, — писал Саша Черный на Капри. — Помните тех воробьев, которых Вы мне читали? Можно их у Вас попросить, Алексей Максимович? <...> Я бы сейчас снес к Бродскому для иллюстраций. <...> Думаю у Пришвина достать несколько страниц. У детей так мало стóящих книг, дешевых и совсем нет, — помогите, Алексей Максимович, прошу и умоляю» (цит. по: Горький и его современники. Исследования и материалы. М.: Наука, 1989). И Исаак Израилевич Бродский, и Пришвин были людьми из горьковского окружения, и, как видно, Черный вращался именно в этих кругах.

И Горький помог. В конце года при финансовой поддержке питерского «Товарищества О. Н. Поповой» вышла «Голубая книжка», для которой Горький дал своего «Воробьишку», а Саша Черный — сказку «Красный камешек» и песенку «Вечерний хоровод». Теперь он дебютировал и в области прозы для детей, придумав сюжет, который в принципе мог бы прийти в голову любому, кто любит животных. Герой сказки, мальчик Жоржик, спас в лесу старушку-колдунью и та в награду одолжила ему волшебный красный камешек: вставишь его в ухо — и понимаешь язык птиц и зверей. Вместо Пришвина сказочку «Как рыбы из верши ушли» дал Казимир Милль, московский друг Саши Черного, которому, как мы помним, он писал о своих страданиях в «Сатириконе». (К слову, сам Милль с журналом никогда не порывал, работал потом и в «Новом Сатириконе».)

Художник Бродский, как и планировалось, не отказался поработать для «Голубой книжки». Вторым оформителем стал Вадим Фалилеев, с которым Саша Черный познакомился на Капри и кому теперь оказывал покровительство.

3

В 1921 году, уже в Берлине, Саша Черный напишет стихотворение «Игрушки», в котором мысленно перенесется в заснеженный Петербург, празднующий Рождество. Герой его приглашен к чудаку-художнику, живущему у Тучкова моста. Дом художника полон игрушками: здесь и «Злой щелкун с башкою вроде брюквы», и Ванька-Встанька «с пузом ярче клюквы», и Матрешка «наглая бабенка», и двухголовая утка со свистулькой в хвосте. Сказочный мир, тишина. Но явились гости: перепились, всё разрушили. Художник спит лицом в елке, гости чокаются с игрушками, Ваньку-Встаньку окунули в бокал, вбили «в пуп огромную иголку». Придя в себя, хозяин дома раздарил все игрушки, и герою стихотворения досталась та самая утка со свистулькой. Теперь у нее уже хвост отбит и свисток «шипит и воет», но она — всё, «что спас он в злые дни погонь», а воспоминания о сабантуе близ Тучкова моста так дороги, что всё внутри дрожит...

Прототипом художника, вне всяких сомнений, был Фалилеев. Поэт мог вспоминать только Рождество 1913 года, потому что годом раньше он не знал Вадима Дмитриевича, а позже того уже не было в Петербурге. Строго говоря, Фалилеев жил не у Тучкова, а у Николаевского моста*, в Академии художеств. Однако здесь нужно учитывать то, что Александр Михайлович ехал к другу со стороны Крестовского острова, поэтому перебирался с Петербургской стороны на Васильевский остров, где расположена академия, через Тучков мост.

Едва вернувшись с Капри, Саша Черный озаботился заказами для нового друга, о чем тот писал Горькому: «Милого Александра Михайловича Гликберга видел несколько раз. Он старается устроить меня в разные издательства рисовальщиком. Так это у него все хорошо выходит. Он был у меня в мастерской и весь мой хлам видел еще не разобранный, на полу лежащий. И я у него был два раза на совещании с редакторами, так что мне показалось, что он больше склонен к редакторшам, чем к редакторам» (Горький и его современники). Вероятно, под «редакторшей» подразумевалась Вера Евгеньевна Беклемишева из «Шиповника», ведь именно в этом издательстве, в детской библиотечке журнала «Жар-птица», выйдет в следующем, 1914 году совместная книжка-«раскраска» Саши Черного и Вадима Фалилеева «Живая азбука». Это будет уже вторая их работа, первая же увидела свет в 1913 году в знаменитом московском «Издательстве И. Д. Сытина».

---

* Ныне Благовещенский мост.

Книжечка «для детей младшего возраста» «Тук-тук!», признаться, нас озадачила, потому что ее название содержит подтекст, хорошо известный в те годы. «Тук-тук» — это звук масонского молотка, которым стучатся в дверь храма при посвящении новичков и которым потом, просвещая, «обрабатывают грубый камень», то есть членов ложи. Если авторы книги об этом просто не подумали, то почему они поместили на обложке изображение одного из самых узнаваемых масонских символов — закрытой двери, в которую и нужно «тук-тук»? Известно, что Саша Черный в 1932 году в Париже вступит в ложу «Свободная Россия», однако не был ли он масоном и до этого? Для такого предположения есть еще два основания, о которых мы расскажем в свое время.

С Сытиным были и другие совместные задумки. Саша Черный согласился написать стихи для весеннего детского альманаха «Вербочки», а Фалилеев — участвовать в его иллюстрировании. Вполне возможно, что именно в этот момент пошли разговоры о том, что неплохо бы привлечь поэта в газету «Русское слово», крупнейший издательский проект Сытина. К Саше Черному обращался Аркадий Вениаминович Руманов, возглавлявший столичное отделение этого издания, но что-то не сложилось. Были и другие предложения, но и они как-то провисали. Весной 1913 года «Известия кн<ижных> магазинов С. М. Вольф» (№ 5) сообщили, что Саша Черный намерен перевести всю «Книгу песен» Гейне, однако этот замысел не осуществился. Саша засел на своем Крестовском острове, подобно отшельнику, и все реже интересовался окружающим миром. Как-то Чуковский пригласил его приехать для разговора в Куоккалу, но получил холодную отповедь:

«Многоуважаемый Корней Иванович!

В ваших краях я не бываю, поэтому пришлось бы собраться и Вам. Я не супруга уездного воинского начальника и табели о рангах не придерживаюсь, но одно правило, признаюсь, соблюдаю: когда у меня к кому-нибудь дело, сажусь в трамвай и еду; если же у кого-нибудь ко мне дело, жду, что другой поступит так же. Это справедливо и удобно: иначе мне только и пришлось бы гонять по Петербургу. Вот Гржебин тоже хитрый человек — хочет со мной о чем-нибудь поговорить, и поэтому я должен к нему приехать. Кстати, у меня и удобней — никого нет; никто не прилезет потому, что шел мимо, и не обратит беседы в чехарду. Так вот, Корней Иванович, жду. Мне самому интересно с Вами разговориться и поговорить, если позволите, о Вас. Всего хорошего.

С—а Черный.

<...> В четверг дома не буду; в пятницу, субботу и воскре-

сенье сплошь дома» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245).

Тактичную фразу «поговорить, если позволите, о Вас» беремся объяснить тем, что Корней Иванович весь прошлый год болел, как он сам говорил, «малокровием мозга». Гржебин же мог вызывать к себе Александра Михайловича по поводу переиздания его «Сатир и лирики», что осуществил в 1913 году.

Итак, к Чуковскому поэт не поехал. Зато навестил на Пасху, в середине апреля, в Гатчине Александра Куприна, который до сих пор присутствовал в нашем повествовании как бы заочно. Между тем он и его семья в недалеком будущем станут для Саши Черного и его жены почти родными, поэтому считаем необходимым представить их, наконец, читателю.

Царская резиденция Гатчина в 1910-е годы жила Высочайшими визитами, первым в России аэродромом и писателем Куприным, который купил дом на Елизаветинской улице и стал местным возмутителем спокойствия. Александра Ивановича знал здесь каждый, и каждый мог показать Саше Черному, как пройти к его дому. Именно пройти — тот жил в пяти минутах ходьбы от станции Варшавского вокзала, находя прелесть в грохоте поездов и свистках паровозов. Патриархальная провинциальная улочка, утопающая в садах и тишине, уютные деревянные домики. И вдруг — дом ярко-зеленого цвета, над крышей развевается какой-то немыслимый флаг. Это дом Куприна, который стремится быть оригинальным во всем.

Дверь на веранду распахнута: здесь живут по принципу «каждый гость ниспослан Богом», и хозяин уже спешит навстречу Саше. Невысокий, коренастый, раскосые татарские глаза, бородка «под Чингисхана», на голове тюбетейка, на плечах широкий восточный халат. Александр Иванович гордится своими тюркскими корнями: по матери он потомок князей Кулунчаковых. За его спиной вырастает жена и приглашает проходить в дом. Елизавете Морицовне 30 лет, она на 12 лет моложе мужа. Внешность неброская: очень худенькая, мелкие черты лица, но глаза... Эти глаза многое видели и всё понимают. Некогда Елизавета Морицовна была гувернанткой в семье Куприна и его первой жены Марии Карловны, растила их дочь Лиду. Ни на что в жизни эта женщина не рассчитывала: она с детства воспитывалась у чужих людей, была бесприданницей. Их совместная жизнь с Куприным началась шесть лет назад, и если первая жена писателя была деловой дамой, железной рукой продвигавшей мужа к творческим свершениям, то Лиза — просто добрый человек и верная подруга, безропотно сносившая все удары судьбы и чудачества своего знаменитого мужа. Только грусти в глазах прибавля-

лось. В прошлом году она пережила трагедию: полуторагодовалой умерла их младшая дочь Зиночка. Теперь все ее счастье и вся ее жизнь в старшей — Ксении, которую Куприн привел поздороваться с Сашей Черным. Пятилетнее дитя с толстыми щеками и капризными губами держалось независимо и общаться не торопилось. «Я тогда была еще совсем маленькой и не любила чужих, — вспомнит она много лет спустя. — Саша Черный подарил мне свою книжку с надписью: "Мрачной девочке Ксении"» (*Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 206).

Куприн не дает присесть за праздничный стол, покуда не покажет весь дом. Вот его кабинет и главная в нем достопримечательность — портрет Льва Николаевича Толстого с автографом, вот многочисленные переводы повести «Поединок», а это настоящий пропеллер — подарили знакомые авиаторы с летного поля. Но это не главное. Главное — сад. Александр Иванович выводит Сашу с черного хода, и они попадают в рай: цветущая черемуха, кусты сирени... Куприн с видом завзятого агронома начинает давать пояснения, но его голос тонет в собачьем лае. К хозяину метнулись два сенбернара; в глубине сада на цепи пес гигантских размеров вторит им гулким басом. Куприн предупреждает, что к нему подходить нельзя, но сам удержаться не может. Рассказывает, что этот его любимец редкой породы — меделян; точно такой же был у Петра Первого. Взял Куприн щеночка на псарне великого князя Михаила Николаевича, дал имя ему царское: Сапсан Четвертый. Породистый страшно, в родословной 11 прямых предков, и каждый мог завалить медведя. Домочадцы боятся жуткого кобеля, признает он только Куприна. В доказательство Александр Иванович демонстрирует гостю любимый аттракцион: хватает Сапсана за передние лапы и, крякнув, кладет их себе на плечи. «Весу в нем, между прочим, шестьдесят четыре кило, — гордится хозяин. — Видите, какой огромный! Стоя он выше меня».

Куприн дальше ведет по саду, с гордостью показывает огород, где летом будут картофель, репа, египетская круглая свекла, клубника «Виктория», дыни «Жени-Линд». А яблоки какие! Собственные! Ведет смотреть птичник: индюшки, курочки... Мальчишеская гордость Александра Ивановича понятна — наконец он осуществил свою мечту «сесть на землю». Когда-то это чуть было не удалось в Балаклаве, но тогда в его судьбу вмешалась политика. И вот только теперь первый в его жизни собственный дом, где можно и огромного меделяна держать, и наслаждаться работой в саду.

Саша понимал Александра Ивановича как никто. Он также

испытывал страсть ко всякой живности, земле, «естественным людям». Если попытаться найти слово, точно определяющее отношение Саши Черного к Куприну, пожалуй, это будет – нежность. Он умел видеть в этой противоречивой натуре прежде всего художника, ранимую душу, а наносное не замечать. У него есть стихотворение, появление которого специалисты не могут объяснить, настолько оно не вяжется со всем им написанным:

Любовь должна быть счастливой —
Это право любви.
Любовь должна быть красивой —
Это мудрость любви.
Где ты видел такую любовь?
У господ писарей генерального штаба?
На эстраде, — где бритый тенор,
Прижимая к манишке перчатку,
Взбивает сладкие сливки
Из любви, соловья и луны?
В лирических строчках поэтов,
Где любовь рифмуется с кровью
И почти всегда голодна?..

К ногам Прекрасной Любви
Кладу этот жалкий венок из полыни,
Которая сорвана мной в ее опустелых садах...
(«Любовь должна быть счастливой...», 1911)

Мы предполагаем, что эти строки — читательский отзыв Саши Черного на пронзительный рассказ Куприна «Гранатовый браслет», опубликованный в том же 1911 году. Испытывая к Куприну благодарность за эту и другие чудесные вещи, поэт с грустью наблюдал за тем, как он губит себя алкоголем и дешевой рекламой. Характерной ноткой в одном из писем Горькому 1912 года прозвучала эта грусть: «Можно пойти разве что только в “Вену”, и... услышать, как несчастный Александр Иванович Куприн нетвердым языком посылает какого-нибудь друга в самые интимные части человеческого тела... Куприн, правда, большой, зрячий и сильный — но это в прошлом. Теперь его досасывают разные синежурнальные сутенеры, и это самая тяжелая литературная драма, которую я знаю» (цит. по: Горький и его современники. Исследования и материалы. М.: Наука, 1989). Напомним, что «Синий журнал» выпускал Корнфельд, а в роли «синежурнальных сутенеров» могли выступать журналисты Василий Регинин и Николай Брешко-Брешковский. Последний, кстати, принимал участие в пасхальных гуляньях в Гатчине весной 1913 года, к которым и возвращаемся. Было так весело, что Саша Черный, вспоминая эти дни в

эмиграции, написал о них стихотворение «Пасха в Гатчине» (1926) с посвящением Куприну, оттуда мы и позаимствовали некоторые детали.

Праздничный стол был накрыт в «восточной комнате», где низкие диваны с овальными подушками, дорогие хорасанские ковры:

Ковер узором блеклым
Покрыл бугром тахту,
В окне — прильни-ка к стеклам —
Черемуха в цвету!
....
В узорчатых бокалах
Оранжевый мускат.
....
Весенним разговором
Жужжит просторный стол.

Кто именно «жужжал» рядом с Сашей Черным, известно из питерской газеты «Биржевые ведомости» от 17 апреля 1913 года, давшей отчет о пасхальных празднествах у Куприных. Дружные взрывы хохота срывал друг дома, клоун-итальянец Жакомино, служивший в цирке Чинизелли, лучшем в Петербурге. Он уморительно гримасничал, жонглировал тарелками, распевал под мандолину, порывался демонстрировать сальто и определенно старался привлечь внимание артистки Бениовской. Среди зрителей были Владимир Федорович Гельгардт, владелец кинофабрики «Вита», Николай Брешко-Брешковский, писатель Алексей Николаевич Будищев, гатчинский сосед Куприна. Кому-то пришла в голову идея заснять этот флирт на аппарат, который Гельгардт захватил с собой. Куприн тут же набросал нехитрый сценарий о неудачливом ухажере Жакомино, его возлюбленной Бениовской и обманутом муже Брешко-Брешковском. Себе отвел роль мошенника-шофера, посредника в адюльтере (см.: Гатчинский альбом Куприна. Гатчина, 2010). Снимали для себя, и каково же было удивление участников этого капустника, когда два года спустя они увидели весь этот материал в киноленте «Жакомино жестоко наказан», выпущенной Гельгардтом в прокат. Жаль, что фильм не сохранился. Кто знает, не увидели бы мы «в массовке» насмешливые черные глаза?

Эти зоркие глаза разглядели в общей неразберихе, как во двор влетел новый гость, «казак уральской сотни», на потрясающем коне, и Куприн «дробным шагом» поспешил навстречу. Проводил в дом «огромного черного дядю», а сам вернулся к скакуну:

...погладил темя,
Пощекотал чело
И вдруг, привстав на стремя,
Упруго влип в седло...
Всем телом навалился,
Поводья в горсть собрал, —
Конь буйным чертом взвился,
Да, видно, опоздал!
Не рысь, а сарабанда*...
А гости из окна
Хвалили дружной бандой
Посадку Куприна...

Под конец гулянья пели хором:

Мы пели... Что? Не помню.
Но так рычит утес,
Когда в каменоломню
Сорвется под откос...

Мы отнесли события, описанные в стихотворении «Пасха в Гатчине», к весне 1913 года по двум причинам. Во-первых, раньше Саша Черный не мог подарить Ксюше Куприной никакой своей детской книги; «Тук-тук!» вышла у него именно тогда. Во-вторых, сохранился портрет Куприна, подаренный Саше Черному и подписанный так: «Александру Михайловичу Гликбергу с нежной дружбой и всегдашней преданностью. А. Куприн. 1913. Гатчино. Весна» (Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. М.: Книга, 1989).

В Гатчине было хорошо, но и на Крестовском острове ничуть не хуже, и цветущей черемухи не меньше, однако на душе у Александра Михайловича было пасмурно. Дела не клеились, и его захлестывало раздражение. В том же апреле 1913 года, незадолго до визита к Куприну, поэт написал желчный «Новейший самоучитель рекламы (для г.г. начинающих и “молодых”)», где обобщил свои впечатления от пишущей братии, озабоченной не творчеством, а коммерческим продвижением себя. Начинающим литераторам, «которые невинность уже потеряли, но капитала еще не приобрели», Саша Черный рекомендовал в числе прочего: обложку делать «цвета раздавленного попугая»; название давать «узывное и тугопонятное» (например, «Арфы из шарфов» или «Шарфы из арф»); везде, где только можно, рассовать свои портреты; каждую сотню экземпляров именовать переизданием; посвящать свои шедевры, например, Анатолю Франсу, который живет далеко и русского языка не знает; придумать себе какую-нибудь поговорку для

* Сарабанда *(исп.)* — старинный испанский танец.

оригинальности (вроде «три пупа, батенька») и обязательно создать «гениальную внешность». Можно сбрить брови, можно сшить из обложек собственных книг сюртук, а подкладку сделать из своих портретов, можно носить красные очки со своим именем на стеклах. Успех гарантирован: ваше имя, как пресловутая «тарарабумбия», будет преследовать читателя «и в бане, и во сне, и в самые тихие минуты бытия» (*Черный А.* Новейший самоучитель рекламы (для г.г. начинающих и «молодых») // Русская молва [Санкт-Петербург]. 1913. 13 апреля). Остроумно, но слишком много злости. Накипело...

Саша Черный определенно переживал жизненный кризис из-за неудач. В мае 1913 года он ушел из «Современника», потому что отдел сатиры там так и не получился. Между тем он начал большую поэму и не собирался писать ее «в стол»; нужно было налаживать какие-то новые контакты. Захваченный работой, Александр Михайлович делился с Горьким: «...пишу мировую вещь. Ту самую, с Ноем. Это наверно — вырос, созрел, выдержан во всех погребах томления духа и верю, что смогу» (цит. по: Горький и его современники. Исследования и материалы. М.: Наука, 1989).

Уверенности в своих силах поэту прибавила летняя поездка на Полтавщину, где ему открылись знакомые с детства картины малороссийской жизни, о чем он будет вспоминать годы спустя:

Май — Ромны, — галдеж хохлушек юрких,
В гуще свиток пестротканый лиф...
....
За рекой курганы, словно митры,
Над зеленой степью спят вдали.
Выступают гуси вдоль дороги
Белою горластой полосой...
И дитя у хаты на пороге,
И барвинок, сбрызнутый росой...

(«Игрушки», 1921)

Таковы были внешние приметы жизни, пестрые мазки, густой колорит. Взор же художника был обращен к тем баснословным временам, когда век человеческий исчислялся сотнями лет и пророки еще внимали воле Божьей. Саша был далеко отсюда, и «галдеж хохлушек» заглушали крики других женщин — тех, что, протягивая Ною своих детей, умоляли их спасти. Грохот ливня и всполохи зарниц преследовали поэта, хотя на самом деле его окружала мирная деревенская тишь. Он жил вместе со своими героями.

...В становище, раскинувшемся в долине, недоумение: что-то старик Ной замолк. То утомлял всех своими пропове-

дями и проклятиями, а то вдруг не видно его. Поймали сыновей его Сима и Хама, спросили: в чем дело? Молчат. Сами толком не знают. Задумались люди. Но ненадолго: едва услышали звуки тимпанов и цитр, как посрывались со своих мест и ну плясать! А Ной с сыновьями упорно рубили кипарисы, строили ковчег и загоняли в него «всю злую тварь / От паука до носорога».

И обрушился ливень, и люди из долины молили Ноя взять их в ковчег, но он был непреклонен. И тонули они, и плавали тела вокруг ковчега, и даже «...у самых тупых / Были мудрые лица уснувших святых». А жальче всего было безгрешных детей, но Господь не велел их спасать. «Быть может, в них зерно разврата...» — так объяснил себе это Ной.

Во всем мире остался единственный очаг жизни: тесная деревянная коробка, плывущая день и ночь неизвестно куда, а за ней — «удивленные дельфины». Люди быстро устали от неизвестности и терзали Ноя вопросами о том, когда же кончится дождь. Не получив ответа, обозлились и становились скотами, а Ной... Что Ной? «Ной бессилен и нестрашен — в зыбкой тьме не нужен вождь». Уже Ноама, жена Сима, упрекает беременную Ли, жену Иафета, что та ей не помогает по хозяйству, а Эгла, жена Хама, задумалась: не соблазнить ли ей лишенного временно женской ласки Иафета? И соблазнила. И ничего такого. Лишь скорбящий Ной тихо плакал.

В ковчеге остались одни близкие родственники, у которых, казалось бы, не должно быть мелочных счетов. Ан нет: Сим старается припрятать какие-то мешки с мукой и дерется из-за них с Хамом. Всё суровее становится Ной.

Ковчег плывет, и не видно просвета в сером ненастье. Измученные птицы, не имея суши для отдыха, камнем падают на крышу и спят, а Хам убивает их сонных.

Люди отупели и потеряли счет дням и ночам.

Даже мужчины плачут, и в ответ на их плач со дна лодки подымается «темный, злой звериный стон». Там, внизу, уже вспыхнул «жадный голод» и львы рвут верблюдов.

Еще неизвестно, кому Бог послал большее испытание: тем, что погибли, захлебнувшись, или этим, оставшимся для чего-то жить? «Безнадежность хуже смерти». Не думать, не думать, забыться... И вот сыновья и невестки Ноя предаются безудержному разврату:

Ждать? Чего? — Не стоит ждать:
Завтра боль придет опять.
Дни уходят... Сладок грех!
Тела хватит здесь на всех.

Смех и пляска все пьянее, и наплевать на стоны бедной Ли, рождающей в муках сына. Ной потрясен: такое падение он уже видел, там, в долине, в шатрах, что навеки погребены теперь под толщей воды. И Ной возроптал на Бога. Воздев руки к небу, он вопрошает: для чего тот велел спасти семью? Разве они лучше тех, что погибли? Ведь они выйдут на сушу и породят себе подобных. А что может от них родиться? «Хам — проказа земли, Сим ничтожен, как крот... / Иафет? Но мятущийся вихрь не оплот». Не лучше ли уничтожить всех и себя, и пусть только немые рыбы останутся на земле. Каков соблазн!..

Путь мой кончен... Я понял. Кто понял — судья.
Берег близко, но нет, — не причалит ладья.
Пусть земля отдохнет. Пусть никто на земле
С перекушенным горлом не бьется во мгле.
....
Ты ошибся, Владыка, Ты слишком далек!
Завтра рано, чуть солнце разбудит восток —
Только всплывшая грязь на безмолвной воде
Скажет новому солнцу о нашем следе...

Ной спускается в трюм, к зверям, и ищет секиру, которой некогда строил этот ковчег, но вдруг где-то заплакал младенец, рожденный за время плавания робкой Ли.

Рука безвольно выпустила секиру.

Мудрец всё понял: «Ной над спящим ребенком все думал о жизни, яснел / И, грустя, возвращался в ее необъятное лоно». Если не будет людей, то для кого лес, омытый росой, песня морских волн, «все цветы на земле»? Не для тупых же рыб? Да, жизнь полна страданий, но они — неотъемлемая часть ее: «Скат морской не страдает, — но кто б захотел / Променять все страданья на этот удел?» Смерть же «мертвее тоски» и «бессмысленней зла», и Ной не посмеет быть суровее Творца. Все свои силы он отдаст воспитанию этого младенца, который своим плачем остановил его карающую руку.

Ной всё понял — и немедленно прекратился дождь. Люди собрались на крыше ковчега и протягивают руки к неведомой новой земле. Мудрый Ной в отдалении «всей усталою скорбью души» молится «сияющей матери-жизни».

Такую поэму написал в 33 года Александр Михайлович Гликберг. Достигнув возраста Христа, поэт и человек пришел к осознанию мудрости законов бытия. Зачем растрачивать себя на то, с чем Бог спокойно мирится и без чего мир, как видно, существовать не может? Секиру нужно бросить — с сатирой проститься. Не лучше ли обрести спасительного младенца и посвятить себя ему? Нет своих детей, так разве мало чужих?

«Ной» — это прощание Александра Гликберга с Сашей Черным. Это рубежная, выстраданная и прожитая вещь, по нашему мнению, даже слишком личная, чтобы ее публиковать. Однако же поэт — пророк, а пророков без внимающих им не бывает. И вот Александр Михайлович вез из малороссийских Ромен свою проповедь, мечтая о том, что она будет услышана.

Приехал в Петербург — и сразу окунулся в привычную окололитературную пошлость, которую, надеемся, отныне воспринимал спокойно и как неизбежное зло. За время его отсутствия разразился скандал в «Сатириконе», который широко обсуждался. В мае 1913 года Аверченко, Радаков и Ре-ми рассорились с Корнфельдом и, как они писали в газетах, «in corpore» покинули журнал. Вслед за ними ушли почти все ведущие сотрудники. О причинах ходили какие-то невнятные слухи, так или иначе сводившиеся к материальным претензиям. Стороны подавали друг на друга в суд, оскорбляли друг друга в прессе. Михаил Германович Корнфельд остался один на один со своим известным журналом, в котором больше некому было работать, а Аверченко и компания создали собственный журнал «Новый Сатирикон», над названием которого долго не думали.

Можно предположить, что Корнфельд, отчаянно хватаясь за любую соломинку, дабы спасти подписку и репутацию, мог приглашать Сашу вернуться. С такой же долей вероятности и Аверченко мог зазывать его в свой новый журнал, ведь ему приходилось начинать дело практически с нуля. Однако не станем фантазировать. Во-первых, данных об этом нет; во-вторых, человек, написавший «Ноя», не пошел бы уже ни в какой «Сатирикон».

«Теперь вожусь с поэмой, — сообщал Саша Горькому, — и с отвращением перебираю в уме разные комбинации. Для начала стороной навел справки в “Вестнике Европы”. Оказывается, что поэму в два листа принципиально не только не возьмут, но и читать не будут. Небывалый случай: “два листа стихов!” И это несмотря на то, что я предупредил о своей гонорарной скромности: столько же, сколько за два листа прозы» (цит. по: Горький и его современники. Исследования и материалы. М.: Наука, 1989). Едва ли поэт делился своими проблемами бескорыстно: Горький сотрудничал с «Вестником Европы» и мог повлиять на редактора, академика Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского, с которым переписывался. Однако Горький в то время был занят своими хлопотами, он готовился к возвращению на родину. В последних числах декабря Алексей Максимович прибыл в Петербург. С этого времени их

переписка с Сашей Черным прервалась, но не прервалось сотрудничество.

Задержимся на декабре 1913 года, последнем мирном российском декабре. В ближайшие семь лет жители огромной страны накануне Рождества и в новогодние праздники будут загадывать одно на всех главное желание — чтобы кончилась война. А пока все были веселы и безмятежны. В Петербурге второй месяц хулиганили московские футуристы. Чуковский читал о них лекции и в Тенишевском училище, и на Бестужевских курсах. Какой-то кубофутурист Маяковский поставил в театре Луна-парка скандальный спектакль, кажется, о себе самом. Слушая эти разговоры, думал ли Саша о том, что потомки в России если и будут помнить его стихи, то только благодаря тому, что их в юности обожал этот самый Маяковский? Однако карты лягут именно так.

В литературу прорывалось новое поколение двадцатилетних, которые в годы революции 1905 года еще были детьми, поэтому протестную сторону стихов Саши Черного воспринимали только в той мере, что была им понятна. Маяковский в автобиографии говорил о своей юности: «Поэт читаемый* — Саша Черный. Радовал его антиэстетизм» (Писатели о себе. Владимир Маяковский // Новая русская книга [Берлин]. 1922. № 9). Молодому бунтарю импонировали желчное препарирование быта и человека, фарсовое видение жизни столицы. Чуковский, хорошо знавший Маяковского в эти годы, говорил об этом так: «Насколько я мог заметить, Маяковскому из этих сатир были больше всего по душе те, в которых ненависть к тогдашней действительности выражалась не в декларациях и возгласах, а в бытовых зарисовках, доведенных до гротеска и шаржа. Больше всего привлекала его образность этих стихов» (*Чуковский К.* Саша Черный // *Чуковский К.* Современники: Портреты и этюды. С. 371).

У приятеля молодого Маяковского, впоследствии видного ученого-лингвиста Романа Якобсона есть статья «О поколении, растратившем своих поэтов» (1931), где в числе кумиров своего поколения он назвал Александра Блока и Велимира Хлебникова, но не назвал Сашу Черного. Однако сам Маяковский его знал и чтил, а по нашему мнению, оказаться в числе вдохновителей и в чем-то учителей Маяковского — это честь. Виктор Шкловский вспоминал в «Жили-были»:

---

* Приводим цитату из автобиографии, впервые напечатанной в берлинском журнале «Новая русская книга» (1922. № 9); в последующих публикациях автобиографии, которую Маяковский назовет «Я сам», появится определение «почитаемый».

«Маяковский, уже призванный, но еще не говорящий, ходил среди людей. Он читал сатириконцев.

Был тогда Саша Черный.

Саша Черный писал стихи в “Сатириконе”. <...>

Маяковский любил эти стихи.

Фонари горят как бельма, — писал Саша Черный.

Лужи блестят, как старцев-покойников плешь.

Это похоже на Маяковского:

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна».

Стихи Саши Черного участвовали в формировании мироощущения молодого Маяковского, ими он иллюстрировал свои мысли по разным поводам. Его строки вошли в повседневный речевой обиход начинающего поэта. Лиля Брик вспоминала, что ими Маяковский комментировал многие жизненные ситуации (*Брик Л.* Из воспоминаний // Современницы о Маяковском):

«Когда на его просьбу сделать что-нибудь немедленно, [он] получал ответ: сделаю завтра, он говорил раздраженно:

Лет через двести? Черта в ступе!
Разве я Мафусаил?
(“Потомки”)

Если в трамвае кто-нибудь толкал его, он сообщал во всеуслышание:

Кто-то справа осчастливил —
Робко сел мне на плечо.
(“На галерке”)

В разговоре с невеждой об искусстве:

Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля.
(“Стилисты”)

Или:

Сей факт с сияющим лицом
Вношу как ценный вклад в науку.
(“Кумысные вирши”)

О чьем-нибудь бойком ответе:

Но язвительный Сысой
Дрыгнул пяткою босой.
("Консерватизм")».

В 1915 году Чуковский как-то спросил Маяковского, кого он больше любит: Полонского, Майкова или Фета? Тот засмеялся и ответил: «Сашу Черного». И, словно в доказательство, на портрете Корнея Ивановича*, сделанном им в этот же день, написал строчки из Сашиной колыбельной: «Спи, мой кролик...» и т. д. Максим Горький, вспоминая лето того же 1915 года, писал Чуковскому: «Как-то, в Мустамяках, Маяк<овский> изъяснялся в почитании Черного и с удовольствием цитировал его наиболее злые стихи» (Горький и его эпоха. Материалы и исследования. М.: ИМЛИ, 1994. С. 110).

Сам Саша Черный футуристов называл «микрокефалами», и ему с ними было все ясно: «Рыжий цех всегда шел ходко». Одного он не понимал — презрения к толпе, без которой клоунам нельзя существовать:

Не смешно ли сворой стадной
Так назойливо, так жадно
За штаны толпу хватать —
Чтоб схватить, как подаянье,
От толпы пятак вниманья,
На толпу же и плевать!
(«Эго-черви (На могилу русского футуризма)», 1914)

Это одно из немногих стихотворений Черного, появлявшихся в печати в 1914 году. Он практически замолчал, лишь изредка посылал материал для публикации в «Солнце России» и московский журнал «Русская мысль», где редактором литературного отдела была бывшая бестужевка Любовь Яковлевна Гуревич (с ней сложились теплые отношения).

Хоть какое-то упоминание о Саше удалось найти в майской статье Василевского (не-Буквы), посвященной Чуковскому. Не-Буква отмечал, что Корней Иванович теперь «так старательно старается отгородиться от былого легкомыслия, так усердно смягчает былые резкости в новых изданиях своих книг», что невольно вписывается в общую новую тенденцию. А именно: «Он, — увы! — не одинок в этом ненужном и, боюсь, трусливом стремлении к "маститости". Вот и талантливейший Саша Черный настойчиво старается переделать себя в Александра Гликберга» (*Василевский И. М.* Невзрослые и маститые // Петербургский курьер. 1914. 24 мая). Непонятно,

* Портрет сделан в Куоккале в июне 1915 года и хранится в Государственном музее В. В. Маяковского (Москва).

чем был недоволен не-Буква: в 34 года совершенно естественно желание быть уже не Сашей, а хотя бы Александром.

Вполне возможно, что этот выпад был обусловлен публикацией в апреле 1914 года поэмы «Ной». Хотя она была подписана «А. Черный» (а не Гликберг), ее содержание, безусловно, указывало на то, что автор «старается отгородиться от былого легкомыслия».

Выстраданная Александром Михайловичем вещь, как видим, долго шла к читателю и, в конце концов, была куплена все тем же «Шиповником» для очередного альманаха (1914. № 23). Тогда она прошла незамеченной, и едва ли не единственный отзыв на публикацию оставил сатириконец Александр Измайлов, человек из окружения Куприна. Он заметил, что в суетном литературном потоке современности поэма эта — «странная гостья, точно из чужих краев», что автор «применил обывательскую точку зрения к великой легенде всемирного потопа. Торжественное стало обыденным, люди маленькими, трагедия перемешалась с фарсом» (*Измайлов А.* Нестареющая легенда (Поэма А. Черного «Ной»). Мы же, как потомки, уже знающие дальнейшие события, которых читатели 1914 года знать не могли, позволим себе говорить о пророчестве накануне страшной войны, о предсказанном мировом «потопе». Но никто не услышал и не прислушался. Нет пророков в своем отечестве — истина стара.

Черный гордился «Ноем». Отдельный оттиск поэмы он подарил Гуревич из «Русской мысли», надписав: «Многоуважаемой Любови Яковлевне Гуревич на добрую память от безработного пессимиста. Апрель 1914» (Собрание А. С. Иванова). От Гуревич зависела судьба его нового рассказа «Мирцль» о гейдельбергской кельнерше, и он вел письменные переговоры по этому поводу: «Что касается условий, то я, конечно, ни на чем не настаиваю: вообще настаивать надо лично и талантливо, а я не умею»*.

В мае Черный уехал в Гунгербург и прекрасно проводил время в любимом Шмецке. Через какие-нибудь пару месяцев события начала лета 1914 года покажутся поэту сном. Неужели они с Марией Ивановной жили этой «Мирцлью» и мечтали, как рассказ выйдет в «Русской мысли»? Неужели бездумно загорали? Правда ли, что собирались в августе ехать знакомиться с древними цивилизациями в Палестину, Египет, Грецию?! Каждая мелочь будет припоминаться с особым чувством: мало ценили то, что имели, мало берегли друг друга...

---

* ОР ИРЛИ. Архив «Северного вестника». № 19872.

Место, где они отдыхали, известно точно. Это была дача Константина Ивановича Бормана, сотрудника крупной страховой компании «Россия» (О прошлом Шмецке и Меррикюля // Старый Нарвский листок. 1929. 4 июня). Уютный деревянный бежевый домик стоял на границе Шмецке и Меррикюля: открытая терраса, увитая диким виноградом, развесистые старые ели в саду, звуки фортепиано — хозяева дачи, люди гостеприимные и веселые, устраивали маскарады, концерты.

В семье Борманов было восемь детей, и двое из них — Миша и Ира — оставили воспоминания о «дяде Саше» Черном. Михаил Борман, бывший тогда мальчишкой, рассказывал литератору Юрию Дмитриевичу Шумакову, что поэт все время гонял на велосипеде, пролетал туда-сюда, и Миша все думал: что, если за ним погнаться, перегонит или нет? И в подтверждение своих слов Миша в конце 1920-х годов показывал Шумакову тот самый велосипед, ставший реликвией (*Шумаков М.* ИрБор // Радуга. 1989. № 5).

Ирина Борман, в будущем достаточно известная эстонская поэтесса, пассия Игоря Северянина, была постарше Миши — ей исполнилось 30 лет — и понимала уже гораздо больше. Она и рассказала Шумакову о том, перед кем «дядя Саша» картинно гонял на велосипеде. Якобы он увлекся ее старшей сестрой Леной, натурой взбалмошной и экстравагантной. Стремясь быть оригинальной, та завела рысь и водила ее на цепочке по улицам. Этот рысий мех попал в стихотворение Черного «Современный Петрарка» (1922), что позволило Анатолию Иванову предположить адресата стихотворения — Елену Борман. Герой влюблен, «застенчив, как мимоза, осторожен, как газель» и вот уже пять недель томится в неведении: любим ли? Он пишет стихи с твердым намерением сегодня же преподнести их Ей и посмотреть, что будет:

Ваши пальцы будут эхом, если вздрогнут, и листок
Забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног, —
Я богат, как двадцать Крезов, я блажен, как царь Давид,
Я прощу всем рецензентам сорок тысяч их обид!

Если же волнения не будет и листок со стихами Она равнодушно вернет, тогда что ж... Герой пошлет их в газету, получит гонорар и напьется.

Если романтическая история действительно была, то, судя по всему, пальцы Елены Борман при чтении не вздрогнули: стихотворение (правда, восемь лет спустя) было напечатано. Ирина Борман, конечно, уточняла, что это не был роман, а так... легкий флирт, красивое ухаживание, прогулки по мор-

скому берегу. Отчего бы и нет? Тем более что Мария Ивановна то и дело отлучалась в Петербург.

Возвращалась она озабоченной и рассказывала, что столица живет тревожными слухами: похоже, что все-таки будет война. С тех пор как 15 июня 1914 года в Сараеве был убит наследник австро-венгерского престола, эти слухи всё более усиливались.

Лето оборвалось внезапно.

Девятнадцатого июля Германия объявила войну России. Эта дата стала началом Мировой войны. В августе «безработный пессимист» Александр Михайлович Гликберг в военной форме уже находился в казармах Варшавы.

Глава шестая

ФРОНТОВИК

1

Сама жизнь распорядилась тем, чем был так озабочен Саша Черный. Ему не нужно было больше ни размышлять о законах бытия, ни решать для себя «проклятые вопросы», ни искать новые темы творчества. Теперь все было определено: за него решают командиры, а сам он обрел новый и простой смысл существования — выжить.

Судя по всему, поначалу поэт недооценивал серьезность положения. Подобно многим тогда, он был одержим патриотическим порывом. Сохранился его фотопортрет в форме вольноопределяющегося, «вольнопёра» с авторской пометой «Варшава — Август. 1914». Очень «писательский», постановочный портрет: поза Наполеона, задумчивый взор, устремленный вдаль, в нагрудном кармане виднеется мундштук курительной трубки. Куприн, увидев этот снимок, утверждал, что безвестный фотограф был мастером: «...портрет Саши Черного сделан не только с большим сходством, но и с удивительным, редкостным сохранением тех неуловимых черт, которыми душа говорит в лице. Да, это тот самый подлинный, мягкий взгляд Саши Черного... задумчивый, тихий и наблюдательный, с теплой искрой доброго юмора, с благородным оттенком невысказываемой печали и сдержанной ласки. Удивительный портрет!» (*Куприн А. А.* Черный. Солдатские сказки. Париж: Издательство «Парабола», 1933 // Возрождение. 1933. 26 октября).

Действительно, взгляд пока еще был мягким и с «искрой доброго юмора». Его обладатель просто не представлял, что его ждет.

Трудно переоценить значение для художника военного опыта. Сколько имен и талантов взрастила эта тема, какой огромный пласт литературы дали Отечественная, Крымская, Великая Отечественная войны! Что же касается Первой мировой войны, то ее настолько поглотила война Гражданская, что масштабного художественного осмысления она так и не обре-

ла. Не успела. Разумеется, о ней писали потом и в Советском Союзе (достаточно назвать «Тихий Дон» Михаила Шолохова), и в эмиграции (к примеру, первая часть трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» — роман «Сестры», охватывающий период от начала Мировой войны по канун Октябрьской революции и созданный им в эмигрантские годы). Однако писали не собственно о войне как самостоятельном явлении, а в основном как о прологе к переломным революционным событиям. Не то было в Европе, где Первая мировая война вызвала появление литературы «потерянного поколения» — исповедальной прозы Ремарка, Хемингуэя, Барбюса. Был и иной взгляд на события: чех Ярослав Гашек написал о них гениальную комическую эпопею «Похождения бравого солдата Швейка во время Первой мировой войны» (1921—1923), отправив на фронт своего чудаковатого солдата Швейка.

Казалось бы, характер дарования Саши Черного указывал ему тот же путь, что и Гашеку. К слову, значительно позднее Черный напишет прозаический цикл солдатских «побрехушек», но не сейчас. Поэт мог создать и нечто вроде «Василия Теркина» Александра Твардовского, но не создал. Он оставил нам серьезнейший поэтический цикл «Война», который впервые опубликует в 1923 году в Берлине, придав ему четкую хронологическую последовательность и снабдив стихотворения цикловыми заглавиями: «Сборный пункт», «На фронт», «На этапе» и т. д. О художественной ценности «Войны» можно судить только с известной оговоркой: военная лирика служит другим целям и воздействует на другие струны человеческой души, нежели высокая поэзия. Здесь не нужны утонченные образы и многосмысловые метафоры, но требуются понятность, типичность изображенных чувств и ситуаций, патриотический пафос. Военная лирика призвана помогать воевать, то есть побеждать. Есть у Саши Черного и такие стихотворения, есть и другие, красноречиво говорящие о том, что их автор пережил серьезнейшее духовное перерождение и держался исключительно спасительным словом Божьим. Ему, слабому, ранимому, парящему в облаках человеку, довелось пропустить через себя всю войну — от первых боев под Варшавой до той страшной и мутной авантюрной каши, что заваривалась к февралю 1917 года в окрестностях Пскова. Саша Черный, без преувеличения, видел всё.

А начиналось с малого.

В августе 1914 года поэту пришлось вспомнить понятия из далекого армейского прошлого: фельдфебель, унтер, «равняйсь — отставить!». Черный рассказывал, что проходил призывную комиссию в стенах военного училища на Петербург-

ской стороне, где его «сбили» в общий ряд и написали мелом на спине «цифры дикие» («Сборный пункт», 1914). Анатолий Иванов, разыскавший послужной список вольноопределяющегося Гликберга*, сообщал, что тот был мобилизован из запаса, назначен заведующим формированием врачебно-лечебных заведений, не переданных войскам, в Петербурге и оказался в 13-м полевом запасном госпитале. Мария Ивановна, подтверждая эти данные, вспоминала, что поначалу этот госпиталь не планировали отправлять на фронт, он должен был остаться в городе или его окрестностях, и Александру Михайловичу даже разрешили жить дома.

До начала учебного года оставалось еще полтора месяца, и Мария Ивановна записалась на ускоренные курсы сестер милосердия военного времени. На всякий случай. Пока муж ездил в свой госпиталь, она старалась посильно участвовать в событиях: работала в двух комитетах помощи мобилизованным из запаса. Рядом с ней трудились Антонина Александровна Струве, жена Петра Бернгардовича Струве, и Софья Михайловна Ростовцева, супруга профессора Михаила Ивановича Ростовцева, преподававшего некогда самой Марии Ивановне на Бестужевских курсах.

Вдруг всё переменилось.

Тринадцатый полевой запасный госпиталь включили в состав Варшавского сводного полевого госпиталя № 2 Российского общества Красного Креста**, приписанного к 5-й Армии. «Пятой армией» с июля 1914 года именовалось общевойсковое оперативное объединение соединений и частей, включавшее 1-й Сибирский, 5-й и 19-й армейские корпуса, 5-ю Донскую казачью дивизию и Туркестанскую казачью бригаду (всего шесть пехотных и полторы кавалерийские дивизии). За ними и должен был следовать полевой госпиталь, поэтому «вольнопёра» Гликберга отправили на фронт, и Мария Ивановна поначалу даже не знала, куда именно. Линия фронта в августе проходила по границе с Восточной Пруссией и Австро-Венгрией (Галицией и Буковиной). 5-я Армия дислоцировалась на участке Ковель — Ивангород, имея в тылу Варшаву, где и раз-

---

* РГВИА. Ф. 2212. Оп. 4. Д. 162. Л. 147.

** Российское общество Красного Креста (РОКК) – благотворительная организация, участник Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; возникла в 1867 году, сначала называлась «Обществом попечения о раненых и больных воинах», оказывала помощь раненым на полях сражений, пострадавшим во время эпидемий и стихийных бедствий; с 1879 года переименована в РОКК. В годы Первой мировой войны РОКК отвечало также за снабжение учреждений помощи беженцам, занималось судьбой военнопленных, организацией лечения раненых на климатических и минеральных курортах и пр.

местился на первых порах госпиталь и где был сделан упомянутый выше фотопортрет поэта.

Саша Черный уезжал на войну с хорошо знакомого Варшавского вокзала.

Небо кротко и ясно, как мать.
Стыдно бледные губы кусать!
Надо выковать новое крепкое сердце из стали
И забыть те глаза, что последний вагон провожали.
(«На фронт», 1914)

Провожали те глаза, что когда-то с теплотой взглянули на симпатичного таксировщика службы сборов, а теперь в отчаянии не могли удержать слез. Мария Ивановна впервые за десять лет брака отпускала от себя мужа. Она осталась в Петербурге и в сентябре 1914 года, как обычно, приступила к работе в гимназии Субботиной.

Александр Михайлович тоже оказался поневоле в учебном заведении. Их лазарет развернули в здании Варшавского университета, из которого уже вывезли часть библиотеки и ценное оборудование. Герои стихотворения «Под лазаретом» (1923) — с пометой «Варшава. Здание университета» — в библиотечном подвале варят суп на плите.

По прибытии на место поэт прошел воинские учения, о чем не без юмора рассказал в стихотворении «Репетиция» (1923). Вновь прибывших выстроили посреди двора, напротив соломенного чучела, и велели каждому атаковать его и заколоть или придушить. Побежал и Черный «в атаку», но куда ему, хлипкому интеллигенту! Еле семенит, шинель вскатку давит, котелок на боку громыхает; сам понимает, насколько смешон. Придушить чучело врага не смог, только песка и соломы наглотался.

В общем-то ему это было ни к чему — работая в запасном полевом госпитале, он не должен был оказаться на передовой. Однако ужасов на его век хватило. Если первая серьезная августовская операция русских — наступление в Восточной Пруссии — обошлась без участия 5-й Армии, то следующая кровопролитная страница войны, Галицийская битва, коснулась его вплотную. 5-я Армия приняла в этих событиях активное участие, поэтому довелось ему сверх всякой меры насмотреться на искалеченных, окровавленных, раздавленных, обожженных, потерявших рассудок. Потом были Варшавско-Ивангородская, Лодзинская операции немцев...

О том, чем именно занимался поэт на фронте, становится ясно из рапорта главврача госпиталя, написанного 18 марта 1915 года: рядовой из вольноопределяющихся 2-го разряда

Гликберг состоял в должности палатного надзирателя в самом госпитале, а также выполнял обязанности по ведению документации в медчасти госпитальной канцелярии. Главврач счел нужным также сообщить, что Гликберг отличается выдающимися служебными и нравственными качествами и, благодаря отличным способностям и образованности, приносит госпиталю большую пользу*. Сам Александр Михайлович много позднее рассказывал, что «должен был вести списки раненых, писать для них письма в деревню и... извещать семьи о смертях» (*Станюкович Н.* Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М.: Республика, 1994).

Первый военный опыт очень тяжел, о чем свидетельствуют участники многих войн. Саша Черный это потрясение пережил, изо дня в день находясь в палате среди жестоко страдающих людей, когда ему начинало казаться, что он теряет рассудок. С нервным истощением он сам попал в лазарет.

В военном цикле поэта есть два стихотворения, где авторские интонации приближаются к отчаянному крику. Первое из них — «Атака» (1923) — появилось в результате впечатлений от страшных боев под польской Ломжей. Не в силах более ни видеть кровь, ни слышать о смерти, герой, словно в бреду, выдумывает сказку, в которую хочет верить: воюющие стороны на рассвете лавой ринулись друг на друга, изрыгая проклятия, и вдруг в пяти шагах и те и другие остановились. Застыли, обнажив штыки, ждут команды. А ее не последовало. «И вот... пошли назад, / Взбивая грязь, как тесто».

Весна цвела в саду.
Лазурь вверху сквозила...
В пятнадцатом году
Под Ломжей это было.

Весенний сад — не случайная деталь, а совершенно необходимая антиномия. Этакое детское удивление: как может быть война рядом с такой красотой?! Отчаяние испуганного человека, призывающего ту силу, которая сможет, как по волшебству, остановить кошмар. И эту силу он зовет так страстно, что она ему на миг является:

Это было на Пасху, на самом рассвете:
Над окопами таял туман.
Сквозь бойницы чернели колючие сети,
И качался засохший бурьян.

* РГВИА. Ф. 2212. Оп. 4. Д. 162. Л. 147.

Воробьи распевали вдоль насыпи лихо.
Жирным смрадом курился откос...
Между нами и ими печально и тихо
Проходил одинокий Христос.

Но никто не узнал, не поверил виденью:
С криком вскинулись стаи ворон,
Злые пули дождем над святою мишенью
Засвистали с обеих сторон...

И растаял — исчез он над гранью оврага,
Там, где солнечный плавился склон.
Говорили одни: «сумасшедший бродяга», —
А другие: «жидовский шпион»...

(«Легенда», 1920)

Никто не узнал Христа, но тот, кто рассказал об этом, уж точно узнал. А узнав, не усомнился. Житомирский богослов Вадим Шапран трактует эти строки так: «Он (Саша Черный. — *В. М.*), словно впервые увидевший смерть ребенок, удивленно спрашивает читателя: "Зачем? Зачем люди продолжают воевать и убивать друг друга, если Бог этого не хочет, если он запретил людям делать это?" А затем, уподобляясь юродивому, словно сурово допрашивает нас: "Почему вы воюете? Разве не помните, что Господь Сам Своей Рукой Всемогущей начертал в наших каменных сердцах: 'Не убий!'"» (*Шапран В.* Наследство, переданное через века // *Роше К.* Поэма души. Житомир: Ни-ка, 2005. С. 214).

Действительно ли поэт уподоблялся юродивому или искренне не понимал, как такое может происходить? На этот вопрос отвечают интереснейшие воспоминания одесского писателя Александра Митрофановича Федорова, общавшегося с ним где-то на фронтовых дорогах. Именно детскими показались Федорову суждения о войне Саши Черного, который говорил:

«— Дико и страшно все это. <...> Я не понимаю, как там, на войне, те, которые воюют, убивают и погибают сами, не опомнятся, не крикнут во весь дух — "Не хотим больше воевать! Не можем!.. Это страшно!.."

— А не будет ли еще страшнее, если найдутся такие, которые крикнут это?.. Ведь все сразу крикнуть не смогут.

— Нет, все, все сразу должны крикнуть... Только так... Только когда все сразу, — как-то по-детски восторженно и вместе с тем болезненно вырвалось у него.

Он замолчал, потом смущенно опустил голову.

— Это наивно и глупо с моей стороны. Правда? Да?

— Нет, это все хорошо, что вы сказали.

Я, конечно, не объяснил ему, что это хорошо потому, что говорит о хорошей душе его. И это открылось не столько в словах его, сколько в голосе, в блеске темных глаз его, в смущенной улыбке. Я хорошо почувствовал тут, почему так любят его стихи и рассказы дети. В нем самом, в его природе было что-то близкое детям» (цит. по: *Иванов А.* [Комментарии] // *Черный Саша*. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 1996).

Ну как с таким сознанием выжить на войне? Ведь этакому «юродивому», пожалуй, станет жаль и противника? Ведь и убивать откажется? Вот он впервые увидел пленных:

У «Червонного Бора»* какие-то странные люди.
С Марса, что ли, упали? На касках сереют чехлы,
Шинелями, как панцирем, туго затянуты груди,
А стальные глаза равнодушно-надменны и злы.
(«Пленные», 1923)

Никакой особой ненависти к противнику герой стихотворения не испытывает. И не он один: к пленным немцам подходят русские солдаты и делятся с ними махоркой. Гуманно. Следующая война с Германией оставит мало места подобным эпизодам.

Состояние мужа не могло не беспокоить Марию Ивановну. В сухих фактах его дальнейшей военной биографии чувствуется чье-то волевое вмешательство. В марте 1915 года поэт был переведен в штаб 5-й Армии. Случилось это так: в том же марте начальником санитарного отдела штаба был назначен генерал Константин Петрович Губер, который и забрал поэта к себе на должность зауряд-военного чиновника. По нашему мнению, здесь сыграл свою роль «житомирский фактор». Вот что Черный писал о Губере:

Жил старик в Житомире, в отставке,
Яблони окапывал в саду,
А пришла война, поднялся с лавки
И, смеясь, сказал родным: «Пойду!
Стар? Ну что ж, и старики нужны.
Где мои с лампасами штаны?»
(«Памяти генерала К. П. Губера», 1916)

Кто-то ведь должен был выйти на Губера, напомнить ему о том, кто такой Саша Черный, просить о помощи. Это могла сделать или Мария Ивановна, или семья Роше, и тогда следует признать, что их связь с Гликбергом не прерывалась.

Константину Петровичу Губеру, участнику Русско-японской войны, в 1915-м исполнился 61 год, однако энергично-

* Городок в окрестностях Ломжи и Зборова.

стью он превосходил многих молодых. Черный вспоминал, что огромный козырек его фуражки («в виде зонта») знали все врачи армии. Губер вникал во все мелочи: лез в окопы проверять наличие противогазов, сам снимал пробу с пищи, «нещадно гнал воряг, / Не терпел ни трусов, ни бумаг». Похоже, что он брал поэта с собой на выездные «разносы»: одна такая поездка описана в стихотворении «Ревизия» (1923).

Штаб 5-й Армии располагался в Двинске, и воспоминаниями о пребывании там Александр Михайлович дорожил. Он сохранил групповой снимок, где сфотографирован с офицерами санитарной службы, писарем и бухгалтером штаба, другими лицами, старательно подписав возле каждого фамилию. Об отношении к поэту говорит тот факт, что он — обычный «рядовой из вольноопределяющихся» — на снимке сидит, в то время как другие офицеры, то есть старшие по званию, стоят. Да и посадили его прямо в центр.

Саша Черный был там не единственным литератором. Другим оказался сын генерала Губера Петр, служивший военным чиновником-переводчиком (в 1923 году в Петрограде выйдет самая известная его книга «Донжуанский список Пушкина»).

Все сотрудники трепетали перед начальником штаба генералом Евгением Карловичем Миллером, местным уроженцем. Это был блестящий военный с идеальной выправкой, роскошными «кавалерийскими» усами, жесткий, целеустремленный. Позднее, в годы Гражданской войны, он станет видным деятелем Белого движения, а в эмиграции будет на первых ролях в РОВС и займет пост председателя этой структуры после исчезновения в 1930 году генерала Кутепова*. В 1937 году он сам будет похищен агентами НКВД и Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу два года спустя.

В штабе у Миллера был железный порядок, и, вопреки ожиданию, перевод сюда из госпиталя не принес Александру Михайловичу облегчения, судя по стихотворению «В штабе ночью» (1923). Герой его поэтического дневника продолжал сходить с ума от орущих телефонов, наваленной почты и всего происходящего.

Довелось поэту пережить и эвакуацию с ее отчаянием и беготней. К концу сентября 1915 года тыловой Двинск в связи с неудачами русских войск (Свенцянским прорывом немцев) стал прифронтовым. Начался масштабный вывоз промышленных и административных учреждений — спешный, под

---

* Александр Павлович Кутепов (1882—1930), возглавлявший с 1928 года Русский общевоинский союз (РОВС), был захвачен агентами ОГПУ, тайно вывезен из Парижа и умер по пути к Новороссийску. — *Прим. ред.*

артобстрелом врага. Взрывали мосты, жгли пшеничные поля, чтобы не достались немцам. Все это Саша Черный описал в подробностях:

Штабы поднялись. Оборвалась торговля и труд.
Весь день по шоссе громыхают обозы.
Тяжелые пушки, как дальние грозы,
За лесом ревут.
Кругом горизонта пылают костры:
Сжигают снопы золотистого жита, —
Полнеба клубами закрыто...

(«Отступление», 1923)

Вместе со штабом поэт оказался в местечке Режица восточнее Двинска, со стороны которого доносился страшный грохот. Город бомбили с суши и с воздуха. Обороняла его 5-я Армия, и санитарная служба ее штаба, где служил Саша, вела бесконечные списки потерь.

Тем временем наступил 1916 год, последний год в истории Российской империи. Для Александра Михайловича он начался с тяжелой утраты: 16 февраля скончался его покровитель генерал Губер. Выехал в отпуск в Петроград и тут же заболел тяжелейшим воспалением легких. Поэт написал проникновенный некролог «Памяти генерала К. П. Губера». Некоторые подробности, упомянутые в нем, а именно описание самой церемонии — хоронили в полдень, «пели трубы, люди в ногу шли», лежавшая на крышке гроба фуражка с козырьком «зонтом», некстати чирикавшие воробьи — позволяют предположить, что он присутствовал на похоронах на петербургском Смоленском кладбище 18 февраля 1916 года.

В штаб 5-й Армии Александр Михайлович не вернулся. По сообщению Анатолия Иванова, он был переведен из Красного Креста в ведение медицинской службы Всероссийского союза городов и стал смотрителем госпиталя в Гатчине. Это сообщение вызывает вопросы. В 1916 году в Гатчине работал единственный госпиталь — дворцового ведомства. В адресном справочнике за этот год смотрителем госпиталя значится Александр Карлович Ренни, а его помощником — Вячеслав Платонович Попов. Ренни был последним дореволюционным смотрителем, Гликберг его не сменял (да и не мог бы по своему социальному и профессиональному статусу). Кем же был там Саша Черный? Палатным надзирателем? Санитаром? Как вообще он попал в подразделение дворцового ведомства? Кто в принципе мог покровительствовать ему в переводе из Красного Креста?

Пытаясь ответить на последний и самый важный вопрос,

мы пришли к довольно смелому предположению. В описываемое время Петроградский комитет Всероссийского союза городов возглавлял кадет, князь Владимир Андреевич Оболенский, с которым наш герой будет очень дружен в эмиграции. Что могло их связывать в 1916 году? Разумеется, Оболенский, известный своими революционными взглядами, мог быть просто поклонником поэта. Но возможно и более интересное объяснение, и здесь нам вновь приходится говорить о «масонском следе», на который навела нас странная обложка детской книжки «Тук-тук!». Оболенский в это время был членом и 2-м братом-наставником московской ложи «Возрождение», существовавшей в союзе Великого Востока Франции*, и входил в Верховный совет русского масонства. Это второй довод в пользу того, что Саша Черный мог стать масоном еще до революции (третий довод впереди). Наконец, есть еще одна зацепка, позволяющая говорить о вмешательстве Оболенского: князь много лет проработал в Псковской губернской земской управе, а Гликберг после кратковременного пребывания в Гатчине получит перевод именно в Псков и поселится в доме сотрудника той же управы, оставшегося пока неизвестным. Загадок прибавляется.

Итак, Саша Черный оказался в благословенной Гатчине, где всё оставалось по-прежнему, и домик Куприна, где они так весело праздновали Пасху три года назад, был на месте. Не может быть, чтобы поэт не зашел к Александру Ивановичу и Елизавете Морицовне и не выслушал их невеселую историю, одну из тысяч.

Куприн, поручик в отставке, в ноябре 1914 года как доброволец был командирован в Финляндию обучать новобранцев, однако в 1915 году его признали негодным к строевой службе по здоровью и он вернулся в Гатчину. Сослуживцы шутили, что после «Сатирикона» в России самое смешное — это его рапорты. Жилось теперь Куприным трудно и голодно. Если бы не собственный огород, где Александр Иванович, выполов цветы, выращивал овощи, пришлось бы совсем туго. Собак едва удавалось прокормить, меделян Сапсан однажды разорвал козленка на рынке, еле смогли замять скандал. Правда, одно маленькое послабление все же было. Несмотря на введенный с началом войны «сухой закон», знакомый доктор по дружбе выписывал Куприну рецепт на спирт «для лечебных целей», а заведующий местной аптекой по той же дружбе отпускал.

О литературной жизни Саша Черный получил представле-

---

*Великий Восток Франции (*Grand Orient de France*) — крупнейшее масонское послушание, основанное в 1733 году во Франции и старейшее в континентальной Европе.

ние самостоятельно. От Гатчины до Петрограда всего час езды. Мария Ивановна теперь снимала квартиру в центре города. Согласно адресному справочнику, в 1916 году она перебралась с Крестовского острова на улицу Алексеевскую, 10*. Это был их последний с мужем адрес в столице, ибо со следующего года Мария Ивановна Васильева как жительница Петрограда из адресных книг исчезнет навсегда.

Творческие контакты Саши Черного мы можем проследить исходя из последующих событий. Он то ли встречался, то ли говорил по телефону с Горьким. Алексей Максимович в это время был связан с издательством «Парус» и решил издавать альманахи для детей, придумав уже и рабочее название для первого выпуска — «Радуга». Он просил у Саши Черного для него материал. Обсудили они и один интересный проект — издание детского сборника «Библейские легенды и мифы», идея которого, по словам Чуковского, принадлежала Горькому (*Чуковский К.* Про эту книгу [Предисловие] // Вавилонская башня и другие древние легенды. М.: Дом, 1990. С. 12). Невольно возникает вопрос: как атеисту Горькому могла прийти в голову такая идея — способствовать распространению «дурмана»? Логичнее предположить, что идея изначально принадлежала Черному, а Горький предложил создать нечто вроде книги Лео Таксиля «Забавная Библия» (1897). Возможно, не столь откровенно издевательскую, как у Таксиля, но все же изложить в ней библейские сюжеты на бытовом языке и с юмором. Такой угол зрения как-то более пристал Горькому и издательству, за которым он стоял. Саша Черный реализует эту идею, но только годы спустя и уже без Алексея Максимовича.

Не обошлись переговоры и без Чуковского, которого Горький также привлек к работе. Корней Иванович в это время был занят редактированием альманаха «Для детей» при сытинской «Ниве» и тоже просил у Саши какой-нибудь материал. Между ними возобновилась переписка. 12 декабря 1916 года Черный, отсылая в альманах стишок «Про девочку, которая нашла своего Мишку», писал ему: «Если в стихотворении моем что-либо Вам не покажется, позвоните 632—39» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245). Думается, если в письме указан номер телефона, значит, оно было отправлено еще из Петрограда или Гатчины. Мирные замыслы, детские стишочки... Через четыре дня в подвале юсуповского дома на Мойке произойдет убийство Распутина, и Россия стремительно понесется навстречу катастрофе.

События 1917 года застанут нашего героя в Пскове, куда его перевели из Гатчины.

---

* Ныне улица Писарева.

2

Псков — старинный и удивительный во многих отношениях русский город — совершенно очаровал Сашу Черного. Он написал о нем множество стихотворений и неоконченную поэму «Дом над Великой» (1923 — 1924). Великая — это одна из рек, протекающих там, вторая река — Пскова.

От «псковских» стихов поэта веет покоем, умиротворением, «вершиной голой». В этом древнем посаде он вдруг заговорил державинским возвышенным слогом, но тут же, впрочем, осекся: «Над ширью величавых вод / Вдали встает копна собора...» («Псков», 1917). Мы затрудняемся сказать, где еще в своей жизни он видел такую Русь. Владимир Бенедиктович Станкевич, военный инженер, также служивший в это время под Псковом, вспоминал, что местные жители «поражали странными уборами, своеобразным говором, своеобразным способом мышления», от них веяло «седой древностью», и шоссе с телеграфными столбами они называли «струнной дорогой» (*Станкевич В. Б.* Воспоминания. 1914—1919 г. Berlin: J. Ladyschnikow Verlag Gmb, 1920. С. 43). Пути автора этих воспоминаний и нашего героя очень скоро пересекутся. А что касается седой древности, то это большая удача, что Саше Черному удалось в Пскове наполниться, напитаться Русью. Эти впечатления будут согревать его, помогать справляться с тоской по родине в первые эмигрантские годы.

В конце 1916-го — начале 1917 года Псков, по словам поэта, был похож на «ковчег» — сюда бежали от войны. Город находился в глубоком тылу (до линии фронта свыше 300 километров) и принимал тысячи беженцев, эвакуированные прибалтийские предприятия. Местный гарнизон, возглавляемый генералом Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, насчитывал 30 тысяч солдат. Войска стояли также в соседних Великих Луках, Порхове, Острове и других городах губернии. В Пскове находился штаб Северного фронта, открытого в августе 1915 года для защиты Петрограда от немцев.

Первое время пребывания в Пскове было чудесным, совпав с новогодними праздниками. С детским восторгом поэт вспоминал Рождественский сочельник. Город замело. Баржи «неподвижной грудью» вмерзли в лед Псковы. Ни души, ни зги не видать. Слышны только хруст собственных шагов да вой ветра, что «над башлыком кружит, бездельник». Поэт (а в данном случае это, несомненно, он сам) идет в гости, в теплый праздничный дом, где его ждут.

В передней груда шуб и шапок,
А в зале в блестках — деревцо.

Встряхнешь сюртук,
Пожмешь сто рук —
И влезешь в шумное кольцо.
(«Сочельник в Пскове (Мираж)», 1925)

На белоснежной скатерти — узвар из груш, кутья медовая, самовар. Чудо как хорошо! В зале играют вальс, в углу кто-то бренчит на гитаре, детишки собирают елочные иголки, а за самой елкой, хватив для храбрости запрещенной «сухим законом» мадеры, телеграфист изъясняется в любви пухлой Зое.

Практически все стихи Саши Черного о Пскове голо-описательны, однако то, что «дискредитирует» поэзию, — клад для биографа. По ним мы можем достаточно детально восстановить маршруты палатного надзирателя 18-го полевого запасного госпиталя, как отныне называлась должность Александра Михайловича Гликберга. Сам госпиталь размещался в древних Поганкиных палатах — комплексе зданий XVII столетия, построенных по заказу купца Сергея Поганкина. С 1902 года здесь работал музей Псковского археологического общества, поэтому больничные койки соседствовали с уникальной экспозицией. Саша писал: «Там, в Поганкиных палатах, / За стеклом в пустых покоях / Столько древней красоты...» («Псковитянка», 1918).

Более-менее точно можно представить и то место, где нашего героя расквартировали. В поэме «Дом над Великой» тщательно описан быт неизвестной псковской семьи, жившей на берегу реки в белом домике, за которым начиналась территория Спасо-Мирожского монастыря. Значит, поэт жил в районе Завеличье и из окон белого домика видел противоположный берег Великой, по которому день и ночь двигались автомобили с печальным «грузом»:

С утра вдоль берега с вокзала
Плетутся раненых ряды.
....
Гудя, ползут автомобили.
На желтых койках подвесных
Сквозят в тумане душной пыли
Тела солдат полуживых.
Порой промокшая подвязка
Мелькнет в толпе, как алый крик.
Идут-плывут. Жара и тряска.
Что день — все больше... Псков привык...
(«Главы из поэмы “Дом над Великой”»)

Интересно было бы узнать: что это был за дом и что за семья, кто ее глава, работавший в Псковской губернской земской управе («двадцатый год в служебной свалке»), кто его же-

на и дочери, названные в поэме Анютой и Людмилой? Возможно, когда-нибудь на эти вопросы ответят псковские краеведы. Мы же скажем, что это была последняя мирная русская семья, которую Саша Черный видел в своей жизни. После Пскова он уже не встречал счастливых русских семей.

Александр Михайлович и сам обрел здесь покой. Рядом со стенами старинного Спасо-Мирожского монастыря бренным и суетным казалось всё происходящее. Сколько войн повидали эти молчаливые камни, и каждая для своего времени была не менее страшной, чем нынешняя. Таранили эти стены и немецкие рыцари, и поляки короля Стефана Батория, грабили, жгли, а обитель, латая раны, каждый раз выживала. Столетие тому назад бродил здесь Пушкин, наезжая в Псков всякий раз, когда бывал в Михайловском. Теперь ходил в задумчивости поэт Саша Черный, возможно, повторяя речение царя Соломона о том, что «и это пройдет»:

Здесь все окрест — свое до боли.
Пройдет монах средь мшистых плит,
Да стриж, влетевший с синей воли,
Крылом о медь прошелестит.
Над водокачкой — позолота,
Над баней алый хвост зыбей...
(«Главы из поэмы “Дом над Великой”»)

К псковскому району Завеличье нас отсылает и стихотворение «Галоши счастья» (1924), где Черный, вспоминая псковских знакомых, называет одну фамилию: «Батов жив?» — «Давно расстрелян». Память о Петре Дионисьевиче Батове, купце 1-й гильдии, старовере, имевшем огромный двор на нынешнем Рижском проспекте, жива в городе и сегодня. На свои средства Батов выстроил здесь же церковь с необычным названием Моленная Поморского беспоповского согласия, было в ней уникальное собрание древних икон византийского, новгородского и псковского письма; современники сравнивали эту коллекцию с флорентийской галереей Уффици. Саша Черный наверняка побывал там в числе благодарных посетителей. Купца Батова расстреляли большевики в декабре 1918 года.

Белый псковский домик, где «живут две девочки» Тася и Лиля с толстым папой, худой мамой и кухаркой, поэт описал и в сказке «Домик в саду», над которой работал в первые дни 1917 года. По его словам, писал он ее «усталый, как кошка после родов, ночью, в один присест — и, когда кончил, сам не знал, бросить ли, что написалось, в корзинку или послать» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый

журнал. 2006. № 245). Однако послал для горьковского альманаха «Радуга», выход которого был запланирован на весну. Никто еще не знал о том, что весной будет не до детей. «Радуга» увидит свет только в январе 1918 года под новогодним названием «Елка», и на ее страницах останется дореволюционное имя «Саша Черный», которое вскоре исчезнет из детской литературы на долгие десятилетия.

За литературную часть «Радуги» отвечал Чуковский, который параллельно делал альманах «Для детей» и поэтому разрывал Сашу Черного надвое. 3 января 1917 года поэт писал Корнею Ивановичу: «“Цирк” пришлю: но ведь Вы знаете, что я его обещал в “Парус”, а о рисунке еще раньше говорил с Ремизовым. Вам для третьего номера пришлю вовремя. Сам увлекся. Дай Вам Бог сто лет жизни за вашу затею» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245). То, что Александр Михайлович «говорил» с сатириконцем Ре-ми и что «Цирк» действительно вышел с иллюстрациями этого художника (№ 9), свидетельствует о том, что неприязни между ними не осталось.

Вообще Саша Черный в Пскове отогрелся душой. Как рассказывала Мария Ивановна, этому поспособствовал его непосредственный начальник — главврач госпиталя Алексей Феликсович Држевецкий, создавший поэту приемлемые условия для работы и творчества. Саша Черный сложил о своем новом покровителе ироническую «Оду на оставление доктором Држевецким 18-го полевого госпиталя» (1917) и тем самым его обессмертил:

С утра он по лестнице мчался в галоп:
То в ванной мелькнет, то у пробы*,
Минута — сидит и глядит в микроскоп,
Как вертят хвостами микробы,

Мгновенье: стоит в амуничных дверях —
И мчится фельдфебель к нему на рысях.

Эту «Оду», предназначенную для узкого круга посвященных, поэт счел нужным опубликовать в своем берлинском сборнике «Жажда» (1923), как и стихотворение памяти генерала Губера, желая, видимо, память об этих людях увековечить. По крайней мере, в семье Држевецких поэта долго помнили и бережно хранили его автограф «Оды». Кстати, вместо безличного слова «фельдфебель» в нем стояла фамилия Костяшкин. Этот же Костяшкин, «по истории болезни мышечный ревматик, по характеру человек спокойный и обстоятельный», мно-

* То есть снимал пробу с готовящихся блюд на кухне.

го лет спустя воскреснет в рассказе Саши Черного «Диспут» (1925).

Улучшение состояния нашего героя в Пскове связано и с тем, что к нему наконец переехала жена (потому в адресном справочнике Петрограда за 1917 год и нет ее данных). То, что она жила в Пскове, подтверждает и сохранившийся в ее архиве альбом с гравюрами и надписью на титуле: «Глубокоуважаемая Мария Ивановна — сей скромный труд пусть будет памятью о нас, учениках художественной школы, благодарных вам за ваше доброе всегда отзывчивое к нам отношение. Псков». Надпись стилизована под древнерусское письмо, украшена искусной буквицей и заставками.

Видимо, Мария Ивановна преподавала в Художественно-промышленной школе имени Н. Ф. Фан-дер-Флита, располагавшейся в одном из зданий Поганкиных палат. Это учебное заведение, открытое в 1913 году при посредстве Псковского археологического общества при Художественно-промышленном музее, обучало уникальным местным ремеслам: работам по керамике, стеклу, кузнечно-слесарному, столярно-резному и мозаичному делу. Черный, мгновенно схватывавший комизм, тут же зацепился за фамилию Фан-дер-Флит и использовал ее в «Цирке» (который отослал в альманах «Для детей»): среди других жуликов там есть «чревовещатель Флит». Годы спустя эта же фамилия прозвучит в стихотворениях «Хрюшка» (1920) и «Бал в женской гимназии» (1922).

Мария Ивановна, судя по одному зимнему письму Саши Черного Чуковскому, наезжала в Петроград. В письме поэт просит Корнея Ивановича сказать Марии Ивановне, как называется последняя книга стихов Александра Блока, чтобы она ее обязательно купила, и помимо прочего сообщает:

«Прочел недавно “Человека из С<ан>-Франциско” — Бунина и чуть не заплакал от радости.

Вот вещь! <...>

Рассказ Куприна милый, но есть вялость, и козел как-то топчется на одном месте, точно мокрой ваты наелся.

Если увидите его (Куприна), поклонитесь от меня. Я его люблю — и хорошего и нехорошего, — как могут любить хронические сатирики и так называемые пессимисты» (Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый журнал. 2006. № 245).

Рассказ Куприна «Козлиная жизнь» Саша Черный прочитал все в том же альманахе «Для детей» (1917. № 5). Согласно купринской помете, он был написан 3 февраля 1917 года в Гатчине. Что делал в этот день Александр Михайлович Гликберг, мы знаем точно: он приходил в себя после сабантуя, случившегося накануне.

Второго февраля 1917 года сотрудники псковского 18-го полевого госпиталя прощались с доктором Држевецким, получившим перевод в Управление военных сообщений штаба Северного фронта (этим днем помечена «Ода», которую мы цитировали выше). Однако разлука поэта и врача оказалась недолгой, потому что Држевецкий добился перевода Гликберга в то же Управление военных сообщений. Мы не совсем понимаем, зачем там был нужен Држевецкий, а вот Александр Михайлович Гликберг имел опыт работы в железнодорожной сфере.

Псков был крупнейшим транспортным узлом. Управление военных сообщений осуществляло общее руководство путями сообщения на театре военных действий и размещалось при штабе Северного фронта, начальником которого в это время был генерал от инфантерии Юрий Никифорович Данилов. По забавному совпадению, он носил прозвище «Черный». В действующей армии тогда было три генерала Данилова, поэтому их различали по цвету волос: другие два были «Белый» (Антон Васильевич Данилов) и «Рыжий» (Николай Александрович Данилов).

Штаб Северного фронта, куда был теперь «приписан» Гликберг, занимал три здания на Георгиевской улице, в том числе мужскую гимназию. Может быть, именно в здание гимназии спешил на службу поэт, а за ним наблюдал учившийся там Веня Зильбер, будущий советский писатель Вениамин Каверин*. Гимназистов, правда, перевели в женскую гимназию, но они упорно бегали смотреть на штабных.

На дворе между тем стоял февраль 1917 года, и в конце месяца сотрудникам штаба Северного фронта пришлось понервничать. 23 февраля восстал Петроград; через несколько дней пало российское правительство. На штаб обрушился поток телеграмм из Ставки с требованием недопущения, то есть подавления беспорядков в бунтующей столице. Однако генерал Данилов-«Черный», облеченный небывалыми полномочиями, но состоявший, как мы понимаем теперь, в антимонархическом заговоре, медлил.

К Пскову спешил царский поезд. Николай II хотел встретиться с главнокомандующим армиями Северного фронта генералом Николаем Владимировичем Рузским, но и тот был в заговоре.

Александр Михайлович Гликберг как сотрудник Управления военных сообщений штаба Северного фронта оказался в центре небывалых событий. 1 марта в восемь часов вечера цар-

---

* Псков под названием Энск изображен в известном романе Каверина «Два капитана» (1938—1944).

ский поезд прибыл в Псков, откуда пытался прорваться в Царское Село, но сделать этого не смог — пригороды были заняты восставшими. Пришлось вернуться обратно, к Пскову. Здесь, после длительных и сложных переговоров с генералами Рузским, Даниловым и другими, уступая их доводам и ввиду массового протестного движения в стране, 2 марта 1917 года император подписал манифест об отречении от престола в пользу младшего брата Михаила. На следующий день и великий князь Михаил Александрович отказался от трона.

Российская монархия пала.

3

«Разорвался апельсин у Дворцова моста», — фантазировал Саша Черный в далеком 1905 году. Теперь на его глазах происходили гораздо более страшные вещи. Рушилась и разлеталась на куски империя. «Высокий гражданин маленького роста» перестал быть высоким. Романовские орлы летели наземь, и в Пскове в том числе.

Третьего марта 1917 года поэт по долгу службы наверняка присутствовал на многолюдном митинге железнодорожников и солдат на псковской привокзальной площади. Разгребая ногами шелуху от семечек, устлавшую в последнее время, казалось, весь мир, он слушал манифест об отречении императора. Во второй половине дня митинг переместился на Торговую площадь, рядом со штабом. Состоялась демонстрация под красными знаменами. Демонстрация была и на следующий день, 4 марта, ставший первым днем заседания только что избранного Совета рабочих и солдатских депутатов. Заседание продолжалось пять дней. Был избран исполком Совета, в который вошел, в частности, генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. Он возглавил местный гарнизон и впоследствии вспоминал: «...в любой момент гарнизон мог послать ко всем чертям и меня, и соглашательский Совет» (*Бонч-Бруевич М. Д.* Вся власть Советам! М.: Воениздат, 1958). В бывшем губернаторском особняке разместились невиданные доселе органы власти, пышно именовавшие свой штаб Домом Свободы. 19 марта Саша Черный держал в руках первый номер газеты с также невиданным доселе названием «Известия Псковского Совета рабочих и солдатских депутатов».

Как и большинство представителей творческой интеллигенции, поэт с восторгом приветствовал Февральскую революцию и хотел послужить ей делом. Весной 1917 года имя Саши Черного вновь громко зазвучало в Петрограде и других городах: он написал стихи высокой агитационной силы,

посвященные объявленному 27 марта Временным правительством «Займу Свободы». Новая власть для продолжения войны на внешнем фронте организовала денежный заем у населения. Эта акция вызвала огромный общественно-политический резонанс. На 25 мая в Петрограде был назначен праздник «Займа Свободы». Союз деятелей искусств к этому дню выпустил однодневную газету «Во имя свободы», в которой, наряду с другими громкими именами, оказалось имя Саши Черного. Его опубликованное там стихотворение «Займ Свободы» перепечатывалось различными изданиями, а сегодня оказалось забыто и не вошло в пятитомное собрание сочинений поэта. Мы не станем приводить текст (это вещь во многом сиюминутная), скажем лишь, что это был горький укор фронта — тылу, где не слышат «трупный запах тел», где почему-то полны театры, а «в модных лавках — пыль столбом», где предали Россию, даже не заметив этого: «Проснитесь! Трижды пел петух».

Вполне вероятно, что поэт присутствовал на самом празднике. Мария Ивановна вспоминала, что в конце весны 1917 года они с мужем приехали в революционный Петроград и пробыли там целый месяц. Всё происходящее в городе показалось им колоссальным зрелищем. Зрелищ тогда хватало, но праздник «Займа Свободы» стал выдающимся действом, потому что был заявлен еще и как «День художника». По улицам носились сотни автомобилей и экипажей, разукрашенных членами Союза деятелей искусств, «Мира искусства», кубистами. Энтузиазм населения превзошел все ожидания: на пунктах подписки люди отдавали свои драгоценности, женщины — только что добытые после стояния в «хвостах» продукты. Подписка на заем достигла 75 миллионов рублей. Один только Шаляпин приобрел облигаций на 100 тысяч.

В эти петроградские дни Саша Черный, не понаслышке знавший о настроениях фронтовиков, слушал ура-патриотические выступления Александра Керенского о войне до победы и тех, кто, напротив, призывал к выходу России из войны, — Григория Зиновьева, недавно прибывшего в Петроград вместе с Лениным из эмиграции. Об этом также вспоминала Мария Ивановна.

Видимо, были у Черного встречи с литераторами, и кому-то из них он дал свое стихотворение «Слухи», очередную веселую скоморошину на злобу дня. «Слухи» появились в эсеровской пятигорской газете «Народное эхо» 13 июня 1917 года.

...Слухи-сплетни... Шепот... Смута... «Ой, как страшно, ой, как жутко, / Не лишиться бы рассудка...»:

...вчера у Петрограда
По Неве шел слон без зада:
На спине сундук из цинка,
В сундуке с замком корзинка, —
А в корзинке, вот ведь хитрый,
Бывший царь играл на цитре...
....
Иль таких рассказов мало?
И не то еще бывало...
С крыши в печь, из печки в двери
Так и бегают, как звери.
А вокруг, развесив уши,
Все стоят и бьют баклуши,
Прибавляют, раздувают
И от страха подвывают.

(«Слухи», 1917)

Было от чего «подвывать» и что «раздувать»! В те дни, когда жители тылового Пятигорска смеялись над этой «чепухой», ее автор уже наблюдал в Пскове судорожную подготовку к наступлению на Северном фронте, одному из аккордов общего июньского наступления русской армии, последнего в ее истории. Все, что этому предшествовало, надолго засело в памяти Саши Черного. В первую очередь ему вспоминались приезды Керенского, агитировавшего за наступление: «Прорыв ли на фронте, вспухала ли дезертирская волна, плохо ли работал тыл, — главковерх вылезал из штабного автомобиля, взбирался на первую подвернувшуюся под ноги бочку и, окруженный обалделыми солдатами, сознательными писарями и хмурым офицерством, говорил-говорил-говорил... Старые, поседелые в боях полковники в обморок падали, а он все говорил...» (*Черный А.* Иллюстрации // Русская газета [Париж]. 1925. 8 февраля). Главковерхом Керенский станет несколько позднее, а по фронтам он ездил еще будучи военным и морским министром. Общий же тон воспоминаний, конечно, уже эмигрантский, образца 1925 года. Тогда же наш герой назовет Керенского «первым словесным электрификатором Февральской революции» и подведет печальный итог февральских событий, в том числе и своих заблуждений:

Кто б ни божился с миною блаженной, —
«Завоеваньям революции» не верь:
Болели зубы — взвился Красный Зверь
И зубы с головой отгрыз мгновенно.

(«Гигиенические советы», 1924)

Летом 1917 года вольноопределяющийся Гликберг, разумеется, смотрел на вещи иначе, потому что оказался сотрудником военного комиссариата Северного фронта.

Случилось это так.

В один из июньских дней 1917 года в штабе Северного фронта засуетились, потащили по этажам столы и стулья, развешали по стенам некоей комнаты агитплакаты и прибили на ее дверь табличку «Комиссар Северного фронта В. Б. Станкевич». Однако прежде чем Станкевич перешагнет порог своего кабинета и пригласит туда Александра Михайловича Гликберга, необходимо сказать несколько слов о том, чем в принципе занимались военные комиссариаты Временного правительства.

В условиях возникшего после Февральской революции двоевластия (Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов) начальное оформление института военных комиссаров происходило по линии Петросовета, но к лету 1917 года Временное правительство перехватило эту инициативу и создало обособленный разветвленный политический аппарат в действующей армии. Комиссары направлялись к командующим военными округами, армиями и фронтами, в Ставку Верховного главнокомандующего. Они — представители правительства — обладали большими властными полномочиями и имели многочисленные обязанности, как то: информирование правительства обо всем происходящем в армии, разрешение возникавших конфликтов, осуществление контроля за деятельностью командования и войсковых организаций, пресечение любых антиправительственных выступлений, восстановление дисциплины, наказание дезертиров и т. д. Каждому комиссару полагался небольшой штат сотрудников, и Владимир Бенедиктович Станкевич, присланный Керенским из Петрограда в Псков, немедленно приступил к поиску таковых. Сам он по политическим убеждениям примыкал к Трудовой группе, которая после Февральской революции объединилась с народными социалистами, поэтому в первую очередь взял к себе из местного Совета единомышленника, «трудовика» Д. В. Савицкого. Затем Станкевич пригласил консультантом по военно-техническим вопросам полковника Генерального штаба Б. Н. Ковалевского; появился в его кабинете и наш герой.

Придя в комиссариат, Саша Черный увидел молодого человека, безусловно, интеллигентной наружности, с внимательными и цепкими темными глазами, аккуратно подстриженными светлыми усами и намечающимися залысинами. Когда познакомились ближе, выяснилось, что Станкевич по национальности литовец, дворянин, выпускник юридического факультета Петербургского университета. Владимир Бенедиктович был прекрасный оратор, неплохой публицист, умен

и дипломатичен, быстро ориентировался в ситуации. После Февральского переворота он входил в состав Исполкома Петросовета от «трудовиков», потом работал начальником политотдела в кабинете военного министра Керенского. Теперь вот приехал в Псков с женой и маленькой дочерью.

Отношения между Станкевичем и Черным сложились, судя по всему, теплые: они будут дружить и после войны. Владимиру Бенедиктовичу мы обязаны тем, что он в мемуарах рассказал, чем занимался в его комиссариате Александр Михайлович Гликберг. Это большая удача, поскольку сам поэт предпочитал выбросить эту страницу из своей биографии. Более того, когда он узнал о том, что готовятся к изданию воспоминания Станкевича (это будет в Берлине в 1920 году), видимо, потребовал убрать оттуда себя. Однако по техническим причинам сделать это уже было невозможно (книга набрана), поэтому Станкевич вымарал его весьма неумело: «Случайно в Пскове оказался затерянным в какой-то общественной организации поэт А..... Х..... Он стал заведовать литературно-агитационным отделом. Между прочим, в круг его обязанностей входило следить за большевистской литературой. Сам плохо понимая, как это случилось, что он, свободный поэт, вдруг превратился в цензора, он все же храбро вооружался красным карандашом и с гневными выкриками "Что эти м... м... пишут!" отмечал наиболее резкие выпады большевиков и писал доклады о закрытии тех или иных газет, отводя душу изящными эпиграммами на сотрудников комиссариата» (*Станкевич В. Б.* Воспоминания. 1914—1919 г. С. 176).

Криптоним «А.... Х....», скорее всего, нужно понимать как «А. Икс». Его графическое решение — отточие после букв — прямо указывает на то, что нужно было заполнить определенное пространство, растянуть шифр. Скорее всего, изначально в рукописи стояло «Саша Черный». Это единственное сокращение во всей книге воспоминаний Станкевича, поэтому невольно приходит мысль о том, что автор выполнял волю Александра Михайловича, не желавшего, чтобы русский Берлин 1920 года прочитал о его комиссариатском прошлом.

Теперь — по существу воспоминаний Станкевича, в которых, кстати, нет ничего, компрометирующего Сашу Черного в глазах белой эмиграции, ведь «А. Х.» там показан как идейный борец с большевизмом. Судя по всему, Саша Черный при Станкевиче выполнял те же обязанности, которые позднее, при советской власти, лягут на плечи комиссаров по делам печати, агитации и пропаганды. За фразой «вдруг превратился в цензора» стоит многое, но как минимум то, что к рабочему столу Гликберга, чертыхаясь, ежедневно шли редакторы эсе-

ровской «Псковской жизни», кадетской «Псковской речи», а с сентября 1917 года и социал-демократического «Псковского набата». Последний, правда, выходил редко и скорее напоминал листовку. С большевиками в Пскове пока было негусто — местная объединенная социал-демократическая организация после длительного перерыва была восстановлена только в марте 1917 года и имела значительный меньшевистский перевес. 19 сентября 1917 года Саша Черный даже напечатал в «Псковском набате» стихотворение «Псков», совершенно аполитичное. Однако поле его цензорской деятельности было шире Пскова, и вполне вероятно, что ругательства («Что эти м... м... пишут!») он отпускал по адресу большевистской «Окопной правды», печатавшейся в Риге и чрезвычайно популярной в 12-й Армии, наиболее зараженной большевизмом. Именно эту газету пришлось запретить в конце июля 1917 года.

Еще один важный вопрос: в какой общественной организации, по словам Станкевича, «затерялся» наш герой, прежде чем попал в цензоры? У нас есть одна версия. Черный поступил на службу в комиссариат не один, а с помощником — сибирским поэтом Георгием Андреевичем Вяткиным, который принял канцелярию. Известно, что Вяткин, попав в Псков, сначала работал помощником уполномоченного по информационной части комитета Всероссийского союза городов при Северном фронте*. Полагаем, что этим самым уполномоченным, чьим помощником являлся Вяткин, и был Саша Черный, и их обоих взял к себе Станкевич.

Итак, в помещении штаба фронта появился новый рабочий коллектив: Станкевич, Савицкий, Ковалевский, Гликберг и Вяткин. В конце июля 1917 года в него влился Владимир Савельевич Войтинский, привезенный Станкевичем из Петрограда в качестве своего заместителя. Войтинский, невысокий молодой человек, близорукий, внешне неухоженный, с всклокоченными рыжими волосами и такой же бородой, выглядел типичным революционером. В прошлом большевик, прошедший арест, ссылку в Сибирь, после Февральской революции он перешел к меньшевикам. Интересно, что в своих мемуарах, в отличие от Станкевича, он не называет Гликберга, просто пишет, что в комиссариате сидели «славные ребята, изнывавшие от скуки и не знавшие, чем заполнить время»**. Между тем «славным ребятам» долго скучать не придется: комиссариату Станкевича, в том числе и Саше Черному, пред-

---

* Фамилией Вяткина подписан отчет этого комитета «Работа Союза городов на Северо-Западном и Северном фронтах» (Псков, 1917).

** *Войтинский В. С.* 1917-й. Год побед и поражений // http://www.litmir.net/br/?b=84805&p=62

стоит сыграть свою роль в событиях корниловского «августовского путча».

Кратко напомним ход событий.

Девятнадцатого июля 1917 года по инициативе Керенского Верховным главнокомандующим русской армией был назначен генерал Лавр Георгиевич Корнилов. В войсках, разлагаемых антивоенной большевистской пропагандой, необходимо было срочно наводить порядок. Новому главкому отчасти это удалось, но спасти ситуацию в целом оказалось не под силу. 21 августа германские войска взяли Ригу. 12-я Армия, державшая рижский плацдарм, начала беспорядочное отступление, бросая артиллерию и военное имущество. Для спасения ситуации на фронте и в войсках Корнилов потребовал передачи ему как Верховному главнокомандующему всей полноты власти. Керенский на это не пошел. 25 августа 1917 года Корнилов с целью установления военной диктатуры начал поход на Петроград, двинув в сторону столицы 3-й кавалерийский корпус и Кавказскую туземную (Дикую) конную дивизию. Контролировать продвижение этих сил было поручено генералу Петру Николаевичу Краснову (будущему главе Донской армии и атаману Всевеликого Войска Донского). Генерал прибыл в Псков в ночь на 30 августа, не подозревая о том, что накануне, 27 августа, Керенский объявил Корнилова мятежником. Полномочия Верховного главнокомандующего Керенский возложил на себя. Краснову, следовательно, также грозило обвинение в мятеже. К тому же 1 сентября 1917-го генерал Корнилов будет арестован и заключен в тюрьму.

В эти смутные дни Саша Черный и его коллеги остались без руководства — Станкевич и Войтинский были в Петрограде. Временно исполняющим обязанности комиссара Северного фронта был назначен Савицкий, и именно он, по воспоминаниям генерала Краснова, днем 30 августа 1917 года сделал попытку его арестовать. Генерала доставили в комиссариат, где в это время должен был находиться и наш герой. Краснов вспоминал, что комиссариат тогда располагался в бывшем Псковском кадетском корпусе (учебное заведение было эвакуировано) и занимал большое помещение с просторной прихожей, где «толпились солдаты и какие-то люди подозрительного вида» (*Краснов П. Н.* На внутреннем фронте // Архив русской революции. Берлин: Слово, 1921. Т. 1. С. 125).

В отличие от Краснова (и других участников этих событий) жена Саши Черного Мария Ивановна утверждала в воспоминаниях, что обязанности Станкевича в дни «корниловщины» исполнял ее муж и что именно он «спас жизнь» Александру Ивановичу Гучкову, арестованному 31 августа в штабе

12-й Армии Псковским советом рабочих и солдатских депутатов. Основанием для ареста послужило то, что Гучков возглавлял Общество экономического возрождения России, собиравшее средства в помощь генералу Корнилову. На низовом уровне революционно настроенные солдатские массы псковского гарнизона, люто ненавидевшие Гучкова за его прошлую деятельность на посту военно-морского министра Временного правительства и пламенные призывы к «войне до победного конца», могли устроить ему самосуд.

Каким образом Александр Михайлович Гликберг «спас жизнь» Гучкову и при каких обстоятельствах не допустил «кровопролития»? Вопрос остается открытым. Возможно, именно Саша Черный, имевший опыт общения с солдатами, силой убеждения и уберег Гучкова от их самосуда. Мог ли поэт представить себе такой поворот судьбы, когда восемь лет назад желал, чтобы Гучков — тогда депутат Думы — напился сырой воды и чтобы его «взяла холера»:

В объятьях шерстяных носков
Смотрю, как дождь плюет на стекла.
Ах, жив бездарнейший Гучков,
Но нет великого Патрокла!
И в довершение беды
Гучков не пьет сырой воды.
(«На петербургской даче», 1909)

Жизнь непредсказуема...

Возможно и другое объяснение. Судя по тому, что на следующий день после ареста Гучков был освобожден приказом Керенского, то, если верить Марии Ивановне, ходатайствовать перед главкомом о его освобождении мог Саша Черный. Конечно, в этом вопросе еще предстоит разобраться, однако похоже на то, что Гликберг и Савицкий в исторические дни оказались в Пскове представителями власти.

Приходя на службу, Саша Черный ежедневно узнавал удручающие новости. Целые дивизии отказывались выступать на боевые позиции и выносили резолюции-ультиматумы о том, что они останутся на фронте лишь до 1 ноября, а если после этого срока не будет заключен мир, разойдутся по домам. Дезертирство приобрело чудовищные размеры: солдаты толпами покидали окопы, шли до ближайшей железнодорожной станции, силой захватывали вагоны и целые поезда. Псков, переполненный деморализованными войсками, беженцами и оружием, грозил взорваться изнутри. Жизнь Александра Михайловича и Марии Ивановны напоминала теперь сидение на пороховой бочке. Впечатления этих дней Саша Черный позд-

нее вложит в уста одному своему герою: «...осталась у меня в памяти до последнего часа серая эта тогдашняя расхлябанность: рев, митинги, казармы и двор вроде всеобщего отхожего места в доме сумасшедших... И все порасстегнуто: хлястики, уши на папахах, крючки, погоны, глотки... Даже до сих пор тошнит, чуть вспомнишь» («Человек с завязанными ушами», 1930).

О том, какие меры по наведению порядка Александр Михайлович Гликберг пытался предпринять в эти последние перед катастрофой дни, известно из мемуаров генерала Петра Николаевича Краснова. 1 октября 1917 года на прием к генералу, находившемуся вместе с 3-м конным корпусом в районе Острова, явились, по его словам, «помощник комиссара Савицкий, с ним какая-то дама с университетским значком и А. Гликберг, известный поэт Саша Черный». «Дамой», вне всяких сомнений, была Мария Ивановна. Далее Краснов пишет:

«Они говорили о каких-то библиотеках и чтениях для солдат. Когда я им рассказал, как в глухих деревнях, по маленьким избам, часто без освещения вечером живут солдаты и казаки корпуса, как к ним трудно добираться осенью по распутице, когда и верхом с трудом к ним проедешь — они задумались.

— Но если я сегодня буду читать одной группе, завтра другой, — робко сказала дама.

— Что читать? — спросил я.

— Чехова.

— Чехова? Десяти тысячам человек, по три и по четыре сразу? Когда же вы кончите?

Они уехали» (*Краснов П. Н.* На внутреннем фронте. С. 143).

Святая простота и трогательная чистота! Саша Черный с женой еще надеялись достучаться до разгулявшихся солдат Чеховым!

В первых числах октября псковские сослуживцы прощались с комиссаром Северного фронта Станкевичем, который пошел на повышение, — Керенский назначил его комиссаром при Ставке Верховного главнокомандующего, находившейся в Могилеве. Место Станкевича занял Войтинский. Возможно, как раз перед отъездом Станкевича в Ставку был сделан снимок, опубликованный в журнале «Нива» (1917. № 44) с подписью «Комиссариат Совета солдатских депутатов в Пскове» и перечислением запечатленных на нем: Верховный комиссар Временного правительства В. Б. Станкевич, комиссар Северного фронта В. С. Войтинский, его помощник Д. В. Савицкий, полковник Б. Н. Ковалевский, а также А. М. Гликберг и

Г. А. Вяткин. У фамилии Александра Михайловича указано, что он является начальником отдела управления комиссара Северного фронта — видимо, официально его должность именовалась так.

Фотография, на которой все еще веселы, была опубликована в «Ниве» в октябрьские дни 1917 года, которые разрушат этот слаженный коллектив. О том, чем жил тогда вместе с другими Саша Черный, рассказывал Войтинский.

Двадцать третьего октября главнокомандующий армиями Северного фронта генерал Владимир Андреевич Черемисов, штаб которого также располагался в Пскове, получил от Керенского телеграмму с требованием выслать в Петроград на случай беспорядков надежные войска. Черемисов, хмыкнув над фразой «надежные войска», приказ Керенского проигнорировал.

Двадцать четвертого октября Псков будоражили всевозможные слухи, а в штаб фронта приходили противоречивые сообщения о том, что происходит в Петрограде.

Двадцать пятого октября в псковском Доме Свободы вдруг обнаружился большевистский Военно-революционный комитет, к нему быстро примкнули местные фронтовые организации; гарнизон и солдатские команды при штабе фронта тоже симпатизировали большевикам. Комиссариат был завален телеграммами из Петрограда, их регистрировал Вяткин, а обсуждали, конечно, все вместе. Саша Черный узнавал о вспыхнувших в столице пожарах, всеобщей анархии, осаде Зимнего дворца большевиками, о решении Временного правительства защищаться до последней капли крови. Начались казусы: их, сидевших в Пскове, из Петрограда всерьез спрашивали: где сейчас находится Верховный главнокомандующий Керенский? Дальше больше: днем в комиссариат явилась депутация от Военно-революционного комитета. Большевики выразили Войтинскому полное доверие от своего имени и от имени нового правительства, предложив оставаться на своем посту, однако тот ответил, что нового правительства не признает. Вечером этого же дня Верховный главнокомандующий, которого разыскивали в столице, тайно прибыл в Псков «в состоянии полного отчаяния и изнеможения», по словам Войтинского. (Как выяснится, ранним утром 25 октября Керенский покинул Зимний дворец и отправился, по его словам, навстречу верным Временному правительству войскам, вызванным им в Петроград.) Сам Керенский вспоминал, что первые же псковские новости его не обрадовали: он узнал, что в городе «уже действует большевистский Военно-революционный комитет; что в руках у этого комитета подписанная прапорщиком Кры-

ленко и матросом Дыбенко телеграмма о моем аресте в случае появления в Пскове. Сверх всего этого я узнал и еще худшее, а именно: что сам Черемисов делает всяческие авансы Революционному комитету и что он не примет никаких мер к посылке войск в Петербург, так как считает подобную экспедицию бесцельной и вредной» (*Керенский А.* Потерянная Россия. М.: Вагриус, 2007. С. 187).

Двадцать шестого октября 1917 года по дороге на службу Саша Черный повсюду видел караулы Военно-революционного комитета. На следующий день он простился с Войтинским, который выехал в Гатчину разыскивать Керенского. И с Войтинским, которого в Гатчине арестуют, который просидит два с половиной месяца в Петропавловской крепости и бежит из Советской России в Грузию, и со Станкевичем, который во время Октябрьского переворота был в Петрограде, а потом развил бурную деятельность в поддержку низложенного Керенского, поэт еще встретится. С первым через три года, со вторым — почти через год.

Тринадцатого ноября 1917 года псковский «комиссариат Керенского» был разогнан Военно-революционным комитетом, занявшим его помещение. Что сталось с Сашей Черным? Увы, он оставил нам единственное скупое свидетельство: «Новую, послеоктябрьскую Россию я видел месяца четыре в Пскове и месяцев семь в Вильно» (фельетон «Старый спор», 1924). Эти «месяца четыре» представляются пока непроницаемыми, а прояснить обстоятельства жизни нашего героя «под большевиками» чрезвычайно важно для понимания его дальнейшей судьбы. Почему Саша Черный, революционный поэт-сатирик, не смог сосуществовать с теми, кто пришел строить новый справедливый мир? Почему сначала оказался в стане «внутренней эмиграции», а потом стал политическим эмигрантом, одним из самых непримиримых по отношению к советской власти? Попробуем на миг представить, что он предложил бы свое перо псковскому ревкому или новым петроградским властям. Думается, забыв о его комиссариатском прошлом, поэта с таким именем и репутацией приняли бы с радостью.

Возможно, и приняли. Дело в том, что сослуживец Саши Черного поэт Вяткин после разгона «комиссариата Керенского» перешел на службу в культурно-просветительный отдел Союза городов при 12-й Армии. Мог и Александр Михайлович оказаться там же, и если оказался бы, то корпел над какими-нибудь революционными частушками, или читал лекции по литературе, или обучал солдат грамоте, как некогда в пору армейской юности. Может быть, именно в этом культпросвете Черный видел те безобразные картины, которые появляются в

заключительных строфах его поэмы «Дом над Великой»: «Погибло все в шальном разгроме / Под наглым красным каблуком». Полы немыты, «рваные столы», кругом шелуха подсолнухов, «плевки и пятна папирос»...

В остальном же поэт наблюдал в Пскове первые робкие потуги социалистического переустройства мира. Особенных трагедий пока еще не было (они начнутся позже). Но хаос разрастался. Новую власть никто пока не принимал всерьез. Псковская буржуазия упорно и смело сопротивлялась попыткам национализации предприятий, вооружала верных себе рабочих и вооружалась сама. Почтово-телеграфные служащие и чиновники ведомств городского жизнеобеспечения саботировали распоряжения властей. Их поддерживали железнодорожники, превратившиеся в местных царьков, поскольку от них зависело очень многое.

В феврале нового, 1918 года события замелькали со скоростью и причудливостью калейдоскопа. 18 февраля началось наступление германских войск по всему фронту. 19 февраля в Пскове было введено осадное положение, а день начала безуспешных боев Красной гвардии за город — 23 февраля — стал официальным днем рождения Красной армии. 25 февраля поэт увидел на улицах немцев, которые, взяв Псков, ввели военную диктатуру, возродили городскую думу, расстреляли свыше ста пленных красногвардейцев, а также большевиков и советских служащих. В марте Саша Черный узнал о заключении Брестского мира с Германией и ее союзниками и выходе Советской России из войны. Однако в Петроград они с женой не спешили возвращаться, видимо, зная, что там голод.

О том, что творится за пределами Пскова, поэт услышал в августе от Станкевича, появившегося в городе инкогнито проездом из Украины в Литву. Бывший Верховный комиссар, совершенно измотанный (он пришел в Псков пешком и ночевал в поле), своими рассказами о жизни зачумленных красных Москвы и Петрограда вряд ли способствовал желанию покидать Псков, где был железный немецкий порядок и никто не голодал. И вновь мы должны сказать спасибо Станкевичу — в мемуарах он вспомнил и о том, чем занимался в это время Саша Черный: «Виделся с поэтом А. Х., который тоже застрял там (в Пскове. — *В. М.*). Пишет сутяжные жалобы для крестьян, которые ищут у немца управы друг на друга» (*Станкевич В. Б.* Воспоминания. 1914—1919 г. С. 319). Вот где пригодились Саше Черному и опыт «хожения в народ», и знание немецкого языка! Более чем оригинально.

Трудно ответить на вопрос, почему в том же августе 1918 года Александр Михайлович и Мария Ивановна все-таки решили

покинуть Псков. Большевики оттуда были изгнаны, как тогда думали, навсегда. Жизнь налаживалась — и тем не менее они уехали. Можем лишь предположить, что поэт испугался новой мобилизации: в конце лета в Пскове при поддержке немцев началось формирование белогвардейской Северной армии, он же не хотел больше никаких армий и никакой борьбы. Как видно, не хотел этого и некто полковник Будревич, который, по словам Марии Ивановны, бежал вместе с ними.

Саша Черный расстался с Псковом беспечно, не представляя, что этот город ему отомстит — память о нем поэта не отпустит. Скоро он затоскует по нему, затоскует тем сильнее, чем отчетливее придет понимание невосполнимой утраты. Псков останется для него миражом, куда нельзя вернуться. И странное дело: древний Псков забудет поэта, быльем порастет всё досоветское прошлое, но в памяти города останется легенда. Легенда о том, что Саша Черный, живший здесь во время Первой мировой войны, дошел до такой степени религиозного переживания, что решил принять крещение*.

Псковичи в этой истории не сомневаются, а мы не станем указывать им на то, что поэт был крещен еще в детстве или требовать в подтверждение их правоты церковную запись.

Пусть будет легенда. Именно такая.

---

* Свидетельство псковского художника Александра Григорьевича Стройло (см.: Строгий беспорядок [Интервью с А. Г. Стройло] // Псковская губерния. 2006. № 1(270). То же Александр Григорьевич повторил в личной беседе с автором, состоявшейся в мае 2013 года.

Глава седьмая

БЕЖЕНЕЦ

Саша Черный больше не был фронтовиком. Четыре года страха, беспрекословного подчинения и дисциплины, портянок и сапог, вшей и мата канули в Лету, однако для поэта они никогда не превратятся в *прошлое.* Он так до конца и не придет с войны: она станет напоминать о себе постоянно, особенно во сне, и он будет, истязая себя, порываться что-то исправить там, в Пскове, кого-то спасти. И не он один. «Нет, от войны не уйти, пока она остается в душе» — так закончит свои воспоминания Владимир Станкевич, бывший начальник Саши Черного. «Забыть не смеем, — ты и я...» — скажет сам Александр Михайлович в стихотворении «Русские инвалиды» (1926).

Война для него кончилась. Наш герой теперь ничем не отличался от любого другого испуганного жителя бывшей Российской империи, скрывающего свое прошлое, обвешанного тюками с нехитрым скарбом и несущегося куда глаза глядят. Они с женой стали беженцами.

По словам Марии Ивановны, полковник Будревич, выехавший вместе с ними из Пскова, на первых порах пригласил их пожить на своей даче близ железнодорожной станции Турмонт под Двинском*. Личность Будревича осталась для нас загадкой. Сам Черный вспоминал его как «бородатого русского Робинзона» (рассказ «Дорогой подарок», 1926), а Мария Ивановна объясняла, что полковник был мастером на все руки — умел штукатурить, белить, плотничать, столярничать, чистить дымоход, и муж с удовольствием учился у него всем этим ремеслам. И ведь не напрасно. В жизни Александра Михайловича еще наступит то время, когда все эти навыки пригодятся ему при обустройстве собственного дачного дома. Особенно он увлечется плотницким делом и будет пилить и строгать доски даже в своих городских квартирах — в сугубо лечебных целях; это занятие хорошо расслабляло нервы.

* Ныне Турмантас под Даугавпилсом.

Ходи, рубанок, легче,
Укачивай мозги, —
....
Так любо в такт работе
Заливисто свистать
И ни о чем не думать,
И ничего не знать.
(«В поте лица», 1923)

Наши герои оказались, как тогда говорили, «на Литве». Здесь им пришлось задержаться на полтора года и наблюдать очередную политическую чехарду. Виленская губерния, к которой относился Турмонт, была оккупирована немцами еще с 1915 года. 16 февраля 1918 года в Вильно Литовская Тариба (Совет Литвы) провозгласила восстановление самостоятельного государства и подписала Акт о независимости. Однако путь к подлинной независимости оказался тернистым, литовским депутатам приходилось считаться с немцами, лавируя между ними и собственным народом. Не считаться было нельзя: немцы контролировали всю территорию Литвы, которая по их инициативе с 11 июля по 2 ноября 1918 года именовалась «королевством», хотя в нем не было короля.

Крах «королевства» по времени совпал с началом беспорядков в самой Германии, переросших в «ноябрьскую революцию» 1918 года. Немцы начали спешно покидать оккупированные территории, и Саша Черный, живший близ железнодорожной станции, ежедневно наблюдал прохождение эшелонов, набитых немецкими солдатами и имуществом. Порядок рухнул. Теперь никакая сила не могла остановить большевиков и, опасаясь, что они со дня на день окажутся здесь, Александр Михайлович и Мария Ивановна в конце декабря сами сели в поезд и через пару часов сошли на перрон вокзала города Вильно (Вильнюса), столицы ныне независимой Литвы.

В городе они наблюдали интересную расстановку политических сил: большевики, имевшие среди населения (преимущественно еврейского) значительную поддержку, малопопулярные литовские националисты и поляки, поддерживаемые местной буржуазией. Все они раздирали Вильно на части, тем более что немцы 31 декабря, прямо под Новый, 1919 год, ушли окончательно. Несколько дней столица была в руках местных польских формирований самообороны, которые не смогли противостоять большевикам.

Уже на следующий день после исчезновения немцев Саша Черный узнал о том, что в центре города идет бой: в одном из особняков объявились ЦК Коммунистической партии Литвы и Совет рабочих депутатов. Поляки напали на здание, осаж-

денные отчаянно защищались. Бой длился два дня. 5 января 1919 года Вильно был занят частями Красной армии, а 8 января жертв этого боя торжественно хоронили. И будто в насмешку над Сашей Черным и его женой, бежавшими из Пскова, — в городе расположились 1, 2 и 3-й Псковские полки. В Вильно из Двинска переехало советское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство. Стены домов украсились декретами Совнаркома. Немедленно исчезли продукты. На глазах поэта проходил первый съезд Советов Литвы (18—20 февраля 1919 года), было провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (27 февраля)...

Именно здесь у поэта составилось окончательное мнение о большевиках, ведь он больше никогда с ними не встретится. И мнение это было не в их пользу: лютая ненависть интеллигента к «скифам», как он нередко будет называть новую власть. Трудно сказать, чем было вызвано такое чувство. В Литбеле, как сокращенно называли Литовско-Белорусскую ССР, режим был установлен относительно мягкий: провозглашался курс на «примирение с буржуазией», предпринимались попытки совместного восстановления промышленности, не проводилась продразверстка. И тем не менее — лютая ненависть, а вместе с ней — любопытное пророчество:

Революция очень хорошая штука, —
Почему бы и нет?
Но первые семьдесят лет —
Не жизнь, а сплошная мука.
(«Голос обывателя», 1923)

Александр Михайлович спасался творчеством. Он с головой ушел в работу над новой книгой стихов «Детский остров», в которой не было ни слова о прошедших страшных годах, а речь шла о жизни новой, нормальной, которая должна возвратиться. Желая хоть как-то оградить рано повзрослевших детишек от груза проблем, сохранить чудесный и хрупкий мир наивности и мечты, поэт придумал для них волшебный остров, отрезанный от остального бушующего и безумного мира. И сам отдыхал на этом острове.

Мария Ивановна тоже возилась с детьми. Она рассказывала, что в Вильно оказалось много русских и еврейских семей, сумевших сохранить средства, и они приглашали ее давать частные уроки их отпрыскам, не имевшим возможности регулярно учиться.

После выхода России из Первой мировой войны и заключения Брестского мира (3 марта 1918-го) на территории бывшей

Российской империи начала разгораться Гражданская война, образовывались группировки и правительства, в том числе в Польше, выступавшие против власти большевиков. 21 апреля 1919 года, когда из Вильно полностью были выбиты большевики, в город прибыл сам маршал Юзеф Пилсудский, в то время глава Польши. Он был местный: родился в местечке под Вильно, провел здесь детство и учился в гимназии.

Начались лихие дни.

Поляки мстили евреям, которых обвиняли в большевизме; устроенные погромы унесли около ста жизней. Резонанс от этих событий был настолько велик, что в июле 1919 года в Вильно прибыла специальная американская комиссия во главе с известным правозащитником Генри Моргентау. Таинственные американцы, о которых Саша Черный, как любой мальчишка его поколения, составил представление по книгам Майн Рида и Марка Твена, теперь запросто расхаживали по улицам литовской столицы. Они вмешивались в прибалтийские события и развернули повсюду пункты гуманитарной помощи, подчинявшиеся Американской администрации распределения помощи (АРА). Был такой пункт и в Вильно, и его будни Саша Черный описал в стихотворении «Американец» (1923).

Поэт рисует «нелепый город Вильно», куда его забросила судьба, безотрадным: «зловонные дворы», «дымящиеся кучи у помоек», «желтые навозные ручьи», «коридор домов, слепых, как склепы». И в этом жутком мире появляется некий марсианин — американец, о котором никто ничего не знает. Он ежедневно раздает пищу «понурой толпе» голодающих, фантастически контрастируя с ними своим благополучием: у него гладко выбритое лицо, полупоходная «манчестерская куртка», полосатый макинтош, отличные ботинки, портфель под мышкой, трубка в зубах и, как потом оказалось, браунинг в кармане. Саша Черный попытался взглянуть на Георгиевский проспект, главную улицу Вильно, глазами этого американца:

В запряжке пленные, чуть двигая ногами,
Везли к реке в возах военный скарб.
По сторонам лениво полз конвой.
Один из пленных, сдернув боком шапку,
За милостыней робко подбежал.
У фонаря проплыл балетной рысью
Чиновник польский в светлом галуне,
Расшитый весь до пяток алым кантом.
За сумасшедшей, нищею старухой,
Похожей на испуганную смерть,
Гурьбой бежали дети и визжали,
Лупя ее рябиной по плечам.

Американец пожимает плечами: «Дикая страна». Ему-то что? Он просто зритель, и он идет обедать в ресторан. А ночью на него напали, хотели убить и ограбить. Он вышел из схватки героем, и об этом теперь говорит весь город. Вот некий дом, где русская девушка-беженка, ее «собрат по бегству» агроном и местный адвокат играют в шашки, развлекаясь бесконечными спорами о том, «что было б, если б да кабы». Девушка задумчиво спрашивает:

...вы слыхали ли в былые дни у нас,
Чтоб кто-нибудь в Москве иль Петербурге
Оставил кров свой, близких и дела
И к голодающим вдруг в Индию помчался?

Саша Черный — а он, несомненно, присутствовал при разговоре — мог бы рассказать о том, как сам в юности ездил на голод в Башкирию и был таким же «американцем». Теперь всё перевернулось вверх дном, и русские, осколки великой империи, благодарно прижимают к сердцу перепавшие им консервы АРА. На вопрос девушки адвокат, протирая пенсне, цинично замечает, что, если бы этот американец совершил свой подвиг не здесь, а в Совдепии, на московской Вшивой горке, никто бы этот подвиг не заметил, или хуже того — подоспевший патруль его самого еще бы и прикончил за незаконное ношение оружия.

Тот же остроумный адвокат воскресает и в другом стихотворении Черного — «Оазис» (1919): «Матвей Степаныч, адвокат, / Владелец хутора под Вильно» приглашает героя прогуляться на этот самый хутор к своей тетке. Стихотворению предпослан эпиграф из Корана, и это не случайно. Мы почти не сомневаемся в том, что под «Матвеем Степановичем» подразумевается татарин Мачей Сулейманович Байрашевский, виленский адвокат, в прошлом учившийся в Петербургском университете, вращавшийся в столичных литературных кругах, приятельствовавший с Константином Бальмонтом и Александром Блоком. Для облегчения произношения Мачей Сулейманович наверняка разрешал называть себя на русский манер Матвеем Степановичем. Подтверждает нашу правоту найденная вильнюсским писателем Георгием Метельским в антикварной лавке книжка Саши Черного «Сатиры» (Берлин, 1922) с дарственной надписью: «Дорогому Матвею Степановичу Байрашевскому на память о Виленских мытарствах. А. Черный. 15.IV.1922. Берлин» (*Метельский Г.* Моя библиотека. О чем говорят автографы // Эхо Литвы. 1993. 18 мая).

Одно из виленских «мытарств» летом 1919 года и описано в стихотворении «Оазис». Лирический герой, «задумчивый

поэт», зол и очень голоден, а чувство юмора — единственное, что у него осталось:

Когда душа мрачна, как гроб,
И жизнь свелась к краюхе хлеба,
Невольно подымаешь лоб
На светлый зов бродяги Феба, —

И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному аду,
Звеня, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду...

Двое изголодавшихся виленских жителей плетутся на литовский хутор, в тетушкин «плоский домишко», оказавшийся волшебным рогом изобилия. О, как изменилось после большевистской голодухи мировоззрение «катарного сатирика» Саши Черного, в стихах которого раньше было все что угодно, кроме поэтизации трапез! Утвердившись за столом, он и «Степаныч» жадно набрасываются на еду: первый заглатывает ее «как кит», второй «как допотопный ящур»... Остановись, мгновенье! Наконец адвокат, «набив фундамент», другой, «выпучив фасад», доковыляли до леска, упали на землю и едва предались метафизическим прениям, как из домика раздалось: «Обе-е-дать!» Сказка продолжалась: «О, суп с лапшой, / Весь в жирных глазках, желтый, пылкий...»

«Что слышно в городе?» — «Угу».
Напрасно тетушка спросила:
Кто примостился к пирогу,
Тот лаконичен, как могила...

Вполне вероятно, что на том же хуторе Саша Черный познакомился с героиней стихотворения «Докторша» (1922). Вместе с этой несчастной женщиной, потерявшей на войне мужа и подымавшей в одиночку ребенка, поэт в тоске смотрит на дальний лес, откуда тянется нескончаемый «хвост» беженцев:

Скрипят-ползут печальным длинным рядом.
Безудержный, мятущийся набег
Из русского бушующего ада.
....
Плетутся беженцы. В глазах тупая жуть.
В телегах скарб, лохматый и убогий.
Так каждый день.

Равнодушна пышная литовская природа. Весело «шумит и плещет» река Вилия. Плачет лишь душа поэта, осознавшего,

что беженцы — это всё, что осталось от *его* России, что России больше нет:

Россия — заушенье — боль — и стыд,
И лисье бегство через сто рогаток,
И наглый бич бессмысленных обид,
И будущее — цепь немых загадок...

Что делать? Куда дальше?

Такое всё вокруг знакомое. Сколько раз они с женой гостили в деревне, благословляя ее размеренность и покой. Вот и здесь, на берегу Вилии, всё так, будто не было войны и революции.

На миг забыть — и вновь ты дома:
До неба — тучные скирды,
У риги — пыльная солома,
Дымятся дальние пруды...
....
Очнись. Нет дома — ты один:
Чужая девочка сквозь тын
Смеется, хлопая в ладони.
(«На миг забыть — и вновь ты дома...», 1922)

Эта «чужая девочка» своего рода знамение, начало темы «чужого, чужбины» в дальнейшем творчестве поэта. К весне 1920 года Саша Черный и Мария Ивановна приняли решение об эмиграции. Их целью стал Берлин. Возможно, из тех соображений, что это «недалеко», или вследствие хорошего знакомства с немецким бытом и языком.

В то время выехать можно было так: получить литовское подданство, паспорт, а затем уже хлопотать о визе. Сложнее всего было сделать первое: требовалось доказать, что ты жил здесь до войны или же родился. И вот Александр Михайлович вынужденно стал мошенником, о чем рассказывал так: «...родившись в Одессе, должен был в Вильне, при помощи двух бескорыстных лжесвидетелей, заново родиться в Ковно» (фельетон «Птичка», 1929). Так Александр Гликберг стал уроженцем Ковно (Каунаса), и они с женой смогли получить литовское подданство. Может быть, и адвокат Байрашевский в чем-то помог, поэтому Саша Черный, будучи благодарен, посвятил ему остроумное стихотворение и прислал потом из Берлина свою книгу.

Имя поэта на литовский манер должно было звучать как Александрас Гликбергас, а «родиться» в Ковно ему пришлось не случайно. В 1920 году Вильно был литовской столицей *de juro*, а Ковно, именуемый «временной столицей», стал ею *de*

facto. Сюда перебрались органы власти, здесь же было немецкое консульство, выдававшее визы в Германию.

Грустным холодным мартовским днем 1920 года, на рассвете Александр Михайлович и Мария Ивановна покидали Литву. Садились в вагон, стараясь не смотреть на провожающих, чтобы не расплакаться. «Я считаю, что моя настоящая жизнь закончилась в этот момент», — напишет потом Мария Ивановна.

В поезде они несколько повеселели. Благополучно миновали пограничное Вержболово, пересели на поезд до Берлина. Здесь все было, как до войны. Так же старая немка в белом переднике убирала вагоны, кельнер так же резво разносил пиво и чай. Скоро впереди показались остроконечные крыши Кёнигсберга.

И вдруг началось.

В Кёнигсберге, на остановке, в вагон вошла местная полиция, отрывисто и резко отдавая команды. Пассажирам приказывали немедленно собирать вещи и выходить на перрон. Публика роптала. Полиция объявила, что следующий поезд будет через три дня, а может быть, и через три месяца. Не нужно задавать лишних вопросов!

Саша Черный с женой прожили в Кёнигсберге десять дней. За это время узнали причину задержки: в Берлине, как оказалось, произошла попытка военного переворота (Капповский путч). Командующий войсками Берлинского округа генерал Вальтер Лютвиц, идеолог германского милитаризма генерал Эрих Людендорф и один из лидеров Немецкой отечественной партии крупный помещик Вольфганг Капп, недовольные прекращением войны, при содействии верных им войск 13 марта 1920 года заняли Берлин, основав там свое правительство во главе с Каппом. Взбунтовавшиеся рабочие в ходе боев подавили мятеж. 17 марта 1920 года руководители путча бежали в Швецию. Александр Михайлович и Мария Ивановна получили возможность следовать дальше. Пароходом они добрались до Штеттина, а оттуда по железной дороге отправились в Берлин.

По словам Марии Ивановны, они прибыли на Штеттинский вокзал Берлина в семь часов утра, надеясь, что испытаниям настал конец. Однако снова послышались отрывистые крики, поезд окружила полиция и всех пассажиров под конвоем повели в станционный зал. Началась бесконечная проверка документов. Немцев отпускали, иностранцам же приказали оставаться на своих местах. Таких собралось человек десять. Александра Михайловича с женой посадили в грузовой автомобиль с открытым кузовом и куда-то повезли по улицам Бер-

лина. Из открытых окон домов неслись проклятия: «Изменники! Шпионы!»

На этом унижения не закончились.

Их доставили в Главное полицейское управление, где подвергли допросу и обыску. Мария Ивановна с тревогой следила за мужем, когда полицейский агент распахнул его чемодан и стал грубо рыться в рукописях, расшвыривая их по сторонам. Ни слова понять там он не мог и всё повторял: «Агитационная литература!» Александр Михайлович белел на глазах. Вдруг один из тех, кто рылся в чемодане, спросил на чистом русском:

— Вы поэт? Как ваше имя?

— Саша Черный.

Незнакомец ахнул:

— Как? Саша Черный — сатириконец? Не может быть! Так вот вы какой! А я вас воображал совсем другим!

Кто был этот человек, читавший «Сатирикон» и, по словам Марии Ивановны, говоривший «по-немецки с настоящим русско-еврейским акцентом», осталось тайной. Но он прекратил унизительную сцену, сумев убедить коллег в том, что этот русский поэт совершенно безопасен, заниматься большевистской агитацией никак не может, ведь он сам бежит из Советской России. Однако для окончательного решения вопроса Александра Ивановича и Марию Ивановну повели к начальнику полицейского управления, которого они около двух часов убеждали в том, что никакого вреда Германии нанести не могут. Убедили. Им разрешили бессрочное пребывание в Берлине.

Так в марте 1920 года Саша Черный стал эмигрантом.

Глава восьмая
БЕРЛИНЕЦ

Вот уже год как Берлин являлся столицей нового государственного образования — Веймарской республики, возникшей после немецкой «ноябрьской революции» на руинах Германской империи. Огромный и мрачный город еще хранил следы недавних уличных стычек. Встреча с ним была окрашена горечью таких же воспоминаний. Однако это ощущение быстро ушло, потому что Александр Михайлович и Мария Ивановна оказались окружены заботой друзей, уже нашедших для них квартиру. Они стали одними из первых обитателей «русского Шарлоттенбурга», зеленого района в западной части Берлина. В ближайшие годы здесь поселятся «вся Москва» и «весь Петербург»; пока же русская колония была малочисленной.

Восемь лет назад Саша Черный, сидя в саду своего флигеля на Крестовском, переносил в строки весеннее пробуждение природы и «нелегальные собрания» галок. Потом, на войне, плакал от того, что в цветущих садах хоронят убитых. Теперь он сочинял «Весну в Шарлоттенбурге» (1920), гимн новой и спокойной жизни, которую наблюдал с балкона, улыбаясь цветущим вишням и легкомысленным воробьям: «И воробьи дерутся у окна. / Весна!» И все же не верилось: «И скорбь растет, как темная волна. / Весна?»

Адрес берлинского балкона известен. Владимир Набоков, тогда писавший под псевдонимом Сирин, вспоминал, что Саша Черный жил «в Шарлоттенбурге, в 60-м, кажется, номере по Вальштрассе; против его окошка высилась кирпичная стена, в комнате было темновато» (*Сирин Вл.* Памяти А. М. Черного // Последние новости. 1932. 13 августа). Биограф поэта Анатолий Иванов несколько поправил Набокова, назвав точный адрес, сохранившийся на визитных карточках: Вальштрассе, 61*. Этого дома больше нет — Шарлоттенбург был сильно разрушен в годы Второй мировой войны.

Представить обстановку квартиры поэта и приметы окрест-

* С 1947 года эта улица называется Циллештрассе.

ностей помогают воспоминания коллег и его собственные стихи. Писатель Глеб Алексеев рассказывал, что напротив дома, где жил поэт, была венерическая больница, и Саша Черный саркастически хмыкал, что из ста дам на его улице — шестьдесят безносые (*Алексеев Г. В.* Воспоминания // Сборник материалов ЦГАЛИ СССР. Встречи с прошлым. Вып. 7. М.: Советская Россия, 1990). Сам он «воспел» в стихах «острогранной больницы сухой силуэт» («На берлинском балконе», 1923) и как-то поделился, что жил на третьем этаже (рассказ «Берлинское Рождество», 1924). Обстановка его жилья, судя по воспоминаниям Алексеева, мало отличалась от других спартанских квартир Александра Михайловича и Марии Ивановны: «едва сдерживающее тяжесть человеческого тела коварное кресло», над диваном — полочка с книгами, на стенах — портреты писателей, в ящиках — «яичница» из рукописей. По фотографиям поэта и стихам известно, что его мандолина пережила все лихолетья и воцарилась на новом месте. Вместе с квартиркой ему в наследство досталась клетка с белкой, крутившейся там в колесе. Поэт ее освободил и поселил в чулане, а клетку забросил на антресоли. Белочка отзывалась на свист, дружила с новым хозяином и никогда его не кусала. Саша играл для нее на мандолине, напевая колыбельную: «Ходыть сон по улонци / В билесенькой кашулонци» («Берлинское Рождество»). А мог грянуть и плясовую: «Из-под дуба, из-под вяза, / Из-под липовых кореньев...», и старый друг-мандола, «нежный и певучий», разгонял сплин («Мандола», 1923).

О том, как у него на стене появлялись портреты писателей, рассказывал сам Саша Черный. В частности, он поделился историей приобретения Пушкина «со скрещенными руками», который теперь висит над столом «в цветной, парчовой раме». Вероятно, это была репродукция известного портрета работы Ореста Кипренского, а попала она к поэту якобы так. На том литовском хуторе, где они с женой гостили, он однажды зашел в брошенный дом, который обживал рязанский беженец Федот, и увидел в углу рядом с образами портреты Пушкина и неведомого турецкого генерала. Генерал его не заинтересовал, а за Пушкина он отдал Федоту целое состояние — картуз махорки. С тех пор возил с собой «как бальзам от русского бича» (стихотворение «Пушкин», 1920).

Итак, Александр Михайлович и Мария Ивановна вновь оказались «у немцев». Но как это «вновь» отличалось от счастливой поры их молодости в Гейдельберге! В 1920 году ему исполнилось сорок лет, ей — сорок девять. Надо было налаживать жизнь с нуля, а это всегда непросто. К тому же Германия, проигравшая войну, пребывала в глубоком экономическом

кризисе, отягчаемом выплатой репараций. Марка обесценилась, стояла страшная безработица. Однако, по словам Марии Ивановны, денег им на первых порах хватало, поэтому работу они искали скорее по инерции.

Черному сразу повезло. Он узнал, что в Берлине издается газета «Голос России», и немедленно отправился в редакцию. Там возликовали — пришел первый известный литератор, «вырвавшийся из большевистского ада». Предложили огромный, по мнению редакции, гонорар, который поэту показался смешным, и он от него отказался, чтобы было не так унизительно. Этот царский жест поднял его авторитет на недосягаемую высоту.

Однажды случился курьез, о котором вспоминала Мария Ивановна. Редактор газеты Самуил Яковлевич Шклявер както воскликнул, думая, что обрадует своего нового сотрудника:

— Знаете, кто у меня был вчера?! Ваш приятель Попов из Загреба. Обещал зайти сегодня, чтобы с вами повидаться, а то, говорит, вы так внезапно уехали и не оставили адреса!

Черный опешил:

— А кто это такой? Я в Загребе вообще никогда не был. Где это — Загреб?

Настал черед Шклявера удивляться. По выражению его лица Александр Михайлович понял, что его вот-вот сочтут самозванцем. В этот волнительный миг в кабинет вбежал некий молодой человек и, озираясь по сторонам, недоуменно спросил:

— А где же Саша Черный? Мне сказали, что он пошел к вам!

Шклявер указал на Сашу:

— Вот он, собственной персоной.

Но визитер хотел видеть какого-то другого Сашу Черного, этого он не знал. Запальчиво рассказывал, что поэт давал у них в Загребе литературные вечера, потом подарил ему свою книгу с автографом...

Сцена становилась тягостной. Шклявер занервничал, ведь он поверил Саше на слово, но сам в лицо его не видел. Поэт вспыхнул:

— Недавно я узнал, что в Берлине находится Иосиф Владимирович Гессен. Вероятно, он не откажется засвидетельствовать мою личность!

Фамилия Гессена, известного российского кадета, занявшего видное положение и в Берлине, произвела магическое действие. Инцидент был исчерпан; потом над ним много смеялись. Вообще же Гессен, о котором в Берлине сложили поговорку «Мир стал тесен, всюду Гессен», и его окружение по-

могли нашему герою довольно ощутимо. Вскоре по приезде Мария Ивановна встретила свою бывшую ученицу, оказавшуюся женой человека, расположения которого искали многие эмигранты, — Бориса Исааковича Элькина. В прошлом петербургский юрист и редактор кадетской газеты «Право», Элькин уже год жил в Берлине, возглавлял русское издательство «Слово», основанное при крупном местном пресс-концерне «Ульштейн». Была у Элькина еще одна должность: казначей и член правления германского отделения Американского фонда помощи русским литераторам и ученым. Документация американского фонда, хранящаяся ныне в РГАЛИ, свидетельствует о том, что Черный получал от него материальную помощь (Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. Вып. 7. Фонды, поступившие в РГАЛИ в 1984—1992 гг. М., 1998). Помимо этого, как вспоминала Мария Ивановна, «он (Элькин. — *В. М.*) устроил сейчас же издание сборника Сашиных детских стихов “Детский остров”, который взялся иллюстрировать наш петербургский знакомый художник Борис Григорьев». О благодарности поэта говорит надпись на его портрете, подаренном благодетелю: «Милому Борису Исааковичу Элькину на память о прекрасных днях берлинской жизни. А. Черный. 15—VI 1926» (Собрание А. С. Иванова).

Первая книга за последние семь лет!* «Детский остров» стал точкой отсчета эмигрантского творчества поэта. Понимая, что его старые читатели выросли, а новые с ним еще не знакомы, Саша Черный (а он оставил для детей свой старый псевдоним с детской составляющей — Саша) предпослал книге шуточную саморекомендацию, где рассказал, кто такие поэты и «какие их приметы». Это такие люди, которые днем спят, а ночью шагают по комнате и сочиняют стихи; они во всё суют свой нос и вообще очень похожи на детей, так же любят сказки и праздники.

Ну так вот, — такой поэт примчался к вам:
Это ваш слуга покорный,
Он зовется «Саша Черный»...
Почему? Не знаю сам.

(«Детям», 1920)

«Примчавшись» к русским детям в 1920 году, Александр Михайлович более их не покинет до самой кончины, а первым подарком сделает «Детский остров». В книгу он включил стихи, ранее печатавшиеся в Петербурге, и новые, написанные в

* Если не считать переиздание «Сатир и лирики», предпринятое «Шиповником» в 1917 году.

Вильно. Выход книжки был приурочен к новогодним праздникам. Хотя на титуле был указан 1921 год, первый отклик на нее появился 25 декабря 1920 года в берлинской русской газете «Руль».

«Подарком» мы назвали книгу образно. На самом деле она была доступна немногим семьям. Роскошно изданная — альбомного формата, на дорогой бумаге, — и стоила она дорого. Куприн в рецензии шутил: «Цена не проставлена. Издание недешевое» (*Куприн А. И.* Саша Черный. Детский остров. Берлин: Слово, 1920 // Общее дело. 1921. 9 мая). Мария Ивановна тем не менее утверждала: «Несмотря на довольно высокую цену, эта книга быстро разошлась в двух изданиях». Сегодня «Детский остров» — раритет еще и потому, что иллюстрировал ее Борис Дмитриевич Григорьев, один из известнейших мастеров Серебряного века. Они были знакомы с Сашей Черным с сатириконских времен. Жизнь поистрепала Григорьева: бегство из Советской России стоило ему многих нервов. В октябре 1919 года он с женой и четырехлетним сыном тайно на лодке переправился через Финский залив в Финляндию, а оттуда переехал в Берлин, но и здесь задерживаться не стал, в 1920 году уехал в Париж.

«Детский остров» полетел во все уголки русского рассеяния, попал даже в далекий Константинополь, где уже разворачивалась эпопея выживания недавно эвакуированного белого Крыма. Мало кто из беженцев мог тогда купить эту роскошную книгу своим детям, тем не менее местная франко-русская газета «Пресс дю суар» ее упорно рекламировала. К слову, один из известных константинопольских сидельцев, бывший шеф Саши Черного Аркадий Аверченко тоже выпустил свою первую эмигрантскую книгу «Записки Простодушного» (1921), продавалась она в том же магазине «Знание», где и Сашина, и спрос на нее был тоже невелик.

В Париже на «Детский остров» откликнулся Александр Иванович Куприн, чьим мнением Саша Черный дорожил. Рисунками Бориса Григорьева Куприн как раз остался недоволен, а вот самого автора в уже упомянутой рецензии хвалил:

«Раскрываешь наугад любую страницу и очаровываешься прелестью красок и теплотою содержания. И чувствуешь, что все у него живые, и дети, и зверюшки, и цветы. И что все они — родные. Тонкими, точными, забавными и милыми чертами обрисованы: и кот, и барбос, и таракан, и попка, и мартышка, и слон, и индюк, и даже крокодил, и все прочее.

И всех их видишь в таком наивном и ярком освещении, как видел летним свежим утром в раннем детстве бронзового чу-

десного жука или каплю росы в зубчатом водоеме гусиной травы. Помните?»

Однако, рассказывая о «Детском острове», мы забежали вперед. Вернемся в первые эмигрантские месяцы Саши Черного.

Начав в Берлине сотрудничать с Элькиным, поэт оказался близок к верхушке кадетской партии, которая и в изгнании пользовалась значительной финансовой поддержкой местной и американской еврейской буржуазии, в том числе масонства. 1 июня 1920 года кадеты объединились в так называемую Берлинскую группу, которую возглавил Владимир Дмитриевич Набоков (отец писателя Владимира Набокова). Его ближайшим сподвижником оставался тот самый «магический» Иосиф Владимирович Гессен. Обоих наш герой знал по Петербургу как редакторов кадетской газеты «Речь». Напомним: со страниц «Речи» Чуковский сражался с Сашей Черным и «Сатириконом», а сам Черный летом 1911 года опубликовал там «Письмо в редакцию», разъясняющее причины его ухода из журнала. Гессена поэт ославил в своем известном сатириконском стихотворении «Невольное признание» (1909): «Гессен сидел с Милюковым в печали. / Оба курили и оба молчали».

Теперь, в Берлине, Набоков, Гессен и Август Исаакович Каминка, некогда редактировавший в Петербурге журналы «Право» и «Вестник партии народной свободы», создали партийную кадетскую газету «Руль», объединившую в эмиграции русских политических и литературных деятелей. Ее редакция располагалась при местном медиаконцерне «Ульштейн», который, как помним, финансировал и издательство «Слово». Те же Гессен и Набоков оказались причастны к созданию Союза русских журналистов и литераторов в Германии, который появился в сентябре 1920 года. И здесь финансовые потоки контролировались и распределялись кадетами, поэтому каждый литератор, вступавший в объединение, в большей или меньшей степени попадал под идеологическое давление. Союз возглавлял Гессен, Набоков входил в правление.

Без политики не делалось и не финансировалось ничего, поэтому нам показалось странным, что кадеты дали деньги на издание «Детского острова» Саши Черного и, судя по качеству издания, серьезные деньги. Чем это объяснить? Не любовью же к детям.

Поскольку политика в содержании «Детского острова» вряд ли уместна, то мы присмотрелись к оформлению этой книги на предмет обнаружения масонского «следа», о котором говорим уже в третий раз. Долго искать не пришлось — зашифрованное послание содержится прямо на обложке и на

дублирующем ее титульном листе. Каждая буква в названии книги обыграна художником Григорьевым так: две буквы «с» превращены в полумесяцы, буквы «т» — в водяные весы, буквы «о» — в круги, спроецированные на условный пол (горизонтальная черта внизу). Все это известные масонские символы*. Некоторую оторопь вызвали у нас и две другие буквы: «ять» стала могильным камнем с крестом, а «ер» — виселицей, на которой повешен (буквально за шею!) страшный человечек без рук. Что это?! Черный юмор — две отмененных реформой буквы, которых маленькие дети уже не знали и «гробились», пытаясь их разгадать? Или две буквы, которые автор и художник похоронили, ведь книга напечатана по нормам новой орфографии?

Таким образом, мы столкнулись с той же загадкой, о которой впервые говорили в связи с книжкой «Тук-тук!» 1913 года. И там, и в «Детском острове» в оформлении обложки присутствуют масонские символы, однако у книг были разные иллюстраторы, и о связи с масонами Вадима Фалилеева, как и Бориса Григорьева, нет никаких данных. Следовательно, можно предположить, что сам Саша Черный все-таки имел отношение к масонству, либо его символика была навязана ему издателями, но ведь и в этом случае он должен был обложку утвердить!

Свободный художник в то время и в тех обстоятельствах был немыслим. Прибиваясь к тому или иному берегу, литератор неизбежно попадал в какой-нибудь политический лагерь. Определить сразу, кто чем дышит, было трудно. Издание могло декларативно заявлять, что является беспартийным, а на самом деле четко гнуть ту или иную линию, объявлять себя антисоветским, но заниматься большевистской пропагандой. Газета «Голос России», с которой сотрудничал Саша Черный, склонялась в сторону культурного примиренчества с Советской Россией, поэтому русская эмигрантская диаспора Берлина напряженно выясняла источники финансирования газеты. Понимая деликатность своего положения и не желая быть «замазанным», поэт публиковал в ней стихи совершенно аполи-

* Треугольная форма полумесяца лежит в основе всех основных масонских символов, в частности пирамиды и циркуля. Водяные весы — символ и одновременно принадлежность 2-го надзирателя ложи, который обязан следить за тем, чтобы во время бдений соблюдалось справедливое равенство без различия социального положения. Круг, начертанный на полу, является обязательным в ритуале посвящения в каждую масонскую степень и одним из главных символов каждой масонской ложи. Круг в понимании масонов — конец всех фигур, в нем заключена тайна творения: окружность — это время и мера дел Божиих, в ней выражено одно из главных свойств Великого строителя мира — его бесконечность во всем.

тичные и относил себя к тем эмигрантам, которые «страдают гордо и упрямо» и из любви к России «не делают профессии лихой» («Те, кто страдает гордо и упрямо...», 1923).

Русский Берлин говорил, говорил, говорил... О спасении России, о том, кто виноват и что делать. Пути дальнейшей борьбы, сражаясь за общественное мнение, предлагали кадеты и национал-монархисты, социалисты и анархо-синдикалисты, а Советская Россия тем временем, отряхнувшись, принялась за воплощение в жизнь мечты, ради которой столько лет купалась в крови. Слушая споры и спичи вокруг себя, Саша Черный только морщился и писал, обращаясь к потерянной родине:

Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога,
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это все, что здесь мы сберегли...
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...
(«Прокуроров было слишком много...», 1923)

Поэт не разделял взглядов тех же берлинских кадетов, пытавшихся склонить на свою сторону монархистов и продолжавших твердить о необходимости очередной интервенции (в то время как их парижские «братья», возглавляемые Милюковым, уже отказались от таких мер). Саша Черный считал, что борьбу вообще нужно прекратить, о России забыть и стараться ассимилироваться здесь. Эти мысли он высказывал там, где часто бывал по псковской памяти: в квартире Владимира Бенедиктовича Станкевича.

Бывший Верховный комиссар с семьей приехал в Берлин в мае прошлого 1919 года и обосновался в районе Шёнеберг, на Пассауэрштрассе, 38. Он продолжал заниматься политикой и рупором своих новых идей сделал журнал «Жизнь», куда активно приглашал своего бывшего коллегу по комиссариату Сашу Черного. За изданием стояла основанная Владимиром Бенедиктовичем группа «Мир и труд», выступавшая за культурное «примиренчество» с новой Россией, за консолидацию нации, разобщенной Гражданской войной. В доме у Станкевича Александр Михайлович встречал тех, кто сыграл большую роль в февральских событиях 1917 года: эсера Виктора Михайловича Чернова (первого и последнего председателя Учредительного собрания), меньшевика Ираклия Георгиевича Церетели (министра почт и телеграфов во втором составе Вре-

менного правительства), а также Владимира Савельевича Войтинского, памятного ему и нам по псковским событиям 1917 года. Приходили и литераторы. Как-то во время жаркого спора в гостиной Станкевича, где собирались на чаепития, появился незнакомый Черному молодой человек, белокурый, хорошо одетый, скромный. Станкевич представил его: Роман Борисович Гуль, автор рукописи «Ледяной поход», которая будет печататься в «Жизни», и сам действительный участник Ледяного похода генерала Лавра Корнилова. Пришедший смутился присутствием важных персон, а познакомившись с Александром Михайловичем, автоматически начал расточать комплименты его стихам и уверять, что многие знает наизусть. Против его ожидания, поэт «сморщился, как лимон надкусил», и зло пробормотал: «Все это ушло, и ни к чему эти стихи были...» (*Гуль Р. Б.* Саша Черный // *Гуль Р. Б.* Я унес Россию: Апология эмиграции. В 3 т. Т. 1: Россия в Германии).

Так встретились Саша Черный и Роман Гуль, который станет известным в эмиграции писателем. Он и рассказал нам о том, что Саша слушал пацифистские речи Станкевича вяло, предложения работы отклонял «очень мягко по форме, но твердо по сути» и ни о каком примирении слышать не мог: «В Саше Черном жила огненная ненависть к большевизму. Такая была разве что у Бунина времен "Окаянных дней". Да даже и у Бунина она не была так огненна». Гулю, который потом не раз виделся с поэтом в разных местах, тот показался человеком, «совершенно раздавленным революцией» и очень странным. Вот, например, одна из их встреч:

«На улице Шарлоттенбурга бывший сатирик Саша Черный, человек с глазами раненой газели, сказал мне тихо:

— Разве можно не любить Леонида Андреева?

Бедный Саша! В дальнее путешествие каждый вез с собою, что мог. Кто — "всю власть Учредительному собранию". Кто — "безумно холодные плечи". Кто — "Леонида Андреева"»*.

Тот же Гуль утверждал, что Черный держался на плаву исключительно благодаря жене: «Саша Черный везде бывал вместе с женой, Марией Ивановной, рожденной Васильевой. Мария Ивановна была из писательских жен — ангелов-хранителей. <...> По каждой мелочи было видно, как она охраняет и боготворит своего Сашу» (*Гуль Р. Б.* Саша Черный // *Гуль Р. Б.* Я унес Россию: Апология эмиграции). Так мы впервые сталкиваемся с желанием современников поэта сказать хоть пару слов о Марии Ивановне, ее роли в его жизни и работе.

---

* *Гуль Р.* Жизнь на Фукса // http://www.gramotey.com/?open_file=1269044261

Мария Ивановна, признававшаяся, что после Вильно ее «настоящая жизнь» закончилась, конечно, рук не опустила. В эмиграции она занималась репетиторством и, в отличие от гонораров мужа, этот заработок был регулярным. Помимо частных уроков получила она и постоянную работу: Владимир Дмитриевич Набоков устроил ее в местную русскую гимназию, где училась его дочь Лена (директором гимназии была невестка все того же вездесущего Гессена).

Появились у жены поэта и новые, не совсем привычные для нее обязанности. Саша Черный задумал устраивать по понедельникам в маленькой пивной что-то вроде программы петербургского подвала «Бродячая собака». Сам, разохотившись, согласился принять на себя роль конферансье, а Марии Ивановне велел быть «хозяйкой» и обеспечивать гостям светское и академическое общение. В Берлине, чтобы не пропасть, нужно было быть публичными людьми, не сидеть дома, заводить знакомства, приспосабливаться, иначе затрут, отодвинут, забудут.

Однако же Александр Михайлович, справлявшийся с конферансом в малых помещениях, истерически боялся выходить на сцену в больших. Не смог он этого сделать и 20 ноября 1920 года, а день был знаменитый.

Союз русских журналистов и литераторов в Германии решил устроить первую большую показательную акцию: торжественное чествование памяти Льва Николаевича Толстого по случаю десятилетия со дня его кончины. К участию в вечере привлекли и литераторов, и артистов, которые должны были выступать во второй, концертной части программы. Желая способствовать налаживанию деловых и культурных контактов с немцами, оргкомитет разослал приглашения президенту Веймарской республики Фридриху Эберту, членам правительства, депутатам рейхстага, представителям творческой интеллигенции Германии, иностранному дипломатическому корпусу.

Наверняка Саша Черный шел на этот вечер не без волнения — ожидался большой официоз, и неизвестно еще, как примут его стихотворение о Толстом «Скорбная годовщина», написанное специально для мероприятия. И не пойти нельзя: теперь он был человеком зависимым и сказаться больным, как он обычно делал перед сатириконскими балами, было невыгодно ему самому. Вместе с тем на душе было радостно. Поэт болезненно переживал то небрежение к русским эмигрантам, которое он порой наблюдал у европейцев, поэтому такой весомый шаг в сторону культурного сближения с великой немецкой нацией казался ему очень достойным.

Они с Марией Ивановной пересекли Август Виктория-

плац и пошли прямо на мигание огромной неоновой рекламы над не менее огромным кинотеатром «Уфа палас», открытым в прошлом году и самым большим в Германии. Уже в вестибюле на них обрушилась роскошь, от какой они давно отвыкли: стены обиты красным бархатом, ковры тоже красные, позолоченные двери и потолок. Вокруг снуют служащие в красной униформе, сверкают золотыми галунами портье и билетеры. Переполненный зал гудит. Занавес тоже золоченый. Пусть все это с налетом кича, зато Европа, нормальная жизнь и какая-никакая, но культура.

Пришли многие из высоких немецких гостей: президент рейхстага Лебе, депутаты, представители правительства. Начались речи. Слово взял редактор «Голоса России» Шклявер (у которого работал Саша Черный). Он подчеркнул, что это собрание — первый после страшной войны случай, когда русские и немцы собрались вместе для чествования Льва Толстого, для кого не было ни немцев, ни русских, а были только люди. Затем торжественно зачитывалась приветственная речь от Герхарта Гауптмана, нобелевского лауреата 1912 года. С приветствиями и поздравлениями выступил статс-секретарь русского отдела министерства иностранных дел барон фон Мальцан...

Наконец, открылась концертная часть, и немцы, сидевшие в зале, разразились восторженными овациями: на сцене вместе с русскими артистами появился Александр Моисси, звезда немецкого кино. Он имел к Толстому непосредственное отношение, ибо играл Федю Протасова в театральной постановке «Живого трупа», осуществленной легендарным Максом Рейнхардом в 1913 году.

Саша Черный, внутренне сжавшись, ждал, когда прозвучит его стихотворение. И вот на сцену вышел Осип Рунич, звезда российского кинематографа, партнер недавно почившей Веры Холодной, только что прибывший в Берлин. Теперь уже русская часть зала возликовала, Рунич же чеканил слова:

Толстой! Это слово сегодня так гордо звучит.
Как имя Платона, как светлое имя Сократа —
Для всех на земле — итальянец он, немец иль бритт,
Прекрасное имя Толстого желанно и свято.

И если сегодня у мирных чужих очагов
Всё русское стало, как символ звериного быта, —
У родины духа — бескрайняя ширь берегов,
И муза Толстого вовеки не будет забыта...

Зал взорвался аплодисментами, скандировал: «Автора! Автора!» Автор же не знал, куда ему деться. Его требовали на сцену, а он едва смог подняться и, как писал очевидец, «стоял

с потупленными глазами в зале, на сцену не вышел» (*Коноплин И.* Саша Черный (Памяти умершего) // Новое русское слово. 1932. 28 августа).

Такой триумф любого другого заставил бы и возгордиться, и вознестись. Только не Сашу Черного, о котором Куприн както заметил: «Я бы сказал: “Да будет ему триумф”, если бы только этот сдержанный, молчаливый человек с печальными темными глазами и светлой детской улыбкой придавал триумфу какое-нибудь значение» (*Куприн А. И.* О Саше Черном // Журнал журналов. 1915. № 7). Александр Михайлович радовался, что сбор от вечера, поступивший в кассу взаимопомощи союза, оказался значительным. Деньги ведь пойдут на выплату ссуд нуждающимся коллегам, а он внес в это хорошее дело свою лепту.

Триумфатором Саша Черный был не только как поэт, но и как мужчина. Мария Ивановна не без иронии рассказывала о поклонницах, осаждавших его в это время. Одна из них, некая русская журналистка, утомляла страшно, «преследуя его всеми возможными средствами: звоня по телефону, дожидаясь его в редакциях издательств». Другая Валькирия явилась в образе сотрудницы театральной секции советского Наркомпроса и принялась наседать на Александра Михайловича, требуя написать детскую пьесу и отдать для переиздания в Москве «Живую азбуку». При этом она картинно разметалась на диване, закинув ногу на ногу и страстно затягиваясь папиросой. Поэт осатанел и велел убираться, если мадам не хочет, чтобы он спустил ее с лестницы. Такая же участь скоро постигла и первую домогавшуюся, но об этом в свое время.

Берлин постепенно наполнялся русскими, и среди них было немало петербуржцев. Саша Черный обрадовался появлению Александра Эдуардовича Когана, некогда выпускавшего журнал «Солнце России», с которым он работал несколько лет. Коган не скрывал, что прибыл в командировку по заданию Горького, что работает теперь в петроградском горьковском издательстве «Всемирная литература», созданном на базе его же собственного, когановского, издательства «Копейка». Цель командировки — налаживание контактов в области печатания русских книг в Германии. Не теряя времени, Коган организовал большое художественное издательство «Русское искусство» с офисами в Берлине и Париже, руководство которым осуществлялось из «Всемирной литературы». Одним из проектов издательства стал художественный альманах «Жарптица», призванный знакомить европейскую публику с русским искусством. Саша Черный согласился возглавить его литературную часть.

Весной 1921 года у Александра Михайловича появилась хорошо оплачиваемая работа. Теперь он ездил в редакцию «Жар-птицы», где его иногда охватывал синдром дежавю: технический редактор нового альманаха Б. Г. Скамони в Петербурге возглавлял типографию и издательство «Голике и Вильборг», печатавшие до 1910 года «Сатирикон». На этом дежавю заканчивалось: редакции «Сатирикона» и «Жар-птицы» сравнивать не приходилось. Последняя занимала роскошное помещение, в котором действовал постоянный художественный салон. Здесь никому не пришло бы в голову пить пиво, сидя на подоконнике, как это было в сатириконском «штабе» на Фонтанке.

Наш герой никогда ранее не занимал такой ответственной должности. Ему пришлось делать то, чего он в принципе не любил и не умел: разыскивать по всей Европе бывших коллег, просить у них материал, обещать золотые горы, терпеть их чудачества. Одним словом, отвечать за качество и быть крайним. Вот когда, должно быть, он начал понимать Аверченко, которого упрекал в том, что тот втискивал свой материал куда только мог. Почему-то у Черного теперь не дрогнула рука дать в первый номер «Жар-птицы» три собственных довольно объемных стихотворения и рецензию на ахматовский сборник «Подорожник».

Столкнулся он и с капризами. Вот как, к примеру, расценивать поведение Куприна? Александр Михайлович написал ему в Париж, попросил прислать что-нибудь, а тот предложение проигнорировал, ответив собственной просьбой дать материал для журнала «Отечество», который начал редактировать. К счастью, из того же Парижа откликнулись Тэффи и Бальмонт, из Софии он получил кое-что от Евгения Чирикова, из Праги — от Сергея Маковского. Материал для первого номера «Жар-птицы» был готов, но его выход откладывался так долго, что поэт успел включить в него свое стихотворение, написанное уже на отдыхе, на курорте.

Летом 1921 года они с Марией Ивановной смогли вернуться к привычному образу жизни и поехать на немецкий курорт Альбек-Зебад на Балтийском море. Однако остановились, как всегда, не на самом курорте, а в окрестностях — в Кёльпинзе, раскинувшемся между морем и чудным одноименным озером. В те годы туда ездили не только отдохнуть, но и отведать копченое или маринованное мясо угрей, которые выбрали эти места для нереста.

И здесь тот же эффект дежавю! Городок удивительно напоминал Гунгербург, где они в последний раз отдыхали перед войной. Такой же песчаный пляж, такие же кабинки, обтяну-

тые внутри полосатым ситцем, а главное, такое же обывательское «мясо», сразу утомившее поэта. Стоя по колено в воде и обозревая копошащихся рядом, он скрежетал зубами и вспоминал свой любимый сюжет о ковчеге:

Как когда-то в дни Еноха,
Неоглядна даль и ширь.
Наша гнусная эпоха
Не вульгарный ли волдырь?
Четвертуем, лжем и воем,
Кровь, и грязь, и смрадный грех...
Ах, Господь ошибся с Ноем, —
Утопить бы к черту всех...
(«Курортное», 1921)

В первую очередь ему хотелось «утопить» одну свою соседку по пансиону — ту самую журналистку, что преследовала его в Берлине. Она дошла до того, что увязалась за ними в Кёльпинзе, сняла номер по соседству и потеряла всякий стыд. Както она поймала Александра Михайловича на веранде, когда он там оказался один, приперла к стенке и заявила, что он просто обязан бросить свою «мещанку-жену» (слова Марии Ивановны), ведь та не дает расцвести его таланту, а уж она-то сделает для этого всё. Черный сорвался и нагрубил.

От раздражения он спасался работой. Позабыв обиду, сел снова писать Куприну в Париж:

«Дорогой Александр Иванович!

От А<лександ>ра Митр<офановича> Федорова* узнал Ваш новый адрес. Он пишет, что у Вас есть его рассказ “Сила земли”, который просит переслать мне для журн.<ала> “Жар-птица”.

“Птица” эта наконец выйдет между 1 и 5 августа. Я Вам писал, давно уже, — просил дать несколько страниц в этот журнал. Ответа от Вас не получил. Прошу опять о том же. Помимо того, осенью в Берлине затевается литературный альманах “Грани”, может быть, и для этой затеи у Вас найдется что-нибудь? Деньги Вам сейчас же по получении рукописей будут высланы (размер гонорара по Вашему указанию).

Жить все невыносимей, только в работу прячешься, да и та скрипит: до словесности ли сейчас...

Так бы хотел Вас повидать, иногда кажется, что и прошлого не было... Да никуда не выбраться: на крупу хватает, а о разъездах мечтать не приходится. С “Жар-птицей” к Вам пристаю не потому, что я “завед<ующий> литературной частью”, а потому, что хочется Ваше живое слово услышать. О далеком ли,

* А. С. Федоров в это время находился в Болгарии.

о том, что после нас будет, о том, чего никогда не было, — все равно...

Если знаете, сообщите адрес Ив<ана> Ал<ексеевича> Бунина — говорили, что он переехал. Месяц провел у моря, послезавтра возвращаюсь в Берлин. Не надо ли Вам в Берлине чего-либо по Вашим литературным делам? Напишите: я здесь всех крокодилов знаю.

Сердечно кланяюсь Вашей жене и Вам. Жена кланяется вам обоим.

Преданный Вам Черный.

2 августа 1921 г.

Адрес тот же.

Берлин».

Это письмо вместе с другими бумагами отца сохранила Ксения Куприна, дочь писателя, и впервые опубликовала в своих мемуарах «Куприн — мой отец» (С. 206–207). Мы еще станем обращаться к этой книге, потому что переписка Черного и Куприна будет регулярной. Что же касается конкретно этого письма, то на него пришел странный ответ. Официально обращаясь к Александру Михайловичу «глубокоуважаемый», Куприн сожалел о том, что он его позабыл и, вероятно, это потому, что до него дошли какие-нибудь слухи. Черный поспешно отвечал:

«Дорогой и милый Александр Иванович!

Очень меня Ваше письмо огорчило, а я, видит Бог, ни в чем против Вас не согрешил. Писал Вам по получении Ваших книг*, писал Вам вторично (заказным) с сердечной просьбой помочь нашей берлинской “Жар-птице” Вашей работой, — в третий раз писал Вам из Kolpinsee, где я пробыл месяц — опять просил о том же. Первые письма посылал на Ваш старый адрес: не дошли они, что ли? Вырезку с Вашим отзывом обо мне еще не получил, но прочел отзыв этот в “Общ.<ем> деле”**, и конечно, он ценен для меня, как каждое Ваше доброе слово. Единственно, в чем виноват, — что не отозвался на Ваше приглашение в “Отечество”***. Но признаюсь: я Вам до того писал с просьбой о сотрудничестве в “Жар-птице” — Вы не ответили, вот я немного и скис... Помимо того, у меня вместо “отечества” такая черная дыра на душе, что плохой бы я был сотрудник в журнале под такой эмблемой.

---

* Скорее всего, А. И. Куприн прислал свои книги в редакцию «Голоса России» для отзыва (в это время у него вышли «Звезда Соломона», «Рассказы для детей», Библиотека «Зеленой палочки» и другие издания).

** Рецензия на книгу Саши Черного «Детский остров», которую мы цитировали выше.

*** Журнал «Отечество» начал выходить в феврале 1921 года. А. И. Куприн редактировал номера 1—4.

Слухи о Вас? Я их не знаю, — всякие слухи эмигрантско-вшивого толка отталкиваю с бешенством, и если бы даже услышал, что Вы родную тетку сварили в котле со смолой, — ничуть бы это не изменило моей большой любви к Вам.

И опять пристаю к Вам с тем же: каждое присланное Вами слово будет и для меня лично, и для журнала большой радостью. Вы настоящий — и когда Вы молчите и когда о Вас ничего не слышно, а русский язык поступает в исключительное владение разных прохожих людей в литературе — обидно и досадно... Я... и ценю и люблю Вас раз навсегда и окончательно и дошел до этого сам.

Будьте здоровы, сердечно жму Вашу милую руку, только, ради Бога, не называйте меня больше никогда "глубокоуважаемым".

Неизменно Ваш А. Черный.

9/VIII — 1921 г.

Стихи и рассказ Федорова получил — спасибо. Если знаете, сообщите адрес И. А. Бунина, — говорят, он переехал?

А. Ч.» (цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 208—209).

Такая настойчивость в поисках Бунина умиляет. Куприн адрес Ивана Алексеевича прекрасно знал, а почему не сообщил, можем только догадываться: вероятно, ревность, отравлявшая дружбу этих двух больших художников.

Между тем именно Бунину Куприн был обязан своим появлением в Париже. Революции (и Февральская, и Октябрьская) застали его в Гатчине, в знакомом нам зеленом домике. В конце октября 1919 года, когда Саша Черный с Марией Ивановной уже жили в Вильно, Куприн с женой Елизаветой Морицовной и дочерью Ксенией выехали в обозе отступающей Северо-Западной армии генерала Юденича. Около месяца прождали финской визы в Ревеле, затем провели полгода в Гельсингфорсе, где стали перед выбором, куда дальше: Берлин, Париж, Прага? Все три города Куприну были одинаково чужды, но в Париже уже жил Бунин, который и пригласил старого друга к себе. В июне 1920 года Куприны вышли на пароходе из Гельсингфорса в Лондон, а 4 июля прибыли в Париж, где Александр Иванович сразу начал работать в газете Владимира Бурцева «Общее дело».

О том, чем писатель жил в августе 1921 года (когда, наконец, ответил Черному), известно из интереснейшего и до сих пор не опубликованного источника. В Литературном архиве Мемориала национальной письменности Чешской республики (Прага) хранится дневник писателя Бориса Александровича Лазаревского, близкого друга Куприна, бывшего тог-

да рядом. Лето они проводили в пригороде Парижа, на даче в Севр виль д'Авре, которую Куприн снял в надежде, что она хоть как-то компенсирует тоску по зеленому гатчинскому домику. Писатель пустил квартиранток: француженку, некогда преподававшую в Гатчине детям великого князя Михаила Александровича, а также его дочери Ксении, и старушку, дочь кучера Александра III. Александр Иванович делился с Лазаревским: «Понимаешь, я один с четырьмя бабами и все мною недовольны...» Елизавета Морицовна главным образом расстраивалась из-за состояния здоровья мужа и тоже жаловалась Лазаревскому, по его словам: «Говорила мне один на один, что сердце у него никуда не годится, доктор прямо сказал: недолго проживет»*. Вот почему письма Куприна Саше Черному, судя по всему, были невеселыми.

Теперь несколько слов об альманахе «Грани», куда Черный приглашал Куприна. Это название в советское время воспринималось у нас с оттенком скандала: так назывался журнал, выпускавшийся с 1946 года издательством «Посев». Мы же ведем речь о первых «Гранях», появившихся в начале 1920-х годов. Альманах выходил в одноименном издательстве, где Черный был главным редактором (в некоторых источниках его называют владельцем, но это неверно). Именно в «Грани» поэт отдал для переиздания свои «Сатиры» и «Сатиры и лирику»; согласился он редактировать и альманах, поэтому разыскивал для него авторов. Александр Михайлович мог оказать содействие в издании в «Гранях» той или иной книги, был там своим человеком и «держал руку на пульсе».

О том, как жил Берлин ближе к осени 1921 года, узнаём из письма Алексея Николаевича Толстого, отправленного Бунину в Париж: «Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре, — революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. <...> Здесь вовсю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией» (цит. по: *Бунин И. А.* Из воспоминаний. «Третий Толстой» // *Бунин И. А.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1967. Т. 9. С. 443).

Мы не случайно ввели в повествование Алексея Толстого: он приехал в Берлин из Парижа 16 ноября 1921 года и вскоре

* Památník národního písemnictví. Fond Lazarevskij B. A. C. prir. 96/43.

начал появляться в квартире Саши Черного, редактора популярной «Жар-птицы», на Вальштрассе. Здесь вообще бывали многие. Парижский коллега Толстого, сатирик Дон Аминадо, Аминад Петрович Шполянский, и вовсе жил у супругов Гликберг, когда приехал в Берлин на разведку, «неустроенный, без денег», по словам Марии Ивановны. До этого они с Черным общались по переписке: Дон Аминадо и Алексей Толстой издавали в Париже детский журнальчик «Зеленая палочка», а Саша Черный высылал им материал. Теперь, при личной встрече, им было о чем поговорить и кого вспомнить.

Путь нашего героя в эмиграцию оказался совсем не таким, как у многих его литературных собратьев. Он не был ни в гетманском Киеве, ни в деникинском Ростове-на-Дону, ни в белых Крыму и Одессе, не бороздил в пароходном трюме Босфор. Поэтому слушал жадно.

Дон Аминадо, один из остроумнейших людей своего времени, и собеседник, и рассказчик был превосходный. Он тоже воевал, был ранен и комиссован. Успел поработать в «Новом Сатириконе», чем очень гордился. Рассказывал о судьбах сатириконцев, с которыми сталкивался во время последующего «бега». Многих из них во главе с Аверченко видел осенью 1918 года в сумасшедшем Киеве, где они все вместе издавали смешную до колик пародийную газету «Чертова перечница», глумясь над украинскими «щирыми самостийниками». Потом, при эвакуации из Одессы, оказался на одном пароходе с Ре-ми, Василевским (не-Буквой) и Алексеем Толстым. Затем промелькнул перед глазами огромный и грязный Константинополь — и наконец Париж.

После Дона Аминадо у Черного останавливался Александр Александрович Яблоновский, тот самый журналист, которому он был обязан спасением от нищеты в 1898 году, а затем и своими первыми литературными шагами в столице. Поэт помнил добро, и теперь настала его очередь помогать: он не только приютил Александра Александровича, но и устроил в «Гранях» издание двухтомника его рассказов.

Яблоновский, разменявший уже шестой десяток, хлебнул лиха не меньше других: Одесса, Дон, эвакуация из Новороссийска, Египет. Дочь с зятем унесло в Сербию, а им с женой вот надо как-то устраиваться. Попытали счастья в Париже, теперь решили посмотреть, что в Берлине.

Бывали на Вальштрассе и другие гости, которых Александр Михайлович и Мария Ивановна принимали скорее из уважения к прошлому, нежели из симпатии. В начале лета 1921 года, когда они собирались в Кёльпинзе, к ним напросилась погостить Анна Ильинична Андреева, вдова Леонида Андреева, при-

ехавшая из Финляндии в Берлин с сыном Саввой, настолько избалованным, что ни одна немецкая квартирная хозяйка его долго не выдерживала. Черный знал о трудной ситуации, в которой оказалась Анна Ильинична: муж скоропостижно скончался два года назад, оставив ее одну с четырьмя детьми. Саша Черный, боготворивший Леонида Андреева, не смог ей отказать, хотя и мальчик был несносен, и его мама имела тяжелый характер. Но они с Марией Ивановной все равно уезжали на курорт, когда же вернулись, квартира была практически разгромлена...

Квартиру Саша Черный восстановил после налета Саввы Андреева, и даже это не отвратило его от детской темы. 23 ноября 1921 года он писал Куприну:

«Дорогой Александр Иванович!

Я валяюсь все время в постели, болен — поэтому и молчал. Вот сегодня голова свежее, и я решаюсь ответить Вам на Ваше невеселое письмо.

О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил с нами в эмиграции? И кто угодно из настоящих (независимо от табели о рангах) что может еще сказать?

И вот иногда и пишешь, то точно доскребываешь из нутра остатки правды и последней боли: вокруг валюта, подрастающие незнакомцы с политехническими телодвижениями... Скучно. Вот, Бог даст, последняя надежда, удастся уехать к знакомым на хутор (в Германии) и работать на земле.

Через "Грани" справлялись как-то какие-то люди, уступите ли Вы "Звезду Соломона"* для фильма? Я обещал написать Вам — такие предприятия, кажется, не плохи, если не попасть в лапы крокодилам. Может быть, дать Ваш непосредственный адрес? <...>

Хотелось бы все-таки для детей еще что-нибудь состряпать: они тут совсем отвыкают от русского языка, детских книг мало, а для них писать еще и можно и нужно: не дадите ли несколько страниц для детского альманаха?

Пишу Вам криво и грязно, лежа писать не приноровлюсь никак. Целую Вас дружески и сердечно. Не радует ни "пышность" "Жар-птицы", ни сравнительное благополучие собственной шкуры, а переезжать на Мадагаскар поздно — и денег нет и не привыкнешь. Приходила ли Вам мысль о переезде сюда, в Германию, — здесь все же бездна всякого литературного дела, — а людей чуть-чуть... <...>

Ваш А. Черный» (цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 207—208).

---

* «Звезда Соломона» (1917) — фантастическая повесть А. И. Куприна.

Среди людей, которых было «чуть-чуть», помимо упомянутых Алексея Толстого, Дона Аминадо и Яблоновского, оказался и прибывший в Берлин писатель Глеб Алексеев, знакомый с Сашей Черным еще с питерских времен. Новый человек — и новая история бегства из России. Фронтовик Алексеев встретил революцию и Гражданскую войну на Украине, в декабре 1919-го он, больной сыпняком, был эвакуирован англичанами из Новороссийска, побывал в Греции, Венгрии, даже Африке и Малой Азии. Теперь вот Берлин.

Сидя на Сашиной кухне, они вели бесконечные споры о судьбах русской литературы, которую тогда еще не делили на советскую и эмигрантскую. Осознания этого еще не пришло. Никто не думал о том, что изгнание — навсегда. Алексеев с жаром доказывал необходимость созидательной работы, для чего организовал «Книгоиздательство писателей в Берлине» и начал издавать советских литераторов: Бориса Пильняка, Константина Федина, Владимира Лидина, Сергея Есенина, Всеволода Иванова. Александр Михайлович от этой затеи морщился. Алексеев внимательно его рассматривал и писательским глазом подметил всё: у Черного «красивое, покойное лицо, серебро, осыпавшее виски, ласковые глаза, тонкие девичьи руки — во время разговора он любит смахивать со стола пушинки и никогда не смотрит на собеседника: словно говорит для самого себя» (*Алексеев Г. В.* Заграница. Воспоминания).

О чем же говорил Саша Черный? Говорил, что Россия, какой она была, погибла и вместе с ней погиб быт его прежних сатир. Говорил, что всякий честный человек должен покончить с эмиграцией: либо застрелиться и перестать существовать, либо забыть о национальности, «принять жизнь Запада, раствориться в ней, отыскать свое место и перестать быть эмигрантом». При этом его нервно передергивало, тик проходил по руке, «старательно выковыривающей восковое пятно на столе». Алексеев горячо доказывал собеседнику, что тот не имеет права уходить в тень и лишать наставнической помощи молодых, начинающих авторов и здесь — и там, в России. И тех и других нельзя оставлять брести на ощупь. Нужно «собирать камни». Черный на это, по словам Алексеева, «затруднялся»: в коллективный труд он не верил, боялся этой утопии, считал, что путь писателя — одинокая тропа.

Двое взрослых людей, прошедших в буквальном смысле огонь, воду и медные трубы, спорили и никак не могли договориться. Алексеев горячился, а Александр Михайлович заметно нервничал и всё пытался снять с пиджака несуществующие пушинки. Тоскливо сипел в кухне «проклятый газ — мертвенно-синий и жуткий».

Делать свой выбор приходилось ежедневно и ежечасно. В ноябре 1921 года в Берлин прибыли два человека, с которыми Саша Черный еще совсем недавно был тесно связан: Горький и Гржебин. Вот как себя с ними вести? Как теперь, после всего, что случилось, пожать руку Алексею Максимовичу, ту руку, которую пожимали Ленин, Троцкий, Дзержинский? Отношение к Горькому — конечно, не без сомнений и «затруднений» — Саша изменил. В 1924 году, когда Горький издавал журнал «Беседа», поэт посвятил этому факту злую эпиграмму:

Пролетарский буревестник,
Укатив от людоеда,
Издает в Берлине вестник
С кроткой вывеской «Беседа».
Анекдотцы, бормотанье, —
(Буревестник, знать, зачах!) —
И лояльное молчанье
О советских палачах...
(«Эпиграммы», 1924)

С Гржебиным, казалось бы, проще: тот как был, так и остался коммерсантом, и в Берлин приехал с целью организации издательства. Однако факты налицо: ни одной книги Саши Черного у Гржебина больше не вышло. Переиздание двух своих старых сборников, как уже говорилось, он доверил «Граням»; первую книгу получил под новый, 1922 год, вторую ожидал.

Раскроем берлинские «Сатиры». Первое послание «Критику»: «Когда поэт, описывая даму...». Да было ли это всё? Чуковский, «Сатирикон», обиды, ресторан «Вена»? Было, конечно, но как с тех пор изменился автор книги! Его имя на обложке теперь другое: «А. Черный». Разумеется, человек, портрет которого помещен в книге, не может быть «Сашей». Он совершенно седой. Но странное дело: побелели волосы, а усы и брови черные.

Всех современников поэта поражала его внешность: седые волосы никак не вязались не только с черными усами и бровями, но и с абсолютно гладким, без морщин, лицом, озорными, блестящими, юными глазами и молодым голосом. Замечал это и сам Черный и даже написал об этом: «Голова твоя седая, / А глазам — шестнадцать лет!» («Здравствуй, Муза! Хочешь финик?..», 1923). Глаза, возможно, и казались шестнадцатилетними, но самому Александру Михайловичу Гликбергу было за сорок, и он испытывал все те муки, которые приносит с собой «кризис среднего возраста». Подводил итоги — и был ими недоволен; чувствовал, что стареет — и старался бодрить-

ся; хотел перемен — и хотел покоя. Его настроение легко прочитывается в предновогоднем послании Куприну от 20 декабря 1921 года:

«Здравствуйте, дорогой Александр Иванович!

<...> Завтра у меня будет издатель “Граней”*. Поговорю с ним о деловой стороне этого издания, и он Вам напишет тотчас издательскую бумажку со всякими цифрами (сколько печатать и пр.). Общие условия в “Гранях”— 15% с продажной цены, — к сожалению, валютная разница превращает местные гонорары в переводе на франки в вербную свинью, из которой выпущен воздух.

Рассказ Ваш (или сказку?) “Воробьиный царь” еще не получил. Книжку свою (“Сатиры I”) переиздал с дополнением, на днях Вам вышлю. Нужна ли она сейчас кому-нибудь?..

Так трудно жить! И все-таки надо, — нельзя же торжествующим сукиным сынам и последние человеческие вакансии уступать. Да и писать еще хочется, несмотря ни на что.

“Жар-птицу” с январского номера, вероятно, редактировать больше не буду. Устал, а коммивояжерствовать по добыванию изящной словесности для каждого номера все труднее и невыносимее — да и где она, эта словесность?

Марья Ив.<ановна> Вам и жене Вашей сердечно кланяется. Ей легче: она дает уроки русской истории и литературы, учит ПРОШЛОМУ, это, м.<ожет> быть, самая благодарная работа сейчас. О “Звезде Соломона” завтра переговорю с издательством “Граней”. Это через него справлялись об этой вещи какие-то фильмовые детоубийцы.

Если у Вас есть Ваша фотография, пришлите: будет у меня тогда к Новому году чудесный подарок.

Сердечно преданный Вам

Ваш Черный» (цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 209—210).

Упомянутые поэтом дети, которых Мария Ивановна «учила прошлому», вообще очень выручали. Родители настаивали на том, чтобы Мария Ивановна сопровождала их и в образовательных поездках, соглашаясь оплачивать ей с мужем и дорогу, и проживание. Именно таким образом в рождественские праздники 1922 года они оказались в Саксонской Швейцарии, где ходили на лыжах, катались на санках.

Александр Михайлович и Мария Ивановна попали в настоящую сказку: сначала ехали поездом до Дрездена, потом по заснеженным далям берегов Эльбы до курорта Бад-Шандау, а от него паромчиком до Шмильки, чудной деревушки «средь

* В 1922 году в «Гранях» выйдет книга А. И. Куприна «Воробьиный царь: Сказки».

складок двух гор» («В Саксонской Швейцарии», 1922). Конечно, нельзя не заметить созвучия Шмилька — Шмецке, и они остановились именно там, хотя основная масса народа оставалась в более благоустроенном Бад-Шандау.

Жили в отеле «Zur Mühle» («У мельника»), и первые же связанные с ним впечатления подарили поэту веселые минуты:

Мы приехали в тихую Шмильку,
Деревушку средь складок двух гор.
Женский труп, вдвинув плечиком шпильку,
Нам принес бутербродов бугор.
(«В Саксонской Швейцарии»)

В наши дни «женские трупы» там более подвижные: гостиничный комплекс «Ferienhaus Mühlchen» («Дом мельника»), полностью восстановленный в 2007 году, пользуется популярностью, поэтому приходится шевелиться. Не то было в 1922 году, после войны, сильно ударившей по туристско-курортной сфере. Шмилька дремала и надеялась поправить свои дела бешеными ценами. Черный вспоминал:

Женский труп, украшенье «Zur Mühle»,
Подал нам сногсшибательный счет:
Затаивши дыханье, взглянули
И раскрыли беспомощно рот.

Платить, правда, было за что. Шмилька расположена в фантастическом по красоте месте, в каньоне Эльбы. Там «каменный бунт» скал, которые к окнам отеля «сбегались зигзагом». Там можно себя испытать: «Ах, как сладко дышать на вершине! / За холмами сквозят города, / Даль уходит в провал бледно-синий...»

Тишина, покой и белоснежная вечность. Крошечный человечек стоит на круче, безвольно съежившись от осознания собственной ничтожности. Что он оставит после себя? Нужны ли кому-нибудь его книги? Уйти в тень, дать дорогу молодым? Ведь он теперь уже литературный «старик», а на пятки наступают новые, отчаянные. Они легче приспосабливаются, быстрее выучивают языки. Конечно, нужно помогать, нужно...

Говоря Алексееву о том, что не верит в наставничество, Александр Михайлович лукавил, ведь на самом деле активно поддерживал один молодой талант — Владимира Набокова-младшего, на которого отец возлагал большие надежды. Этот юноша, пишущий под псевдонимом Вл. Сирин, учился в Кембриджском университете и периодически появлялся в Берлине. Черный познакомился с ним: красивый, спортивный и самоуверенный. Набоков-старший печатал его в «Руле», Саша

брал кое-что и для «Граней», и для «Жар-птицы». И родилась идея сделать сборник.

По возвращении из Шмильки, в конце января 1922 года, поэт принял приглашение Набоковых отобедать у них на Зекзишештрассе, 67. Это была знаменитая богатая квартира, своего рода салон в духе старого Петербурга. Времена, правда, были теперь не петербургские, и дабы частично компенсировать траты на роскошные апартаменты, Набоковы сдавали две комнаты какому-то англичанину. Тем не менее эта семья жила благополучно. Елене Ивановне Набоковой, внучке миллионера-золотопромышленника Рукавишникова, удалось сохранить большую часть своих драгоценностей, и их постепенно продавали (именно так удалось оплатить обучение двух сыновей в Кембридже).

На звонок раздался гулкий лай, и Черный, передав пальто горничной, присел приласкать милого члена семьи, таксу Бокса-второго, пережившего с хозяевами все революционные и пореволюционные перипетии.

В просторной гостиной, служащей также столовой и кабинетом главы семьи, сервирован обед. Хозяин дома, Владимир Дмитриевич Набоков, ослепителен. В осанке и жестах, в речи и тоне юмора обнаруживает себя человек незаурядный, светский, уверенный в себе. Он в прекрасной физической форме, а сигару в руке держит так, что становится совершенно ясно: перед вами баловень судьбы. Жена Набокова внешне полная противоположность мужу. Незаметная, робкая, нервно-чувствительная, очень закрытая. Ей не нравится Берлин, ей хочется в Лондон. Здесь же старенькая мать Набокова, Мария Фердинандовна, урожденная баронесса фон Корф.

Разговор за трапезой, как всегда у Набоковых, был светский, оживленный и остроумный, не лишенный и общественных тем. Елена Ивановна в то время все силы отдавала организации фонда помощи голодающим в России; Владимир Дмитриевич готовился к приезду однопартийца, Павла Николаевича Милюкова, с которым у него в последнее время возникли серьезные разногласия. Милюков, обосновавшийся в Париже, призывал кадетов изменить партийную тактику, вступить в более тесное сотрудничество с эсерами, отказаться от традиционно внеклассовой позиции и поддержать крестьянство. Набоков противился, утверждая, что такие меры обречены, поскольку и эсеры не пойдут на контакт, и необходимо добиваться не поддержки какого-либо одного класса, но создания объединенного фронта всех демократических сил России, противостоящих любой автократии. В кадетской партии наметился раскол. Тем не менее Набоков настойчиво

приглашал Милюкова приехать в Берлин с рассказом о посещении Америки.

Однако Александр Михайлович пришел сюда не за политическими дрязгами. После обеда Владимир Дмитриевич принес ему домашние альбомы. В них были собраны многие стихи Набокова-младшего, еще не публиковавшиеся, и Черному предстояло отобрать из них самое ценное, продумать структуру сборника и его общую идею. Он уносил домой эти альбомы, совершенно не представляя, какой это драгоценный для потомков груз. Автор этих стихов много лет спустя вспоминал:

«Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его пометки на рукописи новичка, — волнистая черта недоумения, осторожно исправленная безграмотность, — его прекрасное сдержанное поощрение и уже ничем не сдерживаемое содействие. Вот этот второй — важнейший — род помощи я получил от А<лександра> М<ихайловича>. Он был тогда вдвое старше меня, был знаменит — слух о нем прошел "от Белых вод до Черных"... <...> я приносил ему стихи, о которых вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого удовольствия. С его помощью я печатался в "Жар-птице", в "Гранях", еще где-то.

Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело, и делал его основательно» (*Сирин Вл.* Памяти А. М. Черного).

Эти добрые слова Набоков произнес уже тогда, когда им были написаны и «Машенька» (1926), и знаменитая «Защита Лужина» (1930). К концу 1920-х годов он станет известным прозаиком. Пока же Александр Михайлович корпел над его стихами и думал, как озаглавить сборник. Он спросил у Набокова-старшего: как его сын хотел бы назвать книгу? Тот отвечал, что есть два варианта: «Светлица» и «Тропинки Божии». Переглянувшись, они сразу поняли друг друга. Первый вариант даже не обсуждался, а второй переиначили в «Горний путь», ничего не сказав начинающему поэту. Но один момент с Володей пришлось обсудить. Черный намекнул его отцу, что, может быть, лучше тому подписываться собственной фамилией, а не каким-то «Вл. Сириным»? Отец написал сыну в Лондон. Тот ответил не то запальчиво, не то иронично: «Мало ли какие есть Набоковы, — Сирин-то един! Therefore*, нужно

* Следовательно *(англ.)*.

пресечь порыв Черного — пусть он поставит ту подпись, которую знает весь мир»*. Несколько коробит нас это «пусть он» из уст молодого человека, говорящего о человеке вдвое старше себя. Чувствуется за этим что-то не очень хорошее.

Книга Вл. Сирина «Горний путь» вышла в 1923 году, но радовались ей Черный и Набоков-младший уже вдвоем, без Владимира Дмитриевича.

Утром 29 марта 1922 года Александр Михайлович прочитал в газетах новость, от которой поплыло в глазах. Вечером 28 марта в здании Берлинской филармонии на лекции приехавшего из Парижа Милюкова был убит Владимир Дмитриевич Набоков. Позднее выяснились подробности. Едва Милюков произнес вступительные слова, как на сцену выбежали два человека и с криками «За царя и Россию!» открыли пальбу. Кто-то повалил оратора на пол, закрыв своим телом, а к стрелявшим бросились несколько человек, среди которых был Набоков. Он выбил оружие из рук одного из преступников, но в эту минуту второй выстрелил ему в спину в упор. Владимир Дмитриевич умер мгновенно: пуля прошла через левое легкое и задела сердце.

Веселый день 1 апреля 1922 года стал траурным для русского Берлина. Прощались с Набоковым, открытый гроб был выставлен в церкви при маленьком русском кладбище в Тегеле, на окраине города. Здесь Черный увидел совершенно раздавленную семью погибшего. Жизнь ее с этого страшного дня сильно переменится. Володя Набоков, сдав выпускные экзамены в университете, через три месяца переедет в Берлин и начнет биться за кусок хлеба, как большинство эмигрантов. Вдова Елена Ивановна вскоре уедет в Прагу, где по Русской акции помощи ей выделят небольшую пенсию.

О Праге в эмигрантских кругах говорили в то время с оттенком восторженного удивления. По сравнению с Берлином, в столице молодой Чехословацкой республики жилось неплохо. Правительство президента Масарика помогало русским беженцам и материально, и морально; чешская крона тогда была одной из самых стабильных валют. О преимуществах жизни в Чехословакии Саше Черному рассказывал недавно переехавший туда писатель Марк Слоним, некогда редактировавший в «Гранях» журнал «Новости литературы», а теперь возглавивший пражскую эсеровскую газету «Воля России». Черный сотрудничал с этой газетой еще с прошлого года и напечатал там свои псковские и литовские стихи. Судя по всему, о Праге сам он не помышлял, однако устроил знакомство со Слонимом

* Цит. по: *Бойд Брайян.* Владимир Набоков: Русские годы // http://lib.znate.ru/docs/index—175243.html?page=25

Марине Ивановне Цветаевой, приехавшей из Советской России в Берлин 15 мая 1922 года (по пути в Прагу) и задержавшейся там на несколько месяцев. У нее была своя непростая ситуация: муж ее Сергей Яковлевич Эфрон, белый офицер, с которым она не виделась более четырех лет, попал после эвакуации в Чехословакию, поступил там в Карлов университет. Слоним вспоминал, что Черный познакомил его с Цветаевой «в одном из берлинских кафе на Курфюрстендамм, где собирались русские писатели и издатели»*. Знакомство оказалось из числа нужных: переехав в Прагу, Марина Ивановна печаталась в «Воле России» и очень подружилась со Слонимом.

Люди приезжали, суетились, хлопотали, уезжали, исчезали. Их было много, но не было среди них Друга, которого Александр Михайлович ждал с нетерпением. Он тосковал по художнику Вадиму Фалилееву, застрявшему в России; брал с этажерки утку-свистульку с отбитым хвостом, вспоминал рождественский «шабаш» 1913 года у Тучкова моста, когда получил ее в подарок, и едва не плакал:

> Друга нет — он на другой планете,
> В сумасшедшей, горестной Москве...
> . . . .
> Друга нет — и нет путей назад.
> *(«В старом Ганновере», 1922)*

Или:

> Сегодня письмо отправляю далекому другу —
> Заложнику скифов — беспомощный, братский привет.
> *(«В Гарце», 1922)*

В это время друг, качаясь от недоедания, ходил читать лекции во Вхутемасе и мог похвастать тем, что большевики дали ему звание профессора литографии и должность декана графического факультета, что гарантировало усиленный паек. Но это была лишь одна сторона медали. Фалилеев опасался, что новая власть может не простить ему купеческого происхождения и рано или поздно у него начнутся проблемы. Однако уезжать не торопился, и его квартира на Большой Якиманке была полна народу; здесь спорили о новом революционном искусстве, а в мастерской за шкафом ночевал юный Леонид Леонов, будущий известный советский писатель.

Не дождавшись Фалилеева, Черный решил переиздать

---

* *Слоним М.* О Марине Цветаевой. Из воспоминаний // http://www.e—reading—lib.com/chapter.php/95886/25/Vospominaniya_o_Marine_Cvetaevoii.html#n_37

«Живую азбуку», которую они когда-то делали вместе, с другим иллюстратором — одесситом Михаилом Дризо, работавшим под псевдонимом Mad. Поэт поторопился заключить договор с берлинским издательством «Огоньки», потому что хорошо помнил визит Валькирии из Наркомпроса. Та, между прочим, заявила, что раз он не хочет официально сотрудничать с Москвой, то они и сами напечатают его книгу. Потом он прочитал в литературном приложении к просоветской газете «Накануне» сообщение о том, что «Живая азбука» действительно намечена советским Госиздатом к выпуску, и, негодуя, напечатал в «Руле» заявление:

«М<илостивый> Г <осударь> г-н редактор.

В дополнение к помещенному на днях в “Руле” письму издательства “Огоньки” о намеченном “Госиздатом” издании моей “Живой азбуки” считаю нужным подтвердить, что исключительное право на издание этих книг передано мною издательству “Огоньки” в Берлине.

Намерение “Госиздата” издать не принадлежащую ему книгу осуществлено только на основании захватного права» (*Черный А.* Письмо в редакцию // Руль. 1922. 3 сентября).

Протестующий голос Саши Черного был скромным ручейком в мощном потоке возмущения писателей-эмигрантов в эти годы пиратскими переизданиями в Советской России. В головах еще не укладывалось, что они больше не имеют никакого отношения к России и с их правами никто там не собирается считаться.

А в Советской России Сашу Черного помнили... Голодным летом 1921 года на пляже одесского Большого фонтана сидели писатель Исаак Бабель и начинающий литератор Константин Паустовский, лениво перебрасывались репликами и бросали камешки в воду. Исааку Эммануиловичу вдруг пришли на память строки старого Сашиного стихотворения «Больному»:

«— В журнале “Сатирикон”, — сказал Бабель без всякой связи с предыдущими своими словами, — печатался талантливейший сатирический поэт Саша Черный. <...> Настоящая его фамилия была Гликберг. Я вспомнил о нем потому, что мы только что бросали голыши в море, а он в одном из стихотворений сказал так: “Есть еще острова одиночества мысли. Смелым будь и не бойся на них отдыхать. Там угрюмые скалы над морем нависли, — можно думать и камешки в воду бросать”. <...> Он был тихий еврей. Я тоже был таким одно время, пока не начал писать. И не понял, что литературу ни тихостью, ни робостью не сделаешь» (*Паустовский К. Г.* Рассказы о Бабеле // Воспоминания о Бабеле. М.: Книжная палата, 1989).

Трудно сказать, почему Бабель решил, что революционный

поэт, сатирик Саша Черный был в литературе «тихим». Если он и стал таким, то только в эмиграции, и наитишайшим было его творчество для детей, хотя и в него проникали ирония и скепсис. Достаточно повнимательнее вчитаться в его знаменитые «Библейские сказки», которые он планировал выпустить отдельным сборником в «Гранях» в 1922 году.

Напомним, что идея адаптировать библейские сюжеты для детской аудитории была старая, как минимум 1916 года. Черный создал в общей сложности пять авторских версий, появлявшихся в печати с 1920 по 1925 год в разных изданиях и городах. Две первые — «Отчего Моисей не улыбался, когда был маленьким» и «Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях» — были написаны еще в России, «Первый грех» и «Праведник Иона» — в Берлине, «Даниил во львином рву» — уже в Париже. Принцип отбора сюжетов определить сложно; единственное, что их роднит, — принадлежность к Ветхому Завету. Ясна и основная авторская задача: попытаться несколько снизить (но не разрушить!) пафос высокого библейского повествования и в некоторых моментах, как и в поэме «Ной», додумать те сюжетные сцепления, которые в мифе отсутствуют. Словом, Саша Черный пошел по пути, сходному с тем, что избрал Лео Таксиль в «Забавной Библии» (мы уже писали об этом выше), и которого придерживались, как нам кажется, бывшие коллеги поэта, создавая «Всеобщую историю, обработанную “Сатириконом”» (1910). Ирония Черного не коснулась только сказки о маленьком Моисее, который никогда не улыбался, потому что был разлучен с матерью и знал, что она рабыня. В остальном же поэт не отказал себе в удовольствии додумать, дорисовать канонические сюжеты, посмеяться. Например, пребывание пророка Даниила во рву со львами, что традиционно трактуется богословами как трагическое испытание силы Духа и Веры пророка, он превратил в добрую сказку: оказывается, Даниил помнил райский язык, общий для людей и животных, вот львы его и не трогали, а львята бегали с ним по совершенно не страшному рву наперегонки.

Подобный взгляд на текст Библии ни в коем случае нельзя считать критическим. Кстати, в творчестве поэта есть и более ранние примеры вплетения библейских персонажей в комические стилевые рамки. Достаточно вспомнить его сатириконскую пародию на Песнь песней:

Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.
У ног его, как воплощенный миф,

Лежала Суламифь
И, высунувши розовенький кончик
Единственного в мире язычка,
Как кошечка при виде молочка,
Шептала: «Соломон мой, Соломончик!»
(«Песнь песней», 1910)

Конечно, эта пародия — в первую очередь «камень в огород» Куприна, написавшего эротический рассказ «Суламифь» (1908), а потом уже проекция на миф. В целом же и пародия, и «Библейские сказки», по нашему мнению, содержат отзвуки «хасидского смеха». Не будем забывать, что детство и юность Саши Гликберга прошли в Белой Церкви и Житомире, который входил когда-то в состав Речи Посполитой*. Именно тогда в этих краях среди еврейского населения Подолии, Галиции, Волыни стал зарождаться хасидизм (как течение в иудаизме, поначалу оппозиционное официальному иудаизму), идеи которого получили широкое распространение у местного еврейства. Один из главных принципов постижения Бога в хасидизме сводится к тому, что «грустить — это Бога гневить», поэтому высшим проявлением религиозного чувства считаются радость, юмор, веселье. Это отражено и в известной хасидской песне «Хава нагила!» («Давайте радоваться!»). «Библейские сказки» Черного стилистически выдержаны в жанре сказа, и рассказчик очень напоминает ребе, терпеливо разъясняющего детям туманные места, прибегая к юмору, что хасидизмом как раз не возбраняется. Однако на этом сходство заканчивается, ведь Сашины трактовки библейских сюжетов никак нельзя принимать всерьез.

Однако вернемся в Берлин. В апреле 1922 года РСФСР и Веймарская республика заключили Рапалльский договор, ознаменовавший прорыв экономической и политической блокады Советской России. Берлин наводнили советские комиссары, агенты Внешторга, литераторы... Объединяющим центром советских граждан и русских эмигрантов стал созданный по аналогии с петроградским берлинский Дом искусств, пятничные вечера которого устраивались сначала в кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе, позднее — в кафе «Леон» на Бюловштрассе. Берлинский эмигрантский ежемесячник «Новая русская книга» расцвел, публикуя в рубрике «Писатели о себе» интервью и автобиографии новых советских знаменитостей.

---

* Житомир, один из старейших городов Древней Руси, расположенный на северо-западе Украины, с разделом Речи Посполитой (федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского в 1569–1795 годах) между Россией, Австрией и Пруссией вошел в состав Российской империи и с 1804 года стал административным центром Волынской губернии. – *Прим. ред.*

В мае 1922 года в Берлин пожаловала пара, молва о которой уже ходила здесь, — Сергей Есенин и Айседора Дункан. Теперь эмигранты получили возможность прочесть в «Новой русской книге» автобиографию Есенина. Прочел ее и Саша Черный. Откровенно ерничая и издеваясь над читателем, знаменитый советский поэт обрисовал основные вехи своей жизни, закончив так:

«В России, когда там не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал просто где-нибудь на бульваре. Самые лучшие поклонники нашей поэзии — проститутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению.

За сим всем читателям моим нижайший привет и маленькое внимание к вывеске: "Просят не стрелять!"» (Писатели о себе. Сергей Есенин // Новая русская книга. 1922. № 5).

Был ли Саша Черный на скандальном выступлении Есенина и Кусикова в Доме искусств 12 мая 1922 года, неизвестно, но там точно был его приятель Глеб Алексеев и передал всё в красках. По его словам, поэты из Советской России позволили себе изрядное употребление непечатных слов; Есенин даже свистел. Можно ли было удивить этим Сашу Черного? Конечно, нет. В определенном смысле это было даже старо: такие же демарши устраивали в 1910-х годах футуристы. Еще тогда Саша Черный писал, что «рыжий цех всегда шел ходко». Теперь написал эпиграмму «Автобиография т. Есенина» с эпиграфом из речений Соломона «И возвратятся псы на блевотину свою»:

Я советский наглый «рыжий»
С красной пробкой в голове.
Пил в Берлине, пил в Париже,
А теперь блюю в Москве.
(«Эпиграммы», 1924)

Есенин, пробывший в Берлине с 11 мая по 4 июля 1922 года, оставил по себе долгую память. Он переживал не лучшую полосу своей жизни. Бурные выяснения отношений с Айседорой Дункан, богемные загулы с Кусиковым, «кабацким человеком», по словам Натальи Васильевны Крандиевской, который, «как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине». Наталья Васильевна, жена Алексея Толстого, 17 мая принимала у себя в отеле, где они снимали две комнаты, Есенина с Дункан и Горького.

«В этот год Горький жил в Берлине, —вспоминала Крандиевская.

— Зовите меня на Есенина, — сказал он... — интересует меня этот человек.

<...> Горький попросил Есенина прочесть последнее, написанное им.

Есенин читал хорошо... <...> Горькому стихи понравились... Они разговорились. Я глядела на них стоящих в нише окна. Как они были непохожи! Один продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой шел как слепой, на ощупь, спотыкаясь, — растревоженный и неблагополучный» (*Крандиевская-Толстая Н. В.* Сергей Есенин и Айседора Дункан // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1986).

Вспоминала Крандиевская и один из скандалов: Дункан разгромила номер в отеле, куда «сбежал» Есенин с увязавшимся за ним Кусиковым. Вспоминала не без сочувствия: «Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства». После скандала «было много шума и разговоров».

Возможно, именно этот случай вызвал у Саши Черного, небогемного человека, едкое стихотворение «Не по адресу» (1922), если учесть, что «немецкие бюргеры» переносили подобные эксцессы на всю русскую эмиграцию (отсюда и название):

Когда советский лжепиит,
Подкидыш низменной рекламы,
В кафе берлинском нахамит
И разорвет жакет у дамы, —

Для европейских трезвых глаз
Грязней свиньи такие франты, —
И слышишь триста первый раз:
Mein Gott! Ах, эти эмигранты!»
(«Не по адресу», 1922)

В октябре 1922 года Берлин принял новую «партию» советских граждан. Ученые, религиозные деятели, философы, писатели, попавшие под подозрение как «контрреволюционные элементы», были высланы из страны. По этому поводу за рубежом многие негодовали на страницах газет (а иные, усмехаясь, в беседах называли это актом милосердия). Москва же продолжала невозмутимо пропагандировать преимущества нового общественного строя и с этой целью в том же октябре направила в Берлин бывшего предводителя футуристических «рыжих» Владимира Маяковского.

Поэт прибыл на открытие Выставки изобразительного искусства РСФСР, состоявшееся 15 октября в галерее *van*

Diernen, и пять дней спустя впервые выступал в Доме искусств, разя «имажинят» и оглушая слушателей поэмой «150 000 000». В той же «Новой русской книге» Саша Черный прочитал теперь ироническую автобиографию Маяковского и, возможно, впервые узнал, что был кумиром советской знаменитости в юности: «Поэт читаемый — Саша Черный. Радовал его антиэстетизм» (Писатели о себе. Владимир Маяковский // Новая русская книга. 1922. № 9).

Странно, что Маяковский осенью 1922 года признался в любви Саше Черному, ведь в начале того же года в Москве он презрительно склонял его имя на все лады. Для вечера сатиры в Политехническом музее он изготовил такую афишу:

«Образец веселого доклада.

1. Древний юмор. Саша Черный, Александр Черный, Александр Иванович Белый. Пр<очие> Аверченки.

2. Сегодняшний грозовой юмор: вечер смеха и забавы.

3. Моя сатира: анекдоты, пословицы, надписи и прочие смешные вещи».

Вряд ли Маяковский не знал отчества некогда любимого им поэта. Скорее, исказил намеренно, а Белым обозвал Черного, намекая на то, что он стал «белогвардейцем». «Прочие Аверченки» — тоже показательно, учитывая то, что именно Аверченко морально и материально поддержал Маяковского зимой 1915 года, пригласив сотрудничать в «Новый Сатирикон».

Разумеется, соотечественники-эмигранты этой и других оскорбительных афиш видеть не могли, но Маяковский включил в берлинскую автобиографию продуманный глумливый пассаж: «“В рассуждении чего б покушать” стал писать в “Новом Сатириконе”». Думаем, на этой фразе задержался взгляд и Саши Черного, и жившего в Берлине сатириконца Сергея Горного, и самого Аверченко, как раз в эти дни, 22 октября 1922 года, приехавшего в Шарлоттенбург из Праги.

Тема дня поменялась. О Маяковском забыли и переключились на Аверченко, которого Гессен принял в свои объятия и начал водить по роскошным ресторанам. Саша Черный не мог не прочитать в «Руле», что планируются два вечера юмора Аркадия Аверченко, однако о том, встречались ли они, сведений нет, поэтому мы не станем на этой теме задерживаться. Скажем лишь, что Аверченко, приехав из Праги, где жил на широкую ногу, был поражен берлинской нищетой. «Сравниваю Прагу с Берлином, — писал он, — в Праге все стремится снизу вверх, от грусти и тоски к бодрости, к расцвету, к красоте живой жизни; в Берлине все ползет вниз, все рушится: валюта, настроение, надежды» («Прага и Берлин», 1923).

Аверченко был прав: жизнь в Берлине все более начинала походить на тот же беспросветный ад, из которого русские эмигранты бежали. В течение уходящего 1922 года цены поднялись в 40 раз, за доллар вместо 190 марок давали 7600; цены на предметы первой необходимости в начале 1923 года исчислялись миллиардами, деньги носили в сумках, бельевых и продуктовых корзинах, возили в тележках и детских колясках. Это было то сумасшедшее время, о котором Томас Манн сказал: «Инфляция — это трагедия, которая порождает в обществе цинизм, жестокость и равнодушие»

В Германии назревал политический кризис, усугубляемый французской оккупацией Рура. В Баварии поднимала голову немецкая национал-социалистическая рабочая партия Гитлера, который 27 января 1923 года провел первый съезд своей партии. Пять тысяч штурмовиков промаршировали по Мюнхену. Как тут не вспомнить старые строки Саши Черного: «Мюнхен, Мюнхен, как не стыдно!»

В книгоиздательском деле наступил тот критический момент, за которым уже виделась катастрофа. Никто не хотел рисковать, и Черному пришлось выпустить очередную книгу за свой счет. Отправляя экземпляр Куприну, он писал: «"Издание автора" — очень сложная комбинация из неравнодушного к моей Музе типографа, остатков случайно купленной бумаги, небольших сбережений и аванса под проданные на корню экземпляры. Типографию уже окупил, бумагу тоже выволакиваю. Вот до чего доводит жажда нерукотворных памятников...» (цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 211).

«Жажда нерукотворных памятников» — не просто шутка. Его книга действительно называлась «Жажда», с подзаголовком: «Третья книга стихов». Третья и последняя, уточним мы, потому что ни одного поэтического сборника Саша Черный больше не издаст. Он остановится на этой итоговой подборке стихов, написанных уже по ту сторону нормальной жизни, — стихов военных, псковских, литовских, берлинских.

Так почему же «Жажда»? Жажда чего?

Нам кажется, всего: покоя, свежего воздуха, перемен наконец...

Ему нужно было на что-то решаться, и в первую очередь определиться — возвращаться в Россию или нет? В 1923 году этот вопрос еще не вызывал у русской эмиграции того отторжения, которое придет позднее, и он был, пожалуй, самым насущным. Люди напряженно взвешивали pro и contra, спорили до хрипоты.

К тому же Берлин наполнился советскими нуворишами, поющими осанну объявленной новой экономической поли-

тике (нэпу). Эмигранты убеждали друг друга: значит, большевики осознали необходимость перемен. Так отчего бы и не вернуться? Там, говорят, разрешены частные книгоиздательства, там теперь почти свобода, там огромные гонорары, а подлинных мастеров слова недостает.

Саша Черный в свободу не верил и писал, что решение вопроса о возвращении было бы простым, если бы он имел обычную профессию, «без всякой идеологии», но ведь ломать себя придется уже в советской миссии при заполнении анкеты:

«Цель моего возвращения —
Культурное ближним служение...»
Ах, как будут ржать советские снобы!
Еще бы...

Как именно «культурно сближаться» с гегемоном-пролетариатом, чьи идеи тебе чужды? Не все так могут.

Что там делать свободной музе? Исследовать «книжные знаки»?
Что там делать студенту? Кустарить в «рабфаке»?
Что там делать ученым? Спросите у тех, кто выслан...
Распинаться ведь тоже надо со смыслом.
....
Дух и гордость встают на дыбы?
Есть различные на свете рабы,
Но томиться рабом у родного народа —
Подвиг особого рода.

(«Святая наивность», 1923)

Узнав о том, что Алексей Толстой согласился редактировать литературное приложение к просоветской газете «Накануне», пропагандирующее «возвращенчество» в СССР, Саша Черный, по воспоминаниям, подверг обструкции даже собственный диван, на котором, бывая у него, сидел Толстой: «...указывая на диван, каждый раз предупредительно говорил: “Не садитесь на этот край... Здесь сидел этот гад!» (цит. по: *Галич Ю.* Золотые корабли. Скитания. Рига: Дидковский, 1927). Конечно, была и поэтическая реакция:

В среду он назвал их палачами,
А в четверг, прельстившись их харчами,
Сапоги им чистил в «Накануне».
Служба эта не осталась втуне:
Граф, помещик и буржуй в квадрате —
Нынче издается в «Госиздате».

(«Эпиграммы»)

Алексей Толстой был не одинок. В «Накануне» стал работать журналист, от которого, казалось бы, менее всего следо-



А. Черный.



Поэт в первые годы эмиграции. *Берлин. 1920—1923 гг.*



Владимир Набоков-младший, берлинский протеже Саши Черного. *1919 г.*



Поэт Петр Потемкин, бывший сатириконец, пополнивший ряды эмиграции

Обложка книги «Детский остров» в оформлении Бориса Григорьева. *1920 г.*



Саша Черный. *Портрет работы Ф. Рожанковского. Париж. 1926 г.*





Ксения Куприна, дочь писателя

Библіотека
А. И. КУПРИНА
49, RUE FONDARY 49.
Métro Commerce
Всѣ новинки
Главный складъ книги С. Чернаго
«Кошачья санаторія»
БИБЛІОТЕКА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО
ОТЪ 3 — 8 час. ВЕЧЕРА
по воскр. и празд. отъ 3— 6 часовъ
ИНОГОРОДНИМЪ
ОБМѢНЪ ПО ПОЧТѢ

Реклама библиотеки А. И. Куприна с эксклюзивным правом на продажу книги Саши Черного «Кошачья санатория» в газете «Возрождение». *Париж. 1928 г.*

В палисаднике у входа в квартиру Куприных: Елизавета Морицовна Куприна, Саша Черный, Мария Ивановна Васильева. *Париж, бульвар Монморанси, 1-бис. 1920-е гг.*



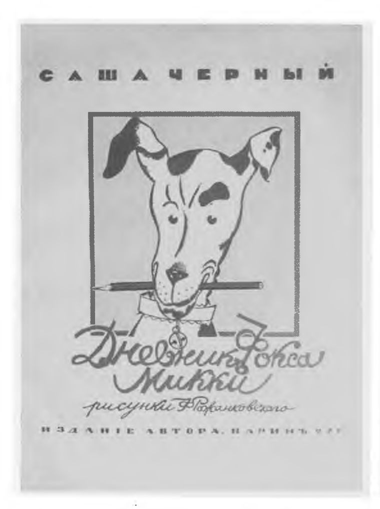
Саша Черный
и Александр Куприн
на фоне замка
в Гресси. *1924 г.*

Замок в Гресси,
где летом 1924 года
Саша Черный
написал «Дневник
фокса Микки».
*Фотооткрытка.
1910-е гг.*



Саша Черный
и Микки I
в квартире
поэта на авеню
Теофиль Готье.
*Париж. Апрель
1926 г.*

Поэт
за любимым
плотницким
делом.
Париж. 1926 г.





Обложка первого издания книги «Дневник фокса Микки» с рисунками Ф. Рожанковского. *Париж. 1927 г.*

«Как живет и работает Саша Черный в воображении его читателей». *Шарж из журнала «Иллюстрированная Россия». Париж*

Ведущий рубрик «Детская страничка» и «Бумеранг» в «Иллюстрированной России» Фаддей Симеонович Смяткин – одна из масок Саши Черного. *Париж*





Художник Иван Яковлевич Билибин. *Париж. 1920-е гг.*



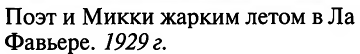
Писатель Александр Александрович Яблоновский. *Париж. 1920-е гг.*

Александр Куприн: «Эх, испортили французы русский язык...»
Шарж из журнала «Иллюстрированная Россия». Париж



Поэт с Микки II. *Ла Фавьер. 1930–1932 гг.*





Поэт и Микки жарким летом в Ла Фавьере. *1929 г.*



Художник Михаил Ларионов, сосед-фавьерец. *Лето 1929 г.*

Пляж Ла Фавьер. Вид на мыс Гурон. *Фотооткрытка. 1910-е гг.*

Саша Черный
с женой и Микки
на своей
«вершине голой».
Ла Фавьер.
1929–1932 гг.



Фавьерская
идиллия.
Поэт на веранде
своего дома,
Мария
Ивановна
и Микки в саду.
1930–1932 гг.



Обложка журнала «Сатирикон» — «Колониальный выпуск». *Париж. 1931 г.*

Литературный юбилей Александра Михайловича Гликберга, который четверть века назад дебютировал как поэт Саша Черный (сидит справа на переднем плане). Рядом с поэтом верный друг Александр Куприн (сидит в центре). *Париж. Март 1930 г.*

Из последних фотографий Саши Черного. *Ла Фавьер. Лето 1932 г.*





Поэт и его поклонница.
Ла Фавьер. 1930–1932 гг.

эксцессы, и обещалъ, что партія окажетъ воздѣйствіе на свои боевыя дружины и за- сорвать собраніе баварской народной партіи.

Смерть писателя А. М. Чернаго

Вчера въ Лаванду, на югѣ Франціи, въ департаментѣ Варъ, скончался на 51-мъ году жизни русскій писатель Александръ Михайловичъ Гликбергъ, получившій широкую извѣстность и популярность подъ псевдонимомъ А. Чернаго и Саши Чернаго.

А. Черный началъ свою литературную дѣятельность съ бытовыхъ юмористическихъ стиховъ, печатавшихся въ "Сатириконѣ" и вышедшихъ отдѣльной книгой еще до войны. Въ зарубежьѣ онъ получилъ, однако, наибольшую извѣстность своими книгами для дѣтей. Въ стихахъ и въ прозѣ онъ описывалъ похожденія разныхъ животныхъ ("Фоксикъ Микки", "Кошачья санаторія" и т. д.) и пріобрѣлъ симпатіи широкаго круга молодыхъ читателей.

Его безвременная смерть является подлинной утратой, въ особенности для русской дѣтской литературы, имѣющей въ настоящее время такъ мало талантливыхъ представителей.

Редакционный некролог в газете «Возрождение».
Париж. 6 августа 1932 г.

Современный вид кладбища в Лаванду, где в августе 1932 года был погребен поэт. В центре на стене здания мемориальная доска в память о Саше Черном. *Франция*



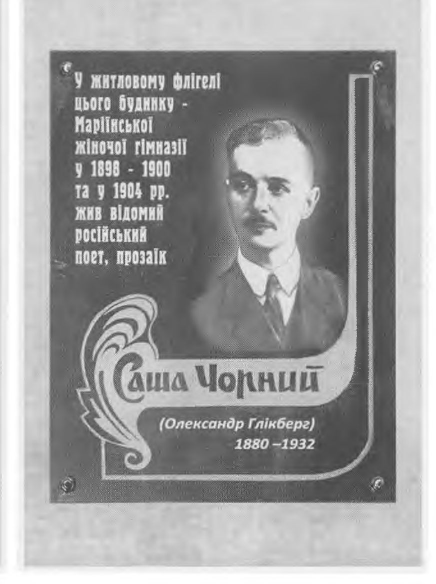
Первоначальный вид утраченной могилы Саши Черного. *Лаванду. 1933 г.*

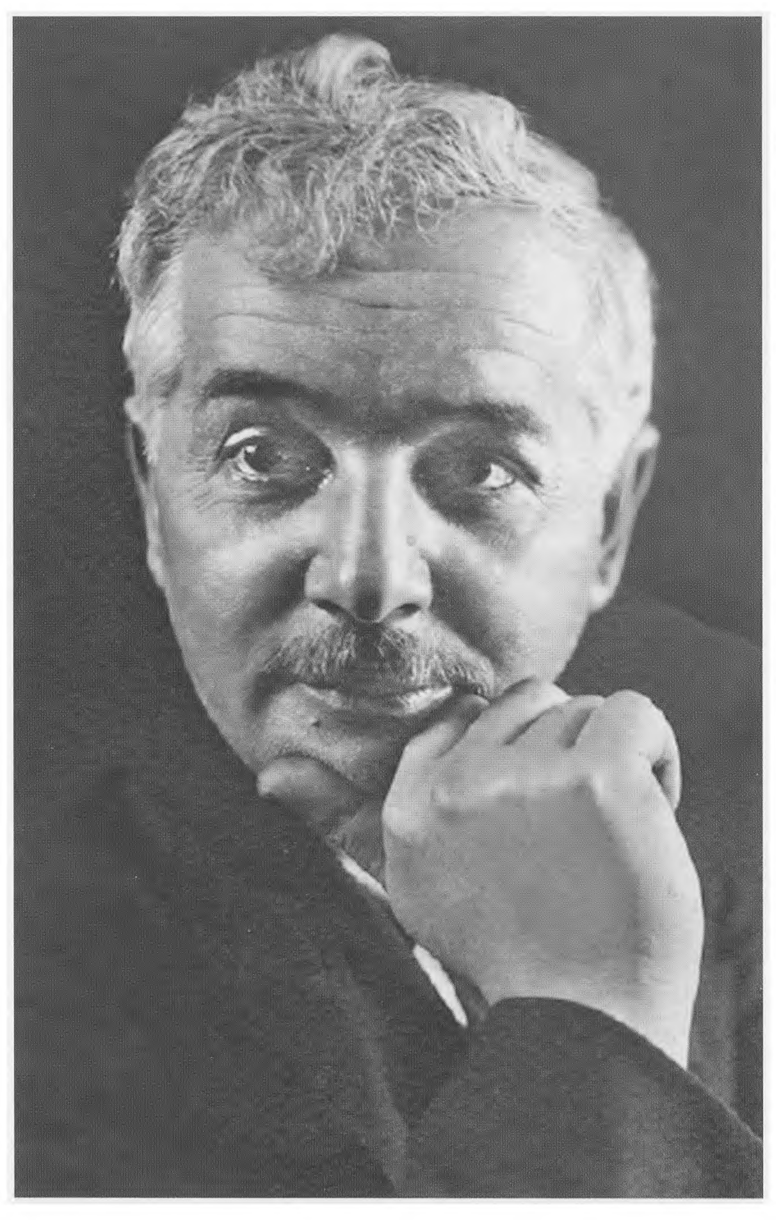


Мемориальная доска в память о поэте, установленная русскими эмигрантами в конце 1970-х годов. *Лаванду*



Мемориальная доска на здании бывшей Мариинской гимназии в Житомире. *Фото 2014 г.*





Саша Черный: *Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...*
Оставайся! Лишь в них оправданье земли.

вало этого ожидать, — Илья Василевский (Не-Буква). Черный знал его с незапамятных питерских времен, посылал материал для публикации в его парижскую газету «Свободные мысли», совершенно антисоветскую, и вдруг такие перемены. Василевский приехал в Берлин с молодой женой, позднее вспоминавшей, что Саша Черный был «самым непримиримым» к большевизму, «слыл замкнутым, нелюдимым, застенчивым. О нем говорили коллеги: "Саша Черный так оживился, что даже поднял глаза..."» (*Белозерская-Булгакова Л. Е.* Воспоминания. М.: Художественная литература, 1990. С. 33—34). Видимо, «поднял глаза» и на Василевского, пытаясь разглядеть, краснеет ли он, работая теперь на большевиков. Краснеет, но не от стыда:

Раскрасневшись, словно клюква,
Говорит друзьям Не-Буква:
«Тридцать сребреников? Как?!
Нет, Иуда был дурак...
За построчные лишь слюни
Самый скромный ренегат
Слупит больше во сто крат!»
(«Эпиграммы», 1924)

Однако далеко не все сдались. Черный был рад встретить приехавшего на время в Берлин Петра Потемкина, старого товарища-сатириконца, от которого услышал очередную историю выживания. В своих скитаниях тот обзавелся непозволительной роскошью: новой женой и маленькой дочкой. Вместе с ними бежал из Москвы в Одессу, оттуда в Бессарабию, ставшую румынской, откуда контрабандистскими тропами добрался до Днестра, где сел наконец в лодку... Теперь Потемкин жил в пражском пригороде Мокропсы, где часто видел Цветаеву, поселившуюся с мужем там же.

Потемкин явно нуждался, выглядел неважно. В Берлине он продал Гржебину книгу стихов «Отцветшая герань: То, чего не будет», продолжение и одновременно надгробие своей питерской «Герани» 1912 года, и уехал обратно в Прагу.

Саша же устал, издергался до такой степени, что снова начал грезить «вершиной голой»:

О, если б в боковом кармане
Немного денег завелось, —
Давно б исчез в морском тумане
С российским знаменем «авось».

Давно б в Австралии далекой
Купил пустынный клок земли.
С утра до звезд, под плеск потока,
Копался б я, как крот в пыли...

Завел бы пса. В часы досуга
Сидел бы с ним я у крыльца...
Без драк, без споров мы друг друга
Там понимали б до конца.

По вечерам, в прохладе сонной,
Ему б «Каштанку» я читал.
Прекрасный жребий Робинзона
Лишь Робинзон не понимал...

Потом, сняв шерсть с овец ленивых,
Купил в рассрочку б я коров...
Двум-трем друзьям (из молчаливых)
Я предложил бы хлеб и кров.

Не взял бы с них арендной платы
И оплатил бы переезд, —
Пусть лишь политикой проклятой
Не оскверняли б здешних мест!..
(«Эмигрантское», 1923)

Не стоит думать, что Австралия — это символ несбыточного. В то время русские эмигранты, особенно казаки, активно ехали и туда, чтобы «осесть на земле». Однако для Саши Черного «вершина голая» оставалась пока недосягаемой. Тем не менее Господь услышал молитвы поэта и послал жаждущему перемен — перемены.

Весной 1923 года Анна Ильинична, вдова Леонида Андреева, которую Александр Михайлович и Мария Ивановна некогда приютили у себя на Вальштрассе, смогла отплатить им за гостеприимство и пригласила с собой в Рим. Дела ее давно поправились: она перевезла в Берлин всех детей, смогла вывезти из Финляндии мебель, большую библиотеку, а главное, архив мужа, что позволяло ей теперь безбедно существовать. Анна Ильинична вела переговоры с зарубежными издателями и режиссерами (Леонид Андреев написал немало модернистских пьес, некогда очень популярных в России). Из-за обстановки в Берлине она решила ехать в Рим, где были желающие с ней сотрудничать.

Анна Ильинична нуждалась в помощи. Во-первых, она плохо владела иностранными языками и не справлялась с деловой перепиской; во-вторых, узнала, что в Риме нет русской гимназии и нужен был домашний учитель. Здесь Мария Ивановна была незаменимой. Определенно это был подарок судьбы, и они с мужем долго не раздумывали. Из Берлина нужно было спасаться, к тому же Анна Ильинична предложила оплатить им проезд до Рима и полный пансион.

В Париж, Куприну, полетело письмо:

«Дорогой Александр Иванович!

<...> Собираемся с женой в Италию: ей предлагают там уроки, а у меня на несколько месяцев будет литерат.<урная> работа (все по детской части), с возможностью перевода в Америке на англ.<ийский> и евр.<ейский> языки (от двух бортов дуплет в угол). Ждем визу и укладываем вещи: накопилась чертова куча хлама — то патентованный самозажигатель, то упражнения в заумном языке г. А. Белого в семнадцати томах; что брать с собой, что выбросить — решить не легко.

<...> Из Италии напишу Вам обстоятельно, есть всякие планы, надо что-нибудь для детей сделать, да в здешней огол-телой жизни три с лишним года как в котле выкипели.

Ваш А. Черный. 25/VI—1923 г.» (цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 210—211).

Полагаем, что детская книга, о которой писал Александр Михайлович, это задуманное и не осуществленное им отдельное издание «Библейских сказок». Вряд ли что-то другое могло заинтересовать еврейского и американо-английского читателя. Что же касается «кучи хлама», с которой поэт не знал, что делать, то в конце концов он все-таки привез с собой в Рим обширную библиотеку, так и не сумев с ней расстаться.

Александр Михайлович и Мария Ивановна собирались обстоятельно, значит, в Берлин возвращаться не планировали. Вряд ли они ждали от Италии чудес, скорее оттягивали момент принятия окончательного решения. Многие тогда считали, что Германия, Италия — это еще не бесповоротная эмиграция, это так, путешествие. А вот Париж — всё, изгнание.

Об этом думать не хотелось.

Глава девятая

РИМЛЯНИН

Партер и галерка римского театра заполнены. Идет пьеса Леонида Андреева «Жизнь Человека». Право постановки выкуплено у вдовы драматурга.

Саша Черный окидывает взглядом сидящую рядом семью Леонида Андреева, с которой почти сроднился. Восторженная девочка, шепотом повторяющая слова пьесы, — это тринадцатилетняя Вера Андреева, рядом с ней мальчик помладше — брат Валентин* («Тин»); ему одиннадцать. Савва** сейчас задумчив, от чего усиливается сходство с отцом. Возле Саввы — Анна Ильинична, погруженная в себя; ей чуть-чуть за сорок, и она все еще очень красива, но красота какая-то цыганская, инфернальная, тяжелая. Вот Нина — дочь Анны Ильиничны от первого брака, в Берлине она посещала драматическую студию и считает себя актрисой. С ней рядом женщина средних лет, это Наталья Матвеевна, «тетя Наташа», как зовут ее дети, вдова брата Леонида Андреева; в семье Анны Ильиничны она вроде прислуги за символическое жалованье. Ну и рядом с самим поэтом жена, воспитатель всех этих детей, изрядно измотавших ей нервы.

Вот уже второй месяц Александр Михайлович и Мария Ивановна живут в Риме. Нельзя сказать, что они обрели здесь твердую почву под ногами. В Италии было лишь немногим лучше, чем в Германии. Ко времени их появления здесь итальянская Национальная фашистская партия уже осуществила свой «поход на Рим» (27—30 октября 1922 года), а ее лидер Бенито Муссолини стал главой правительства и произносил зажигательные речи с балкона палаццо Венеция. По улицам Рима маршировали «чернорубашечники».

---

* Он назван в честь художника Валентина Александровича Серова, близкого друга Л. Андреева.

** Назван в честь Саввы Тимофеевича Морозова, который в 1905 году освободил Л. Андреева из Таганской тюрьмы, внеся за него большой денежный залог.

По счастью, все это чисто пространственно было далеко, потому что наши герои поселились не в самом Риме, а в его окрестностях — в Кампанье*, районе диких предгорий Апеннин, которые Андерсен сравнивал с «развернутой страницей всемирной истории». Здесь каждый холм, каждая кочка могли оказаться древним памятником, возраст местных акведуков и вилл терялся в веках.

Анна Ильинична Андреева не случайно остановила свой выбор на Кампанье. Девять лет назад, весной 1914 года, ее привозил сюда покойный муж. Теперь, сняв дачу (по-местному «виллу»), она писала матери в Петроград о том, какая красота вокруг: «Изумительное сочетание орловских полей и жаворонков с Римом, Нероном и Каракаллой. От нас до Кампаньи пятнадцать минут. Город обрезается сразу же, как по линейке, и сразу бесконечные дали, воздушные горы и широчайшее небо, лазурное и чистое, как в первый день мироздания, с грядками нежнейших облачков. С каждого холма вид такой широты, будто смотришь с высочайшей горы. По Кампанье хочется летать, плавать, кататься боком. Я, как выхожу, начинаю вслух твердить, как идиот: какая красота!» (цит. по: *Андреева В.* Эхо прошедшего. С. 198).

В этой красоте и оказался Саша Черный, ставший, хотя и на время, римлянином и заучивший свой новый адрес: виа Роветто, 15. Из центра города он добирался сюда на трамвае по длинной виа Номентана, которой было две тысячи лет, и сходил на конечной станции, откуда уже были видны туманные силуэты гор.

За узорчатой оградой их дома уютный садик с зарослями роз, олеандра, лимонного дерева. Домик привратницы, у которой поэт часто бывает: он дружит с ее крошечной дочуркой. Дорожки, посыпанные светлым гравием. После серого, тяжеловесного Берлина кокосовая пальма в центре клумбы кажется миражом: «Словно зонт пыльно-зеленый / Пальма дворик осенила...» («Дитя», 1924). А на листьях пальмы «осы строят шапкой соты».

Сама вилла двухэтажная, мраморное крыльцо с перилами. Грозди фиолетовой глицинии свисают с крыльца и с балконов. У супругов Гликберг собственные покои на первом этаже, рядом со столовой, куда все обитатели дома собираются на трапезу.

Для Саши Черного потекло беззаботное житье в Вечном городе. Житье на всем готовом. Житье без страха, что кто-нибудь нагрянет и станет «торговать Россией». Здесь вовсе не с

* *Campania* (от лат. *Campania*, от *Campus* — «поле, равнина») — буквально: пригород, сельхоззона.

кем было общаться. Неудивительно, что немедленно проснулось светлое «я» поэта. Благодушный «человек-овощ» в садике под раскидистой пальмой лениво размышлял, какого кьянти — белого или красного — выпить во славу бытия:

Пол-литра белого, — так жребию угодно.
О виноградное густое молоко!
Расширилась душа, и телу так легко.
Пол-литра красного теперь войдет свободно.
(«Римские камеи», 1923)

Хмелея и от кьянти, и от южного солнца, Черный бродил по Риму. Замирал от восторга у Фонтана четырех рек на Пьяцца Навона, гулял по аллеям виллы Боргезе, «растекался овощем» в трактире рядом с форумом Траяна, всем своим существом понимая относительность времени:

Эй, воробьи, не драться!
Мне триста лет сегодня,
А может быть, и двадцать,
А может быть, и пять.
(«По форуму Траяна..», 1928)

Возвращался в Кампанью, брал с собой детей и отправлялся исследовать окрестности. Шумной и веселой ватагой шли они по холмам, откуда открывался вид на старинные акведуки, таинственные развалины. Впереди всех несся долговязый щенок:

Со щенком, взлохмаченным бродягой,
Мы ушли в поля.
....
Опьянел мой пес от вольной шири —
Две звезды в зрачках.
(«Римские офорты», 1924)

Щенка притащил в дом Савва. Это был весомый аргумент, но все же Анна Ильинична оставить собаку считала немыслимым. Александр Михайлович, хотя и жил на положении гостя, проявил твердость и убедил, что собака в доме просто необходима. И вульгарная дворняга, получившая торжественное имя Бенвенуто («благословен приходящий»), воцарилась на виа Роверетто.

Иногда в компании, шагающей по Кампанье, была и махонькая девчушка, дочь привратницы, к которой Саша Черный привязался всей душой и воспел в нежной поэме «Дитя». По словам Веры Андреевой, малышку звали Нинеттой, но в стихах осталось имя Роза. Розой называла девочку и Ва-

лентина Праве, приятельница Анны Ильиничны. Она вспоминала, что это «было очаровательное 4-х летнее создание, блондинка с огромными синими глазами и лицом Мадонны» (*Праве В.* Воспоминания о Саше Черном). Поэт брал Розу за ручку, подводил к лошади или теленку и говорил: «Роза, почему же ты не здороваешься? Посмотри, эта коровка первая тебе кланяется, это невежливо». Корова трясла головой, отгоняя мух. Роза начинала вежливо кланяться, а Черный учил ее делать реверанс. То же проделывалось перед барашками и даже жабами.

Девочка стала музой поэта и в свободное время, которого было с избытком, он даже подглядывал за ней, в чем сам признавался:

Жалюзи щитом поставив,
Словно в шапке-невидимке,
Я смотрю на это чудо,
Широко раскрыв глаза.
Это радостное тельце,
Этот полный кубок жизни,
Мне милей стихов Петрарки,
Слаще всех земных легенд...
(«Дитя»)

Александр Михайлович, подглядывая за чудо-девочкой, не подозревал, что за ним тоже подглядывают. «Я как сейчас вижу такую картину, — вспоминала Вера Андреева. — Саша Черный, думая, что его никто не видит, в укромном уголке нашего садика присел на корточки перед маленькой дочкой нашей дворничихи Нинеттой, которая возится со своими игрушками. Она рассаживает кукол на землю, чем-то их кормит и разговаривает с ними. Я, притаившись за кустом, наблюдаю. <...> Доверительно положив ручонку ему на колено, она, подняв к нему лицо... показывает Саше куклу, сует ее ему в руки и с увлечением смотрит, как он бережно берет ее и начинает кормить с ложечки. Глубокая нежность и ласка совершенно преображают обыкновенно брезгливое и недовольное лицо Саши Черного — оно просто светится добротой, всегда насмешливые глаза ярко блестят, он всей душой погружается в детский мир игры. Более того, он сам превращается в ребенка» (*Андреева В.* Эхо прошедшего. С. 206).

Наблюдательная Вера почти слово в слово описала ту метаморфозу, которая так поразила некогда Корнея Чуковского, увидевшего, как поэт катает на лодке по Крестовке малышей. Сама же Вера, судя по воспоминаниям, чаще видела «брезгливое и недовольное лицо» Александра Михайловича. Смеем предположить, что особую нежность поэт испытывал толь-

ко к совсем маленьким детям, а дети Андреева, пережившие смерть отца и Гражданскую войну, были уже достаточно взрослые и самостоятельные.

Похоже, что первое время в Италии Саша Черный был счастлив. Никто ему не докучал, и он умиротворенно созерцал местные нравы. Вот, например, в Риме повсюду кошки. Это какой-то кошачий город. Бродя вокруг форума Траяна, поэт забавлялся тем, что наблюдал на дне раскопа за жизнью кошачьих свор. Живут вольготно — каждая сердобольная туристка считает своим долгом кинуть им кусок и запечатлеть на фотоаппарат свой великодушный жест. Настоящая кошачья санатория!

Банальная сцена кормления котов, подсмотренная на форуме Траяна, выросла в Сашином воображении в целую волшебную историю. Теперь по вечерам обитатели виллы слушали в его исполнении написанные за день сцены забавных приключений римского хулиганского кота Бэппо, которого за несносный характер хозяин выбросил на форум Траяна.

Сюжет сказки незамысловатый. Бэппо, став пленником, усваивает местные законы: чужой добычи не трогать, никого с насиженного места не сгонять, драки по расписанию, концерты в лунные ночи под управлением синьора Брутто, вдохновенного и одноглазого, вымазанного дегтем. Если будешь следовать законам — будешь счастлив и сыт. Но Бэппо не может смириться с мыслью о том, что он пленник и никогда больше не сможет лазать по римским чердакам. Один старый и от всего уставший кот Неро (уж не от Нерона ли?) доканал его тем, что рассказал о какой-то сказочной Кампанье, которая будто бы есть возле Рима. Там так хорошо, что старику Неро даже снится: «Камыши, ящерицы, речонка поет, цикады трещат, жаворонки над полями заливаются...» Он объяснил Бэппо, как добраться в эту Кампанью: «До площади Венеция. <...> А там трамвай № 17. <...> Так вот трамвай бежит до городских ворот. Porta Pia — называется. А дальше все прямо и прямо до последней остановки. И там, куда ни повернешься, со всех сторон Кампанья эта тебя и обступит...» И Бэппо придумал хитроумный план: он прикинулся мертвым, старик-пьяница Скарамуччио, приставленный кормить котов и убирать подохших, бросил его в свой мешок... Дальше всё было просто, и очень скоро наглый кот уже ехал в трамвае в Кампанью.

И сам Бэппо, чье имя наверняка пришло из одноименной поэмы Байрона, и другие персонажи сказки — веселый перепев известных сюжетов и образов мировой литературы. К примеру, кошачий Председатель форума, синьор Бимбо, философские житейские воззрения явно унаследовал от своего предшественника — гофмановского Кота Мурра. Жестокий

хозяин Бэппо, синьор Спагетти, как и кот-любовник Брутто — это просто очень смешно, и чувствуется, что Саша Черный не отказал себе в удовольствии от души повеселиться*.

Сказка про Бэппо получит название «Кошачья санатория» и будет опубликована через несколько лет. Для нас она важна не столько римскими приметами, сколько тем, что это была первая серьезная попытка ее автора посмотреть на мир глазами «братьев наших меньших». Пока еще он не решился перевоплотиться полностью, и повествование ведется от третьего лица, однако через год в другой сказке он скажет «я» в полный голос, и голос этот будет... собачий. Разумеется, мы имеем в виду его знаменитый «Дневник фокса Микки».

Между тем в Рим пришла осень. Стало сыро и холодно. Никакой системы отопления на вилле не было предусмотрено, и ее обитатели отчаянно мерзли. Благодушие Александра Михайловича испарилось бесследно. Вера Андреева вспоминала, что он начал капризничать и особенно расходился за столом, если видел в тарелке опостылевшие спагетти с пармезаном. Он «правой рукой пренебрежительно ковырял вилкой в макаронах, а нервными движениями мизинца левой руки смахивал несуществующие крошки со скатерти, изредка бросая короткие испепеляющие взгляды». «Тетя Наташа», готовившая еду, расстраивалась: она никак не могла ему угодить. Не считая возможным обрушиться на бедную женщину, Черный исторгал злобные монологи в адрес макарон и ленивой итальянской нации, которая ничего вкуснее не придумала, проклятого Муссолини, его квадратной челюсти и лысой головы. Дуче он предрекал гибель на виселице или под ножом гильотины (и ведь не ошибся). Обитатели виллы смущенно молчали и давали ему выговориться, зная об одной неприятной истории.

Случилось это в ноябре 1923 года, когда чернорубашечники праздновали двухлетие основания своей партии. Вспоминает Вера Андреева: «Глубоко задумавшись и ничего не замечая вокруг, он (Саша Черный. — *В. М.*) брел по улице, опустив голову, по своему обыкновению заложив руки за спину. Он так задумался, что не услышал трубных звуков фашистского гимна, не увидел ни знамени, ни шагающего отряда чернорубашечников. Опомнился он от удара палкой по голове, сбросившего с нечестивца шляпу и оставившего большую шишку на его темени. Он еле доплелся до дому и с пеной у рта сыпал

* Саша Черный в некотором смысле стоял у истоков «кошачьей темы» в литературе XX века. В дальнейшем ее продолжит американский поэт Томас Элиот в цикле стихов «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом» (1938), который ляжет в основу популярного мюзикла «Кошки» (1981).

проклятья варварству фашистов, которые ударили его за то, что он не снял шляпу перед их "паршивым знаменем"» (*Андреева В.* Эхо прошедшего. С. 205). С поэтом вообще все время что-то случалось, и та же Вера вспоминала другой эпизод, гораздо менее трагичный: однажды Александр Михайлович по своей растерянности устремился в какую-то узкую улочку, где было принято выливать помои в окно. Домой он явился с «паста шута» под красным соусом, свисающими со шляпы, и с арбузной коркой на макушке.

Вообще Вера Андреева писала о нашем герое с изрядной иронией. Вот он, например, ссутулившись и заложив руки за спину, в раздумье стоит посреди садика. Его фигура настолько комична, что Савва нарисовал на него карикатуру: «Очень выразительно получился у Саввки уныло свесившийся на лоб хохолок на голове Саши, его поза животом вперед, покатые плечи, мешком висящие брюки и эти руки, заложенные за спину таким ленивым жестом. Казалось бы, Обломов, настоящий Обломов!» (*Андреева В.* Эхо прошедшего. С. 204). А вот Черный бродит со своей мандолиной и напевает известную неаполитанскую песню «Вернись в Сорренто!», которую переделал на свой лад: «Скажи мне ласковое слово — и ты увидишь, кем я буду: выше шаха, выше хана, выше Гималай-гора я буду! Покрою Белуджистан, Персию и Индию, дагестанским шахом буду, а тебя я не забуду!» По словам Веры, пел поэт «очень верно», с «неподражаемым кавказским акцентом». Или другой нюанс: он не раз заявлял во всеуслышание, что презирает итальянский язык и никогда не будет его учить, а сам бегло болтал с малышкой Нинеттой, разумеется, на итальянском.

Мария Ивановна в мемуарах Веры Андреевой тоже вышла с налетом комизма. Она должна была учить детей точным наукам, географии, литературе, итальянскому и русскому языкам. Насмешливые и хитрые дети быстро заметили, что она сама не сильна в географии, а ее итальянский язык «звучал с таким нижегородским акцентом, что мы только пожимали плечами, с трудом удерживая нечестные улыбки».

Жизнь на виа Роверетто текла размеренно. Бывший щенок Бенвенуто вымахал в рыже-коричневого хулиганского кобеля, третирующего всех домашних. Не дай Бог кому-нибудь было оказаться рядом с миской, когда он ел, — кусал за ноги. Однако к нему привыкли и очень любили. Анны Ильиничны почти никогда не было — она занималась делами, и небезуспешно. Ей удалось издать в Риме сочинения мужа, подписать договор с миланским издательством на переводы и, как мы уже знаем, продать одному римскому театру право постановки «Жиз-

ни Человека». Все это можно назвать редким везением. Мы располагаем свидетельством о картине нравов в итальянском издательском мире именно в 1923 году — письмом литератора-эмигранта Михаила Первухина Аркадию Аверченко. Приведем цитату, дабы стало ясно, что никаких шансов печататься здесь у Саши Черного не было:

«Италия — страна весьма своеобразная, особенно в издательском деле. Не думайте, что я шучу. Не до шуток.

Даже в газетах добрая половина печатаемого материала оплачивается авторами, а не авторам. Как у нас "каждому человеку лестно быть диаконом" — так и здесь нет отбою от таких графоманов, которым лестно увидеть свое славное имя в печати.

Издатели действуют в соответствии: довольно охотно печатают вещи при условии, что автор оплачивает все расходы по напечатанию и распространению своей книжки.

Когда я вел здесь переговоры о напечатании вещей Бунина, Куприна и др. коллег, — то мне приходилось получать от солидных даже издателей "сметы авторских расходов". Только два или три мелких и явно жульнических издателя были столь снисходительны, что довольствовались требованием с автора оплаты расходов "на покупку бумаги". Самый добросовестный из этих издателей — крупнейшая миланская фирма — написал:

— Издание обойдется вам в 5000 лир. Мы согласны заняться этим делом, если автор выплатит нам наличными 2500 лир и гарантированными векселями с годовым сроком остальную сумму. Если книга разойдется, то мы обязуемся в е р н у т ь автору эти его расходы. И в с е.

<...> Р а б о т а т ь с итальянцами... з а р а б а т ы в а т ь с них — нет, до этого их культура еще не дошла. Единственный труд, который здесь ценится — труд чисто физический» (разрядка М. Первухина. — *В. М.*)*.

Мария Ивановна подтверждала, что «литературной работы Саша не мог найти в Риме», и вспоминала лишь об одном его успешном деловом контакте этого времени. Некое парижское издательство купило «Детский остров» с правом перевода на французский и заплатило автору ощутимый гонорар в одну тысячу франков. Об этом и других своих успехах, а также печалях Черный писал Куприну в Париж:

«Дорогой Александр Иванович!

Письмо Ваше залежалось в Берлине на нашей старой квартире, и только на днях переслали его в Рим. Получил и номер

* Письмо Михаила Первухина Аркадию Аверченко // РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 2. Ед. хр. 44. Л. 1—2.

“Русской газеты” с Вашим рассказом. За посвящение — спасибо...

Теперь совсем о другом, дорогой Александр Иванович. Живем в Риме пока сносно, у жены постоянные уроки (с детьми Л. Н. Андреева), я продал свой “Дет.<ский> остров” франц.<узскому> и америк.<анскому> издательству (право перевода). Очень хочется писать для детей. Русских журналов для детей нет, альманахов — тоже. Если есть в Париже франц.<узские> журналы для детей (несомненно есть), то куда и что посылать для перевода (прозу, конечно)? Если Вы в данном случае можете немного помочь мне, глубоко буду Вам обязан.

Жене Вашей кланяемся оба. Вам сердечный привет. Книг здесь нет, знакомых — ни души. Вообще, как в погребе.

Ваш А. Черный» (цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 212).

Сравнение с погребом могло прийти и по причине холода и сырости. Александр Михайлович бродил по дому в халате, а то и в пледе поверх одежды и отчаянно скучал. Что же касается «знакомых — ни души», то в конце осени 1923 года ситуация изменилась. В Риме вдруг появился целый сонм старых знакомых, с которыми поэт недавно простился в Берлине. Все они приехали на конференции, организованные местным ученым-славистом Этторе Ло Гатто, большим энтузиастом, знатоком и переводчиком русской классики.

Ло Гатто возглавлял Славянский отдел римского Института Восточной Европы, созданного в 1917 году и занимавшегося изучением восточных церквей и сопутствующих культурных аспектов. С началом учебного года Ло Гатто задумал организовать несколько конференций о России и в качестве докладчиков пригласил русских писателей и ученых, оказавшихся в эмиграции. И вот Саша Черный вновь встретил писателей Михаила Осоргина, Бориса Зайцева, вспоминавшего, что институт работал на виа Национале: «Туда все сходились, там встречались, оттуда вместе шли обедать или в кафе»*. Этторе Ло Гатто с удовольствием показывал гостям Рим и, по словам Марии Ивановны, знакомил в том числе и «с интимной стороной “вечного города”». Незаменимым проводником в этих веселых прогулках оказался писатель Павел Павлович Муратов, также прибывший из Берлина. Он прекрасно разбирался в литературе итальянского Ренессанса и был автором популярной книги «Образы Италии» (1911—1912). Муратов знал в Риме каждый камень и пешком прошел всю Кампанью. Бла-

* *Зайцев Б. К.* Дневник писателя // http://lib.rus.ec/b/383402/read

годаря ему наши герои смогли увидеть Рим, где были не впервые, по-новому.

Мария Ивановна вспоминала, что самым необычным их собеседником в эти дни стал индус Хасан Шахид Сураварди, многолетний друг актрисы Марии Гермaновой, возглавлявшей в то время Пражскую труппу МХТ. Сураварди прекрасно говорил по-русски, интересовался всем славянским и тоже приехал послушать доклады. Черный общался с ним с огромным любопытством. Хасан был родом из Калькутты, там окончил университет, потом учился в Оксфорде, а в 1914 году приехал в Россию учить русский язык. Преподаватели английского языка тогда были редкостью, и в этом качестве его сразу пригласили в Петербургский университет и на московские Высшие женские курсы. Веселый и общительный индус, туго разбиравшийся в тонкостях российской политики, рассказывал, как подтягивал по английскому языку Керенского. В революционном 1918 году он подружился с труппой МХТ и поставил вместе с ними «Короля темного чертога» Рабиндраната Тагора. Потом увязался за своими друзьями, артистами Василием Качаловым и Марией Гермaновой, на гастроли и оказался в Европе. Теперь жил в Праге и продюсировал постановки той самой Пражской труппы МХТ. Мария Ивановна вспоминала, что он много рассказывал им с мужем об Индии, буддизме, индийской культуре, мировоззрении, обычаях.

Однако вспышка наполненного общения быстро погасла. К концу декабря 1923 года все разъехались, и на виа Роверетто снова вползла скука. Черный, не имевший в Берлине свободного времени, а теперь пребывавший в бездействии, как и следовало ожидать, начал тосковать. На него обрушилась ностальгия — прошлое начинало мстить. Отнюдь не Одесса, Житомир или Петербург не давали ему покоя — какую-то свою вину он определенно чувствовал перед Псковом и, словно пытаясь что-то там, в ушедшем, исправить, молил Господа: «...услышь мой зов: / Перенеси сюда за три версты от Тибра / Мой старенький, мой ненаглядный Псков!» («На площади Navona», 1925). Чтобы избавиться от призраков, Черный сел писать поэму «Дом над Великой» о той псковской семье, у которой он жил на Завеличье. И сразу всплыло в памяти Рождество 1917 года: баржи, вмерзшие в лед Псковы, жуткий мороз. А здесь, в Риме, что за зима? Выпал какой-то снежок, осел на пальмах — и удивленные итальянцы выскакивают на него поглазеть! Пес Бенвенуто носится, нюхая неизвестную субстанцию, малышка Нинетта выбежала:

Пес в волнении ласкает
Хрупкий, тающий снежок,

И дитя в саду взывает:
«Снег, синьор!» — Иду, дружок...
(«Белое чудо», 1924)

Таким грустно-задумчивым застала Сашу Черного Валентина Праве, приятельница Анны Ильиничны Андреевой, приехавшая в январе 1924 года погостить из Праги. На вокзале ее никто не встретил, и, с трудом отыскав виллу, замерзшая и промокшая под дождем, она самовольно вошла во двор и на пороге дома наткнулась на человека «в халате, с черногорской шапочкой на голове». Подвергнув ее тщательному осмотру, тот заметил: «Вы, кажется, немного промокли и вам надо поскорее переодеться. Печей у нас нет и в комнатах невероятный холод, здесь очень легко простудиться». Праве от смущения не сразу рассмотрела владельца халата и, только придя в себя, узнала:

«...я сразу вспомнила: “Голова моя седая, а глазам 16 лет”. Сомнений не было, передо мной стоял Саша Черный, смотрел на меня и улыбался. Таких глаз я никогда и ни у кого не видела. Он выглядел совсем молодым, без единой морщинки, с очень мягкими, приятными чертами лица, с каким-то юношеским задором в глазах. Так странно было видеть его седые волосы, весело вьющиеся над челом, но это его не портило.

На нем был коричневый теплый халат, неизменный его спутник. <...>

Вероятно, я слишком долго его рассматривала, и он рассмеялся. Меня поразил этот смех. Он совсем не был веселым. Грустное лицо, как всегда, и только глаза сияли немеркнущим светом.

“Идите, идите скорее в комнаты, там вы найдете всех, кто вам нужен”» (*Праве В.* Воспоминания о Саше Черном).

Валентина Георгиевна, по ее словам, «прожила с семьей Гликберг в одном доме несколько месяцев». Это спорное утверждение, учитывая, что приехала она в январе, а в феврале Александр Михайлович и Мария Ивановна уже жили не здесь, а в гостинице. Однако важно не это. Мы можем теперь дополнить детские воспоминания Веры Андреевой сведениями взрослого и наблюдательного человека.

При новой даме поэт расправил крылья. Однажды она пожаловалась, что очень мерзнет по ночам. Вечером в дверь ее комнаты постучали и рука протянула халат: «Возьмите, может быть, будет теплее». Валентина Георгиевна оценила жест, ведь халат был чем-то вроде тотема. Утром поэт спросил:

«— Ну что, теплее было?

— О да, спасибо, замечательно. Но ваш халат волшеб-

ный, — я всю ночь во сне стихи писала. Теперь я знаю, почему вы их умеете писать, что вас вдохновляет. Даже утром еще их помнила, а халат забрали — все забыла.

А<лександр> М<ихайлович> смеется — доволен».

Черный больше не скандалил за столом, а, напротив, каждую трапезу превращал в веселое действо. По словам Валентины Георгиевны, с ним невозможно было есть: от хохота «обязательно кто-нибудь из нас давился и начинал неистово кашлять, а он сам, как самый талантливый комический артист, никогда не смеялся, только удивленно раскрывал и без того большие глаза, что вызывало новые взрывы нашего смеха». Насмешливый взгляд поэта подмечал любую оплошность домочадцев, и нередко за столом оглашалась смешная эпиграмма. «Жертвы» умоляли подарить стишок, но он этого не делал. Когда Саша Черный начинал слоняться по дому и скучать, Мария Ивановна просила Валентину Георгиевну пойти с ним куда-нибудь, и та с удовольствием соглашалась, поскольку более «интересного и остроумного собеседника» она еще не встречала. Чаще всего ездили в Ватикан и на виллу Боргезе.

Как-то, вернувшись с прогулки, они застали «тетю Наташу» и детей в слезах. Те рассказали, что Бенвенуто забрали живодеры, бросили в железную клетку и уехали в неизвестном направлении. Дети рыдали так, что Анне Ильиничне пришлось узнать адрес санитарной службы и ехать туда вызволять собаку; за ней увязался Савва. Вскоре они вернулись с победой и велели «тете Наташе» срочно купить ошейник и поводок, чтобы не платить больше штрафов (а это пришлось сделать) и избежать подобных стрессов.

Весь дом ликовал, ошейник и поводок были торжественно куплены, но с Бенвенуто было неладно. Пес перестал есть, замкнулся, а потом покусал всех в доме, включая Черного. Вызвали ветеринаров, те заперли собаку в сарай, а домочадцев отправили делать прививки от бешенства. Валентина Праве утверждает, что Александр Михайлович отказался. Более того, как-то она увидела, что он открывает дверь в сарай к Бенвенуто, и рванулась ему помешать. Черный посмотрел на нее с укоризной и сказал, что «это единственное существо в доме не бешеное» и если любого запереть без воды и еды — «каждый сбесится». И к ужасу Валентины Георгиевны, он вошел к собаке, сел рядом и стал ее гладить. Несчастный Бенвенуто его не тронул, просто отвернулся.

Оказалось, что пес заболел, и ветеринар велел его усыпить. Валентина Праве была потрясена поведением Черного: «В этих маленьких фактах жизни мне хочется выявить необыкновенную натуру поэта, чуткую, отзывчивую ко всякому го-

рю и несчастью, с его любовью ко всему живому». Об этих же свойствах его души много лет спустя вспоминал и Валентин Андреев: «Саша любил все земное, дышащее и ползающее, летающее и цветущее. Он мне сказал раз: никогда не обижай живое существо, пусть это таракан или бабочка. Люби и уважай их жизнь, они созданы, как и ты сам, для жизни и радости» (*Андреев В.* Саша Черный, мой учитель // Русская мысль. 1976. 19 октября).

Драма с собакой стала последним общим переживанием обитателей виллы; вскоре все разъехались. Валентина Праве на прощание получила от Александра Михайловича «полное собрание его сатир и сказки “Детский остров”». Книга предназначалась для ее сына и была подписана так: «Юрке милому мальчишке от Саши Черного приготовишки». Отдельные листы из «Детского острова» до старости хранила и Вера Андреева.

Валентина Праве своими рассказами о жизни в Праге заинтересовала Анну Ильиничну, и та попросила подыскать для них недорогое жилье. Затем, взяв Савву, она уехала в Финляндию, чтобы разузнать судьбу их дома. Оставаться теперь на виа Роверетто Гликбергам было неудобно, и они переехали в отель «Пьемонт», рядом с вокзалом Термини, и в прямом смысле жили «на чемоданах» и «как на вокзале». Герой стихотворения «В гостинице “Пьемонт”» (1924) ненавидит здесь всё: и обстановку, и противный морковный чай, и лакея «с маской Данте». Он раздраженно перебирает полученные письма и выносит приговор своей жизни: «Приятели — собаки, / Издатели — скоты». Его коробит, что для хозяйки гостиницы он — всего лишь «простой синьор с потертым чемоданом», адресат очередного счета:

О, глупая! Пройдет, примерно, год,
И на твоей гостинице блеснет:
«Здесь проживал...» Нелепая мечта, —
Наверно, не напишут ни черта.

Да, мечта нелепая. Не написали.

Нужно было на что-то решаться. Оставаться в Риме не имело никакого смысла. Да и небезопасно: с одной стороны — фашисты, с другой — коммунисты. 7 февраля 1924 года Муссолини подписал договор, которым *de jure* признал Советский Союз. С советской стороны под договором стояла подпись Николая Ивановича Иорданского. Читая об этом в газетах, Саша Черный не мог не дивиться тому, как непредсказуема жизнь. Иорданского, известного литератора, экс-редактора «Современного мира», он прекрасно знал по Петербургу; те-

перь вот этот человек почему-то стал послом и приехал в Рим с дамой, которую также знал весь литературный Петербург, — своей супругой Марией Карловной Куприной-Иорданской, первой женой Куприна и бывшей издательницей «Современного мира». Думается, Иорданские легко могли бы помочь нашим героям вернуться в СССР, если бы те пожелали. Но те не желали.

Куда ехать?! В Прибалтику? Они только недавно оттуда, да и большевиков там полно. В Польшу? Большевиков там нет, но неизбежно будут тяжелые военные воспоминания. Оставался Париж, но легко сказать — Париж. Александру Михайловичу и Марии Ивановне не на что было туда доехать и не было никаких средств на первичную адаптацию. А из Парижа приходили письма с общим рефреном: «Сидите на месте и не рыпайтесь! В Париже — ни квартир, ни работы» (фельетон «Любовь к ближнему», 1924). Скрепя сердце Черный впервые в жизни решился попросить взаимообразную ссуду и написал в парижский Союз русских писателей и журналистов, возглавляемый Павлом Николаевичем Милюковым. Они с женой не могли предвидеть, что ни Милюков, ни его заместитель Владимир Зеелер, знавшие о том, кто такой Саша Черный, письма этого не читали. Оно попало к старому эмигранту Владимиру Драбовичу, который слишком давно жил во Франции и плохо разбирался в современной русской литературе. От него пришел ответ, подобный приговору: пособие выдается только в случае смерти или неизлечимой болезни.

И Саше Черному пришлось пережить еще одну драму:

В Берлине бросил самовар,
А в Риме — книги... Жизнь — могила.
Я ж не советский комиссар —
На перевозку не хватило!
(«Мелкобуржуазные вирши», 1924)

Помог славист Этторе Ло Гатто, и Черный в особо грустный для него мартовский день 1924 года пришел на виа Национале, в Институт Восточной Европы. Несчастному пришлось тоже немножко «торговать Россией» — он принес на продажу часть своей библиотеки и отдал ее ни много ни мало иезуитам, которые руководили институтом.

Что ж, Париж, как известно, стоит мессы.

Глава десятая

ПАРИЖАНИН

Александр Черный

1

В марте 1924 года столица Франции жила приготовлениями к VIII летней Олимпиаде, и всё в городе — транспаранты, неоновые вывески, заголовки газет — кричало о грядущем празднике спорта, намеченном на 5 июля. Ожидалось рекордное количество гостей и участников, и городские власти пошли на вынужденные меры: ввели ограничение на длительность проживания в отелях. Более двух недель задерживать номер не разрешалось, и наши герои с оторопью узнали об этом, устроившись на первых порах в дешевой «Гостинице в Пасси» — так называется забавное стихотворение Саши Черного, зримо воссоздающее быт сумасшедшего эмигрантского ковчега. Представляя его обитателей, поэт открывал воображаемые двери: в номере 5 жил русский художник, и он «сто пятый раз» чертил какую-то печку для рекламного плаката; в номере 12 «дрожит диван, трясутся чашки: / Эсер играет с тетей в шашки»; в комнате с нехорошим номером 13 бывшая баронесса шьет кукол на продажу. Мария Ивановна номеров комнат не помнила, но рассказывала, что их соседкой была Татьяна Сергеевна Варшер, ее бывшая коллега по Бестужевским курсам, историк Античности и археолог. Та голодала, и Мария Ивановна ее подкармливала, благо хозяева гостиницы разрешили готовить на спиртовке — о питании в ресторанах тогда нечего было и думать. Денег не было, и они с мужем сидели на макаронах (которые, как нам известно, он ненавидел), рисе и кофе с хлебом.

То, что «ковчег» находился в Пасси, не случайно: именно здесь, как некогда в берлинском Шарлоттенбурге, осели «вся Москва» и «весь Петербург». Район Пасси относится к 16-му округу Парижа и расположен на юго-западе города, на правом берегу Сены. Соседний с ним район Отёй также был переполнен русскими, которые, живя в Пасси (они шутили — «на Пассях») или в Отёй, могли вообще не соприкасаться с французами, потому что открыли свои русские магазины, гимназии, редакции, рестораны. Не стоит думать, что это были районы

поплоше, подешевле, отнюдь нет. Пасси и Отёй — элитные районы Парижа с роскошной застройкой, Триумфальной аркой и Булонским лесом, красотами которого Александр Михайлович и Мария Ивановна любовались буквально в первые дни по приезде. Что называется, «через дорогу» от Булонского леса, на бульваре Монморанси, 1-бис, жили Куприны, которым они немедленно нанесли визит.

Представить эту встречу нетрудно, потому что о ней оставил воспоминания сам Куприн:

«Я помню, как Александр Михайлович Гликберг приехал из Берлина* в Париж. Ох, уж это время! — неумолимый парикмахер. В Петербурге я его видел настоящим брюнетом, с блестящими черными непослушными волосами, а теперь передо мной стоял настоящий Саша Белый, весь украшенный серебряной сединой. Я помню его тогдашние слова, сказанные с покорной улыбкой:

— Какой же я теперь Саша Черный? Придется себя называть поневоле уже не Сашей, а Александром Черным» (*Куприн А. И.* Саша Черный).

Поэт, в свою очередь, с неменьшей грустью разглядывал Куприна. Седины у того было как раз мало, но весь его облик стал совершенно иным. Александр Иванович сильно похудел, ссутулился, взгляд зорких глаз потух, веки набрякли. От былой удали ничего не осталось, даже татарские черты как-то сгладились. Однако сохранились старые привычки, и парижский дом Куприна, как и в Гатчине, был открыт круглосуточно.

На старой фотографии запечатлены крупным планом, как-то неумело, снизу вверх, трое: Саша Черный, Мария Ивановна и Елизавета Морицовна Куприна. Сверившись с местностью, утверждаем: их фотографировали в палисаднике дома Куприных на бульваре Монморанси, где было тесно и никакого другого снимка не вышло бы. Именно с палисадника Александр Иванович всегда начинал экскурсию по своему жилищу (эта привычка также осталась), и мы попытаемся представить, как это было.

Пройдем в палисадник. Здесь не развернуться, однако хозяин дома как-то ужимается, давая дорогу ленивому черно-белому коту, тоже вышедшему встречать гостей. Куприн смотрит на него так, что становится совершенно ясно, кто здесь настоящий хозяин. Черному и Марии Ивановне объясняют, что это Ю-ю и прежде всего нужно познакомиться с ним, а всё остальное потом. Непременно следует пожать коту лапу, которую тот, привыкнув к церемониалу, нехотя протягивает.

* А. И. Куприн не упомянул Рим, возможно, считая его незначительной вехой.

С восторгом Куприн рассказывает, что Ю-ю настолько умен, что ходит встречать их к метро, и настолько чистоплотен, что по своим бытовым делам убегает через дорогу, в овраг Булонского леса. А вот палисадник не радует: как ни старается Александр Иванович, не может в нем вырастить никаких цветов. Не приживаются.

Гостей приглашают в комнаты. Первые две — те, окна которых выходят в палисадник, — жилые, третья в конце длинного коридора — кабинет Куприна, который он окрестил «аквариумом»: здесь стены оклеены зелеными обоями. Черный немедленно узнает собаку, чей портрет висит на стене кабинета: знаменитый меделян Сапсан! Куприн мрачнеет и говорит сквозь зубы, что пса убили в Гатчине в голодные революционные годы: заманили на окраину, прострелили голову и выбросили на помойку. Видно, что боль этой утраты до сих пор не отпустила.

Наконец, сели за стол и предались не самой веселой беседе. Черному нужно было сориентироваться, как и чем можно жить в Париже, а Куприн уже понял, что делать здесь нечего. Французов русская литература мало интересует, русским эмигрантам вообще не до литературы. Конкуренция страшная, и от этого звериные законы. Политика, интриги и снова политика. В каком издании печататься — решить трудно, ведь ничего нет без политики. Самая авторитетная и популярная газета сейчас — «Последние новости», за которой стоит Милюков, то есть снова политика. Есть еще монархическая «Русская газета», в которой работает сам Куприн и куда, если Александр Михайлович пожелает, может помочь устроиться. С русскими издательствами плохо — с берлинской роскошью и сравнивать нельзя.

Куприн давно всё здесь ненавидел. Рассказывал, что пару лет назад пытался создать хоть какое-то подобие своей гатчинской жизни. Снял дачу в Севр виль д'Авре (именно туда Саша Черный в 1921 году отправлял письма из Кёльпинзе). Вроде и похоже на Гатчину, даже железнодорожное полотно рядом, но всё не то! Чужое, чужое... Даже кажется, что сирень пахнет керосином. Снова вернулся в Париж и снова всё отвратно.

Александр Михайлович и Мария Ивановна могли поделиться тем, что следили в Риме за успехами Марии Карловны Куприной-Иорданской, жены советского посла, а Куприн, который им совершенно доверял, мог признаться, что недавно получил от нее письмо из того же Рима. Бывшая супруга интересовалась, не созрел ли он вернуться в Россию, и уверяла, что пишет по собственной инициативе и что никто ее об этом не просил. Предлагала содействие в том случае, если Куприн

выразит желание вернуться, убеждала его в том, что литературный труд большевики оплачивают очень хорошо, что наверняка ему даже вернут дом в Гатчине. Александр Иванович отправил ей спокойный, взвешенный, мотивированный отказ.

Вполне вероятно, что при встрече присутствовала и дочь Куприна Ксения, которая годы спустя скажет: «Знакомых, собутыльников, приятелей у моего отца за всю его пеструю жизнь было множество, но таких друзей, которым он отдал безоговорочно свое сердце, было, пожалуй, не больше пятишести. Саша Черный был последним таким другом» (*Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 213). По словам той же Ксении, Мария Ивановна стала ближайшей подругой ее матери. Именно поэтому мы настолько детально рассказываем о том, чем жила семья Куприных. А жила она, по сути, Ксенией и ее интересами. Черный помнил ее «мрачной девочкой» из Гатчины, а теперь увидел шестнадцатилетнюю девушку выдающейся красоты, которая знала о своей привлекательности и умело ее подчеркивала. Ксения следила за модой, мечтала о красивой жизни, которую родители теперь дать ей не могли. Александр Иванович грустно шутил, что надо бы отдать дочку за американца, но те не берут бесприданниц.

Так и существовали Куприны — положась «на авось» и перебиваясь случайными гонорарами. Ничего другого от Парижа, судя по всему, ожидать не приходилось.

Дальнейшие шаги наших геров были такие же, как у всех, — посещение русского посольства на рю де Гренель, фантастического института, до сих пор представлявшего давно не существующее Временное правительство (дипломатических отношений с СССР у Франции еще не было). Здесь они прошли регистрацию с последующим получением «карт д'идантите», удостоверения личности, где русским беженцам проставлялся унизительный статус «apatride»*. Мы знаем, что Александр Михайлович и Мария Ивановна были литовскими подданными, но за прошедшие с ковенских пор четыре года кто знает, что уже значили их паспорта.

В Париже Черный обнаружил своего двоюродного брата Даниила Львовича Гликберга. Мария Ивановна вспоминала, что с Даниилом муж виделся несколько раз и в Петербурге, тот подрабатывал хроникером в газете «Биржевые ведомости», хотя по основному роду занятий, согласно адресным справочникам, был помощником присяжного поверенного. В Париже Даниил Львович уже более-менее устроился и, по словам Ма-

---

* Без подданства *(фр.)*.

рии Ивановны, оказался полезен уже тем, что приглашал на обед. Сами они жили впроголодь и перебивались случайными заработками.

Марии Ивановне удалось раздобыть через русскую библиотеку Ильи Николаевича и Лидии Антоновны Коварских заказ на французские переводы срочных русских коммерческих договоров. Черный же пребывал в ожидании лучших времен. Однажды на пороге их убогого гостиничного номера возник полный, лоснящийся гражданин, сверкавший золотыми зубами и похожий на добротного провинциального антрепренера. Представился: журналист Мирон Петрович Миронов, в прошлом работал в «Биржевке» и «Русском слове», теперь одержим желанием основать литературно-художественный иллюстрированный журнал вроде старой «Нивы» и разыскивает авторов. Мария Ивановна потом ворчала: каков пройдоха! Увидел, что они с мужем живут почти как нищие, и предложил, по ее словам, «ничтожный гонорар»: 25—30 франков за стихотворение. Выбирать не приходилось. Однако еженедельник, который планировалось назвать «Иллюстрированной Россией», пока еще был голой идеей, а нужно было на что-то существовать.

И вдруг — счастливый случай! Вспоминает Мария Ивановна: «К маю (1924 года. — *В. М.*) наша жизнь начинает налаживаться: приезжает из Берлина семья моих учениц, купившая под Парижем усадьбу. Нам предложили комнату и стол за занятия с младшими девочками. <...> В конце мая мы переехали в Gressy». Гресси — это зеленый городок в получасе езды от Парижа, с крыш которого, по словам Черного, «в морской бинокль Эйфелеву башню видно» («Чудесное лето», 1929). Мария Ивановна, к сожалению, не называет имен, а установить их важно, потому что у этих людей был фокстерьер Микки и именно в их усадьбе родился «Дневник фокса Микки».

Здесь, в Гресси, летом 1924 года Саша Черный заразился болезнью, от которой не избавится: он стал «фоксоманом». О том, что собака появилась в усадьбе (по-французски «шато»), говорят строки стихотворения «Полустанок», помеченного поэтом «Château de Gressy*. Июль, 1924»:

Фокс Мистик, куцый хвост задрав,
Бросая в воздух тело,
Беспечно носится средь трав
В азарте оголтелом.

Мы не сомневаемся в том, что наборщик ошибся, и вместо Мистика следует читать Микки. Вероятно и то, что первые

* Замок в Гресси *(фр.)*.

части «Дневника фокса Микки», которые начнут печататься в «Иллюстрированной России» с ноября 1924 года (№ 5), поначалу Черный читал обитателям шато просто ради развлечения. Кстати, и сама усадьба, и слушатели «Дневника» обрели художественное продолжение в стихотворениях «Старший брат» (1924) и «Хохлушка» (1925), рассказе «Экономка» (1925), детской книжке «Чудесное лето» (1929), главе поэмы «Кому в эмиграции жить хорошо» (1931—1932)...

Нам удалось найти усадьбу и предположительно установить ее владельцев. В этом помог историко-краеведческий сайт Гресси*, который по заданному поиску «Château de Gressy» выдал изображение нынешней городской мэрии на проспекте Шато, 12. Мы обнаружили, что это здание присутствует как минимум на двух фотографиях из архива Марии Ивановны. Первая давно растиражирована: Черный и Куприн позируют на клумбе, прильнув к садовой скульптуре; позади них виден фрагмент какого-то фасада. Другой снимок менее известен: то же здание, но в другом ракурсе, на переднем плане Александр Михайлович в любимой позе «животом вперед», рядом с ним девочка и женщина. Все трое приманивают собаку, не попавшую в кадр.

Чтобы окончательно увериться в том, что нынешняя мэрия Гресси — это и есть усадьба, в которой жил Саша Черный летом 1924 года, мы разыскали открытки начала XX века с изображением замка и обнаружили на одной из них ту самую садовую скульптуру, облюбованную Черным и Куприным. Сомнений не осталось, а значит, девочка, стоящая на фотографии рядом с поэтом, вполне может быть прототипом Зины из «Дневника фокса Микки», а собака, которую приманивали, чтобы сфотографировать, — самим Микки.

В непосредственной близости от установленного нами дома расположен и описанный Сашей пруд, где они с Куприным рыбачили: «С Александром Куприным / (Знаменитым рыболовом!) / По пруду скользим, как дым, / Под наметом тополевым» («Щука», 1924). Однако кому усадьба принадлежала? Тот же сайт утверждает, что некоему Сэмюэлю Дукельскому-Диклеру, выходцу из России. Вполне возможно, что Сэмюэля до того, как он эмигрировал, звали Шмулем, и тогда это петербургский купец I-й гильдии, отец парижского поэта «из молодых» Бенедикта Шмулевича Дукельского-Диклера. Последний (кстати, приходившийся двоюродным братом футуристу Бенедикту Лившицу) как раз в 1924 году выпустил первый сборник «Сонеты», и если мы на верном пути, то выходит, что не только преподавательские таланты Ма-

* Сайт истории Гресси // http://www.histoiresdegressy.fr/

рии Ивановны были нужны этой семье, но и наставничество поэта Саши Черного.

Итак, летом 1924 года у нашего героя случилось раздвоение личности: он начал видеть мир и собственными мудро-уставшими глазами, и наивно-восторженными глазками охотничьей собаки. Он сам стал фокстерьером Микки и смотрел теперь на всех и всё снизу вверх, буквально с пола, с высоты роста фокстерьера. Его интересы свелись к тому, чтобы подсмотреть, если ли у девочки Зины хвостик, и к тому, чтобы ползать под столом и требовать подачки. А еще — красть у людей огрызки карандашей и писать ими дневник. Нет, конечно, Микки пишет не лапками: пальцы-то у него не загибаются. Он берет в пасть карандашик, наступает на тетрадку, чтобы не ерзала, — и пишет.

Черный совершенно увлекся. Он проживал с Микки день за днем: чесался вместе с ним и ловил блох. Катался на спине, чтобы проклятые насекомые «в обморок попадали». Лаял на граммофон («Ни один порядочный фокс не будет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину»). Ловил зубами кегельный шар. Боялся таракана, нагло доедающего брошенный Зиной бисквит. Подсматривал, как спит кухарка: высунула из-под одеяла толстую ногу и шевелит пальцами. Грыз косточки. А еще нюхал воздух и старался понять, кто чем пахнет: Зина — миндальным молоком, ее мама — теплой булкой.

Так родилась еще одна авторская маска Саши Черного — «фокс Микки», которую нельзя назвать неожиданной. Она не что иное, как очередной голос наивного сознания и очередная попытка абстрагироваться от мира, увидеть его иным, непонятным. В истории литературы такие формально-жанровые маски не редкость: животное, ребенок, дурак, юродивый... Подобный рассказчик всегда «безучастный участник», которого взрослый, серьезный и потому окостеневший в штампах мир не принимает всерьез и не стесняется перед ним проявлять свою истинную сущность. «Непонимание» же помогает оттенить или осмеять ту или иную грань бытия, и «фокс Микки», по мнению некоторых коллег поэта, был именно сатирической маской. Дон Аминадо писал:

«Собачку свою Александр Михайлович отлично выдрессировал, и когда намечал очередную жертву для стихотворной сатиры, то сам скромно удалялся под густолиственную сень, а с фокса снимал ошейник и, как говорится, спускал с цепи.

Чутье у этого шустрого Микки было дьявольское, и на любой избранный автором сюжет кидался он радостно и беззаветно» (*Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути // *Дон Аминадо.* Наша маленькая жизнь. М.: Терра, 1994).

Мы не станем подробно говорить о литературной традиции, в которую укладывается «Дневник фокса Микки». Назовем лишь апулеевского «Золотого осла» (II в. н. э.) и «Собачье сердце» (1925) Михаила Булгакова (последний, как нам кажется, вполне мог вдохновиться именно «Дневником...» Саши Черного). Поскольку мы знаем, что к Черному в Гресси приезжал Куприн, то ручаемся, что он полностью одобрил затею «Дневника...», потому что некогда сам написал эссе «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях» (1916) от лица своего меделяна. Что же касается читателей того времени, впервые следивших за ходом мысли маленького Микки, то, наверное, они автоматически воспринимали его как новую ипостась самого известного в то время литературного фокстерьера — Монморанси из романа Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» (1889).

Однако спустимся с творческих высот на землю. Пока Александр Михайлович следил за кухаркой и записывал свои впечатления, Мария Ивановна наведалась в Париж и узнала, что еженедельник Миронова «Иллюстрированная Россия» все-таки состоится, что Черный уже включен в состав редакции и что от него нужен материал. Первый номер журнала увидел свет 1 сентября 1924 года, и с этого момента началась многолетняя дружба нашего героя с «Иллюстрированной Россией», где его очень ценили. Уже во втором номере поэт получил собственную рубрику, о которой, нужно полагать, давно мечтал, — «Страничку для детей», вставной мини-журнальчик, для которого он придумал новую маску редактора — профессора Фаддея Симеоновича Смяткина. Сначала придумал, а потом и поместил портрет этого несуществующего гражданина: сидит за сверстанным выпуском «Иллюстрированной России» такой себе чудак-профессор, глаза за толстенными линзами на лоб лезут, плешь, рубашка не на все пуговицы застегнута (1925. № 18). Этот добрый и чудаковатый профессор нередко предоставлял место для стихов в своей рубрике Саше Черному, а в ноябре и вовсе пустил сюда фокстерьера Микки с его смешной рукописью*.

Мария Ивановна сообщала, что из Гресси они вернулись в октябре. Вот и в «Дневнике..» песик жалуется, что пришла осень, все разъезжаются, ковры пересыпают жутким нафталином, от которого он чихает. Зина с родителями уехала в Париж, а Микки оставили в усадьбе под присмотром консьержа и садовника. Вполне вероятно, что так и было (хозяева собаки выехали подыскивать зимнюю квартиру), и у Черного болела душа, когда он думал о том, что там делает брошенный пес. «Я

* Журнальный вариант названия — «Из дневника фокса Микки».

один» — так называется грустная глава, в которой Микки плачет у камина. Зина его забыла! До чего он исхудал... Конечно, садовник и консьерж сговорились и сами съедают всё, что оставили хозяева, а для Микки варят отвратительную овсянку. Он постоянно голоден и в поисках еды пустился на хитрость: бегает в соседнее бистро и там танцует фокстрот (это же танец фоксов!). За это мясо дают. Однако и обижают его многие. Петух в нос клюнул ни с того ни с сего, а еще — брр — черный таракан забрался в миску, задохнулся там и утонул. Малыш Микки плачет, уткнув нос в корытце с дождевой водой. Зина его забыла! «И скучно, и грустно, и некому лапу пожать!»

Ну, конечно, Зина его не забыла, и в следующей главе мы уже видим гордого фокса, украшенного ошейником и зеленым галстуком, в Париже. Он знает, что серебряная визитная карточка на ошейнике — это его адрес: рю Асомсьон, 16 («третий этаж направо»), телефон 12—37. Вполне возможно, что это маленькое хулиганство, и Черный указал подлинный адрес Дукельских, предполагаемых владельцев собаки. Если они жили на рю Асомсьон, то становится ясно, почему поэт не расстался с Микки и по возвращении из Гресси в Париж. В канун нового, 1925 года они с женой поселились неподалеку — на авеню Теофиль Готье, 8, и больше уже не переезжали. Квартира была хорошая, в четыре комнаты, с ванной, но без отопления и совершенно пустая. По словам Марии Ивановны, сосед-мебельщик предложил им найти все необходимое и разрешил расплачиваться постепенно, по мере возможности.

Жизнь определенно налаживалась. У Александра Михайловича появились квартира, постоянная работа в «Иллюстрированной России», собака — пусть чужая, что с того? Поэт продолжал возиться с Микки, ходил с ним гулять в Булонский лес и даже брал с собой в редакцию, на бульвар Сен-Мишель. Сначала они ехали в метро, потом выходили на станции «Распай» — задолго, чтобы прогуляться и непременно посидеть в Люксембургском саду. С любовью, смешанной с жалостью, Черный смотрел на фокса, пугавшегося городского грохота, и представлял себе, что он там думает. «Улиц — миллион, а миллион — это больше, чем десять, — ворчит Микки в «Дневнике...». — Куда ни посмотришь — ноги, ноги и ноги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят — и все на меня!.. <...> Цепочка тянет, намордник жмет. Как они могут жить в таком карусельном городе!» И поэт спасал друга, сворачивая в тишину Люксембургского сада и блаженно опускаясь на скамейку неподалеку от статуи Весны.

Прохладно. Бесшумно чертят по воздуху разноцветные листья. Как хорошо! Ты оказался в лучшем городе на земле и

сидишь в саду, о котором в детстве, замирая, читал в книгах Дюма. Скоро ты выйдешь на бульвар и, может быть, выпьешь в кафе чашку горячего шоколада. Здесь мир, здесь никого не расстреливают, из окон не торчат пулеметы, не маршируют «фажисты»... Но почему же на душе неспокойно? Ты внешне мало отличаешься от тех, кто точно так же сидит на аллеях парка, но ты другой. И не только потому, что за пазухой у тебя бутерброды в дешевой эмигрантской газетке, но и потому, что глаза тебя выдают. В них — пустыня, и они кричат о том, что ты снова не спал. Больная память рождала кошмары: Псков, Псков! Ты снова пытался что-то изменить там, хотел предупредить своего приятеля, купца, что ему нужно уносить ноги:

«Еще не поздно... Брось забаву,
Продай амбар, и сад, и дом,
Отправь жену с детьми в Либаву,
А сам за ними — хоть пешком!»
(«Эмигрантские сны», 1924)

Не слушал купец, хохотал, предлагал сходить опохмелиться.

Нет его больше. Нет Пскова. Нет той России, есть теперь эта, эмигрантская, «иллюстрированная». Пора в редакцию.

Поэт бредет бульваром Сен-Мишель, вдыхая ароматы кофе и булок, машинально мурлыкая в унисон мелодиям автоматов из кафе. В редакции он, прикидываясь профессором Смяткиным, планирует «Страничку для детей». Она авторская, любимая, и Черный неохотно пускает сюда посторонних. Однако для первого выпуска сделал исключение и дал заработать Петру Петровичу Потемкину, с которым его вновь столкнула судьба.

Пожалуй, в нынешнем окружении Александра Михайловича не было более старых знакомых. Потемкина, как мы помним, он впервые увидел 20 лет назад, в 1904 году, когда работал в службе сборов Варшавской железной дороги под началом его отца. Последний раз они встречались год назад в Берлине: Петр Петрович продавал Гржебину сборник стихов и рассказывал о жизни в пражских Мокропсах. Недавно он приехал на рекогносцировку в Париж, оставив жену и дочь в Праге под присмотром Аверченко, хотя Аркадий, по словам Потемкина, серьезно болел и ему самому нужна была помощь. Черный знал о неприятностях с Аверченко, потому что с ноября 1924 года устроился в «Русскую газету» (Куприн сдержал обещание и посодействовал в этом), гордившуюся звездными авторами, в том числе Аверченко, присылавшим материал из Праги. В редакции сетовали, что тот давно ничего не дает, и ссылались на его письменное объяснение: плохо с глазами, врачи запретили читать и писать.

Черный и Потемкин, легендарные сатирические поэты «старого Петербурга», свое место под парижским эмигрантским солнцем занимали не без боя. Они быстро поняли, что здесь есть конкуренты. Во-первых, Тэффи, давно знавшая в городе «всех крокодилов». Во-вторых, Дон Аминадо, которого Александр Михайлович некогда принимал у себя в Берлине. С тех пор Аминад Петрович стал ведущим фельетонистом милюковских «Последних новостей», сделал карьеру, был напорист и с удовольствием цитировал поговорку, которую о нем сложили: «Молчи! Так надо — я Дон Аминадо!»

И снова, как некогда в Берлине, Саше Черному, чтобы не пропасть, нужно было становиться публичным человеком, выступать, устраивать литературные вечера, мучительно ломая себя. Елизавета Морицовна Куприна, дама не менее деловая, чем Мария Ивановна, пришла ему на помощь и договорилась с художником Филиппом Андреевичем Малявиным об аренде его мастерской для вечера. Супруги Гликберг пришли ее посмотреть, и их мнения разошлись. Мария Ивановна была недовольна тем, что мастерская не вместит больше ста человек — значит, заработать много не удастся. Александр Михайлович же застыл от ужаса, услышав о ста человеках. Ему бы зальчик мест этак на двадцать, да чтобы темный, да чтобы было, куда сбежать, если что.

Победил сильнейший, то есть женщина. Похоже, готовясь к первому парижскому выступлению, наш герой решил действовать по известному принципу — постарался посмеяться над своим страхом и тем самым проститься с ним. Он написал ироническую исповедь «Из дневника поэта», которой в декабре уходящего 1924 года и открыл свой первый в Париже вечер:

Безмерно жутко в полночь на погосте
Внимать унылому шипению ольхи...
Еще страшнее в зале на помосте
Читать на вечерах свои стихи.

Стоит столбом испуганная Муза,
Волнуясь, комкает интимные слова,
А перед ней, как страшная Медуза,
Стоглазая чужая голова...

Такое чувство ощущает кролик,
Когда над ним удав раскроет пасть,
Как хорошо, когда поставят столик:
Хоть ноги спрячешь — и нельзя упасть.

(«Из дневника поэта», 1925)

«Стоглазая» публика, которой так боялся Саша Черный, и его юмор и его самого приняла любовно, а Мария Ивановна

радовалась, что сбор неожиданно оказался приличным: им с мужем удалось купить печку и оплатить квартиру на несколько месяцев вперед.

Рубикон был перейден. Отныне поэт станет принимать участие во многих общественно-культурных мероприятиях «русского Парижа», посещая вечера Союза галлиполийцев, Тургеневского клуба и Тургеневской библиотеки, Юношеского клуба, «Русского клуба» и других организаций.

Подошел к концу 1924 год, начавшийся для Черного в Риме тревогами по поводу Муссолини, подписавшего договор с красной Москвой. Теперь и в Париже стало не до шуток: в октябре Франция *de jure* признала СССР, и в бывшем российском посольстве расположилось советское полпредство. У эмигрантов, обходивших теперь рю де Гренель стороной, это была первая тема разговоров, но были еще две животрепещущие: смерть Ленина и болезнь Аркадия Аверченко.

2

В январе 1925 года Потемкин с нескрываемой тревогой рассказывал Александру Михайловичу о том, что состояние здоровья Аверченко критическое, что тот лечится от болезни сердца на чешском курорте, что он писал туда, поздравлял с Новым годом, но ответа не получил. Однако «русский Париж» о беде с Аверченко говорил скорее с удивлением, зная, что тот еще довольно молод и всегда отличался прекрасным здоровьем.

Тем не менее 13 марта 1925 года Саша Черный наткнулся в «Русской газете» на некролог и не поверил своим глазам: «После продолжительной и тяжкой болезни 12-го сего марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко, о чем с глубокой скорбью извещают сестры и зятья*. Панихида 15 марта в 12 ½ час. в Русской церкви на rue Daru». Пожалуй, со времени гибели Владимира Дмитриевича Набокова Черный не получал такого удара.

Начались прозвоны-перезвоны, недоуменные вопросы, попытки что-то узнать. Какое горе! Из Праги пришла статья одного из друзей покойного, рассказавшего, что тот был обречен, но до последнего вздоха оставался сатириконцем: шутил, рассказывал анекдоты, не сдавался.

С этой смертью в душе Александра Михайловича Гликберга еще что-то оборвалось, еще одна вина легла на его сердце.

---

* У Аркадия Аверченко во Франции жили две младшие сестры: Елена Тимофеевна (в замужестве графиня Ростопчина) и Ольга Тимофеевна (в замужестве Фальченко, с 1931 года Смирдина).

Какими глупыми виделись теперь старые распри и насколько отчетливо страшное русское лихолетье показало, кто чего стоил. Аверченко, петербургский остряк и Казанова, все возможности своей, казалось бы, легкомысленной музы направил на борьбу с большевизмом. Держался своих убеждений с твердостью, которой от него трудно было ожидать, никого не боялся, никого не предал. Больше его нет, и семья сатириконцев осиротела.

Черный сел за некрологи: один для «Русской газеты», другой для «Иллюстрированной России». В первом он, не дрогнув, поставил Аркадия Аверченко в один ряд с Морисом Сафиром и окончательно отрезал его от той «танцклассной атмосферы», от которой сам бежал в 1911 году:

«Длинный хвост подражателей, все эти Гуревичи, Оль Д'Оры и Ландау, упражнявшиеся на задворках "Сатирикона" и окружавшие блеклым гарниром имя своего учителя, ни в малой мере не усвоили своеобразных черт его письма: меткого и короткого диалога, нарастания внешнего комизма, неожиданного фейерверка развязки.

Аверченко создал стиль и моду, а бойкая юмористическая артель торговала шипучкой, разливая ее в бутылки из-под чужого шампанского. <...>

Покойный автор отличался одним редким качеством: он почти никогда не был скучен» (*Черный А.* Памяти А. Т. Аверченко // Русская газета. 1925. 18 марта).

Второй некролог появился в «Илллюстрированной России» 1 апреля 1925 года. Это не ирония судьбы и не напоминание о дате рождения «Сатирикона», но технология: журнал выходил 1-го и 15-го числа каждого месяца. К этому времени из Праги уже были получены фотографии похорон Аверченко, и не одно сердце в Париже болезненно сжалось: покойного невозможно было узнать, так он мучился перед смертью и так изменился. Содрогнулся и Саша Черный:

«Автор бесчисленных юмористических рассказов, проникавших во все уездные углы хмурой России, ушел из жизни. Умер на чужбине, эмигрантом. Снилась ли его беззаботной душе такая судьба?..

Еще за день до смерти, как писали об этом из Праги, он шутил и надеялся осилить свою болезнь, жить и работать... Судьба не улыбнулась на его последнюю шутку и сурово поставила точку» (*Черный А.* Памяти А. Т. Аверченко // Иллюстрированная Россия. 1925. № 18).

Некролог — жанр строгий, скупой, и многого в нем не скажешь. А сказать Черному хотелось, и когда Литературно-артистический кружок пригласил его участвовать в вечере памя-

ти Аверченко, он сразу согласился и засел за воспоминания, которым решил придать поэтическую форму. Александр Михайлович поступил правильно, потому что с чтением прозаических мемуаров собирались выступить и Куприн, и Тэффи.

Предлагаем вспомнить героев пространного стихотворения «Сатирикон», которое мы цитировали достаточно давно, рассказывая о буднях журнала в 1909 году: «сатирическую банду», шагавшую по набережной Фонтанки в столовую гостиницы «Мариинская», околоточного, салютовавшего Аверченко и справлявшегося о его здоровье. Это стихотворение было написано Черным сейчас, в марте 1925 года, когда любая мелочь погибшей жизни виделась бесценной, а молодость — неповторимой. Где они теперь, тогдашние «кентавры», веселые и сильные, лезшие на рожон, ностальгически вспоминавшие «дни свободы» 1905 года? Хохотун Радаков застрял в СССР, толстый Рославлев умер во время Гражданской войны, Ре-ми недавно уехал в США, Сергея Горного Саша последний раз видел в Берлине, где тот никак не мог оправиться от штыковой раны в живот, полученной от махновцев... Аверченко, похвалявшийся дожить до ста лет и всегда шутивший на тему собственной смерти, лежит в земле чужой Праги, в тысяче километров от Петербурга, вернее, теперь Ленинграда:

До ста лет, чудак, не дожил...
Разве мог он знать и чаять,
Что за молодостью дерзкой
Грянет темная гроза —
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья,
Засыпающего пеплом
Все веселые глаза...
(«Сатирикон», 1925)

Двадцать четвертого марта Черный читал стихотворение «Сатирикон» на вечере памяти Аверченко, а на следующий день его напечатала «Русская газета».

Сатириконцы простились со своим вождем, и вдруг, словно вспомнив легендарное прошлое Саши Черного, издатель «Иллюстрированной России» предложил ему вести новую, сатирико-юмористическую рубрику. Видимо, тот упирался, потому что редакция, анонсируя грядущие перемены, доверительно сообщала, что долго вела «переговоры с известным филологом Фаддеем Симеоновичем Смяткиным» и тот, наконец, согласился возглавить и этот отдел. Согласившись, Черный дал рубрике название «Бумеранг». Что он имел в виду? Что все насмешки над Советской Россией в конечном счете

бьют по лбу самих эмигрантов? Возможно. Ознакомившись со всеми выпусками, мы можем сказать только одно: не смешно. Вроде бы те же жанры, что были в «Сатириконе»: фельетоны, юморески, пародийные телеграммы, «Почтовый ящик», а не смешно. И «Наши шаржи» какие-то жалкие. Вот, например, сидит постаревший Куприн в поношенном пиджачишке и ругает французский язык, в котором русские слова изуродованы: «...бок у них — рюмка, кот — берег, ваш — корова, а шваль — лошадь!» За спиной у него ресторан. Улыбнемся: фон не изменился. В 1908 году мы рассказывали о карикатуре на Куприна, нарисованной для «Сатирикона» Ре-ми: «Поединок» с рюмкой в ресторане «Вена». Там было остроумно, здесь — нет.

Нам кажется, что Александр Михайлович и сам быстро понял, что не смешно. Над сотоварищами по изгнанию шутить не позволяли ни совесть, ни такт, а в адрес большевиков выходило серо и ходульно. После тринадцатого выпуска (1 ноября 1926 года) он отдал «Бумеранг» юмористу Лери (Владимиру Владимировичу Клопотовскому).

Важно другое: «профессор Смяткин» притащил с собой в «Бумеранг» и Микки, изображения которого стали журнальной заставкой. На одной из них фокс со всех лап несется куда-то. Мы знаем, куда: «Кики, муфточка, — закричал Микки консьержкиной болонке. — Меня везут к морю».

Лето 1925 года поэт с женой провели на дорогом курорте Ла Буле в северо-западной Франции, на берегу Бискайского залива Атлантического океана. На сей раз их пригласила семья Николая Вениаминовича Сорина, брата художника Савелия Сорина. Условия те же, что и в Грессии: Мария Ивановна занимается с их дочерью за бесплатный стол и кров для нее и мужа. 15 августа Черный попрощался с читателями «Иллюстрированной России» (№ 25):

«Профессор Фаддей Симеонович Смяткин, уезжая для лечения застарелого переутомления к океану, настоящим извещает, что по делам редакции он будет принимать на пляже в “La Boule-sur-Mer”, в часы между приливом и отливом, кабинка № 13.

Проезд из Парижа (aller et retour) с Gare d’Orsay* в III классе 94 франка за свой счет.

Рекомендуется брать с собой бутерброды, т. к. цены в вагоне-ресторане для начинающих писателей недоступны».

Несмотря на жалобы «профессора Смяткина», его создатель с женой вели роскошный образ жизни. Сорины платили Марии Ивановне очень хорошо и предоставили им с Алексан-

---

* Вокзал Орсе *(фр.)*.

дром Михайловичем комфортабельные апартаменты с прислугой и экономкой.

В лице Сорина поэт обрел занятнейшего собеседника. Николай Вениаминович, деловой человек, успешный и в эмиграции, член Объединения русских адвокатов, был сионистом с большим стажем общественной работы. В далеком 1903 году именно он приютил в Петербурге приехавшего из Одессы Владимира Жаботинского, будущего лидера российского сионизма. Сорин в то время издавал журнал «Еврейская жизнь», постепенно ставший официальным органом сионистского движения в России. Их с Жаботинским сотрудничество продолжилось и в эмиграции. Теперь Сорин жил впечатлениями от грандиозного события, случившегося в Париже в апреле 1925 года. Жаботинский провел первую учредительную конференцию созданного им Союза сионистов-ревизионистов, провозгласившего себя политической партией в составе Всемирной сионистской организации. Преследуя заветную цель создания национального еврейского государства на территории Эрец-Исраэл, ревизионисты требовали именно ее сделать официальной целью сионистского движения и настаивали на агрессии по отношению к арабам. Сорин стал членом этого союза, и, думается, их беседы с Черным, никогда не забывавшим о своих национальных корнях, не могли не касаться этой темы. Тем не менее в творчестве поэта это чудесное время на берегу океана преломилось исключительно новыми страничками «Дневника фокса Микки» — веселыми, курортными.

Трудно сказать, как фокс оказался в Ла Буле. Не могут же Сорин и его дочь быть прототипами Зины и ее папы из «Дневника...», с которыми мы вновь встречаемся на берегу океана. Ведь Микки в предыдущих главах совершенно определенно говорил о том, что его хозяин, Зинин папа, — владелец усадьбы в Гресси, то есть Дукельский. Может быть, Дукельские тоже ездили в Ла Буле; может быть, поэт выпросил у них собаку; может быть, Микки существовал там только в его воображении. Чтобы не запутаться окончательно, следствие прекращаем и с радостью приветствуем благодушного, «овощного» Сашу Черного, который принялся подглядывать за пляжниками, стараясь представить, как они выглядят с точки зрения собаки.

Ну, во-первых, Микки удалось подсмотреть, что у детей нет хвостиков. Во-вторых, он пытался понять, во что здесь одеты люди: какие-то попонки с пуговицами на плече, ноги в две дырки вставляют. А еще дамы... О, гав! Они по сто раз на день переодеваются, купаться не любят, зато любят сниматься. Одни лягут на песок, вторые за ними на коленях, рядом с ними

фотограф воткнет табличку с названием курорта и пока готовится — Микки сам видел! — одна дама табличку от себя отодвинула и воткнула рядом с другой дамой, а та злобно обратно вернула. Удивленный пес сложил стишок:

Когда дамы снимаются,
И заслоняются,
Они готовы одна другой
Дать в глаз ногой!..

Песьи умозаключения летели в Париж и немедленно печатались в «Иллюстрированной России», а на пятки (вернее, на лапки) Микки уже наступал хулиганский кот Бэппо с форума Траяна. Осенью 1925 года новый рижский журнал «Перезвоны», где за литературную часть отвечал Борис Зайцев, напечатал Сашину римскую сказку. Питомцы Черного размножались, но пока еще на страницах периодических изданий; до появления отдельных книг оставались годы.

Поэт прочно занял ту нишу, лучше которой не желал и где никого не было, — детская литература. Размеры его новой родины свелись теперь к Парижу, и он хорошо представлял себе свою аудиторию, многих детей лично знал. И они его знали. «Я не встречал ни одного ребенка, которому бы имя Саши Черного не было знакомо, — вспоминал современник. — И не любящий увеселений, домосед, смущавшийся и неловкий в обществе, он посещал почти все детские праздники и как преображался он в обществе галдящих, лезущих к нему на колени, целующих его малышей, какой нежностью звучал его глуховатый голос, когда говорил он о детях, с какой любовностью садился за свой скромный письменный стол — отдохнуть, написать рассказ для детей» (*Рощин Н.* Печальный рыцарь).

Александр Михайлович, по словам Марии Ивановны, задолго начинал готовиться к детским новогодним утренникам. Он как зачарованный стоял перед витринами магазинов, потом, очень стесняясь, но не имея сил сопротивляться своему желанию, покупал игрушку и приносил домой. Ставил на письменный стол и забавлялся, а жене говорил: «Знаешь, это можно спрятать до Рождества и... пожертвовать на Тургеневскую елку» (*Александрова В.* Памяти Саши Черного).

Тургеневская елка — это утренники, проводившиеся при Тургеневской библиотеке, которую белая эмиграция сделала своей *alma mater*. История ее такова. Некогда русский эмигрант, революционер-народник Герман Лопатин обратился к Тургеневу с просьбой финансово участвовать в создании библиотеки, что объединила бы живущую во Франции революционную молодежь. Иван Сергеевич пошел навстречу, и в

феврале 1875 года организовал благотворительный вечер, на который пригласил бывших в то время в Париже художников Репина, Поленова, Маковского, русского посла князя Николая Алексеевича Орлова и других. На собранные деньги были куплены книги и арендовано помещение для библиотеки, получившей после смерти Тургенева его имя. Библиотека с тех пор часто меняла адреса и в описываемое время работала на Валь де Грасс, ютясь в небольшом помещении. Для праздников арендовались залы, и именно туда спешил Саша Черный, который теперь, подобно заправскому артисту, мог отказываться в новогодние дни от любых приглашений, мотивируя тем, что у него «ёлки».

Одну из них предлагаем посетить.

3

Второе января 1926 года, полдень. Александр Михайлович приехал на рю Бланш, в клуб гражданских инженеров, где его ждут дети. Сегодня они вместе с «дядей Сашей» будут показывать спектакль «Мистер Кукки и его цирк», который тот специально для них написал, где сам играет мистера Кукки, а дети — всех остальных персонажей. Потом будет конкурс карнавальных костюмов, потом танцы вокруг елки, а потом раздача подарков (Детская елка в Тургеневской библиотеке // Возрождение. 1925. 18 декабря. № 199).

А ведь дядя Саша пришел на елку не один! В общей детской свалке носится фокс Микки, который тоже будет играть в спектакле. Дядя Саша нацепил на нос круглые очки, на голову — полосатый цилиндр, надел цветную куртку с длинными фалдами, украшенную вдоль лацкана бутафорскими орденами. И вот — внимание! тишина! Директор цирка мистер Кукки объявляет первый выход:

«Знаменитая изобретательница, мисс Арабелла, выступит со своим аппаратом для чтения собачьих мыслей и со своим замечательным фоксом Микки. Собачьи вопросы просим задавать из публики и не свыше четырех действий по арифметике.

Музыка! Маленький собачий галоп, но потише! Иначе Микки будет выть» («Мистер Кукки и его цирк», 1926).

Появляется очень серьезная девочка с фоксом на руках. Сажает собаку на столик, на голову ей прилаживает загадочный прибор с телефонной трубкой — и начинается сеанс отгадывания собачьих мыслей.

Из зала кричат:

— Микки, как звали твою бабушку?

— Посмотри в энциклопедическом словаре на букву «мягкий знак», — важно отвечает за собаку мисс Арабелла.

— Что ты получил, Микки, в подарок на елку?

— Новую плетку и намордник. Чего и тебе желаю.

— Если трем собакам дали три котлеты, сколько достанется каждой?

— Каждой ничего не достанется. Самая сильная собака съест все три котлеты, а остальные оближутся.

— Микки, кем бы ты хотел быть, если бы не был фоксом?

— Директором этого цирка, потому что директор съедает в день две телячьи котлеты, а мне дает только косточку...

Немедленно из-за кулис просовываются голова в цилиндре и увесистый кулак «директора» Саши Черного:

— Прекратить собачий номер. Ваша собака начинает врать!

Поджав губы и сунув Микки под мышку, мисс Арабелла уходит со сцены.

После нее являются негр Джун-Джон и его дрессированный медведь, факир Халва-Инжир, силач Ван-дер-Пуф и другие веселые жулики. Финальный парад-алле, возглавляемый Черным и Микки, проходит в атмосфере всеобщего восторга.

В этой постановке, помимо нашего героя, участвовал единственный взрослый — тот, кто играл медведя. Скорее всего, это был артист Александр Дмитриевич Александрович*, коллега Александра Михайловича по «ёлкам». Они выступали дуэтом: «Саша Черный и Саша Длинный» (Александрович). Именно в таком качестве 7 марта 1926 года оба оказались на детском утреннике в Мёдоне, пригороде Парижа, где случился небольшой инцидент.

Саша Длинный, он же Александрович, приготовляясь спеть старую русскую колыбельную, торжественно произнес:

— Дети, сейчас я вам спою интересную песню про няню. Вы, конечно, все знаете, что такое няня?

Ответом ему была гробовая тишина.

Никто не знал. Посыпались вопросы: а где она живет? Или ее едят?

Произошло некоторое замешательство, во время которого отчаянный родительский голос выкрикнул из зала: «Где же им, рожденным на чемоданах, знать, что такое русская няня!» (*М. Л.* Об одном детском утре // Возрождение. 1926. 10 марта).

---

* *Александр Дмитриевич Александрович* (настоящее имя Александр Дормидонтович Покровский; 1879—1959) — артист оперы и драмы, педагог, мемуарист. Пел в Мариинском и Большом театрах; в 1913 году исполнил партию Юродивого в опере «Борис Годунов» в дягилевских Русских сезонах в Париже и Лондоне. С 1919 года – в эмиграции, с 1922 года — в Париже. Печатался в газете «Возрождение».

Пока взрослые расстроенно шушукались, из уст вышедшего выступать мальчугана Сережи прозвучало знакомое имя Корнея Чуковского — он выучил отрывок из его «Бармалея». Черный услышал, как хмыкнул рядом с ним фельетонист газеты «Возрождение» Ренников, и вряд ли удивился, прочитав пару дней спустя его фельетон про того же Чуковского. Обращаясь к мальчику, читавшему стихотворение, а на самом деле, конечно, к его родителям, Ренников восклицал: «Сережа! Твое стихотворение, которое написал в советской России дядя Корней Чуковский, мне совсем не понравилось. Что это такое, в самом деле: “Маленькие дети, Ни за что на свете Не ходите в Африку”. <...> Ты напрасно пугаешь детей Африкой, Сережа. В Африке сейчас не менее тысячи русских людей, и все очень недурно живут и даже гуляют. Крокодилы, гориллы и акулы, безусловно, в Африке есть. Но зато нет там кусающихся, бьющих и обижающих большевиков, среди которых почему-то до сих пор живет и гуляет дядя Чуковский» (*Ренников А.* Медон Кламарская няня // Возрождение. 1926. 12 марта).

Уж детские стихи оставили бы без комментария! Но нет, политическая непримиримость в эмигрантской среде была жесточайшая, и Саша Черный тоже посещал не одни «ёлки». Он периодически вращался в тех кругах, где обсуждались и вынашивались планы реванша, диверсий против СССР, — в Союзе галлиполийцев. Членом этой организации поэт, конечно, быть не мог (такую привилегию имели только те, кто находился в турецком Галлиполийском лагере), однако принимал участие в литературно-художественных вечерах, устраиваемых союзом. Здесь он встречал легендарных генералов, державшихся до последнего и ушедших из Крыма с Врангелем: Михаила Ивановича Репьева, невысокого, подвижного, энергичного; вылитого из бронзы, сурового Александра Павловича Кутепова, который и сейчас, шесть лет спустя после поражения, в любой момент был готов снова вступить в борьбу; Николая Николаевича Баратова, любившего щегольнуть формой Кавказской армии. Последний был инвалидом (перенес ампутацию ноги) и создал в Париже Союз инвалидов, для нужд которого выпускал газету-однодневку «Русский инвалид». Александр Михайлович, помнивший о своем военном прошлом, помогал Баратову и давал для листка агитационные стихи, разумеется, не требуя за это гонорара.

Несколько забегая вперед расскажем и о том, как Черный близко увидел и самого Петра Николаевича Врангеля. Случилось это 13 мая 1926 года в дни празднования трехлетней годовщины основания Союза галлиполийцев во Франции. Поэт

был приглашен на банкет, где выступал генерал, и слышал его блестящую речь:

— Среди рассеянных на чужбине, потрясенных смутой, раздираемых внутренними раздорами русских людей армия явилась единственной организованной силой, хранительницей идеи русской государственности. Она одна могла быть противопоставлена тем, кто, насильно захватив власть, нагло говорил от имени русского народа. И если теперь, по прошествии шести лет, еще трепещет на чужой земле трехцветное русское знамя, то это потому, что на страже этого знамени эти шесть лет стояли те русские офицеры и солдаты, которые, пойдя за генералом Корниловым, священно хранили его заветы: «Помни, что ты принадлежишь России!»

Врангель, высокий и тонкий, в безупречном черном смокинге, поднял бокал шампанского за будущее России, в которое продолжал верить.

Трудно сказать, что Александр Михайлович, свидетель разложения той самой армии, думал по поводу всех этих речей, ведь мы знаем, что еще в Берлине он настаивал на необходимости прекращения всякой борьбы и на том, что о России нужно постараться забыть. Теперь же поэт посещал мероприятия различных союзов и обществ, а на упомянутом банкете даже сфотографировался в обществе генералов Кутепова, Репьева и Баратова. Вряд ли его смогли переубедить. Скорее, это был обыкновенный визит вежливости, такой же, как и любой другой.

Вообще же Саша Черный по старой мизантропической привычке чаще всего отсиживался в своей квартирке на авеню Готье, где предавался невинным развлечениям: выпиливал и раскрашивал полочки и ящики, клеил коробочки и, по словам Марии Ивановны, «радовался, если дома находили какое-нибудь приложение этим вещам». Интересным подтверждением этих воспоминаний служит выпуск «Иллюстрированной России» от 17 апреля 1926 года, в котором был напечатан фотоотчет о буднях поэта в рубрике «Как живут и работают». На одном из снимков Черный как раз пилит что-то ножовкой, заправски надев пролетарский кожаный фартук. На другом — играет на мандолине, на третьем...

Третий, по нашему мнению, сигнализирует о том, что болезнь фоксомания вступила в решающую фазу. Это постановочный кадр: поэт сидит за столом перед пишущей машинкой, на руках у него Микки, якобы приготовившийся сам выстукивать лапами по клавиатуре «Дневник...». И рядом стишок:

> Иногда у консьержки беру напрокат
> Симпатичного куцего фокса.

Я назвал его «Микки», и он мой собрат —
Пишет повести и парадоксы.

Он тактичен и вежлив от носа до пят,
Никогда не ворчит и не лает.
Лишь когда на мандоле я славлю закат, —
«Перестань!» — он меня умоляет.
(«Как я живу и не работаю», 1926)

Новости! Теперь фокс стал консьержкиным. Мы запутались и, право, не знаем, чья это была собака. Несомненно только, что не Черного. Элементарное сравнение этой фотографии с теми снимками, где поэт будет изображен с собственным Микки, не оставляет сомнений в том, что собаки совершенно разные. В 1924—1926 годах в жизни Черного присутствовал гладкошерстный фокстерьер с пятном во весь левый глаз; с 1928 года появится жесткошерстный фокстерьер в черных «очках».

В том же апрельском выпуске «Иллюстрированной России» была напечатана шуточная картинка «Как живет и работает Саша Черный в воображении его читателей». Поклонник или поклонница, приславшие ее в редакцию, нарисовали смешного человечка с хохолком, сидящего на диване, уткнувшись в исписанный лист. Со всех сторон к нему пристают живые игрушки, а у ног сидит фокс с пером в зубах и пишет дневник. Саша Черный и Микки определенно становились элементами фирменного стиля «Иллюстрированной России», журнала, приближавшегося к своему двухлетию.

Годовщина отмечалась с размахом.

Десятого мая 1926 года Александр Михайлович и Мария Ивановна были приглашены на банкет в ресторан «Рампону». Интерьер его, вполне вероятно, напомнил им пивные старого Гейдельберга, того же «Шута Перкео»: расписанные низкие своды — хмельные девы и лихие трактирщики с пенящимися кружками в руках — украшены стилизованными под средневековье канделябрами со свечами (Юбилейный обед «Иллюстрированной России» // Иллюстрированная Россия. 1926. № 21(54). Черный приготовил тост в стихах, по обычаю шуточный, и дожидается своей очереди. Вступительную речь произносит владелец журнала Миронов. Разводя руками, он сообщает, что роль почетного председателя обеда отводилась Ивану Алексеевичу Бунину, но тот по состоянию здоровья уехал из Парижа, однако прислал письмо с поздравлениями и пожеланиями процветания. Письмо заслушивают с одобрением и аплодисментами. Улыбаясь и кланяясь, роль председателя принимает на себя Моисей Леонтьевич Гольдштейн, изве-

стный адвокат и сотрудник «Иллюстрированной России». По столам передают ответное письмо академику Бунину, Александр Михайлович и Мария Ивановна с удовольствием ставят подписи, а на эстраде уже звучат гитары и плывут переливы цыганских романсов. Слушают, аплодируют.

Обведем глазами вместе с Сашей Черным присутствующих.

Александр Иванович и Елизавета Морицовна Куприны. Рядом с ними новое лицо. Вернее, новое старое — писатель Борис Александрович Лазаревский, купринский приятель еще петербургских «венских» и гатчинских лет. В «прошлой» жизни довольно успешный литератор, практикующий юрист, сейчас он производил впечатление человека измотанного, больного, раздавленного нуждой и несчастьями. Годы послереволюционных скитаний разлучили Лазаревского с женой, оставшейся в России. Выше мы цитировали фрагменты дневника Бориса Лазаревского, который в 1921 году добрался в Париж и гостил на купринской даче в Севр виль д'Авре. Потом ездил пытать счастья в Прагу, теперь вернулся и стал, как говорили злые языки, любимым шутом Куприна. Ради забавы мог прокричать петухом или пролаять.

Здесь же Анна Ильинична, вдова Леонида Андреева. Уже год как она приехала в Париж из Чехословакии вместе с Мариной Цветаевой, с которой там подружилась. Рассказывала Александру Михайловичу и Марии Ивановне, что выдала замуж старшую дочь Нину и теперь приходится эту семью содержать: зять безработный, и еще ребенка завели. Андреева не любит говорить о внуке, она не хочет быть бабушкой и настрого запретила так себя называть. Савву и Валентина отдала в парижскую Русскую гимназию, а Веру отправила в Прагу доучиваться.

Борис Григорьев с женой. С тех пор как он в Берлине иллюстрировал «Детский остров» Черного и смутно представлял себе будущее, жизнь наладилась. Художника очень ценят в США, и он живет на две страны: зимой в Америке, летом во Франции...

Размышления поэта прерывает внезапно наступившая тишина. Высокий, статный человек с благородной сединой на висках вышел на сцену и что-то говорит аккомпаниатору, а зал уже взорвался овациями. Для сотрудников «Иллюстрированной России» сегодня поет Юрий Морфесси!

Минута — и полилась знакомая до щемящей боли мелодия, зазвучал глубокий бархатный баритон: «Эй, ямщик, гони-ка к "Яру"!..» Да, пел когда-то Морфесси и в московском «Яре», и в петербургском «Кавказском погребке» на Караванной, и пе-

ред императорской семьей по их Высочайшему приглашению, а теперь работает в парижском ресторане «Эрмитаж», торгуя экзотикой «а-ля рюсс».

Куприн, сидящий напротив Черного, хитро улыбается. Александр Иванович знает Морфесси очень давно, и, возможно, вспоминаются ему развеселые дни далекого одесского 1909 года, когда они дружили компанией: он, Морфесси, клоун Жакомино, борец Иван Заикин и негр-танцор Боба-Гопкинс. Да-с, Одесса их запомнила!.. Морфесси как-то предложил поставить своими силами оперетту «Прекрасная Елена» в помощь нуждающимся одесским студентам. Куприну досталась роль Калхаса, Заикину — Ахилла, Жакомино — одного из Аяксов, сам Морфесси взял Менелая. А у Александра Ивановича тогда, как на грех, появился поклонник из местных, безостановочно поставлявший коньяк, и когда он вышел на сцену, то понес полную околесицу. Морфесси хватался за голову, но публика всё снесла — слишком любили Куприна! (см.: *Морфесси Ю.* Жизнь, любовь, сцена. Воспоминания русского баяна. Париж: Старина, 1931. С. 87—89).

Концертная программа сменилась речами. Председатель Гольдштейн затянул приветственное слово в адрес создателя «Иллюстрированной России» Миронова. Александр Михайлович слушал вполуха: ...культурное значение... сплочение лучших российских авторов... несомненная заслуга руководителя... Следующее выступление его.

Поэт поднялся. В одной руке бокал вина, в другой торжественный спич. Конечно, он был ироничен, возвышенных фраз не ронял, шутил над тем, до чего все они докатились, по сути, обслуживая бессмертного обывателя:

Словно в Ноевом ковчеге,
Всё в журнале вы найдете:
Двухголового верблюда,
Шляпку модную для тети,
Уголовную новеллу
В двести двадцать литров крови
И научную страничку —
«Как выращивают брови»...
(«Иллюстрированной России», 1926)

А что делать? Вон даже «старцы Петр и Павел» завели в своих газетах рубрики «Тайны замков» и «Вампиры», придумав наконец, как связать тираж с идеей. В зале смех. Все поняли, что Черный намекает на Павла Милюкова и Петра Струве, издателей газет «Последние новости» и «Возрождение».

Обед затянулся до поздней ночи; расходились неохотно и

всё говорили, говорили, говорили. О России, о борьбе, о походе на Москву. Черный слушал, кивал, но мысленно был уже не здесь, а в Провансе, на юге Франции. Но этому мы посвятим отдельную главу.

Осень 1926 года принесла им с женой новую трагедию: 21 октября скоропостижно скончался Петр Потемкин. И снова это не укладывалось в голове, ведь совсем недавно Черный видел его веселым и счастливым. Петр Петрович провел лето в Венеции и Флоренции, где снимался в кино*, достаточно заработал и, вернувшись в Париж, снял хорошую квартиру близ Венсенского леса. «Устроился!» — говорили все. Вот и «устроился»: 19 октября заболел гриппом, давшим осложнение на больное сердце, и сгорел за три дня. Потемкину было всего 40 лет.

И вновь наш герой стоит в переполненном скорбящими русском храме на рю Дарю, где в марте прошлого года он поминал Аверченко. Гроб покойного утопает в цветах и венках. Кончилась служба, и печальная процессия потянулась к кладбищу Пантэн. Опустив голову, брел Черный; за ним Борис Зайцев — земляк Потемкина, орловчанин, Марк Алданов, Тэффи... Насупившись, шли издатель «Иллюстрированной России» Миронов и Дон Аминадо.

«Милый Петя Потемкин... — напишет Дон Аминадо в некрологе. — Наверное, все мы хоть и немножко, а уж чем-то пред тобой виноваты. Ведь все мы тут друг к дружке и немного небрежны, и неласковы, и торопливы. — Здравствуйте, до свидания, сердце болит?.. Пустяки, не надо прислушиваться, всего хорошего, боюсь свое метро пропустить!

И махнули рукой... и больше не встретились...

Так, пожалуйста, Петр Петрович, если можешь, прости нас» (*Миронов М.* Петр Потемкин // Иллюстрированная Россия. 1926. № 44 (77).

Саша Черный же думал о том, что в землю опускают настоящего поэта, каких нет больше и вряд ли будет. Вспоминал, как Потемкин умел видеть в буднях живую и красочную жизнь. «Соловьиное сердце» — так поэт назвал стихотворение памяти ушедшего друга, оборвав его красивой и трагической метафорой:

Надорвался и сгинул. Кричат
биржевые таблицы...

---

* Потемкин сыграл эпизодическую роль мессера гранде в картине «Казанова» (1928), снятой русским режиссером Александром Волковым. Фильм доступен в сети Интернет.

Гул моторов... Рекламы... Как
краток был светлый порыв!
Так порой, если отдыха нет,
перелетные птицы
Гибнут в море, усталые крылья
бессильно сложив...

Через несколько дней после этой смерти Александр Михайлович устроил гибель понарошку: в ночь на 27 октября 1926 года он заставил скончаться от алкоголизма своего двойника профессора Смяткина, о чем с прискорбием сообщила «Иллюстрированная Россия». Так Черный официально отказался от сатирико-юмористической рубрики «Бумеранг». После смерти Аверченко он ее получил, а после ухода Потемкина решил оставить. Вряд ли это случайность; ему было невесело.

Жизнь тем не менее продолжалась, и похороны сменялись шумными праздниками. 12 декабря 1926 года в зале «Альма» состоялось чествование Бориса Зайцева в связи с 25-летием творческой деятельности. Юбиляр пригласил свыше 250 человек и крайне сожалел, что некоторым пришлось все же отказать. Газета «Возрождение» утверждала, что Борису Константиновичу «удалось осуществить такое объединение русской эмиграции, какого до сих пор никому не удавалось» (*С.* Чествование Б. К. Зайцева // Возрождение. 1926. 14 декабря). Был здесь и общественно-политический бомонд (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, В. М. Зензинов, Н. Д. Авксентьев), и артистический (актриса Е. Н. Рощина-Инсарова, композитор А. Т. Гречанинов), и литературный (И. А. Бунин, Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, Тэффи, Марк Алданов). Саша Черный с супругой, разумеется, оказались в числе приглашенных.

Поэтессе Ирине Одоевцевой, впервые увидевшей в тот вечер Зайцева, он запомнился таким: «Борис Зайцев был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост, аристократической, высокой простотой, дающейся только избранным» (*Одоевцева И.* На берегах Сены. М.: Художественная литература, 1989. С. 214). Одоевцева, знавшая, что обязательно будет Бунин, специально приехала из Ниццы, чтобы с ним познакомиться. Нужно ли говорить о том, что и Саша Черный был счастлив видеть Бунина, восседавшего рядом с юбиляром и, по словам Одоевцевой, постоянно оттягивавшего все внимание на себя. В эмиграции Иван Алексеевич сильно изменился внешне: перестал носить усы, от чего, по общему мнению, добрал солидности, породы, както весь приосанился.

Бунин председательствовал на мероприятии и во вступительной речи сразу предупредил, что не допустит никакой политики в речах ораторов. Те «подчинились и тщательно обходили это запретное место» (*С.* Чествование Б. К. Зайцева). Тосты были нескончаемы. С лукавой улыбкой и Черный зачитал поэтический подарок, выразив свое отношение к Борису Константиновичу.

Борису Зайцеву не нужно плести «пышноцветный хвост павлиний». Он настолько хороший человек и прекрасный писатель, что слова находятся сами собой. Когда «Карамзин маститый» говорил, что хороший писатель должен быть хорошим человеком, это он явно имел в виду Зайцева...

Далее поэт коснулся той темы, что ему самому была памятна, — встречи с Зайцевыми в Риме:

Пункт четвертый. Тихий Зайцев,
Как ни странно, двоеженец:
Он Италию с Россией
В чистом сердце совместил.
Сей роман — типично русский, —
И у Зайцева Бориса
Римский воздух часто веет
Безалаберной Москвой.
(«Б. К. Зайцеву», 1926)

Текст этого спича сохранился в архиве Бориса Зайцева. Другую реликвию, напоминавшую о Саше Черном, всю жизнь хранила дочь Зайцевых Наташа (в замужестве Соллогуб). В 1927 году родители на пятнадцатилетие подарили ей альбом для автографов, с которым она приставала к именитым гостям дома. Был там и автограф Александра Михайловича* — стихотворение «Римский дождь».

Между тем наш герой стоял на пороге новых событий: уходящий 1926 год принес ему знакомство с художником, с которым они выпустили несколько прекрасных детских книг.

4

Художник Федор Степанович Рожанковский, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, фронтовик, только-только начинал обживаться в Париже. Он перебивался случайными заказами: рисовал рекламные плакаты для универмага «Бон марше» и изредка получал мелкую работу

---

* Воспроизведен в кн.: «Напишите мне в альбом...»: Беседы с Н. Б. Соллогуб в Бюсси-ан-От / Авт.-сост. О. А. Ростова; коммент. Л. А. Мнухин. М.: Русский путь, 2004.

в «Иллюстрированной России». Это потом Федор Степанович станет мэтром книжной иллюстрации*, обладателем наград и медалей, а сейчас ему впервые улыбнулась удача: он познакомился с известным поэтом Сашей Черным и получил от него несколько заказов.

Повторилась история с Вадимом Фалилеевым, которого поэт некогда вывел на большую арену. Кстати, Вадим Дмитриевич к этому времени уже жил в Берлине, а в позапрошлом году приезжал в Париж, где принимал участие в Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности. Черный на выставке был, потому что написал о ней шутку «В венском павильоне» (1925), однако нет никаких указаний на то, что они с Фалилеевым встречались. Ни одной новой книжки вместе они больше не сделали. Странно, но это так.

Есть основания полагать, что Александр Михайлович не только творчески, но и по-человечески симпатизировал Рожанковскому, потому что позволил своему новому знакомому написать с себя портрет (до сих пор это удавалось одному Фалилееву). Портрет был в некотором смысле игровой и с намеком: Саша Черный изображен в той черногорской шапочке, в которой его видела в Риме Валентина Праве, с мандолиной, а над ним — двухголовая утка-свистулька, свидетель веселого Рождества 1913 года у Фалилеевых. Неясно, что поэт хотел сказать этой игрушкой. Привет Фалилееву? Извинение перед Фалилеевым за то, что «ушел» к другому художнику?

Первой ласточкой нового творческого тандема Черный — Рожанковский стала знакомая нам «Живая азбука», вышедшая уже в третий раз с третьим вариантом иллюстраций (Фалилеев, Дризо, Рожанковский). Рецензии на нее были самые положительные, и их авторы, что немаловажно, отмечали мастерство художника: «Каждая буква в этом букваре сопровождается соответствующим рисунком. Слон ужасно заболел. Сливу с косточкою съел. Наивность рисунка вполне соответствует тексту. Слон с завязанным животом беспомощно лежит на спине и, видимо, очень страдает, бедняга. Я не сомневаюсь, что эта книга Саши Черного будет иметь большой успех. Она стоит того. По такой книге и весело, и приятно учиться грамоте. Рисунки г. Рожанковского превосходны» (*Яблоновский А.* «Живая азбука» // Возрождение. 1927. 24 февраля).

Воодушевившись успехом «Живой азбуки», Черный и Рожанковский сели за работу над «Дневником фокса Микки».

---

* С 1932 года Ф. С. Рожанковский станет иллюстрировать серию французских детских книг «Albums du Pere Castor» («Альбомы папаши Бобра»), на которых вырастут несколько поколений французских детей. Одной из самых популярных была книга «Michka» («Мишка», 1941).

Чувствуется, что оба вложили в него много души и выдумки. Александр Михайлович издавал книгу на собственные деньги, поэтому в работу никто не вмешивался и он сделал все так, как хотел.

Прежде всего, Рожанковскому был представлен прототип Микки, который попал крупным планом на цветную обложку. Хитрый фокс с приподнятой бровью (думает) и карандашом в зубах получился очень убедительным. Остальные иллюстрации в книжке черно-белые. Микки во всех ракурсах — танцующий, спящий, скучающий, просящий подачку, подглядывающий за кухаркой, плывущий на пароходе, едущий в купе — царит на ее страницах.

Родителей, то есть покупателей, должно было привлечь великолепное качество издания «Дневника...», которое обеспечила русская типография «Навар» на рю Гобелин. Типография принадлежала владельцу газеты «Возрождение» миллионеру Абраму Осиповичу Гукасову и печатала многочисленные русские издания, в том числе «Иллюстрированную Россию». «Дневник фокса Микки» вышел на прекрасной бумаге, тиражом в 200 экземпляров, причем каждый был пронумерован и, согласно предуведомлению автора, лично им подписан. Биограф поэта Анатолий Иванов сообщал, что надпись была такая: «Саша Черный. Париж. 1927». Мы же утверждаем, что подписаны были не все книги: та, что найдена нами в пражской Славянской библиотеке, имеет только порядковый номер (157), но не имеет автографа.

Фокс Саши Черного обрел шанс шагнуть в века: книга есть книга, и встретили ее ласково. Писатель Владимир Николаевич Ладыженский отметил в рецензии: «Писать от имени животного, передавать его мысли и чувства, — дело необыкновенно трудное. <...> Дело в том, чтобы все время чувствовалось животное, а не автор, спрятавшийся за ним, как резонёр в классической пьесе, для выражения своих мыслей. И надо отдать справедливость, Саша Черный за едва заметными исключениями с большой художественной изобретательностью справился с задачей. Когда фокс говорит, что автомобиль, прежде всего, дурно пахнет, когда он описывает Париж так, что, куда ни посмотришь, ноги, ноги и ноги; автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят и все на меня; когда он с чисто собачьей привязанностью, оставшись на даче, тоскует по своей хозяйке Зине, вы уже не чувствуете за его образом автора. "Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочки в зеленом платьице... Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бан-

тиков, знали бы мое имя: Микки!" И вот во имя этой детской улыбки, не часто блистающей в эмиграции, рецензенту остается только присоединиться к пожеланию автора и горячо рекомендовать книгу Саши Черного. Книга издана мало сказать превосходно, но, несомненно, с большой любовью и знанием дела» (*Ладыженский Вл.* Детская книга // Возрождение. 1927. 27 июня).

Выход «Дневника фокса Микки» обрадовал не только детей, но и семью Куприных возникшим взаимовыгодным сотрудничеством с Сашей Черным. Дело в том, что Елизавета Морицовна, изыскивая дополнительные средства к существованию, открыла на рю Фондари библиотеку, которой присвоила имя Куприна в расчете на то, что возможность не просто взять книгу на дом, но и пообщаться перед этим с «живым Куприным» привлечет сюда публику. Тем не менее маленький бизнес Куприных хромал, и Елизавета Морицовна едва сводила концы с концами. Желая ее поддержать, Александр Михайлович отдал ей на реализацию «Дневник фокса Микки», разумеется, решая и свои проблемы. Вряд ли он предполагал продавать книгу самостоятельно (не все это умеют), а у купринской библиотеки была наработанная клиентура.

Позднее Куприны получат эксклюзивное право на продажу «Кошачьей санатории», которая выйдет в мае 1928 года в «Детской библиотечке "Микки"». Федор Рожанковский выполнит чудесные иллюстрации и к этой веселой книжке, а «русский Париж» поблагодарит Сашу Черного и за само ее появление, и за то, что она — «отличное руководство к изучению родного языка для детей, которые вынуждены в чужой стране учиться на чужом языке» (*С.* Кошачья санатория // Возрождение. 1928. 31 мая).

Вообще, наступил период, когда всё удавалось и предложений работы поэту хватало. Оставалось только сделать выбор, наконец, какой из ведущих парижских русских газет отдать свое перо: «Последним новостям» Милюкова или «Возрождению» Струве. Обе выражали взгляды своих редакторов и продолжали спорить о новой России, в которую верили: белая эмиграция непременно вернется и ей предстоит выбирать форму государственности, исправляя ошибки 1917 года. «Последние новости» ратовали за демократическую республику, «Возрождение» — за монархию.

Александр Михайлович как-то кружил около, был над схваткой, в то время как все его коллеги выбор так или иначе сделали. В жизни рядом с ним в основном оказывались сотрудники «Возрождения»: Куприн, Зайцев, Яблоновский, Тэффи, Рощин, Ренников. Однако Черный, переживший в

Пскове, в нескольких километрах от места событий, отречение императора, о возрождении монархии не грезил. В октябре 1927 года, не посмотрев на то, что получает конкурента в лице Дон Аминадо, он все-таки пришел в «Последние новости», к кадетам, и оставался им верен до самой своей кончины. Может быть, в этом решении присутствовал и голый расчет, ведь Павел Николаевич Милюков был главой Союза русских писателей и журналистов в Париже, членом которого поэт являлся.

У Черного появился еще один рабочий коллектив, помимо «Иллюстрированной России», в который нужно было вживаться. Появляясь в редакции, он быстро уяснил, что Милюков — это вывеска, а на самом деле всем здесь руководит Александр Абрамович Поляков, «Абрамыч», «отец», как его зовут сотрудники. Знакомиться им не было нужды, потому что Поляков занимался журналистикой еще с питерско-московских лет, когда сотрудничал с сытинским «Русским словом». После бегства из красного Петрограда он работал в беженских русских газетах, в Севастополе при Деникине и Врангеле редактировал «Юг» и «Юг России», где фельетонистом был Аверченко. Потом были сумасшедший Константинополь и газета «Пресс дю суар», которую беженцы окрестили «Пресс де писсуар». И снова бок о бок с Аверченко.

Когда Поляков вспоминал былое, к разговору подключался молодой, но уже опытный сотрудник «Последних новостей» Андрей Седых, отвечавший в газете за политические репортажи. Он тоже хорошо помнил и белый Крым, и константинопольское «сидение», когда с друзьями зарабатывал тем, что показывал в телескоп небо и сочинял предсказания судеб.

Седых проживет очень долгую и интересную жизнь. Он станет литературным секретарем Бунина, поедет вместе с ним на вручение Нобелевской премии, многие годы будет редактором крупной нью-йоркской газеты «Новое русское слово» и скончается в возрасте девяноста двух лет, дожив до известия о распаде СССР. Сейчас же, в 1927 году, он был 25-летним и увидел Сашу Черного таким:

«...наружность у Саши Черного была располагающая. Ничего резкого, мягкие черты лица, румянец на щеках, блестящие, черные, всегда внимательные глаза и седые как лунь волосы. Однажды он сказал мне, еще молодому, с большой шапкой черных волос:

— Как странно: вот вы Седых, а черный. А я — Черный и совсем седой.

Мы потом много смеялись, вспоминая эту остроту. Он вообще любил смеяться, не только для читателя, но и для себя и

для своих друзей» (*Седых А.* Далекие, близкие. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1962. С. 82).

Седых вспоминал, что Черный приходил в редакцию довольно часто и сразу старался раствориться: «Устраивался где-нибудь в уголке, застенчивый, скромный, и молча наблюдал. Если ему говорили комплименты, он смущался, словно в чем-то был виноват, скорее переводил разговор на другую тему» (Там же). Вспоминал Седых и одну ядовитую остроту Дон Аминадо, обращенную к Александру Михайловичу: «Неправильная у вас биография. <...> Непростительная это ошибка — не иметь ни родины, ни квартиры, ни портрета Алексея Максимовича Горького с собственноручной надписью...», намекая, видимо, на его былые дружеские отношения с «буревестником революции». Дон Аминадо и сам не имел родины, а портретом Горького с автографом кто из эмигрантов в 1927 году стал бы гордиться? Практически все открещивались от прошлой дружбы с ним.

А впрочем, Саше Черному было не до дрязг.

В его жизни случилось чудо, и с каждого редакционного заседания он со всех ног бежал домой.

5

Должна была все-таки фоксомания вылиться во что-то более осязаемое, нежели книжка о Микки! И вот:

В углу сидит в корзинке фокс —
Пятинедельный гномик.
На лбу пятно блестит, как кокс.
Корзинка — теплый домик.

С любой туфлей вступает в бокс
Отважный этот комик.
В корзинке маленький апаш
Зарыл свои игрушки:
Каблук, чернильный карандаш,
Кусок сухой ватрушки,
И, свесив лапки за шалаш,
Сидит, развесив ушки.
(«Щенок», 1928)

В начале 1928 года у Саши Черного появилась собственная собака, и он не мог не известить об этом весь мир. Известить с упоением, не обращая внимания на вольное ударение в слове «туфлёй». Не до грамматики, черт возьми!

Повседневная жизнь Александра Михайловича и Марии Ивановны, одинокая и не слишком веселая, вдруг наполни-

лась особым смыслом: теперь они отвечали за крохотное беспомощное существо, требующее постоянного внимания. По первому писку «серьезный господин» из стихотворения «Щенок», что-то строчивший в тетрадке, «Вскочил, как на резинке, / Швырнул тетрадку на камин / И подошел к корзинке...». Вместе завозились на полу: большой, взрослый ребенок и крошка-фокс, разумеется, получивший имя Микки:

Щенок устал. Закрыл зрачки,
Лизнул партнера в ухо...
Застыли строгие очки...
....
По тельцу пробегает дрожь,
Врозь лапки, нос — в лопатку...
И человек вздохнул: «Ну что ж...»
И снова за тетрадку.

«Строгие очки» Микки хорошо видны на всех фотографиях: глаза у собаки имели черные ободки. К сожалению, красивой легенды о том, что щенок был сыном Микки I (псевдоавтора «Дневника...»), не выйдет, потому что Микки II был жесткошерстным фокстерьером, а это другая порода.

Бедная (или счастливая?) Мария Ивановна! Она обрела еще одного, и не самого покладистого, ребенка. Фокстерьер — собака с характером и не просто охотничья, но и хищная. С ней нужно заниматься, и Александр Михайлович с женой занимались.

В квартире на авеню Теофиля Готье прибавилось шуму. Рассказывая о том, как поэт переехал сюда в конце 1924 года, мы умолчали об одном обстоятельстве: в доме была консьержка, а у нее — маленькая дочка. Даже тот, кто не очень хорошо знаком с творчеством Саши Черного, наверняка слышал строки его известного стихотворения «Мой роман» (1927), герой которого влюблен в «консьержкину Лизу»:

Для нас уже нет двадцатого века,
И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, мы два человека,
Грызущие тихо миндаль.
....
Для ясности, после ее ухода,
Я все-таки должен сказать,
Что Лизе — три с половиной года...
Зачем нам правду скрывать?

Здесь девочка названа Лизой, однако в других случаях она носит имя Жильберта («Консьержкина дочка», 1927). У малышки очень строгая мама, которая не разрешает ходить к

жильцам в гости, чуть раскосые глазки и медаль на фартуке: в школе наградили. Абсолютно так же девочка описана в рассказе «Визит» (1929): к его герою приходит в гости Жильберта, «тихенькая консьержкина дочка с раскосыми глазками и школьной медалью на фартучке — за отличное поведение». Посему остановимся все-таки на французском варианте имени. У Жильберты с Микки сложатся особые отношения. Детские сюжеты сами шли к поэту в руки.

Микки, как и полагается фокстерьеру, вырос террористом. Он рвал в клочки фотографии, истошно лаял при виде горящих спичек и старался их потушить. Отдельная его ярость распространялась на африканский сувенир, «паскудного проплеванного идола», как называл его Александр Михайлович. Эта статуэтка жуткого вида стояла над умывальником: «Черное вздутое пузо с огромным пупком, бюст, как две дудки, и задранный кверху сверхъестественный зад. А уж про рожу лучше и не говорить: другой и непьющий запьет, если с таким маримондой месяц в комнате проживет» («Африканские вещи», 1931). Идола подарил Саше Черному его приятель Владимир Николаевич Унковский, врач и литератор, несколько лет проработавший в африканской французской колонии Дагомее. Местные аборигены бабе-идолу плевали в глаза, а потом этой слюной натирали себе виски, чтобы снять головную боль. Микки при виде чудовища доходил до исступления, прыгал, как на батуте, пытаясь до него достать. Достать не мог, выбивался из сил, распластывался на полу «лягушкой» и истошно выл. Мария Ивановна была с ним солидарна и постоянно ворчала, что идол неприличный (Из воспоминаний М. Н. Потоцкого. Собрание А. С. Иванова). Унковский, судя по всему, жил в одном доме с Александром Михайловичем и Марией Ивановной, так как в рассказе «Африканские вещи» среди детишек, пришедших поглазеть на привезенные им удивительные сувениры, была и «консьержкина бойкая девочка Жильберта».

С Микки у девочки свои старые счеты. Каждое утро консьержка, ее мать, просовывала под дверь Черного почту и корреспонденцию. С другой стороны уже нетерпеливо перебирал лапами Микки: он занимал пост у двери ровно в половине восьмого утра. Как только показывался угол газеты, фокс хватал ее и со всех ног мчался в спальню к хозяину, прыгал на кровать и вручал ему почту. Эту церемонию как-то наблюдал пришедший к поэту в гости Андрей Седых, он и рассказал об этом (*Седых А.* Юбилей без речей: К 25-летию литературной деятельности Саши Черного). Но иногда почту просовывала Жильберта, и вот тогда-то она вволю куражилась над Микки, дразня его углом газеты.

Итак, утро начиналось с газетного аттракциона. Потом Александр Михайлович и Микки шли гулять, а весной и летом — купаться. От их дома несколько минут пути до моста Гренель. Микки рвет во все стороны поводок, увидев под мостом сородичей. Оказывается, там разворачивается целая драма! У стены навес, скамья и стол. Здесь работает собачий парикмахер, и хозяева тащат к нему упирающихся питомцев: кто «китайского вурдалака», а кто «Болонку старую, собачью полудеву, / Распластанную гусеницу в лохмах...» («Собачий парикмахер», 1930).

Поднимемся с поэтом и его собакой на мост Гренель, посмотрим налево — вдали силуэт Эйфелевой башни, направо — парижская Статуя Свободы, громоздкая и весьма уродливая дива с факелом. Не может быть, чтобы Черный, глядя на нее, не вспоминал собственных стихов о баварской «бабе из металла», которую он видел в Мюнхене.

По пути домой эта пара — поэт и Микки, источник его поэз, — заворачивает на старый рыбный базар, живописнее которого нет в Париже. «Фоксик вежливо и робко / Полизал усы лангусты» («Базар в Auteuil», 1927). А может пойти в противоположную сторону — к любимому Булонскому лесу. И там Александр Михайлович обязательно найдет детей и устроит с ними и с Микки веселую игру:

Мальчишка влез на липку —
Качается, свистя...
Спасибо за улыбку,
Французское дитя!

«Слезай-ка, брось свой мячик,
Мой фокс совсем не злой, —
Быстрее всех собачек
Помчится он стрелой...»

И вот они уж вместе —
И зверь, и мальчик-гном.
(«В Булонском лесу», 1930)

...Бредут по парижской улочке двое: задумчивый, сутулый, стареющий поэт и собака, ловящая его взгляд... Здесь слова бессильны, здесь кисть требуется.

Кто знает, не было ли этой пары в эпизодах кинофильма «Русский Париж», создатели которого хотели сохранить для истории и облик писателей эмиграции. Эта лента, снятая на студии «Бианкур», сегодня утрачена. Саша Черный, если и не снимался в ней, то уж точно видел, потому что фильм демонстрировался на балу Союза писателей и журналистов 9 марта 1928 года, где он играл одну из ведущих ролей.

Много воды утекло с тех пор, когда поэт, морщась, открещивался от сатириконских бальных затей. Теперь он не просто участвовал в балах, но и проявлял инициативу. На масленичном балу 9 марта 1928 года они с Куприным организовали тир, «русские горки» и сами плясали в маскарадных костюмах (Бал писателей и журналистов // Возрождение. 1928. 9 марта). Происходило действо в ресторане отеля «Лютеция», давно облюбованном русскими.

Черный бывает в «Лютеции» так часто, что выучил наизусть и все темы русских споров, и весь репертуар буфета:

Опять поймаешь в коридорчике коллегу
И, продолжая прошлогодний диалог,
Как встарь, придешь к буфету и с разбегу
Холодной рюмкой подчеркнешь итог...
(«Размышление у подъезда "Лютеции"», 1928)

До мелочей изучил поэт и всех гостей, состав которых из года в год не меняется: «Все те же смокинги, жилеты и проборы, / Лишь седины прибавилось в висках...» Этой аудитории он почти уже не боится:

Когда ж, к прискорбию, — о Господи, помилуй! —
Тебе придется что-нибудь читать,
И над эстрадой с прошлогодней силой
Цветник уездный расцветет опять, —
Любой в нем нос изучен в полной мере,
Любой в нем лоб знаком, как апельсин.

Летом 1928 года поэт настолько осмелел и освоился в качестве артиста, что решился на гастрольное турне по курортным городам юга Франции в компании с Александром Александровичем Яблоновским. 23 июня они выступали в Лионе, 30 июня — в Гренобле, 1 июля — в Марселе, 7 июля — в Каннах и 8 июля закончили турне в Ницце. По словам Марии Ивановны, везде были аншлаги, но заработать ничего не удалось. В отличие от Парижа, где некоторые эмигранты могли заплатить за вход на литературный вечер 100 франков, в русских колониях Прованса цена в пять франков вызывала отчаяние.

Тем не менее в поездке были и плюсы. Черный опробовал на широкой публике свои юмористические рассказы для взрослых, в том числе байки из военной жизни, над которыми работал в последнее время. Убедившись в успехе, по возвращении из турне он выпустил сборник «Несерьезные рассказы», который был принят читателями с благодарностью, ведь в эмигрантской жизни было не так много веселого. Куприн писал, что книжка «пронизана легкой улыбкой, беззлобным сме-

хом, невинной проказливостью, и если ухо улавливает изредка чуть ощутимый желчный тон, то что ж поделаешь: жизнь в эмиграции не особенно сахар» (*Куприн А.* Несерьезные рассказы // Возрождение. 1928. 25 октября). В числе лучших многие отметили фронтовую байку «Замиритель» о русском ефрейторе с необузданной фантазией, который придумал, как ликвидировать Вильгельма и победить Германию. Нужно подлететь на «ероплане» к немецким позициям, спустить веревку с петлей, поддеть проклятого под мышки, приволочь в штаб и заставить сдаться, «помириться».

Борис Лазаревский вспоминал об одном отзыве на «Замирителя». Как-то он разговорился с полковником А. Н. Васильевым-Яковлевым, и тот попросил: «Передайте ему (Саше Черному. — *В. М.*) мой восторг и мою благодарность, ведь я сам немалое время отзвонил “вольнопером” и уж я-то могу судить, насколько Саша Черный знает быт и душу былого русского солдата...» (*Б<орис> Л<азаревский>.* Памяти А. М. Черного). Лазаревский передал «восторг и благодарность» Александру Михайловичу, а тот весь расцвел, покраснел и решил немедленно отослать полковнику свои «Несерьезные рассказы» с автографом.

Популярность «Замирителя» и других «солдатских сказок» Черного, конечно, обусловлена авторским талантом, однако и изначальной заданностью успеха, которую обеспечивает фольклорный образ смекалистого солдата. На этой традиции взошли и «бравый солдат» Швейк, и Василий Теркин, а более всего приходит на ум шукшинский «чудик» Бронька Пупков из байки «Миль пардон, мадам!», вравший в красках о том, как стрелял в Гитлера.

Однако основные устремления Черного по-прежнему были связаны с детской литературой. Той же осенью 1928 года он получил заказ на книгу для русских детей Королевства сербов, хорватов и словенцев (будущей Югославии). Русская колония там была огромна, поскольку эта страна активно принимала «осколки» русской армии Врангеля, памятуя о братской помощи России в годы войны. Именно в Белграде 25—30 сентября 1928 года прошел Первый съезд русских писателей и журналистов за границей (их советские коллеги впервые соберутся на свой только в 1934 году). Накануне этого большого события в Париже разгорелась борьба, не всегда красивая, за право быть делегатом белградского съезда от местного союза. В состав группы делегатов, поехавшей в Белград, Саша Черный не вошел (правда, вошел Куприн). На съезде были налажены контакты, выработана издательская программа, и в 1929 году в Белграде «Издательская комис-

сия» палаты Академии наук выпустила детскую книгу Черного «Серебряная елка». Иллюстрировал ее молодой художник Григорий Иванович Самойлов, в современном Белграде личность известнейшая. В прошлом казак станицы Аксайской Всевеликого Войска Донского, он в пору работы над книгой Черного был еще студентом архитектурного отделения технического факультета Белградского университета. Пройдет не так много лет, и Самойлов станет ведущим архитектором Белграда, сильно разрушенного в годы Первой мировой войны; здания, построенные по его проекту, и сегодня считаются украшением столицы Сербии. В 1931 году Черный выпустит иллюстрированную Самойловым детскую «Румяную книжку», последнюю в своей жизни.

В 1928 году произошли перемены в жизни Марии Ивановны: она стала пробовать себя в журналистике. Это известно из письма Марка Алданова Ивану Бунину от 7 января 1928 года: «...Недавно ко мне явилась за интервью — кто бы Вы думали? Жена А. М. Черного! Для трех дальневосточных газет! Вопрос: какое литер<атурное> произведение последних лет Вы считаете самым замечательным? Я без колебания ответил: “Жизнь Арсеньева!”» (7 января 1928 года)*. Визит Марии Ивановны к Алданову в качестве журналистки не кажется нам удивительным. У жены поэта были филологическое образование, опыт гуманитарной научной работы, так неужели она не способна была взять интервью? Что касается «дальневосточных газет», то это «Заря» (Харбин), «Шанхайская заря» (Шанхай) и «Наша заря» (Тяньцзин), выпускавшиеся еврейским издательством Мечислава Лембича.

Незаметно подошел 1929 год, который, по свидетельству многих эмигрантов, был последним относительно сносным, дальше становилось жить все тяжелее: во Франции начался финансово-экономический кризис, охвативший и США, и все страны Старого Света.

Русская колония собирала средства на детский приют «Голодной пятницы», который планировалось открыть в парижском предместье Монморанси. Кому как не Саше Черному, детскому писателю, было подать свой голос в пользу благотворительных пожертвований:

Читатель, друг! Быть может, в суете,
В потоке дней, в заботах бесконечных
Не вспомнил ты о тех, кто кротко ждет,
Кто о себе не вымолвит ни слова...

* Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным // http://az.lib.ru/a/aldanow_m_a/text_0300.shtml

....
Во имя русских маленьких детей
Я пред тобой снимаю молча шляпу.
(«Дом в Монморанси», 1929)

В первых числах апреля 1929 года поэт присутствовал на освящении приюта, обошел весь «ковчег», поговорил с детишками и пожелал сил Ольге Николаевне Мечниковой, вдове известного ученого, принявшей на себя обязанности директора «Голодной пятницы» (Приют для детей в Монморанси // Возрождение. 1929. 9 апреля).

Это была одна сторона жизни русского Парижа, но была и другая. В эти же дни в ресторанчике «Гранд шумьер» кутили советские граждане, поэт Владимир Маяковский и прозаик Лев Никулин, иронизировавшие над обтрепанными бывшими соотечественниками. Маяковский ухаживал за русской эмигранткой Татьяной Яковлевой и второй месяц жил в Париже. Никулин вспоминал один разговор с ним этого времени. Владимир Владимирович играл в бильярд, был весел, сыпал стихами и, экзаменуя Никулина, процитировал строки из старого гунгербургского цикла Черного: «В лакированных копытах ржут пажи и роют гравий, / Извиваясь как лоза». Спросил: чья? Никулин затруднялся ответить. Маяковский издевался: «Не помните? А еще сами писали стихи. Саша Черный. Вы любили Сашу Черного? Да, хорошо. А теперь какая стал дрянь. — С иронией: — Тоже Гейне» (*Никулин Л.* Годы нашей жизни. М.: Московский рабочий, 1966. С. 140). Так Маяковский оценил те публикации Черного, которые ему попадались в «Последних новостях» и «Иллюстрированной России». Неизвестно, дошли ли до Черного отзывы советского поэта, а если и дошли, то вряд ли он обиделся, поскольку раньше сам написал на Маяковского колкую эпиграмму:

Смесь раешника с частушкой,
Барабана с пьяной пушкой —
Красный бард из полпивной,
Гениальный как оглобля,
От Нью-Йорка до Гренобля
Мажет дегтем шар земной.
(«Эпиграммы», 1924)

В конце июня 1929 года по путевке, предоставленной Союзом писателей и журналистов, Саша Черный оказался в «Русском доме отдыха» под Ниццей. Надо сказать, что Александр Михайлович косвенно был причастен к тому, что «Русский дом» начал принимать писателей. Прошлым летом, когда они с Яблоновским закончили свое турне в Ницце, Черный

уехал в Париж, а его спутник на несколько дней остановился в этом самом санатории. Яблоновскому там настолько понравилось, что он отправил в «Возрождение» восторженный очерк: «Совершенная простота и полная свобода. Вам ничего не подсказывают и ничего не навязывают, но вы чувствуете какое-то скрытое доброжелательство к себе, какую-то постоянную деликатную заботу о ваших удобствах и вашем покое. На второй день у вас создается такое впечатление, как будто вы к очень хорошим людям в гости приехали» (*Яблоновский А.* Дом отдыха // Возрождение. 1928. 26 июля). Яблоновский упрекал Союз писателей и журналистов в том, что эта структура «по своим средствам» вполне могла бы оказать финансовую поддержку дому отдыха, а за это потом направлять туда своих членов: «Провести хоть месяц, хоть две недели в Ницце, подышать запахом сосен, покупаться в море — разве это не мечта всякого эмигранта? А ведь эта мечта, господа, очень доступна» (Там же). «Доступность» была сомнительная: месяц пребывания с полным пансионом стоил 400—500 франков. Однако голос Яблоновского услышали, и год спустя в дом отдыха от Союза писателей был направлен Саша Черный.

Судя по заметкам в «Возрождении», санаторий располагался в 15 минутах езды от центра Ниццы, на вилле, стоявшей на вершине холма и окруженной тенистым садом. Разумеется, появление известного поэта не осталось незамеченным. Один из отдыхающих вспоминал: «...в течение двух недель я наблюдал его (Сашу Черного. — *В. М.*) близко во время обедов и ужинов, за “табльдот”. Выше среднего роста, полуседой, с удивительно красивыми черными глазами и умным выражением лица, Саша Черный производил впечатление грустного, молчаливого человека» (цит. по: *Иванов А.* Комментарии // *Черный Саша.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. М.: Эллис Лак, 1996).

Сам Черный в рассказе «Капитан Бопп» (1930) те же две санаторские недели называл «обломовскими».

Легкий стук — и в дверь вплывает
Гуттаперчевой походкой
Санаторский Гавриил.
Как грудным младенцам соску,
Он в постель приносит кофе...
Стыдно завтракать в постели, —
Отказаться нету сил.
Капли катятся вдоль шеи,
В масле нос и подбородок...
Кто бы взял меня на ручки,
Спеленал и поносил?

(«В санатории», 1929)

Пока Александр Михайлович предавался редко выпадавшим обломовским радостям, Мария Ивановна титаническими усилиями воплощала в жизнь его мечту.

Двадцать лет назад, в петербургской суете, поэт призывал «вершину голую», где он будет писать «простые сонеты» и изредка выходить к людям «из дола».

Летом 1929 года эта мечта сбылась.

Трубадур из Прованса

Кто знает, быть может, счастье
и есть глубокий отдых, больше ничего.

Саша Черный

1

«Вершина голая» отыскалась в Провансе, на Лазурном Берегу. В отличие от многих Александру Михайловичу не полюбились ни Ницца, ни Канн, Тулон, Марсель или Сан-Тропе: пестро, людно, шумно. Он прикипел душой к необитаемому пляжу Ла Фавьер старинного городка Борм-ле-Мимоза и, подобно средневековым провансальским трубадурам, последние годы своей жизни воспевал эту землю и благодарил Господа за ее обретение, за каждый рассвет и закат, за бескрайнее море, так похожее на то, на берегу которого он родился.

В своей любви к Фавьеру поэт не был одинок. На этом пляже к концу 1920-х — началу 1930-х годов возник целый «ситэ рюсс», ставший одной из легенд эмиграции первой волны. До сих пор никто из исследователей не подходил к этой теме вплотную, и мы, кажется, впервые делаем попытку рассказать об истории Ла Фавьера, «французского Батилимана*».

Для начала немного географии. Провансом называется обширная сельскохозяйственная область на юго-востоке Франции, а Лазурным Берегом (или Французской Ривьерой) — ее курортная прибрежная часть, омываемая Средиземным морем, а точнее сказать, — Лигурийским**. Русские начали активно ездить отдыхать и лечиться сюда с середины XIX века. В конце столетия этот поток поредел по той причине, что уже

---

* Батилиман (*греч.* «глубокий залив») — поселок на Южном берегу Крыма неподалеку от Севастополя. В 1912 году там была создана «колония» русской интеллигенции.

** Средиземное море разделяется крупными островами и полуостровами на несколько морей — Альборан, Балеарское, Лигурийское, Тирренское, Адриатическое, Ионическое, Эгейское и Кипрское.

расцвела Ялта как курорт, и сливки российского общества, как и богема переместились туда, удивляясь природной схожести Крыма и Прованса. В годы Гражданской войны Крым стал местом сначала деникинского, а затем врангелевского «сидения», и многие из тех, кто туда попал, успели влюбиться в этот полуостров. К тому же он стал последней сопротивлявшейся большевикам территорией, после которой была уже чужбина.

Словом, можно считать закономерностью, что русские изгнанники, осевшие во Франции, потянулись на юг Прованса. В самом начале 1920-х годов «русский Париж» впервые услышал о том, что в окрестностях Тулона есть чудный городок Борм-ле-Мимоза («мимозный Борм») с пляжем Ла Фавьер — настоящим «petite Crimée», «маленьким Крымом».

Следует заметить, что курортная история Борм-ле-Мимоза очень древняя — еще на картах Римской империи городок был обозначен как курорт Алконис. Испокон веку здесь жили моряки, много было каталонцев и генуэзцев, поскольку Французская Ривьера граничит с Ривьерой Итальянской. Начиная с XII века частью коммуны* Борм-ле-Мимоза являлась приморская деревушка Лаванду («лаванда»). Бурное развитие Борма и Лаванду началось в 1890-х, когда на Лазурный Берег была проложена железная дорога, соединившая Тулон с курортными городками побережья. В Борм и Лаванду потянулась богема, в основном художники. Местные виды писали Пьер Огюст Ренуар, друзья Тео ван Рейссельберге и Анри Кросс, известные неоимпрессионисты, похороненные в Лаванду.

В 1910 году здесь появились и выходцы из России — Иван Мечеславович и Екатерина Алексеевна Песке, также художники-неоимпрессионисты. Они-то и облюбовали в окрестностях Борма совершенно пустынный пляж Ла Фавьер, ограниченный с востока мысом Гурон, купили на мысе участок и построили там домик «Бастидун»**, служивший им мастерской.

С началом Первой мировой войны мужчин забрали на фронт, туристов не стало, и всё в Борме и Лаванду постепенно пришло в запустение. Кто бы мог подумать, что эту землю суждено будет вернуть к жизни людям из далекой России! В 1920 году революционный вихрь выплеснул на берега Ла Фавьера эмигрантскую чету: Бориса Алексеевича и Аполлинарию Алексеевну Швецовых. Он — сын купца-миллионера из якутской Кяхты, она — родная сестра Екатерины Алексеевны

---

* Коммуна (во Франции) — единица пятого уровня административно-территориального деления; община жителей населенного пункта.

** На юге Франции в XII—XIV веках так назывались небольшие укрепленные селения, сторожевые башни на городских стенах. Словом, супруги Песке назвали свой домик «крепостенкой, сторожевой башенкой».

Песке, художницы из домика «Бастидун». Совершенно очарованные Ла Фавьером, Швецовы купили здесь участок, но пока на перспективу. А в январе 1921 года рядом с «Бастидуном» появился новый персонаж — сибирский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков, только что прибывший из Константинополя в Тулон. Он давно знал Швецовых (даже вывел Бориса Швецова под именем Торцова в своем известном романе «Чураевы»). В годы революционной смуты Гребенщиков жил в Ялте, где построил собственными силами домик и полюбил возиться с землей, поэтому арендовал у Швецовых участок, построил дом и купил мула с упряжкой. Однако как творческий человек он нуждался в общении и мечтал превратить Ла Фавьер в писательскую «колонию». С этой идефикс зимой 1922 года он появился в Париже и старался увлечь ею Бунина и Куприна, уговаривая купить землю в Ла Фавьере. Те с улыбкой выслушали историю о том, что он нашел «маленький Крым», и только. Так и не «колонизировав» писателей, Гребенщиков в 1924 году уехал в США, а домик продал только что приехавшей в Париж Людмиле Сергеевне Врангель. Лучшей кандидатуры для того, чтобы сделать Ла Фавьер образцовой интеллигентской «колонией», нельзя было и желать.

До революции Людмилу Сергеевну хорошо знали в петербургских литературных кругах. Она была дочерью Сергея Яковлевича Елпатьевского, известного писателя и лечащего врача Чехова, в первом браке жена книгоиздателя и литератора Петра Ефимовича Кулакова. В 1912 году Людмила Сергеевна с мужем выкупили у татар землю в диком местечке Батилиман под Севастополем, разбили ее на участки, которые предложили по невысокой цене тем, кто хотел уединения, первобытной экзотики и прекрасных видов. Так сформировалось батилиманское братство: здесь построили себе дачи Павел Милюков, художник Иван Билибин, писатели Владимир Короленко и Евгений Чириков, Сергей Елпатьевский (отец Людмилы Сергеевны) и многие другие.

Короче говоря, появившись в Ла Фавьере, баронесса Врангель знала, что делать и с чего начать. Тем более что Швецовы, купившие землю, ею не интересовались. Людмила Сергеевна предложила им выгодно перепродать их участок, разбив его на куски, а за это просила в дар себе один из них. На том и порешили. И Париж, по словам Саши Черного, заболел «мелькоземельным гриппом». Баронесса Врангель в первую очередь взялась за бывших «батилиманцев» и литераторов. Александр Михайлович и Мария Ивановна то и дело видели ее у Куприных, которых она жарко уговаривала стать лафавьерцами. Нынешний муж баронессы Николай Александрович Врангель,

инженер путей сообщения и общественный деятель, наседал на техническую интеллигенцию и бывших военных.

Желающих было достаточно, но условия Врангелей устраивали не всех. Во-первых, нарезанные участки были неравноценны по природным данным, поэтому распределялись по принципу жеребьевки. Кто какой вытянул — такой и покупает, не ропщет (это была батилиманская практика). Во-вторых, после жеребьевки требовалось в десятидневный срок внести деньги, иначе участок передавался другому лицу. В результате участки купили Павел Милюков, князь Владимир Оболенский, профессор Сергей Метальников, полковник Николай Белокопытов, Соломон Крым, Сергей Воейков, профессор Кокбетлянц и другие (*Врангель Л. С.* Ла Фавьер // Возрождение. Литературно-политические тетради. 1954. № 34. С. 148).

Александр Михайлович и Мария Ивановна не могли заинтересоваться Ла Фавьером ни летом 1924 года, когда у них не было ни копейки и они жили у чужих людей в Гресси, ни летом следующего года, когда поехали с Сориными на океан. Они вспомнили о нем летом 1926 года. Саша Черный тогда перенес воспаление легких и врачи рекомендовали ему солнечные ванны. Денег особо не было, и они с женой решили поехать в Ла Фавьер, где, по словам Врангелей, отдых был почти бесплатным. Узнав у Куприных адрес Людмилы Сергеевны, отправили телеграмму с просьбой подыскать какое-нибудь жилье и скоро получили оптимистический ответ: «Все готово! Приезжайте немедленно. Встречу станции Лаванду». И вот — поехали.

Из Парижа поездом они прибыли в Тулон. О том, как жил тогда этот город, рассказывает корреспондент газеты «Возрождение»: «Тулон, больше, чем даже наш Севастополь в былое время, живет портовой жизнью, интересы которой захватили положительно всех обитателей города. На улицах пестрят морская форма французская и иностранная, а, когда подъезжаешь к городу по Средиземной жел<езной> дор<оге>, уже видишь ряд мачт и полосы дыма на протяжении нескольких километров. <...> В городе заняты все помещения постоянным населением и служащими порта, квартиры очень дороги и недоступны, и для... русской колонии остаются сильно удаленные пригороды. Русских здесь до 250 человек, главным образом, семейных, с большим трудом борющихся за свое существование. Работают русские или на судостроительных заводах или же на городском трамвае, в качестве машинистов и кондукторов, заработок колеблется от 15 и до 22 франков. <...> Общественной жизни в колонии почти нет; единственной организацией, сплоченной и действенной, является общевоин-

ская группа, руководимая пользующимся крупным авторитетом генералом Авринским; группа имеет свою библиотеку и кассу взаимопомощи. Общее желание всей колонии — иметь свой храм, но за отсутствием средств это пока невозможно и церковная жизнь в Тулоне выражается в виде приездов по приглашению священника из Марселя» (*Орловский В.* Русские в Тулоне // Возрождение. 1926. 2 января). Запомним последнее обстоятельство — отсутствие в Тулоне православного священника — об этом еще пойдет речь впереди.

Черный тоже немедленно сравнил Тулон с Севастополем: «Город такой симпатичный, на Севастополь даже чуть-чуть похож» («Буйабес», 1926). С вокзала, куда они прибыли, нужно было переезжать к другому, узкоколейному вокзалу, с которого отправлялись поезда в курортную зону. Ксения Куприна вспоминала, что эта узкоколейка, шедшая вдоль Лазурного Берега, была «какая-то семейная, домашняя»: машинист мог остановить поезд, чтобы с кем-то поздороваться на полустанке, а то и выйти пропустить стаканчик. Если недовольные пассажиры начинали роптать, он расплывался в белозубой улыбке и мычал: «Э-э...» Корреспонденцию он кидал куда-нибудь на скамейку и громко кричал: «Эй, мосье!.. У вас там на скамейке срочное письмо!..»

Пятого августа 1926 года Александр Михайлович и Мария Ивановна растерянно стояли на вокзале Лаванду: их никто не встретил. Что делать? К кому обратиться?

— А я вас знаю! — радостно объявила подошедшая девочка, беря поэта за руку. — Людмила Сергеевна не смогла приехать. Мы с дядей и Николай Семеновичем вас проводим.

Загадочные «дядя и Николай Семенович» отрекомендовались как Иннокентий Алексеевич Швецов и Николай Семенович Красулин. Швецов сказал, что добираться в Ла Фавьер уже поздно, поэтому сейчас они все вместе пойдут в отель, где для Александра Михайловича и Марии Ивановны приготовлена комната, а потом — обедать.

Отель «Méditerranée»* Мария Ивановна вспоминала как «неблагоустроенный, грязный», вроде «второклассной гостиницы в уездном городке России». Деревушка Лаванду между тем была восхитительной: лодки под парусами и без, лавочки, рыбацкие «кабаноны» (хижины), несколько вилл. Далеко в море были видны острова. Позже наши герои узнают, что они обитаемы, называются Пор Кро, Дю Леван и Поркероль и туда можно плавать на лодке.

За обедом познакомились ближе. Оказалось, что Иннокентий Алексеевич — брат Бориса Швецова, владельца земли в

---

* Отель, двузвездочный, сохранился.

Ла Фавьере. Он также унаследовал часть значительного состояния своего отца, кяхтинского купца-миллионера*, и жил на широкую ногу вместе с семьей в Ницце. Отдыхать же приезжал то в Фавьер, то в Лаванду. Вместе с ним приезжала его сестра Мария Алексеевна, по мужу Токмакова, с детьми. Ее дочь Лида и была той девочкой, которая взяла Сашу Черного на вокзале за руку.

Несколько забегая вперед скажем, что Иннокентий Алексеевич (или Кена, как его называли друзья) быстро стал живой легендой Фавьера. Куприн описал его в очерке «Сильные люди» (1929), где утверждал, что фавьерские рыбаки из всех русских истинно уважали только Швецова и «называли его фамильярно и ласково: Innocent. В этом названии есть двойной смысл; если его употреблять с большой буквы — получается почтенное христианское имя, а если с маленькой, то выходит нечто вроде как “простака”, или “рубаха-парень”, или еще — “малый-простыня”».

Николай Семенович Красулин, в прошлом капитан Русской армии генерала Врангеля, был доверенным лицом Швецовых и постоянно жил здесь, контролируя благоустройство Ла Фавьера.

Обедом дело не закончилось. Швецов потащил всех на площадь, посреди которой был летний трактир, на простых деревянных скамьях сидели местные рыбаки и тянули «пастис» (анисовую водку). Швецов дал понять трактирщику, что привел друзей и их надо обслужить по высшему разряду. Вокруг все радостно засуетились. Саша Черный пытался заплатить, но изумленный трактирщик объяснил, что за мсье Швецова здесь никогда никто не платит, напротив, мсье Швецов угощает весь город.

Утром вся компания пошла в Ла Фавьер. Путь оказался неблизким: шесть верст берегом моря, по сосновому бору.

Вот и Ла Фавьер: обширная долина, расчерченная виноградниками, мыс Гурон, грохот прибоя. Людмила Сергеевна Врангель, увидев гостей, радостно защебетала: «О, идемте! Восхитительный кабано! В соснах!» — и ринулась куда-то вверх по склону.

«Восхитительный кабано» Мария Ивановна описала в воспоминаниях: «Перед нами... был крошечный сарайчик с одной дверью, и маленьким окошечком, и почерневшей черепичной крышей. Людмила Сергеевна торжественно распахнула дверь

---

* Память об Иннокентии Алексеевиче жива в Кяхте и сегодня. В частности, о нем вспоминают как о лихом гонщике, принимавшем со своим «мерседесом» участие в первом автокроссе по бездорожью 29 сентября 1913 года (в окрестностях Москвы, под деревней Верхние Котлы).

(не запертую на ключ), и мы очутились в крошечной комнате, почти целиком занятой кроватью, стоявшей на грязном земляном полу. Потолка не было, и солнце просвечивало сквозь щели в крыше, где недоставало нескольких черепиц. <...> Мы осмотрелись, и местоположение маленького кабанона, и природа, и вид с холма показались нам так хороши, что мы легко примирились с теми маленькими неудобствами жизни, которые нас так поразили в первую минуту, так как мы не ожидали ничего подобного».

Позднее муж Людмилы Сергеевны, барон Врангель, доставил в жилище подобие стола с тремя ногами (вместо четвертой была прибита палка) и дырявый стул. Как-то случился ливень, и вода залила всю кровать. Александр Михайлович и Мария Ивановна расхохотались: «Что на это скажет Людмила Сергеевна?!»

Пришлось перебраться к гостеприимным Швецовым. Аполлинария Алексеевна, первооткрывательница этого рая, прислала за ними Красулина с мулом. Переехав в условия несколько более сносные, наши герои познакомились с женой знаменитого «Innocent» Швецова — Галиной Семеновной Родионовой, которой мы еще предоставим слово.

Всегда стремившиеся забраться подальше от цивилизации, в таком первобытном месте Гликберги тем не менее оказались впервые. Ла Фавьер был совершенно отрезан от мира: сюда не вели шоссейные дороги, здесь отсутствовали электричество, водопровод, канализация. На мысе Гурон были хаотично разбросаны ветхие рыбацкие хижины, которые здесь называли «кабанон», а в долине было несколько имений местных фермеров. Всё. За каждой бытовой мелочью приходилось идти шесть верст в Лаванду. До ближайшего города Борм-ле-Мимоза путь был неблизкий.

Саша Черный давно мечтал быть Робинзоном — судьба подарила ему такую возможность. Теперь каждое утро он таскал воду из колодца, в качестве приспособления для мытья имел единственный рукомойник, нещадно сражался с муравьями, которые набрасывались на продукты, и разговаривал... с цикадами.

Цикады были полновластными хозяевами этих мест. Орали они не умолкая и, как шутил Черный, видимо, этим треском разогнали отсюда всех певчих птиц. Куприн, приехавший в Ла Фавьер через три года, смеялся: «...провансальская цикада — это существо, которое бесспорно страдает эротическим умопомешательством. От раннего света до последнего света и даже позднее они бесстыдно кричат о любви. Никому не известно, когда они успевают покушать» (*Куприн А. И.* Сплюшка //

Возрождение. 1929. 3 ноября). Александр Михайлович, как и следовало ожидать, отнесся к этим кузнечикам с неменьшим почтением, чем к уважаемым городским тараканам. С некоторыми цикадами он познакомился и вскоре стал узнавать, кто из них орет. Начинала концерт всегда нахалка без одной ноги. Потом подхватывали остальные: у каждой своя сосна. Что ж, нужно принимать местные законы: «Сам ведь я тоже... свищу часто на весь лес и не спрашиваю ни у муравьев, ни у ос, ни у цикад, нравится это или нет» («Цикады», 1926).

Чтобы окончательно ощутить себя аборигеном, Саше Черному нужно было освоить еще один местный «феномен»: «У синего залива старик-рыбак варил на опушке прибрежной рощицы знаменитую провансальскую похлебку из красной рыбы и прочих морских жителей, заправленную... чем только не заправленную! Дачники покупали похлебку нарасхват, ели, обжигали губы и похваливали — и называлась эта похлебка “буйабес”» («Буйабес», 1926). Рецепт он разузнал у местных жителей: красная рыба, к ней добавить маленьких крабов, мулей, белых ракушек, креветок, осьминогов, приправа — лавровый лист, шафран, чеснок, лук, перец, соль; всего 18 видов специй.

Буйабес был приятным открытием. Второе же открытие не только не радовало, а ужасно раздражало — мистраль, ураганный северо-западный ветер, бич Прованса. Налетая внезапно, он дует сутки напролет, вырывая с корнем деревья. Самое страшное, когда он разносит пожар, — не спастись.

Были и другие подобные открытия вроде москитов, проливных дождей, превращавших берег в груду щеп и сучьев... Но Саша Черный влюбился в Ла Фавьер. В Париж, в «Иллюстрированную Россию», полетели его иронические рассказы о буйабесе, цикадах, борьбе с муравьями, о черном котенке, забравшемся как-то в хижину. Все они полны упоительным детским восторгом от свободы, от встречи с живой природой. В 1930 году Черный несколько переработает их, заменит рассказчика на узнаваемого автобиографического «дядю Васю», добавит несколько глав своих впечатлений в Гресси — и получится детская книжка «Чудесное лето», главным героем которой станет мальчик Игорь. В рецензии на нее писатель Иван Созонтович Лукаш подметит ту перемену в мировоззрении автора, которая позволяет говорить о его полном перерождении. Возможно, сам того не зная, Лукаш поставил окончательную точку в истории, начавшейся в 1913 году, когда в «Ное» Саша заявил о прощании с сатирой и о новом служении — детям:

«Как будто еще не отмечено двойное литературное бытие А. Черного, необычайное сочетание в нем двух литературных

лиц. Саша Черный — это одно, А. Черный — другое, и ошибочно в заголовке “Чудесного лета” помечено “Саша Черный”. Эта повесть написана именно Александром Черным...

Саша Черный — ироническая и резкая насмешка, презрительный сарказм над всем вздорным человеческим миром, с его двуногими героями и героинями, с толпой его глупцов и ничтожеств. Словом, Саша Черный — это зловещий “сатириконец”, петербургский поэт последней перед революцией эпохи. <... >

Но вот, уже в изгнании, случилось некое преображение писателя, и перед нами другой Черный, рассказчик для детей, почти исключительно для детей, единственный теперь русский детский автор.

Собственно, если хотите, в этом то же суровое “мира твоего не приемлю”. Отринувшись нашего мира взрослых, Черный отдался миру ребенка. Но когда это случилось, сам Черный стал иным. Ирония, сарказм, презрение сменились безобидной шуткой, сменились покойной прозой повествователя — наблюдателя. Как будто все засветилось покойным и тихим светом и сам А. Черный отдыхает в том новом мире, который им отыскан. Там отдыхаем с ним и мы.

<...> Мир через детские глаза, — это и есть “Чудесное лето”, это и есть теперешний А. Черный. Во всех новых “наблюдениях” писателя — и верность, и мера, и некое особое, трогающее дуновение. Так, А. Черный, нашего взрослого мира не принявший, видит иной мир, невероятный и милый, с окнами на потолках, со зверями, говорящими по-русски, со скамьями-пароходами и прочими чудесами, и в этом мире от нас, от всего нашего вздора и всей возни, отдыхает» (*И. Л.* «Чудесное лето» // Возрождение. 1930. 1 мая).

Лукаш прав во всем. Читая «Чудесное лето», он, зная к тому же автора лично, уловил то важное, что случилось после обретения Ла Фавьера: поэт успокоился и нашел для себя «детский остров», где можно спрятаться и прожить остаток лет. Нашел окончательно те составляющие, которые были ему необходимы для возвращения в детство: первобытный мир природы и — обязательно — море.

2

Ла Фавьер стал навязчивой идеей, мечтой, но купить участок было не по карману. Летом следующего, 1927 года, знаменательного выходом отдельного издания «Дневника фокса Микки», наши герои снова приехали сюда. Жили бесплатно у Швецовых и продолжали грезить. Просили у Врангелей ма-

ленький участочек, не более 500 квадратных метров, но таких не оказалось. Год спустя Черный отправился в турне с Яблоновским, стараясь заработать, но не получилось. И вот к лету 1929 года мечта стала реальностью: поэт и апологет «вершины голой» смог купить землю.

Мария Ивановна рассказывала о том, как это удалось: муж получил хороший гонорар за переиздание «Дневника фокса Микки» (это был «карманный» репринт, выпущенный берлинским издательством «Москва-Логос»). Александр Михайлович же в письме Зинаиде Давыдовне Шкловской* делился обстоятельствами дела: «...благодаря неожиданно обнаружившемуся финансово-комбинационному гению Марьи Ивановны, <мы> стали владельцами 1000 кв. метров земли у моря». Как бы там ни было на самом деле, оба они считали осуществление мечты чудом. Именно как о чуде Черный говорил об обретении земли корреспонденту «Последних новостей» Андрею Седых: «...он рассказал мне о клочке земли, случайно купленном на юге Франции, под Тулоном. <...> На вершине холма, с которого открывается вид на Средиземное море, — несколько деревьев — "есть на чем повеситься и под чем сидеть"... Здесь, на пустынном пляже, отходит душа» (*Седых А.* Юбилей без речей).

Ксения Куприна вспоминала, что участки продавались «что-то по пять франков квадратный метр», следовательно, наши герои должны были заплатить за десять соток плюс-минус пять тысяч франков. И вот летом 1929 года они прибыли в Ла Фавьер уже в новом качестве: землевладельцев! Рядом с ними гордо вышагивал Микки, тоже имеющий право на жилплощадь. Это был его первый приезд к морю.

Оставалось еще поднатужиться и оплатить постройку домика. Мария Ивановна вспоминала, что эту работу выполнил местный каменщик. Что у него получилось, известно и по фотографиям, и по письмам поэта: «Построили и подобие дома (2 комнаты с верандой) в рассрочку»**. Судя по фотографиям, Черный скромничает: их дачу трудно назвать «подобием». Конечно, это не был добротный дом и жить там круглый год они бы не смогли, но для дачного домика на двух человек вполне прилично. Остается неясным, почему Галина Родионова, жена Innocent'а Швецова, вспоминала жилище Саши Черного как «сказочный "пряничный" домик среди сосен»***. Возможно, он был расписан внутри художниками.

---

* Письмо Саши Черного З. Д. Шкловской // РГАЛИ. Ф. 1390. Оп. 2. Ед. хр. 166.

** Там же.

*** *Родионова Г.* В Провансе в предвоенные годы... // http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/95886/113/Vospominaniya_o_Marine_Cvetaevoii.html#n_224

Домик появится в 1930 году, пока же, в 1929-м, Александр Михайлович и Мария Ивановна жили на даче Милюкова. Вместе с ними отдыхали семьи Билибиных и Станюковичей, которых хотелось бы кратко представить для полноты картины.

Художника Ивана Яковлевича Билибина Черный знал еще с сатириконских времен: тот достаточно активно сотрудничал с журналом. Билибин был членом объединения «Мир искусства», славился как талантливый график, иллюстратор русских сказок и былин. После Октябрьского переворота некоторое время жил на своей крымской даче в Батилимане, потом эмигрировал из Новороссийска, попал в Каир, где увлекся изучением египетского искусства, там же и женился на художнице Александре Васильевне Щекатихиной-Потоцкой. Саша Черный, да и все в Париже, знали историю этой любви. До революции Александра Васильевна (Шурочка), ученица Билибина, успела выйти замуж и родить сына Мстислава, в 1920-м овдовела и чудесным образом разыскала адрес Билибина в Каире. Отправила ему весточку о себе, а тот ответил телеграммой с предложением руки и сердца. Они поженились в Каире, много путешествовали, побывали в Палестине, Сирии. Александра Васильевна стала мастером по росписи фарфора еще до отъезда из России, и сегодня ее сервизы с агитационной советской символикой являются дорогостоящими раритетами.

С этой семьей и встречались каждое утро за завтраком Александр Михайлович и Мария Ивановна. Улыбались, наблюдая, как Билибин ни свет ни заря уже обнимает бутылочку местного вина. Выходило это картинно и богемно: художник носил щегольскую бородку, которую Черный называл «стрелецкой», лихо заломленный берет. Над Александрой Васильевной, одетой так, чтобы всем было ясно — она недавно из Африки, муж подтрунивал и упорно называл Солохой: мол, никакая ты не африканка, а типичная хохлушка. Рядом сосредоточенно жевал самый преданный друг Саши Черного — тринадцатилетний Мстислав, в просторечии Славчик. Он-то и станет прототипом мальчика Игоря в Сашиной книжке «Чудесное лето».

Станюковичи же появились в жизни поэта недавно и при забавных обстоятельствах. Прошлым летом Черный возвращался после турне из Ниццы в Париж и ему досталось неудачное купе: соседями оказались шумные матросы, пившие, дымившие махоркой всю дорогу и развлекавшие его рассказами о своих любовных похождениях. Александр Михайлович совершенно сник, как вдруг в купе заглянул незнакомый соотечественник и отчетливо произнес:

— Вы Саша Черный? Пойдемте, у нас есть место.

Впоследствии Николай Владимирович Станюкович вспоминал, как, заглянув в купе, сразу понял, что с поэтом — беда: в глазах несчастного «светилась и подавляемая досада, и явная насмешка над своим незавидным положением, а на губах играла улыбка — “попался, брат! и так до самого Парижа!!” <...> Со вздохом облегчения, но без всякого удивления Саша Черный, захватив свой небольшой, поношенный, но добротный чемоданчик русской работы, последовал за мною» (*Станюкович Н.* Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции).

Станюкович признался, что первой незавидное положение Черного заметила жена, проходившая по вагону и узнавшая поэта, которого мельком видела на каком-то литературном вечере. Сам Станюкович тоже имел отношение к литературе, но заслуги пока имел скромные. В прошлом поручик Добровольческой армии, он прошел через Галлиполи, где написал поэму «Парад генерала Врангеля», а теперь, в Париже, работал шофером, ночами — таксистом, от унылых будней спасался стихами, вступил в Союз молодых поэтов и недавно выпустил сборник «Из пепла».

В Париж Саша Черный и Николай Станюкович приехали уже друзьями и летом следующего года решили вместе ехать в Ла Фавьер.

Итак, три семьи — Черные, Билибины и Станюковичи — разместились на даче Павла Николаевича Милюкова. Потянулись солнечные, безмятежные дни. Встречались все за трапезой. Три стола, у каждой семьи свой, накрывались под соснами, на свежем воздухе. Между ними кочевал, попрошайничая, Микки. Ему разрешалось всё: не только сидеть полноправно на стуле, но и лазать по столам (это видно на сохранившихся фотографиях).

Затем разбредались. Александр Михайлович часто увязывался за Билибиным и с удовольствием наблюдал за тем, как тот работает:

Сидит, молчит и пишет...
Сосна натурщик кроткий:
Едва-едва колышет
Развесистые щетки.
Ботинок жмет конечность,
Лучи стреляют в темя...
....
Увы!.. Пришла собака,
О ствол потерла спину
И с видом вурдалака
Уставилась в картину.

Сто раз метал он шишки
В лохматого эстета...
(«Горе от прохожих», 1928)

Мы догадываемся, кто был этот «эстет», в которого летели шишки. Черный же, наблюдая творческие муки друга, видимо, вспомнил свое сатириконское стихотворение «Всероссийское горе», судя по названию процитированного опуса. Покинем взвинченного Билибина, мечтающего о том, чтобы поставить вокруг себя четыре пулемета, и прогуляемся с Сашей Черным и Микки по русскому Фавьеру.

Если посмотреть на «ситэ рюсс» со стороны, то на первый взгляд это какое-то становище. Современница описывала его так: «...среди камней и деревьев — дома и домики, в беспорядке, один выше другого, как гнезда птиц, влепились в скалу. Своеобразный раскинувшийся аул. От дома к дому вьется тропочка; ночью и не найдешь пути. Участки не отгорожены ничем; то есть есть какие-то, одним хозяевам понятные отметины. Новому же глазу ничего не понять» (*Тимашева Т.* В русском гнезде // Возрождение. 1934. 16 августа).

Александр Михайлович уже старожил, поэтому без труда находит нужные тропочки. Направимся за ним к мысу Гурон, где до сих пор стоит домик «Бастидун». Художник Песке продолжает здесь летом отдыхать и вдохновенно обучает живописи местного фермера и винодела Александра Труана, который пишет на любых подручных материалах: кусках картона, оберточной бумаге. Ныне здравствующая дочь Труана (родившаяся в 1922 году) вспоминает, что с русскими отец рассчитывался «бартером» — вином, а те тоже просили вино в обмен на свои произведения, в частности, картины*. Кто знает, сколько шедевров осело у этой французской семьи! Наверняка была у них какая-то дань и от Билибина. Однако продолжим нашу экскурсию.

Вот круглолицый курносый работяга с засученными рукавами взмокшей рубашки, невесть чем подпоясанной, босой, с косынкой на голове. Это Михаил Федорович Ларионов, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, чьи картины сегодня уходят с мировых аукционов по колоссальным ценам. Есть среди них и «Сбор винограда в Ла Фавьер», и «Виды Ла Фавьер», обе 1930 года. За плечами у него были фронт, контузия, госпиталь, демобилизация в 1915 году и приглашение от Сергея Дягилева работать над декорация-

* Lucie et Jean-François Durbec. Histories de rencontres // http://www.ot-lelavandou.fr/data/htmleditor/file/Guide%202013/MAGAZINE%20LAVANDOU.pdf

ми и костюмами для зарубежных гастролей «Русского балета». Ларионов один из немногих в Фавьере не был «белым» эмигрантом: революция и Гражданская война его не коснулись, так как он давно жил за границей, а с 1918 года — в Париже.

Однако уже показались сосны, шапкой покрывшие мыс Гурон, и черепичная крыша «Бастидуна». Этим летом Песке сдали часть домика Соломону Самойловичу Крыму, фамилия которого совпадала с названием взрастившей его земли. Один из богатейших жителей Феодосии, кадет, караим по национальности, Крым профессионально разбирался в вопросах виноградарства и виноделия. Его звездный час пробил в смутных 1918—1919 годах, когда он возглавил Крымское Краевое правительство, просуществовавшее на полуострове, раздираемом хаосом, полгода. Министром юстиции в этом правительстве был Владимир Дмитриевич Набоков, с кем Черный, как помним, тесно общался в Берлине.

В эмиграции Крыму пригодились его винодельческие знания и опыт, к тому же он окончил высшую сельскохозяйственную школу в Монпелье и считался и у французов ценнейшим специалистом, однако до уровня своего прошлого благополучия так и не поднялся. Некогда крымчане с почтением провожали взглядом этого миллионера и мецената, теперь же Черный описал его без всякого пиетета: «В саду показался земляк-агроном, / Под мышкой баклага с пунцовым вином» («Мистраль», 1927).

Александр Михайлович освобождает Микки от поводка, и тот со всех ног бросается к невзрачному «кабанону» на вершине мыса, где его, как брата, принимает в свои объятия Куприн.

Вот уже 23 года, прошедшие со времени его высылки из Балаклавы, Куприн мечтает о том же, что и Черный: об участочке земли у моря. Денег Александру Ивановичу катастрофически не хватает, и он смог осилить лишь сезонную оплату нищего полудеревянного-полукаменного «кабанона». Представление о нем мы можем составить по очерку Куприна «Сплюшка», вскоре опубликованному в «Возрождении»: «Хромой стол, два хромых стула, два утлых топчана, и все это из некрашеного гнилого дерева, керосиновая лампа — вот вся наша обстановка. Готовим пищу мы на спиртовке (понятно, когда есть что готовить...). Здесь нет ни газа, ни электричества и не только нет уличных фонарей, но и самих улиц и даже дорог. Нет и помина о водопроводе и канализации. Нет никакого подобия лавок, ресторанов или пансионов. Все эти культурные удобства и соблазны имеются лишь в купальном курорте Лаванду, километрах в семи от нашего дикого уголка, у черта на куличках.

А о неудобствах я не смею и говорить из боязни потерять репутацию приличного человека. Довольно сказать, что сквозь наш высокий пирамидальный потолок, крытый разбитой марсельской черепицей, можно ночью с удовольствием любоваться ночными огромными мохнатыми звездами».

Александр Иванович, невесело усмехаясь, рассказывает Черному, что они с Елизаветой Морицовной устроились сносно, только не высыпаются: почти под носом у них привязаны лодки, и ежедневно ни свет ни заря местные рыбаки начинают их готовить к выходу в море, бурно обсуждая свои проблемы. Колоритный народ! Чем-то похожи на балаклавских рыбаков, только балаклавские колоритнее. Когда-то он был среди них совсем своим, даже в артель приняли, был тем же Иннокентием Швецовым, угощавшим всю Балаклаву, только называли его по-гречески: «кирийе* Александр». Куприн с Черным сочувственно качают головами: этим летом неистовый «Кена» Швецов в Фавьере почти не появляется; кутежи и широта души его сгубили — разорился вдребезги и теперь устроился работать на винограднике неподалеку, в окрестностях Йера.

Куприн с Черным бредут берегом к небольшой бакалейной лавчонке, единственной здесь. Магазинчик содержит зять князя Владимира Оболенского — Борис Грудинский. Ему нередко помогает 24-летний Лев Владимирович Оболенский, один из сыновей Оболенского-старшего, недавно окончивший Пражский университет и постоянно живущий в Фавьере. Возможно, Черный и Куприн сейчас застали его и между ними завязалась неторопливая теплая беседа. Вполне вероятно и то, что где-нибудь поблизости оказался художник Федор Рожанковский (иллюстратор «Дневника фокса Микки»), с которым Оболенские поддерживают почти родственные отношения. Он также проводит каждое лето в Ла Фавьере.

Имя князя Владимира Андреевича Оболенского уже появлялось в нашем повествовании, когда мы размышляли о том, каким образом Александр Михайлович Гликберг в 1916 году мог получить перевод из Красного Креста во Всероссийский союз городов. Оболенский в то время возглавлял Петроградский комитет Союза городов, был влиятельнейшим масоном, и мы выдвигали версию, что именно он помогал Черному. С тех пор прошла, казалось, целая жизнь, но Оболенский-старший, шестидесятилетний деятельный человек, продолжал активно участвовать в мероприятиях «русского Парижа». С Сашей Черным у них была и заветная общая тема: Псков. Князь был псковичом по рождению, много лет проработал в статисти-

* Кирийе – господин *(греч.)*.

ческом отделе Псковской губернской земской управы. Тогда он сочувствовал социал-демократам и теперь, разводя руками, нет-нет да рассказывал о том, как в 1900 году приютил в своей псковской квартире Ленина, помогал ему нелегально работать в статбюро и получить загранпаспорт. Ну кто же знал!.. Куприн как «человек, который видел Ленина», всегда жарко поддерживал такие разговоры: он побывал на приеме в Кремле 25 декабря 1918 года, запомнил этот день и написал о нем немало.

Черный и Куприн, оба заядлые курильщики, купив табак, бредут на пляж. Улыбаются: над одним из дачных домиков развевается трехцветный российский флаг. Это чудачество старика Николая Николаевича Белокопытова, величественного и некогда сказочно богатого помещика, негласно принявшего на себя обязанности главы стихийного русского поселка Ла Фавьер. Французские власти немало рады тому, что здесь появился «главный и крайний», считают Белокопытова кем-то вроде мэра и направляют на его имя различные официальные бумаги. Адрес на них проставлен удивительный — «cit'e Russe», а привозит их на велосипеде из Лаванду старик-почтальон (см.: *Станюкович Н.* Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции).

Белокопытов живет вместе со старушкой-сестрой Ольгой Николаевной Мечниковой. Черный недавно встречал ее в детском приюте «Голодной пятницы» в Монморанси, где она заведующая. Ольга Николаевна хранит архив своего великого мужа — ученого Ильи Ильича Мечникова, и даже создала в дачном домике маленький музей семейных реликвий; сюда же перевезла огромную библиотеку мужа. Свято чтя его память, она с особым чувством общается с фавьерским соседом — профессором зоологии Сергеем Ивановичем Метальниковым, который некогда стажировался у ее мужа в парижском Институте Пастера.

Александр Михайлович и Мария Ивановна дружны с Сергеем Ивановичем, особенно Мария Ивановна, ведь в прошлом они были коллегами: Метальников преподавал на естественном факультете столичных Высших женских курсов. Есть у них еще одна общая тема: Гейдельбергский университет, где Сергей Иванович стажировался в 1897 году, за девять лет до приезда туда же Гликбергов.

В отличие от многих обитателей Ла Фавьера профессор был чистый «ботаник», политикой не интересовался и в эмиграции оказался случайно. В 1918 году он был командирован в Симферополь помогать в организации Таврического университета, основанного Соломоном Крымом, оказался отрезан фрон-

тами Гражданской войны и разделил судьбу беженцев. Теперь Метальников работал в Институте Пастера. О своем фавьерском житье он не без удовольствия сообщал Николаю Константиновичу Рериху, с которым дружил: «Пишу Вам это письмо из La Faviere, одно<го> из самых красивых местечек на юге Франции, в окрестностях Тулона. Здесь у меня крошечный кусочек земли и небольшой домик на курьих ножках, где я провожу обычно каникулы»*.

...Вечереет. На пляж понемногу стекаются все русские фавьерцы. Кто покуривая, кто потягивая вино, неспешно переговариваются, делятся радостями и трудностями и всякий раз вольно или невольно предаются воспоминаниям.

Куприн сетует: мол, больно даже думать о том, что стало с его участком в Балаклаве, который они с первой женой купили в 1905 году. Читал как-то в «Последних новостях»**, что он национализирован для устройства там рабоче-крестьянской санатории, а значит, разорят всё, изуродуют***.

Князь Оболенский вспоминает свою дачу в имении «Саяни», между Гурзуфом и Алуштой.

Вздыхает Соломон Крым: разве может сравниться убогий домик на мысе Гурон с его виллой «Виктория» на набережной Феодосии? Целый замок у него там был: модерн с элементами кавказской храмовой архитектуры. Проектировал сам Николай Петрович Краснов, талантище, автор императорского дворца в Ливадии.

Печально качает головой кадет Николай Николаевич Богданов, бывший подчиненный Соломона Крыма, имевший две роскошные виллы в Симеизе, а теперь ведущий с женой в Фавьере образцовое хозяйство: огород, промышленный цветник.

Артистически закатывает глаза баронесса Врангель, вспоминая свою прошлую жизнь в Крыму: отец имел огромный дом в центре Ялты. Задумчив ее муж, барон Николай Врангель. Его отец владел доходным имением в Чоргуне, под Севастополем: собственный виноградник, дом, прямо на участке средневековая башня, оставшаяся Бог знает с каких времен.

А вот профессор Метальников точно знает, что стало с их семейным гнездом «Партенит» на склоне горы Аю-Даг — там

---

* Наука Будущего. Переписка Н. К. Рериха и С. И. Метальникова // http://www.icr.su/rus/evolution/urusvati/Roerich_Metalnikov/index.php?print=yes

** Подробнее см.: *Куприн А.* Сад // Русская газета [Париж]. 1924. 30 апреля.

*** Участок Куприна в Балаклаве, купленный на имя М. К. Куприной, в курортных целях более никогда не использовался. В наши дни совершенно запущен.

теперь пионерский лагерь «Артек», которым так гордятся в СССР. Что же стало с его дачкой в Батилимане, и думать не хочется, наверняка ничего нет.

«Наверняка!» — эхом отзывается Иван Билибин. Он подозревает, что и его батилиманский домик не пощадило лихолетье*. Был он ветхим, перестроенным из рыбацкой хижины. Ох и тяжело там жилось во время деникинского «сидения»: холодно, голодно, страшно. Щекатихина-Потоцкая бросает на мужа недовольный и ревнивый взгляд: она знает, что там, в батилиманской глуши, Иван Яковлевич увлекся дочерью Чириковых Людмилой и написал ее восхитительный портрет.

«Это все хорошо, господа, но кто из вас имел дачу по проекту самого Растрелли?!» — переключает на себя внимание старик Белокопытов. Все давно знают эту историю, но снова с замиранием сердца слушают о деревне Поповка на Киевщине, родовом имении Белокопытовых, которое, по семейной легенде, проектировал Растрелли.

Слушают, вспоминают, вздыхают и расходятся по своим «кабанонам».

До поздних, «мохнатых» звезд засиживаются на берегу Саша Черный и Николай Станюкович. Первый не спеша рассказывает о своей жизни, второй с любопытством слушает. Слушает и вдруг не выдерживает: показалось ему, что старший товарищ говорит о той жизни как о чем-то, что никогда более не вернется; сам же Станюкович еще думает о возвращении на родину. Потому и спросил: неужели Александр Михайлович больше не верит в их общее русское будущее? Поэт «со светлой и грустной улыбкой» покачал головой. «Нет! — сказал он. — Что бы ни случилось, я не вернусь обратно, потому что *моей России более нет и никогда не будет!*» (курсив автора. — *В. М.*) (*Станюкович Н.* Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции).

Россия потеряна безвозвратно — Александру Михайловичу это было ясно. А Франция хоть и прекрасная страна, но русские обречены в ней быть инородцами, эмигрантами, «апатридами», и выносить это с возрастом все тяжелее. Но выход есть. Нужно жить в Ла Фавьере, где все равны. Первобытность создает иллюзию, что всё общее, что нет хозяев, а к политике окрестные фермеры вообще равнодушны.

---

* В 1929 году, когда происходил описанный разговор, все дачи в Батилимане еще были целы и использовались в курортных целях. На даче П. Н. Милюкова, самой большой и добротной, работали столовая и библиотека, фонд которой составили книги самого Милюкова, брошенные здесь. Большинство дач было уничтожено во время фашистской оккупации Крыма в 1942—1944 годах.

Поэт ложится спать, но сон не приходит. Трещат безумные цикады, ухает где-то совушка, шумит, шурша песком, волна, одуряюще пахнет лавандой, и сердце постепенно оттаивает:

Как волк, смотрю я в звездный мрак,
В пустое, мертвое Ничье,
Вот стол, вот лампа, вот табак,
Вот сердце теплое мое...
(«Ночью», 1929)

3

Отныне все житейские помыслы Саши Черного были сосредоточены на строительстве домика и благоустройстве своего участка в Ла Фавьере. Этому был посвящен весь 1930 год. Они с женой приезжали в Прованс даже зимой, чтобы наблюдать за ходом работ. Париж тяготил поэта все больше, и все реже он покидал свою «штаб-квартиру» на авеню Готье. Журналист Николай Рощин, приятель Куприна, рассказывал, что Александр Михайлович стал исключительным домоседом и очень устал от всех «противоречий жизни»: «В осенние долгие вечера изредка заходил я в его скромную квартиру в Отей. Мы говорили о многом — о литературе и языке, об ответственности писателя и читательском долге, о прошлом и действительности, и в разговорах с ним как-то особенно резко выступала грань между черным и белым, особенно остро чувствовалось, как трудно сберечь в мире правду простой человеческой совести. Волновала эта неуступчивость, эта возвышенность над властной мелочью дней, этот огонь, неназойливый, но неугасимый» (*Рощин Н.* Печальный рыцарь). Черный казался Рощину «почти аскетом», а в целом — Рыцарем печального образа, очень несовременным и потому загадочным.

Тем не менее в оставшиеся ему немногие годы наш герой успел принять участие в трех мероприятиях отнюдь не затворнического характера, и о них никак нельзя умолчать.

Первое состоялось в марте 1930 года и, надо полагать, доставило поэту массу волнений и хлопот: он впервые праздновал юбилей творческой деятельности. Мы уверены в том, что Александр Михайлович принес себя в жертву Ла Фавьеру, ведь логичнее было бы устроить юбилей в октябре, когда ему исполнялось 50 лет. Но деньги, которые мог принести его вечер, нужны были сейчас, накануне сезона. Нашу версию подтверждает Андрей Седых, которого командировали интервьюировать юбиляра. Он преподнес красную дату как возникшую спонтанно: «...в один прекрасный день А. М. Черный вспомнил, что 25 лет тому назад Саша Черный явился в редакцию

“Волынского вестника”, издававшегося в Житомире, и предложил первое свое произведение. <...> Через несколько дней житомирская периодическая печать обогатилась новым сотрудником, горделиво подписывавшим свои заметки “Сам по себе”» (*Седых А.* Юбилей без речей). Далее Седых изложил основные вехи творческого пути Черного. Поскольку сообщить о них мог только сам поэт, посмотрим, что же он считал значимым, этапным. После появления в «Волынском вестнике» это — приход в 1905 году в «Зритель», затем выход в 1911 году первой книги стихов и «Живой азбуки», затем Шаляпин спел «Чижа», Аверченко выпустил «Сатирикон», а сам Саша Черный поэму «Ной» в «Шиповнике». Еще Александр Михайлович счел нужным напомнить о книге «Жажда» и своих детских эмигрантских книгах.

Показательно! Однако юбиляр допустил массу неточностей, которые ему позволительны, а нам следует устранить: его дебют в житомирской печати состоялся не двадцать пять, а двадцать шесть лет назад, летом 1904 года. Первая книга стихов («Сатиры») вышла не в 1911-м, а в 1910 году, «Живая азбука» вообще в 1914-м. Аверченко начал выпускать «Сатирикон» раньше всех этих последующих успехов, в 1908-м, хотя — какая разница? Юбилей состоялся, и это главное.

Интервью, взятое Андреем Седых, называлось характерно — «Юбилей без речей». Сохранившиеся фотографии этого вечера позволяют утверждать, что народу было немного, в основном молодежь. Атмосфера камерная, никакого пафоса и сцен с рампой. Александр Михайлович сидел с чашкой чая посреди своих гостей и тем не менее, судя по его неловкой позе, схваченной фотографом, очень волновался и смущался. Моральную поддержку ему оказывал Куприн.

Через год после юбилея судьба преподнесла Саше Черному шанс снова приблизиться к уровню своей петербургской славы. Это второе важное событие: весной 1931 года Черный с Микки явились на рю Вивьен, 51, в редакцию... «Сатирикона».

Мы не оговорились. Спустя 17 лет после кончины первого «Сатирикона» и 13 лет после запрещения большевиками второго — «Нового Сатирикона», вновь родился журнал «Сатирикон». Однако назвать его третьим никак нельзя, ведь и до него рождались и достаточно быстро погибали несколько других «Сатириконов». В 1921—1922 годах «Наш Сатирикон» выходил в Кишиневе; в 1922 году, живя в Константинополе, Аркадий Аверченко выпустил «Рождественский Сатирикон». В том же году «Дальневосточный Сатирикон» распространялся в Харбине. В 1925 году один номер «Сатирикона» увидел свет

в Риге. Парижский же проект был интересен тем, что за ним стоял легендарный Михаил Германович Корнфельд собственной персоной.

Сколько воды утекло с тех пор, как Саша Черный в 1908 году видел Михаила Германовича растерянным юношей, корпевшим над журналом «Стрекоза» и старавшимся вывести его из смертельного пике! Теперь это был 46-летний бизнесмен, издатель: «...тщательно выбрит, тонзура как у католического прелата, глаза играют, галстук бабочкой» (*Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути // *Дон Аминадо.* Наша маленькая жизнь). С предложением редактировать журнал Корнфельд пришел к Дон Аминадо, однако тот согласился только при условии, что его имя в качестве редактора фигурировать не будет: «...после третьей рюмки мартеля — три звездочки, modus vivendi... была установлена: редактором-издателем будет Корнфельд, то есть портить отношения с братьями-писателями и художниками его дело, а внутренняя работа будет лежать на мне» (Там же).

Что и говорить, это была громкая акция. «Возрождение» сообщило о грядущем воскрешении журнала еще в начале февраля 1931 года, добавив, что «к участию в журнале привлечены, помимо старых “сатириконцев” все лучшие литературные и художественные силы зарубежья» («Сатирикон» // Возрождение. 1931. 4 февраля). Надо полагать, что с этого времени наш герой никак не мог оставаться в стороне от организационных вопросов. В его жизнь вдруг вернулись давно забытые, но засевшие в подкорке мозга понятия: идти на редсовет в «Сатирикон», «расклейка», тематический номер, карикатура на разворот... Все они неминуемо привели за собой старый Петербург, а стало быть, ностальгию. Это настроение еще более усилилось, когда 5 марта 1931 года Александр Михайлович оказался в числе приглашенных на вечере памяти Аркадия Аверченко, которого уже шесть лет не было на свете и который наверняка был бы рад узнать о том, что его детище вновь становится на ноги. Вечер получился на удивление теплый! Пришли те, кто действительно близко знал Аркадия Тимофеевича; пафосных фраз не бросали, а делились воспоминаниями о нем — непринужденно, с юмором. Многое всколыхнул в памяти Саши Черного вышедший на сцену замечательный артист Михаил Яковлевич Муратов: он дружил с редакцией «Сатирикона» с первых лет существования журнала и припомнил сатириконский бал 1910 года. Тогда дата бала совпала с днем похорон Веры Федоровны Комиссаржевской, из-за чего Аверченко, оказывается, переживал. А еще он негодовал, что на кладбище к нему подошел некто и в лоб спросил: «Ты зачем здесь? Что тут

смешного?» Муратов, пожимая плечами, признавался, что для него Аверченко остался загадкой: это был не человек, а оживший юмор, и он умел обратить в смех любую ситуацию, даже самую трагическую. Ту же мысль Черный высказывал в своем стихотворении «Сатирикон», которое прозвучало и в этот раз, но не в авторском исполнении, а из уст актрисы Елены Маршевой, близкой подруги Аверченко (см.: *Ч.* Памяти Аверченко // Возрождение. 1931. 7 марта).

То же стихотворение, помещенное на траурной страничке памяти Аверченко и Потемкина, русские парижане прочитали в первом номере «Сатирикона» 4 апреля 1931 года. И пусть подпись под ним была «А. Черный», а не «Саша Черный», — факт остается фактом: наш герой декларативно вернулся в ряды сатириконцев.

Корнфельд запустил журнал именно в этот день, памятуя о дате рождения первого «Сатирикона». Преемственность была подчеркнута и тем, что на обложке красовался старый логотип, и тем, что возродили эмблему — толстяка-сатира, некогда придуманного Ре-ми, и старыми рубриками «Волчьи ягоды», «Перья из хвоста». Это с удовлетворением было отмечено теми, кто хорошо помнил, что такое «Сатирикон» и как он должен выглядеть. «И с внешней стороны, и по содержанию этот “первый номер” удался на славу, — писал Сергей Маковский, бывший издатель петербургского журнала «Аполлон», — и, можно думать, понравится даже тому читателю, который не помнит старого петербургского “Сатирикона”. Впрочем, кто не помнит?» (*Маковский С.* Возрожденный «Сатирикон» // Возрождение. 1931. 5 апреля).

Те, «кто помнит», конечно, были рады видеть в составе сотрудников А. Черного. Однако сказать об этом эпизоде его эмигрантской жизни особо нечего. Он был кратковременным, да и высоко оценить то, что поэт давал в журнал, трудно. Хотелось бы вспомнить лишь один забавный случай из жизни редакции, который существенным образом был связан с жизнью Парижа, и не столько русского, сколько французского.

К концу 1920-х годов население страны охватила апатия в связи с экономическим кризисом. Правительство было обеспокоено. Лихорадило французские колонии. Политики предсказывали колониальный кризис. Нужно было что-то предпринять для поднятия национального духа. И вот родилась идея организовать в Венсенском лесу под Парижем колониальную выставку. Она открылась 6 мая 1931 года и работала полгода. Это было нечто грандиозное; ничего подобного по зрелищности и размаху французская столица более никогда не устраивала.

В середине июня на очередном совещании в редакции «Сатирикона» Александр Михайлович услышал, что планируется тематический «колониальный» выпуск и что сотрудники командируются в Венсенский лес. Кстати, в юмористическом отчете об этом заседании сообщалось, что на него был допущен «на правах терпимости к животным» вездесущий Микки и «трепетанием хвоста» участвовал в обсуждении, а 22 июня ровно в 11 часов вместе со всеми рванул в разноцветные павильоны (Экспедиция сатириконцев на колониальную выставку // Сатирикон. 1931. № 15). С ним ходил и Черный: глядя в путеводитель, обозревал бутафорские пагоды, дворцы, туземные деревни с живыми неграми.

Все, что надо, я проделал:
Полчаса глазел, как негры,
Зверски дергая задами,
По помосту дули вскачь...
....
Дотащился до зверинца...
На площадке голой спали
Львы, брезгливо повернувшись
К пестрой публике спиной.
В ров жираф забрался тощий
И, как нищий, клянчит пищи...
Я облатку аспирина
Сунул в рот ему, смутясь...
(«Колониальный день», 1931)

Все не так, как надо. Только один объект вызвал искренний восторг поэта: копия храма Анкор-ват, посвященного богу Вишну, в натуральную величину (оригинал в Камбодже). Грандиозная постройка напомнила Александру Михайловичу о его заветной мечте: «Обошел я храм Анкорский... / Ах, пожить бы в этом храме / Одному недели три!»

Этот юмористический отчет появился в «Колониальном» выпуске «Сатирикона», а под ним был напечатан портрет Микки, стилизованный под индийский, с точкой во лбу. Микки был и на обложке в весьма сатирическом и не совсем приличном виде: не будем его компрометировать описанием. Судя по всему, фокстерьер Черного был легендой «русского Парижа» и, подобно Микки I, украшавшему собой «Иллюстрированную Россию», становился элементом фирменного стиля «Сатирикона».

К лету 1931 года журнал Корнфельда уже отправлялся в Германию, Австрию, Голландию, Данию, Турцию и другие страны русского рассеяния. Пресса захлебывалась рекламой и бодрыми прогнозами, но... «Сатирикон» тихо скончался в октябре того же 1931 года на 28-м номере. Причины этого, по нашему мнению, были и объективные, и субъективные.

Прежде всего, «новое старое» начинание Корнфельда возникло не в лучшие времена. Финансово-экономический кризис. Великая депрессия. Напряженная международная обстановка: по ту сторону Рейна уже маршировали нацисты. Было как-то не до смеха. Впрочем, и первый «Сатирикон», стартовавший в 1908 году, заставлял многих пожимать плечами: до юмора ли?

Полагаем, что провал был предрешен и потому, что главного козыря старого «Сатирикона» — слаженного коллектива молодых, талантливых и остроумных людей — не было, как не было и редактора Аверченко.

Что представляли собой к этому времени бывшие сатириконцы, приглашенные в новый проект? Владимир Александрович Азов, в прошлом знаменитый питерский критик-эстет, теперь был старым, больным, раздавленным и обозленным человеком, слишком долго, до 1926-го, жившим «под большевиками». Печальное зрелище являл собой Валентин Горянский, по словам современника, «полуслепой», «вечно голодный, вечно оборванный» (*Любимов Л.* На чужбине. Ташкент: Узбекистан, 1965. С. 204). Сергей Горный, живущий в Берлине, никак не мог оправиться от штыковой раны в живот. Вернуть дух «Сатирикона» всем этим людям было не под силу, как не под силу вернуть свою молодость. Да и нельзя войти в одну воду дважды. Это поняла лишь проницательная Тэффи, отказавшаяся участвовать в новой затее.

Об остальных многочисленных сотрудниках и говорить незачем. Сам Дон Аминадо писал, что «были привлечены академики, лауреаты, переводчики, беллетристы, поэты, и даже земские статистики, и приват-доценты», которые «сами произвели себя в юмористы».

На должной высоте, по нашему мнению, была только художественная сторона издания, в котором отметились такие старые сатириконцы, как Мстислав Добужинский (ему принадлежало авторство фирменной шрифтовой надписи «Сатирикона»), Иван Билибин, Александр Яковлев, Александр Бенуа, Юрий Анненков, ставший ведущим художником парижского «Сатирикона» и работавший под псевдонимом А. Шарый.

Словом, чуда не вышло. Что касается «А. Черного», то он не успел напечатать в «Сатириконе» большую и глубокую сатирическую поэму «Кому в эмиграции жить хорошо», над которой начал работать в 1931 году. Поэма по сути стала венцом всего творчества нашего героя, ибо после нее он уже не создал ничего значительного. Публикация поэмы началась в двадца-

тых числах октября 1931 года в «Последних новостях» (не самый подходящий формат).

«Кому в эмиграции жить хорошо» — это коллекция человеческих документов, добывая которые, автор явно интервьюировал соотечественников. И это Саша Черный, не выносивший излияний души! Видимо, прожив десять лет в эмиграции, он почувствовал в этом необходимость. Некоторые персонажи поэмы легко узнаваемы: в четвертой главе мы встречаемся со старушкой-экономкой из усадьбы в Гресси, а в пятой — с доктором Унковским, вернувшимся из Африки. Они не названы, но если мы догадались, то современники и подавно.

Конечно, у Черного пари заключают не некрасовские деревенские мужики, а три вездесущих журналиста, «чернильные закройщики» Козлов, Попов и Львов. Задавшись «проклятым» вопросом — кому в эмиграции жить хорошо? — они рассеиваются по русскому Парижу и предместьям. Поэма приобретает едва ли не гоголевский размах в эпизоде, когда ошалевшему от поисков Козлову во сне слышатся сотни голосов и каждый повествует о своей истории, требуя и его не забыть. «Со всех сторон доносятся / Звенящие, скрипящие, / Ночные голоса». Финал ожидаем: как и в «Ное», надежду на будущее дает лишь младенец. Он счастлив, потому что ничего не понимает.

Истории, положенные в основу поэмы, Александр Михайлович мог в избытке почерпнуть в одном необычном месте.

Четверг, 14 апреля 1932 года. Черный на ощупь идет по мрачным коридорам особняка на рю Кадэ, 16. Он в храме «Великого Востока Франции» и идет принимать посвящение в русскую масонскую ложу «Свободная Россия». Поэт одет во власяницу, правая штанина закатана, левая сторона груди обнажена, глаза завязаны. Некто подводит его к двери. Александр Михайлович слышит громкий беспорядочный стук.

— Кто стучится в двери храма обычаем профанов? — раздается откуда-то голос.

— Это профан, который ищет быть вольным каменщиком, — отвечает некто, сопровождающий поэта. — Александр Михайлович Гликберг стучится в нашу ложу.

— Как дерзнул он питать такие надежды?

— Потому что он свободен и добрых нравов.

— Если подлинно так, введите профана, — разрешает голос.

Черного вводят в дверь, велев согнуться подобно новорожденному, выходящему из чрева...

Ответив на разнообразные вопросы и получив разрешение стать членом ложи, Александр Михайлович должен был освободиться от повязки на глазах. В ослепительно освещенной

комнате он увидел тех, кого в обычной жизни знал как «Иван Иванычей» и «Федоров Петровичей». Здесь же они, будучи в экзотическом облачении, называли друг друга «братьями». Узнал поэт и своих поручителей. Первый, секретарь ложи, — Рубен Иванович Берберов, дядя писательницы Нины Берберовой. Второй, Карп Сергеевич Агаджаньян, в обычной жизни невропатолог. Третьего, Николая Валерьяновича Петровского, Черный знал как активного члена Союза русских шоферов, таксиста компании «Ситроен». Здесь же приветливо улыбался ему Иван Яковлевич Билибин, член-основатель «Свободной России».

Некоторые факты биографии Саши Черного, как мы не раз отмечали выше, дают основание предполагать, что он был масоном и раньше. Но даже если он впервые прошел посвящение, удивляться нечему. По словам журналиста Льва Любимова, русское масонство в Париже начала 1930-х годов было не чем иным, как очередной попыткой объединить эмиграцию, что-то вроде клуба, где рушились социальные иерархии. Членство в ложе обеспечивало широкие перспективы, открывало многие двери (см.: *Любимов Л.* На чужбине. С. 237—239). Кто знает, какие цели, возможно, чисто практические, привели в ложу Сашу Черного? Достаточно сказать, что многие из лафавьерцев были масонами: Соломон Крым, князь Оболенский-старший, Милюков, профессор Метальников, художники Рожанковский и Билибин. В любом случае членом «Свободной России» поэт пробыл всего четыре месяца, поэтому не стоит на этом задерживаться.

Вскоре Александр Михайлович и Мария Ивановна уехали в Ла Фавьер.

4

Летний сезон 1932 года для всех русских эмигрантов начинался невесело. 6 мая казак-белоэмигрант Павел Горгулов застрелил президента Франции Поля Думера. И теперь несчастные соотечественники убийцы в страхе ожидали последствий.

Ла Фавьер, светлый рай Саши Черного, тоже наполнился тяжелыми слухами. К тому же у поэта появился труднопереносимый сосед. Об этом вспоминал сын его приятеля Константин Парчевский, бывший тогда мальчишкой: «Во время совместных прогулок с Сашей Черным я все время без умолку болтал. И помню, даже как-то спросил, не надоела ли ему моя болтовня. Он рассмеялся и ответил: “Напротив”. А дело в том, что рядом приобрел участок очень болтливый и глупый чело-

век и так досаждал Александру Михайловичу, что тот не знал, как от него избавиться».

Из известных нам лафавьерцев тех лет под это описание подходит лишь поэт Антонин Ладинский, коллега Черного по «Последним новостям». По воспоминаниям Нины Берберовой, он был хороший поэт, но совершенно невыносимый человек: «...лично его, кажется, никто не любил, и в его присутствии всегда чувствовалась какая-то тяжесть... озлобленный, ущемленный человек, замученный тоской по родине, всем недовольный, обиженный жизнью и не только этого не скрывавший, но постоянно об этом говоривший (*Берберова Н.* Курсив мой. М.: Согласие, 1996. С. 322).

Александру Михайловичу приходилось сбегать и прятаться с Микки под кустом тамариска на мысе Гурон. Поэт ощетинился на весь мир:

...если в этот трижды мирный час
Припрется дачник из лесного дома
И заскулит — в четырнадцатый раз! —
О кризисе, о близости разгрома, —
Вся святость, к дьяволу, с тебя слетает вмиг...
Ты, в душу впившийся, гундосящий репейник!
С какой бы радостью тебя, копченый сиг,
Всадил бы я башкою в муравейник!..
(«Под тамариском», 1932)

Чем популярнее становился Ла Фавьер, тем больше здесь появлялось случайных и не всегда приятных людей. Одна из обитательниц поселка вспоминала, что виной этому стали предприимчивые «дамы из Одессы», которые «понастроили длинные домишки с отдельными комнатушками, дешевое общежитие, его называли Авгиевы конюшни. Хозяйки кормили дешево своих постояльцев русским борщом и пирожками» (*Родионова Г.* В Провансе в предвоенные годы...).

Вот и сейчас в раскаленном воздухе надрывается и хрипит граммофон; совсем рядом кто-то поет и смеется. В домике «Бастидун», часть которого Песке продолжают сдавать, собралась молодежь. Александр Михайлович, прислушавшись, узнает голоса: вот кто не будет скулить и каркать, к ним можно и заглянуть.

Поэт с собакой наносят визит веселой компании. О, да тут пляшут! Двое, полуголые, обгоревшие на солнце, танцуют танго. Девушка с гордо вздернутой головой, чуть капризными губами — и молодой человек атлетического сложения, в темных очках. Это Наташа Столярова и Боря Поплавский. Черный, по обыкновению, пристраивается в уголке.

Двадцатилетняя Наталья Столярова — дочь эсерки-террористки Натальи Климовой, которая в 1906 году принимала участие в покушении на Столыпина, была осуждена на пожизненное заключение, сумела бежать за границу, родила двух дочерей, Наташу и Катю, а после ее смерти девочек взяли на воспитание чужие люди, Константин Васильевич и Ольга Петровна Шиловские. Они-то и арендуют теперь «Бастидун».

Рассматривая портреты Шиловского, мы пришли к выводу, что именно его Саша Черный описал в «Чудесном лете» как «дядю-химика» Петра Игнатьевича Попова: «...сохранил он московскую бородку округлой метелочкой; новый серенький люстриновый пиджак сидел на нем солидно, как клеенчатый чехол на контрабасе; брюшко от сидячей работы все больше напоминало туго застегнутую в пиджак мандолину, а пенсне в никелевой оправе со старомодным круглым шнурочком делало добрые серые глаза более строгими и серьезными, чем они были на самом деле».

А вот Борис Поплавский, уже известный парижский поэт «из молодых», этого добряка с брюшком побаивался. В своем последнем автобиографическом романе «Домой с небес» (1935) о «потерянном поколении» русских эмигрантов он вспомнит Ла Фавьер, Шиловского, который не давал им распускаться: «Любили... выпить, но боялись, ибо где-то около ходил и жил грозный бородатый создатель, поддержатель, блестящеглазый, золотоочковый бывший революционер, ныне ученый химик и крупный деловой мужик». Шиловский действительно в юности был марксистом, доставлял из-за границы нелегальную литературу. В эмиграции он жил давно, с 1906 года, и теперь был известен как выдающийся ученый, получивший во время Мировой войны патент на изобретение гидролокатора (прибор используется на флоте до сих пор).

За Наташей Столяровой Шиловский следил зорко, а Поплавский, считавшийся ее женихом, имел не лучшую репутацию. Поэт прославился сколь эпатажным поведением, вплоть до пьяных драк, столь и талантливыми стихами. Его называли продолжателем Артюра Рембо, Аполлинера, Хлебникова, ему покровительствовал Георгий Иванов. В прошлом году в Париже вышел первый поэтический сборник Поплавского «Флаги», после чего его стали принимать «даже у Мережковских». Однако благополучным Поплавский не выглядел. Какую-то отталкивающую ноту вносили в его облик черные очки, которые он никогда не снимал. Много ходило толков о его «наркотических озарениях», рождающих гениальные поэтические

образы и строки вроде тех, которыми обрывался его «Белый пароходик»*:

И моя душа, смеясь, уходит
По песку в костюме моряка**.

Черный хорошо знал отца Поплавского, Юлиана Игнатьевича, ученика Чайковского, замечательного пианиста. Тот печатался в журнале «Театр и жизнь», принимал участие во всех возможных и невозможных общественных объединениях. С пафосом он когда-то кричал о походе на красную Москву и с полной серьезностью рассказывал о том, как Аверченко в перевалочном Константинополе напутствовал его перед отъездом в Париж: «Поплавский, спасите Россию». Доспасались.

Однако вернемся в летний Ла Фавьер 1932 года.

Новые свободные нравы перекочевали сюда с острова Дю Леван, что напротив соседнего городка Йер, по направлению к Тулону. В прошлом году там возникла нудистская колония Гелиополис***. Лафавьерцы ездили посмотреть на это удивительное зрелище. Черный иронизировал:

...в воде, на мелком месте, —
Темя в шлемах — огурцами
Два обглоданных нудиста
Притворяются пловцами.
(«Солнечная ванна», 1932)

Поэт, наконец, почувствовал себя Робинзоном и с воодушевлением обустраивал свой маленький остров уединения. «У нас здесь чудесно, — писал он 9 июля 1932 года Евгению Сергеевичу Хохлову, бывшему сатириконцу и своему коллеге по «Последним новостям» и «Иллюстрированной России». — Пилю, крашу, собираю хворост и думаю, что к концу лета впаду в такое первобытное состояние, что начну давать молоко». С любовью обводил глазами свой небольшой садик: «Олеанд-

* Стихотворение Б. Поплавского «Белый пароходик» («Мальчик смотрит, белый пароходик...», 1931) было положено на музыку Александром Вертинским.

** Борис Поплавский уйдет из жизни через четыре года после появления этих строк, в ночь на 9 октября 1935-го, приняв вместе с неким С. Ярхо смертельную дозу героина. Многие считали, что это самоубийство, хотя, казалось бы, его литературная судьба складывалась успешно. Однако в дневнике поэта осталась запись (появившаяся после выхода «Флагов»): «...по-прежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей». Отец поэта напишет: «Глубоко загадочны были последние годы Бориса...» (см.: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. СПб., 1993). – *Прим. ред.*

*** И деревня, и нудистские традиции сохраняются на острове до сих пор.

ры, мимозы, глицинию, тонкую грушу / И перечных два деревца...» («Вода», 1931).

Благодарный Ла Фавьеру, Саша Черный поставил скамейку прямо на вершине холма: «Выбрав место у тропинки, / Где сквозь бор синеет море» («С холма», 1932). Выкрасил ее «лазурной краской / Цвета крыльев Серафима» и посвятил всем пилигримам, кто придет сюда посидеть, подумать, посмотреть на море.

Да и сам приду не раз я
Посидеть Наполеоном,
Руки гордые сложивши,
В одиночестве зеленом...

Но не придет. Это стихотворение будет напечатано в «Последних новостях» 6 августа 1932 года рядом с некрологом памяти Александра Михайловича Гликберга.

Глава одиннадцатая

БЕЗ САШИ

1

Несчастье случилось 5 августа 1932 года.

На Ла Фавьер обрушился мистраль. Завилась спиралью пыль с песком, с грохотом понесло черепицу с крыш, заскрипели, кренясь, сосны. А потом Александр Михайлович услышал крик: «Пожар! Горим!» Не разбирая дороги, он бросился на помощь. Пылал лес, и остановить огонь нужно было срочно — с огромной скоростью разносимый ветром, он мог уничтожить всё вокруг.

Кричали, засыпали огонь землей, рубили горящие ветки, бегали к морю за водой, снова засыпали землей... Наконец, потушили. Измученный, Александр Михайлович вернулся домой и еще некоторое время работал на участке. Потом соседские мальчишки увидели, что он упал.

Инфаркт вследствие солнечного или теплового удара — такова, судя по всему, была причина смерти поэта. Причина досадная, нелепая. Та первобытность, к которой он так стремился, — отсутствие цивилизации, — сыграла роковую роль: в Ла Фавьере не было врача. Кого-то послали в Лаванду. Как далеко! Шесть километров туда, шесть обратно. Мария Ивановна, в прошлом сестра милосердия, оказывала мужу первую помощь, но этого было недостаточно. Припадок повторился, и земная жизнь Александра Михайловича Гликберга оборвалась.

Еще Мария Ивановна, не постигая рассудком страшной правды, просила его потерпеть и уверяла, что «сейчас пройдет», еще суетился кто-то из друзей, а душа поэта уже отлетела. Последнего крика «Саша!» он не услышал.

Там, где он оказался, все снова были живы. Израненные и обожженные бойцы, которым Александр Михайлович закрывал глаза в госпиталях, снова ждали, чтобы он почитал им книжку, бравый житомирский генерал Губер, сняв фуражку с козырьком «зонтом», снова окапывал груши в саду, расстрелянный большевиками псковский купец Батов, о котором так

болела душа поэта, снова стучал костяшками счет, сидел над шахматами Владимир Дмитриевич Набоков, пировали в шумной компании сатириконцы Аверченко, Потемкин и Рославлев.

Потом смерть Саши Черного обрастет романтическими легендами. Говорили, будто он вынес из пожара ребенка. Ксения Куприна припоминала рассказы о том, что Микки лег на грудь умершего хозяина и тоже испустил дух. Константин Паустовский, услышав от кого-то обрывки воспоминаний, писал об агонии поэта в маленькой больнице Борм-ле-Мимоза.

Ничего этого не было в действительности. Не было в этой трагедии ничего романтического. В самый разгар курортного сезона произошло нечто, совершенно с этим сезоном несовместимое. В уютном домике с верандой, светлом и веселом, лежал теперь мертвый человек, которого необходимо было срочно похоронить здесь, в Лаванду, потому что ни о какой его доставке в Париж не могло идти и речи. Об этом нужно было договориться с местными властями, кому-то заплатить. Полагаем, что Марии Ивановне помогала Софья Павловна Богданова, похоронившая в Лаванду зимой позапрошлого года своего мужа. Кинулись искать священника — в Тулоне его не оказалось, нужно было выписывать из Марселя, а времени на это нет. Жара тем летом достигала 53 градусов*. Едва удалось найти черную колесницу, запряженную старой лошадью, но к домику ей никак не подъехать. До дороги, где она остановилась, гроб нужно было нести на руках. Нести довольно долго, по крутым склонам.

Скорбная процессия потянулась к дороге. Гроб несли князь Лев Оболенский, Антонин Ладинский, Иван Билибин, Николай Станюкович. Следом шла кучка фавьерцев, и не только русских. Опустив седую голову в фуражке с серебряными галунами, шел француз-фермер, сосед Саши Черного, местный «гард шампэтр»**... Русские пели отходные молитвы.

Станюкович вспоминал:

«...Он был похоронен с русской истовостью, за его гробом не шло ни одного равнодушного, мечтающего об окончании “церемонии”.

Дай Бог каждому из нас к концу жизни заслужить такую любовь» (*Станюкович Н.* Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции).

Гроб погрузили на траурные дроги и тронулись в Лаванду,

---

* Эту температурную отметку называет Федор Рожанковский в одном из писем от сентября 1932 года. (Les lettres illustrées de Rojan // http://www.ricochet-jeunes.org/oeil-du-libraire/article/64-les-lettres-illustrees-de-rojan).

** Сельский полицейский.

там с трудом поднялись на холм и остановились у невысокой ограды погоста, сложенной из местного камня. Кипарисы, масличные деревца, олеандры, агавы создавали на кладбище зеленый оазис. «Вершина голая», к которой стремился поэт, приняла его в свое лоно — цветущее, ветреное, овеянное морем, кричащее о той «сияющей матери—жизни», которой молился старик Ной в Сашиной поэме, а вместе с ним и сам Саша. Может быть, он и не желал бы большего.

В далеком Париже спешно верстался траурный выпуск «Последних новостей»: 7 августа 1932 года на его страницах делились воспоминаниями об ушедшем Дон Аминадо, Михаил Осоргин, Константин Парчевский.

Услышав страшную весть, почернел лицом Александр Куприн. Он не плакал, не сетовал. По словам дочери Ксении, его горе «было замкнутым, молчаливым». Александр Иванович в некрологе не говорил обычных фраз, не предавался воспоминаниям, он сумел так сказать об ушедшем друге, что горе стало осязаемым:

«...ходят по Парижу русские люди и говорят при встречах: “Саша Черный умер — неужели правда? Саша Черный скончался! Какое несчастье, какая несправедливость! Зачем так рано?” И это говорят все: бывшие политики, бывшие воины, шоферы и рабочие, женщины всех возрастов, девушки, мальчики и девочки — все!

Тихое народное горе. И рыжая девчонка лет одиннадцати, научившаяся читать по его азбуке с картинками, спросила меня под вечер на улице:

— Скажите, это правду говорят, что моего Саши Черного больше уже нет?

И у нее задрожала нижняя губа.

— Нет, Катя, — решился я ответить.— Умирает только тело человека, подобно тому как умирают листья на дереве. Человеческий же дух не умирает никогда.

Потому-то и твой Саша Черный жив и переживет всех нас, и наших внуков, и правнуков и будет жить еще много сотен лет, ибо сделанное им сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который — лучшая гарантия для бессмертия» (*Куприн А. И.* Саша Черный).

Девятого августа 1932 года тревожно звонили колокола русской церкви Святого Александра Невского на рю Дарю, в которой Саша Черный когда-то прощался с Петром Потемкиным. Теперь звонили по нему самому. Церковь была переполнена (Панихида по А. М. Черном // Возрождение. 1932. 10 августа).

В «Последних новостях» Владимир Набоков, в прошлом

капризный мальчик, приносивший Саше Черному в Берлине свои стихи, а ныне известный прозаик, каялся в том, что не успел при жизни сказать ушедшему спасибо.

Откликнулись бывшие коллеги, рассеянные по миру. В рижской газете «Сегодня» Александр Амфитеатров, одним из первых приветствовавший талант едкого поэта-сатирикона, печалился:

«Очень огорчила меня смерть Саши Черного. Даже не осилил написать ему некролог. Это уж такая странная особенность моя: когда умирает кто-нибудь, мною очень любимый, я не в состоянии писать о нем, покуда он "новопреставленный". <...>

Саша Черный — еще одна разбитая амфора на мое Монте Тестаччио*. Амфора, слишком рано опорожненная от драгоценнейшего, благоуханнейшего содержимого. Улетела от нас "душа, из тонких парфюмов сотканная", а потому и очень одинокая и печальная в веке миазматическом, который она тщетно усиливалась дезинфицировать» (*Амфитеатров А. В.* О воспоминаниях, вечной любви и пр. и пр. // Сегодня. 1932. 1 сентября).

Осиротели парижские русские дети.

Осиротели Мария Ивановна и Микки.

2

Мария Ивановна прожила с Сашей Черным 28 лет, и все эти годы он был единственным смыслом ее существования. Теперь нужно было учиться жить без него. Господь, будто испытывая ее верность, отпустил ей еще столько же лет без мужа. Он забрал у нее и Микки. Бог весть, кто придумал легенду о том, что пес умер на груди хозяина, но легенда и в наши дни вдохновляет почитателей Саши Черного на поэтические строки:

Мой хозяин сегодня обидел меня.
Он, вернувшись, сказал — «Тише, тише,
Не кидайся на грудь. Я сейчас из огня
Двух соседских тащил ребятишек...»
....
Над шиповником шмель препротивно гудит,
Солнце плавится краем о крышу...
Я тихонько лежу на хозяйской груди.
Я стараюсь, но сердца не слышу**.

---

* Монте Тестаччио — искусственный холм на юго-западе Рима, состоящий из миллионов осколков разбитых амфор.

** Дневник фокса Микки // http://cecmpacka3ku.narod.ru/ucmopuu/foks.htm

Вполне вероятно, что Микки и в самом деле лежал рядом с покойным хозяином, пока того не похоронили. Иначе откуда взялась бы эта легенда? И так хотелось бы ее сохранить для истории, однако в жизни все было гораздо прозаичнее. Фокс, предоставленный самому себе, повадился в Ла Фавьере душить гусей и уток у соседних фермеров и был ими отравлен. Мария Ивановна похоронила Микки рядом со скамейкой, сделанной некогда Александром Михайловичем.

Она осталась одна.

Какое-то, очень непродолжительное, время вдова Саши Черного еще присутствовала в литературной жизни Парижа. 4 декабря 1932 года (спустя три месяца после трагедии!*) в роскошном отеле «Мажестик» на авеню Клебер состоялся литературно-музыкальный вечер памяти ее мужа. Очевидец писал, что мероприятие прошло «при редком для литературных собраний стечении публики. Стояли всюду, даже перед сценой и в темных коридорах за сценой. Покойный поэт и юморист пользовался совсем исключительной популярностью» (*Ч.* Утренник, посвященный А. Черному // Возрождение. 1932. 5 декабря). Утренник, возможно, проводился с благотворительной целью, поскольку к изданию готовилась посмертная книга Саши Черного — «Солдатские сказки». Кроме того, «Иллюстрированная Россия» незадолго до ухода Саши Черного купила у него детский сборник «Белка-мореплавательница» и теперь спешно продвигала его к печати.

Для «Солдатских сказок» Мария Ивановна предоставила фронтовой портрет мужа, который мы упоминали выше: вольноопределяющийся Александр Гликберг в военной форме со скрещенными на груди руками (Варшава, 1914 год). Обложку оформил художник Иван Билибин.

Выбор военной темы для посмертной книги мог быть не случаен. Возможно, таким образом Марии Ивановне хотели оказать финансовую помощь — в военной среде авторитет Саши Черного был высок. Достаточно сказать, что некролог памяти поэта, написанный Борисом Лазаревским, был опубликован в военном журнале «Часовой». Лазаревский подчеркивал, что Саша Черный во многих своих поступках был человек армейский, даже то, что он одним из первых побежал тушить пожар, — «поступок чисто солдатский» (*Б<орис> Л<азаревский>.* Памяти А. М. Черного).

Книга «Солдатские сказки» была издана в октябре 1933 года,

---

* Гораздо раньше откликнулся на трагедию «русский Берлин». 20 сентября 1932 года в «Гутман-зале» Союз русских журналистов и литераторов Германии провел вечер памяти Саши Черного и Максимилиана Волошина (скончавшегося 1 августа 1932 года в Коктебеле).

и ее горячо приветствовал Куприн: «...вышла в свет эта прекрасная посмертная книга, написанная при жизни тем незабвенным, милым, талантливым автором, которого и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины называют родственно и любовно — Сашей Черным, — называли в течение более 25 лет, с первых дней возникновения “Сатирикона”» (*Куприн А. А.* Черный. Солдатские сказки. Париж: Издательство «Парабола», 1933).

В августе 1933 года из Парижа в Ла Фавьер приехала поэтесса Татьяна Николаевна Тимашева, активная участница Русского студенческого христианского движения (РСХД), мероприятия которого Саша Черный всегда охотно посещал. Тимашева навестила и домик Александра Михайловича, и его могилу, о чем написала: «В стороне от нас, за холмом, дача Саши Черного. Сюда он ушел от изнуряющего душу и тело мещанского парижского быта. Здесь хотел он тихо жить и творить, тихо думать неизменную думу о родной стране. Здесь он, вот уже год, угас, живою памятью оставшись в сердцах местных жителей, в сердцах русских людей, русских детей. На его могилку мы пойдем. Ему хотят поклониться мои, так любившие его дети» (*Тимашева Т.* В русском гнезде).

На кладбище Татьяна Николаевна обнаружила священника, проводившего службу по православному обряду рядом с русскими могилами. Оказалось, что это отец Савва, иеромонах из монастыря Святого Иова Почаевского во Владимировой на Пряшевской Руси, который приехал специально для этого, зная о том, что в Лаванду ни разу не было православного священника (*Тимашева Т.* Отец Савва на юге Франции // Возрождение. 1933. 17 октября).

Тимашева утверждает, что на кладбище она увидела три русские могилы. Полагаем, что это были захоронения Николая Николаевича Богданова, Саши Черного и Людвига Фердинандовича Гольде, который скончался в Фавьере почти следом за нашим героем — 10 сентября 1932 года.

О том, как в то время выглядела могила Саши Черного, известно по фотографиям. На могиле стоял крест с табличкой, где, по легенде, была эпитафия — строка из Пушкина: «Жил на свете рыцарь бедный...». Почему именно эта строка? Мы продолжим цитату — и всё станет ясно:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Память о «рыцаре бедном» в Ла Фавьере хранилась свято. Летом 1934 года Сашу Черного вспоминали особенно часто.

Тогда выдался страшный июль: пожар охватил окрестности Борма и Лаванду и справиться с ним долго не удавалось. Около этого времени в Ла Фавьере побывал хорошо знавший Сашу Черного журналист Николай Рощин. Его немедленно повели на экскурсию, показали дачу Саши Черного и домик, в котором летом 1929 года жил Куприн. Рощин позднее писал: «Нынешним летом в округе разразился большой пожар. Горел край и два года назад. Тогда, стремясь на пожар, надорвал сердце и умер живший здесь милый Саша Черный» (*Днепров Р.* [Рощин Н.]. Южные встречи // Возрождение. 1934. 15 сентября).

О жизни вдовы поэта после его кончины известно немногое. Летом она по-прежнему приезжала в Ла Фавьер, а зимы проводила в Париже. Ей приходилось рассчитывать только на себя: «Белкой-мореплавательницей» и «Солдатскими сказками» издание книг Саши Черного закончилось*. Мария Ивановна продолжала давать частные уроки; среди ее воспитанниц была, например, Ангелина Цетлина, дочь Михаила и Марии Цетлиных, известных в эмиграции культурных и общественных деятелей (Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—2001: В 6 т., 8 кн. М.: РГБ, Отдел литературы русского зарубежья, 2007. Т. 6. Кн. 3: Х—Я).

Когда 1930-е годы перевалили за середину, Мария Ивановна начала терять друзей. Многие переселялись в СССР.

Историограф русской эмиграции Борис Носик утверждает, что в предвоенное десятилетие Фавьер «больше не был приютом мира», что здесь велась подрывная идеологическая работа агентов ОГПУ Владимира Ипполитовича Покровского и Юрия Филипповича де Планьи. Брат последнего Вадим Кондратьев, также лафавьерец, был завербован Сергеем Яковлевичем Эфроном**. Кстати, и сам Эфрон провел лето 1935 года в Фавьере и, может быть, ускорил расставание Марии Ивановны Гликберг с семьей Билибиных.

В сентябре 1935 года Иван Яковлевич Билибин принял советское подданство и год спустя уже жил в Ленинграде. Более того, он смог побывать в Батилимане, о котором столько лет грезил. Там он обнаружил дом отдыха Академии наук СССР. Но и свои фавьерские фотографии и воспоминания Билибины хранили. Берегли и «проплеванного идола», страшную африканскую бабу, на которую бросался фокс Микки. Мария Ивановна настояла на том, чтобы Черный передарил ее Билибиным, гордившимся своими африканскими приключениями.

---

* В 1978 году серию книг Саши Черного выпустило парижское издательство «Lev», но Марии Ивановны уже не было в живых.

** *Носик Б. Н.* С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом // http://www.litmir.net/br/?b=186382&p=56

Разговоры о возвращении в СССР все чаще звучали в той семье, которая теперь стала для Марии Ивановны совсем родной, — у Куприных. Дела у них обстояли все хуже. Квартирка с палисадником на бульваре Монморанси, где когда-то бывали Мария Ивановна и Александр Михайлович, осталась в прошлом. Теперь Куприны снимали жилье на рю Эдмон Роже: «Это была крошечная, коленообразная улочка в самом отвратительном — 15-м районе Парижа. Этот район пересекается невероятно длинной улицей Коммерции, загроможденной лотками с фруктами, овощами, дешевым бельем, грязными лавчонками. Без капельки зелени. Пыль, грязь, много подозрительных субъектов» (*Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 228—229).

Елизавета Морицовна пыталась держать на этой улице книжный и писчебумажный магазин, затем библиотеку, поэтому и сняли трехкомнатную квартиру напротив лавки. Дела шли туго, а Александр Иванович был уже очень болен. Он почти ослеп, не мог писать в буквальном смысле, да и в творческом уже не мог.

О том, что Мария Ивановна продолжала бывать у Куприных, сохранилось свидетельство Николая Рощина:

«Помню, проходил по узкому двору и неожиданно в окне увидал, как его <Куприна> брила перед светом жена. <...> Он сидел беспомощно, с бессмысленно доброй улыбкой на лице, смотрел прямо, очевидно, ничего не видя. Я вошел. *За большим столом что-то кроила жена известного покойного поэта, старый друг купринского дома* (курсив наш. — *В. М.*). Я поздоровался с Елизаветой Морицовной и с гостьей и в нерешительности остановился. Елизавета Морицовна крикнула:

— Папочка (семейное имя Александра Ивановича), Рощин пришел.

Он как-то завозился, тяжело пытаясь подняться, потом неожиданно громко и резко, болезненно, голосом слепого, сказал:

— Какой Рощин? Это мой Рощин?

Мне стало до невыносимости тяжело. Я подошел, поздоровался. Александра Ивановича пересадили в кресло, в угол, дали ему стакан “питья” — воду, слегка подкрашенную вином. Он оживился, минут пять говорил о том, что непременно напишет еще один хороший рассказ, расспрашивал об общих друзьях. Потом как-то по-младенчески присмирел, затих и все с тревогой спрашивал о какой-то кошечке, все просил жену пойти посмотреть, не ушла ли кошечка. У меня больно, пронзительно сжалось сердце. Я попрощался и ушел — не зная, что вижу его в последний раз. Через две недели он уехал» (*Рощин Н.* Мой Куприн // Возрождение. 1938. 23 сентября).

Мы уверены в том, что упомянутая «жена известного покойного поэта» — это Мария Ивановна. Так, Ксения Куприна утверждала: «Самым близким другом матери и отца была в ту пору (перед отъездом в СССР. — *В. М.*) вдова Саши Черного Мария Ивановна. Из литературной и артистической братии близких почти никого не осталось» (*Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 230).

Ксения, ставшая известной киноактрисой и откровенно стеснявшаяся родителей, уговаривала их вернуться в СССР; уверяла, что и сама поедет с ними, будет продолжать кинокарьеру. Елизавета Морицовна так устала от всех трудностей, что смирилась с этой необходимостью.

По сей день среди куприноведов нет единого мнения о том, знал ли Александр Иванович, превратившийся в ребенка, о планах жены и дочери. Из рассекреченных сегодня документов известно, что посол СССР во Франции Владимир Петрович Потемкин докладывал 12 октября 1936 года наркому внутренних дел страны Николаю Ивановичу Ежову о том, что Куприн «просится обратно в СССР». 7 августа того же года Потемкин встретился со Сталиным, изложил ему суть проблемы, и Иосиф Виссарионович ответил, что «Куприна впустить на родину можно» (цит. по: «Куприна впустить можно» // Вестник архива Президента РФ. 1996. № 2. С. 154).

Двадцать седьмого октября 1936 года положительное решение по этому вопросу было принято. Паспорта оформлены, визы получены. «В курсе отъезда была только вдова Саши Черного — Мария Ивановна», — вспоминала Ксения. Мария Ивановна помогала ликвидировать долги, распродавать библиотеку и мебель.

Она была единственной, кто провожал 29 мая 1937 года на Северном вокзале Парижа Елизавету Морицовну и Александра Ивановича Куприных. Мария Ивановна прекрасно понимала, что прощается с ними навсегда. В последний раз расцеловала Александра Ивановича, умильно прижимавшего к себе корзиночку с любимой кошкой Ю-ю. Ксения Куприна, не уехавшая тогда с родителями, вспоминала: «Мария Ивановна Черная, недолюбливавшая меня (только теперь я понимаю, насколько она была права, обвиняя меня в эгоизме), взглянула своими светло-голубыми, немного навыкате глазами и жестко сказала, увидев мои слезы: “Наконец...” В этот момент я возненавидела ее. Больше я ее не встречала, но знаю, что она очень любила моих родителей, помогала им. Сейчас я могу только просить прощения у ее памяти — человека очень честного, прямого и умного. Умерла она в глубокой старости, чуть

ли не девяноста лет, в жестокой бедности, на юге Франции» (*Куприна К. А.* Куприн — мой отец. С. 233).

Картину «жестокой бедности» Марии Ивановны дополним воспоминаниями князя Алексея Львовича Оболенского, выросшего в Ла Фавьере:

«Мария Ивановна Черная жила в соседней ферме. Я учился у нее русской грамоте. Меня к ней... тянуло — она очень живо рассказывала, очень искусно лаяла и мяукала. <...> Мария Ивановна продала свой домик с участком жителям Фавьера, прибывшим с Севера Франции после вторжения немцев (во время Первой мировой войны) и занявшимся виноделием. По контракту они платили ей пожизненную ренту, предоставив ей отдельную комнату в своем доме. К сожалению, эти милые люди спились — но к Марии Ивановне, которую звали Marivane, относились неизменно хорошо»*.

Марии Ивановне незачем было возвращаться в СССР: муж лежал в Лаванду, и она должна была быть рядом с ним.

3

В 1958 году Корней Иванович Чуковский жил на даче в Переделкине и, несмотря на преклонный возраст, вел обширнейшую литературную работу. В стране наступила «оттепель» и стало возможным издание произведений писателей, вычеркнутых ранее из истории русской литературы. Корней Иванович вспомнил о Саше Черном, и родилась идея выпустить книгу его стихов.

Книгу поставили в издательский план «Библиотеки поэта», в Большую серию, и даже решили включить эмигрантское наследие. Так, в 1960 году вышел том стихотворений Саши Черного с предисловием Корнея Чуковского и обстоятельной статьей Лидии Алексеевны Евстигнеевой «Литературный путь Саши Черного», которая до сих пор остается незаменимым источником для тех, кто занимается творчеством поэта.

Выход книги стал огромным событием. Советский читатель, не знавший дореволюционной России, впервые услышал о том, что были когда-то сатириконцы. Подчеркиваем: возвращение «Сатирикона» началось именно с Саши Черно-

* Из электронной переписки с князем А. Л. Оболенским (письмо от 11 марта 2014 года). *Алексей Львович Оболенский* — внук Владимира Андреевича Оболенского и сын Льва Владимировича Оболенского (хоронившего Сашу Черного). Родился в 1945 году в Борм-ле-Мимоза. Ныне живет в Ницце, является старостой местного православного кафедрального собора Святого Николая Чудотворца. Профессор в прошлом, много лет преподававший русский язык и литературу в университете Ниццы.

го, так как первое переиздание рассказов Аркадия Аверченко произошло позднее, в 1964 году, а Тэффи — в 1971-м.

За «Сашей Черным», вдруг ворвавшимся в литературу удивительным сплавом лирики и сатиры, щемящей грусти и убийственной иронии, гонялись. Спрос на книгу был настолько велик, что в течение 1960 года она выдержала второе издание. Своеобразно отозвалась о книге современница Саши Черного Анна Ахматова в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской: «Вы заметили, что с ними со всеми происходит в эмиграции? Пока Саша Черный жил в Петербурге, хуже города на свете не было. Пошлость, мещанство, скука. Он уехал. И оказалось, что Петербург — это рай...» (*Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1980. Т. 2. С. 322).

Впечатления советских читателей скоро обрели неожиданное выражение. Внук Чуковского Евгений, бывший зятем Дмитрия Шостаковича, подарил книгу Саши Черного композитору, и тот, едва начав читать, стал делать пометки и отбирать тексты для будущего музыкального цикла. Шостакович в то время интересовался выражением иронии и гротеска посредством музыки. Он отобрал пять стихотворений — «Критику», «Пробуждение весны», «Потомки», «Недоразумение» и «Крейцерова соната» — и 18 июня 1960 года закончил работу над циклом, которому присвоил номер 109 и дал название «Сатиры (Картинки прошлого)». Дополнение в скобках пришлось сделать вынужденно. По словам Галины Вишневской, первой исполнительницы цикла, с цензурой дело сладилось далеко не сразу и даже после появления объяснения в скобках из текста все равно пытались что-то изъять. В конце концов, премьера состоялась, став событием в музыкальной жизни. 21 февраля 1961 года на сцене Малого зала Московской консерватории Галина Вишневская при музыкальном сопровождении Мстислава Ростроповича исполнила «Сатиры» Дмитрия Шостаковича. Конечно, это было почти чудо.

Настоящее же чудо, притом истинная быль, оставалось до сих пор неизвестным. Лидия Алексеевна Спиридонова-Евстигнеева рассказала нам о нем только в феврале 2013 года.

Тогда, в 1960 году, главный редактор «Библиотеки поэта» Владимир Николаевич Орлов сообщил Лидии Алексеевне, что вдова Саши Черного жива и неплохо было бы выслать ей книгу. Разузнали, что Мария Ивановна находится в Доме-общине имени Л. Н. Толстого в Йере, под присмотром русской сиделки (Йер расположен поблизости от Ла Фавьера). Вспоминает Лидия Алексеевна: «Мария Ивановна успела не только получить "Стихотворения", но и поблагодарить за них. Письмо

сиделки начиналось словами благодарности за книгу, а кончалось страшной фразой: "Сегодня она умерла"»*.

Вот теперь в нашем повествовании можно поставить точку. Мария Ивановна, всю свою жизнь посвятившая поэту, все же дождалась радостной вести — после десятилетий полного забвения Саша Черный возвратился на родину. Осталось только сказать несколько слов о месте упокоения наших героев.

Мария Ивановна скончалась 13 июля 1961 года и была похоронена, скорее всего по завещанию, на кладбище Борм-ле-Мимоза, где уже покоились ее бывшие соседи по Фавьеру: князь Оболенский-старший с женой. Позволим себе предположить, что отдельной могилы Марии Ивановны нет, не было и в 1961 году. По французским законам, умершие в домах престарелых (а Дом-община по сути и был им) захораниваются в так называемых «fosse commune» — общих могилах. (Именно такой была участь, например, поэта Георгия Иванова, скончавшегося в 1958 году в том же Йере.)

С Сашей Черным мы попрощались в 1932 году на его «вершине голой», овеваемой морскими ветрами, в Лаванду. С тех пор промчалось много событий — отгремела Вторая мировая война, набрала обороты буржуазная алчность, облепившая ценниками даже то, что бесценно, и страшно было подумать, что стало с Сашиной «вершиной голой».

И вот в 1977 году на кладбище Лаванду появилась русская парижанка Валентина Кондратьевна Волгина, общественный и церковный деятель. Она долго бродила по аккуратным дорожкам, обсаженным масличными деревьями, искала могилу Саши Черного. Не нашла. Обратилась к администрации за справкой и узнала то, что может показаться удивительным российскому читателю, но вряд ли удивило саму Валентину Кондратьевну, давно живущую на Западе. По законам многих европейских стран, земля для захоронения не предоставляется в вечное пользование, а сдается в аренду. Если за могилу в течение определенного времени никто не платит (а Марии Ивановны уже 16 лет не было на свете), администрация кладбища имеет право перепродать это место. В таких случаях останки «выселяемого» покойного, извлеченные из гроба, захораниваются в специальной нише, в одной из сторон могилы, а само место для захоронения передается другим лицам. С могилой Саши Черного случилось именно так.

Немало огорченная, Волгина организовала сбор средств на установку символической мемориальной доски и добилась разрешения прикрепить ее на стену одной из кладбищенских

---

* Из электронной переписки с Л. А. Спиридоновой-Евстигнеевой (письма от 26 и 27 февраля 2013 года).

построек. И вот встретились здесь, под кипарисами, те, кому была небезразлична посмертная судьба поэта, и те, кто хорошо его знал и помнил. Приехал из Парижа старший сын Леонида Андреева Вадим Леонидович с женой. Он был очень растроган и написал в газету теплые слова: «Все мы должны выразить сердечную благодарность В. К. Волгиной за ее неутомимую деятельность и прекрасную инициативу установления этой мемориальной доски с трогательной надписью на двух языках, столь заслуженной любимым и близким нашему сердцу поэтом» (*Андреев В.* Саша Черный, мой учитель).

Надпись такова:

ПОЭТУ и ПИСАТЕЛЮ
САШЕ ЧЕРНОМУ
1880—1932
С ЛЮБОВЬЮ
РУССКИЕ ВО ФРАНЦИИ
HOMMAGE
AU POETE RUSSE
A. GLUCKBERG
vit
SACHA TCHERNY*.

Доска цела по сей день и, судя по всему, это более долговечно. В последние годы в связи с ограниченностью территории и перенаселенностью в Лаванду введен мораторий на похороны. На этой «вершине голой» больше нельзя упокоиться!

А что же «ситэ рюсс» в Ла Фавьере? Существует ли он сегодня?

Увы. Падение Российской империи некогда вызвало его к жизни, а распад СССР поставил точку в его истории. Русский лагерь «Пляж и холм», воссозданный после войны (в 1947 году), шумно и весело жил вплоть до середины 1980-х. Ежегодно в середине августа здесь проводился фестиваль русской культуры, гостей угощали водкой и развлекали игрой на балалайке. Потом русский лагерь с восторгом встретил горбачевские перемены, которые и стали началом его конца. Идея «маленького Крыма» лишилась всякого смысла: к чему эта французская подмена, если сам Крым стал легко досягаем?

Курортная цивилизация между тем наступала со всех сторон. За участки предлагались хорошие деньги, и «ситэ рюсс» погиб тихо и бесславно. В 2001 году ассоциация «Пляж и холм» была ликвидирована, и о легендарном русском посел-

* В дань русскому поэту А. Гликбергу, при жизни Саше Черному. Современный адрес кладбища: Le Lavandou, 12—18 Chemin du Repos.

ке напоминают сегодня лишь «Бастидун», с которого начиналась вся эта «мелкоземельная» история, и кабанон Билибина. Как их увидеть? Следует разыскать местного жителя Бориса Швецова, удивительного старика, которому за 90 лет, но он всегда соглашается провести экскурсию по остаткам Русского Холма. Гостеприимство его врожденное: он сын Иннокентия Алексеевича Швецова («Innocent'a»), угощавшего Сашу Черного обедом и анисовой водкой в Лаванду летом 1926 года и увековеченного Куприным в очерке «Сильные люди» (*Калина*. «Последний из могикан» Русского Холма // Перспектива. 2010. № 2(65).

Сегодня в Фавьере всё иначе: асфальт, яхтенные стоянки и запрещающие знаки «С собаками на пляж нельзя!». Потомкам фокса Микки остается тоскливо взирать вдаль с балконов многочисленных пансионов. Однако память о «ситэ рюсс» хранит не только Борис Иннокентьевич Швецов. В 1995 году в Лаванду была создана общественная организация «Réseau Lalan», объединившая художников, скульпторов, фотографов, музыкантов с целью проведения художественных выставок и музыкальных фестивалей. В 2004 году на базе краеведческого музея Борм-ле-Мимоза (некогда основанного художником Песке из «Бастидуна») они провели интереснейшую выставку «Русские в Ла Фавьере», познакомив «последних романтиков» с наследием «лафавьерских» художников Федора Рожанковского, Ивана Билибина, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, а заодно вспомнив одного из знаменитых обитателей Холма — Сашу Черного. В экспозиции были представлены его фотографии и автографы из семейного архива Оболенских. Президент «Réseau Lalan» Рафаэль Дюпьи помогал в работе над этой книгой и рассказал нам о премьере 2012 года: в Лаванду увидел свет сборник произведений Саши Черного в переводе на французский «Ma Russie n'est plus» («Моей России больше нет»).

А теперь перенесемся в Россию.

По сей день к Саше Черному относятся с уважением там, где он провел многие годы и прошел определенные жизненные испытания. Им гордятся одесситы, оформившие соответствующую экспозицию в местном литературном музее. Интересный проект в 2003 году осуществил известный псковский художник Александр Стройло: в книге «Ах, опять увижу Псков...» он собрал стихи «вольноопределяющегося 2-го разряда Гликберга» о Пскове и проиллюстрировал их. Сейчас Александр Григорьевич работает над серией иллюстраций к «Солдатским сказкам», справедливо полагая, что едва ли не половина их сюжетов навеяна псковскими впечатлени-

ями. Однако дальше всех пошли житомирцы: 21 ноября 2013 года по инициативе местной организации «Русское содружество» была установлена мемориальная доска на здании Мариинской женской гимназии, где в юности будущий поэт жил в семье Константина Константиновича Роше. На этом «Русское содружество» не собирается останавливаться и планирует открыть мемориальную комнату поэта в здании бывшей 2-й гимназии, чтобы он с триумфом вернулся туда, откуда его так неосмотрительно исключили в 1899 году.

Вот мы и приблизились к дням нынешним, суматошным и пресыщенным. Не станем лукавить: теперь никто уже не гоняется за книгами Саши Черного, но не потому, что они никому не нужны, а потому, что издаются они приличными тиражами и в полноте того жанрового спектра, в котором он работал и как поэт, и как детский писатель. Сегодня нет ажиотажа, который был в годы «оттепели» или «перестройки», когда сам факт публикации чего-то эмигрантского или антисоветского служил залогом читательского интереса. И это хорошо, потому что оценки творчества авторов «возвращенной литературы» становятся все более объективными. По произведениям Саши Черного ставятся спектакли, на тексты его стихотворений пишутся песни, стихи поэта звучат в престижных концертных залах... Да и сам интерес к нему знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» говорит о том, что поэт вернулся в Россию окончательно.

Мы же смиренно попытались воздать должное человеку тонкому и умному, саркастичному и нежному, язвительному и смешливому. И если у нас хоть чуть-чуть получилось, чтобы у читателя печали было меньше, а смеха — больше, то лучшего нечего и желать. Саша Черный сам нас об этом просил:

Ты, читатель, улыбнулся?
Это, милый, все, что надо,
Потому что без улыбки
Человек противней гада...

Улыбайтесь! Не будем его огорчать.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА САШИ ЧЕРНОГО

1880, 1(13) октября — в Одессе в семье Менделя Давидовича Гликберга, провизора, и Мариам Гликберг родился сын Александр.

1890 — крещен. Поступает в приготовительный класс гимназии города Белая Церковь.

1895 (?) — бежит из дома, приезжает в Петербург; поступает в гимназию.

1897, весна — «проваливает» экзамен по алгебре, оставлен на второй год в 5-м классе; брошен родителями без средств к существованию.

1898, октябрь — становится воспитанником статского советника Константина Константиновича Роше и переезжает в Житомир; поступает в 5-й класс 2-й житомирской мужской гимназии.

1899, май—июль — вместе с приемным отцом К. К. Роше участвует в поездке на голод в Белебеевский уезд Уфимской губернии.

1900 — исключен из 6-го класса 2-й житомирской гимназии без права дальнейшего поступления.

1 сентября — зачислен вольноопределяющимся 2-го разряда в 18-й пехотный Вологодский Его Величества короля Румынского полк.

1902, 25 октября — демобилизован из армии.

1902—1904, лето — работает в таможне города Новоселицы Хотинского уезда Бессарабии.

Июнь — дебютирует как литератор в газете «Волынский вестник» (Житомир). После закрытия газеты работает помощником начальника житомирской железнодорожной станции Южного общества подъездных путей.

Осень — переезжает в Петербург, работает таксировщиком в службе сборов Варшавской железной дороги. Знакомится с Марией Ивановной Васильевой; женится на ней.

1905, зима — поселился на улице Николаевской, 74.

Лето — проводит с М. И. Васильевой медовый месяц в Италии.

27 ноября — дебютирует стихотворением «Чепуха» под псевдонимом Саша Черный в сатирико-юмористическом журнале «Зритель» (Петербург).

1906, зима — выпускает первый сборник стихов «Разные мотивы».

Апрель — уезжает с женой в Гейдельберг, где в качестве вольнослушателя посещает лекции в университете в течение двух семестров.

1908, январь — начинает работать в возрожденном журнале «Зритель». Живет по адресу: Васильевский остров, 15-я линия, 72, квартира 37.

Апрель — принимает участие в выпуске первого номера «Сатирикона». Становится постоянным сотрудником этого журнала.

Лето — отдыхает в Шмецке (Гунгербург).

1909, январь — проводит новогодние праздники в Сальмела (Финляндия), посещает водопад в Иматре.

Май—июнь — проходит кумысолечение в деревне Чибинли (Башкирия).

Июль—август — отдыхает в Шмецке (Гунгербург).

1910 — выпускает сборник «Сатиры» в издательстве М. Г. Корнфельда. Начинает сотрудничать с журналами «Солнце России», «Современный мир», газетами «Одесские новости», «Киевская мысль» и др.

Лето — отдыхает на курорте Санта-Маргарита (Италия).

1911, январь — проводит новогодние праздники в Кавантсаари (Финляндия). Становится сотрудником журнала «Современник».

Апрель — уходит из «Сатирикона». Посещает Киев.

Лето — отдыхает в Крыму (Мисхор), затем в селе Кривцово Мценского уезда Орловской губернии.

Осень — выпускает сборник «Сатиры и лирика» в издательстве «Шиповник»; переезжает на Крестовский остров, Надеждинскую улицу, 5.

11 сентября — умирает М. Д. Гликберг, отец поэта.

1912, август–сентябрь — отдыхает в Италии, где посещает на острове Капри М. Горького, а в Феццано — А. В. Амфитеатрова.

1913 — переиздает сборник «Сатиры и лирика» в издательстве «Шиповник»; выпускает детскую книгу «Тук-тук!» в «Издательстве И. Д. Сытина» (Москва) с иллюстрациями В. Д. Фалилеева.

Лето — работает над поэмой «Ной»; отдыхает в Ромнах на Полтавщине.

1914 — выпускает детскую книжку-раскраску «Живая азбука» в издательстве «Шиповник» с иллюстрациями В. Д. Фалилеева.

Апрель — публикует поэму «Ной» в альманахе издательства «Шиповник».

Май–июль — отдыхает в Шмецке (Гунгербург).

Июль — мобилизован из запаса в действующую армию в связи с началом войны. Распределен в 13-й полевой запасный госпиталь в Петербурге.

Август — отправлен в составе госпиталя на фронт, под Варшаву.

1915, март — переведен из госпиталя на должность зауряд-военного чиновника в штаб 5-й Армии (Двинск).

1916, зима — переведен из системы Красного Креста в подразделения Всероссийского союза городов; служит смотрителем госпиталя в Гатчине. Возвращается к литературной работе, сотрудничая в детских альманахах «Радуга» («Елка») и «Для детей».

Декабрь — переведен в Псков, служит палатным надзирателем 18-го полевого запасного госпиталя.

1917, февраль — переведен в Управление военных сообщений штаба Северного фронта (Псков).

Осень — работает начальником отдела Управления военного комиссара Северного фронта (сначала В. Б. Станкевича, затем В. С. Войтинского).

1 октября — посещает в Острове генерала П. Н. Краснова, командующего 3-м Конным корпусом.

1918, август — уезжает из Пскова.

1919—1920 — живет на хуторе под Вильно, затем в Вильно. Работает над книгой стихов «Детский остров». Получает в Ковно литовское подданство.

1920, март — приезжает в Берлин, становится сотрудником газеты «Голос России». Живет по адресу: Вальштрассе, 61 (в районе Шарлоттенбург).

Декабрь — выпускает книгу «Детский остров» в берлинском издательстве «Слово» с иллюстрациями Б. Д. Григорьева.

1921, лето — отдыхает на курорте Кёльпинзе. Участвует в подготовке нового литературно-художественного журнала «Жар-птица», где редактирует литературный отдел.

Декабрь — переиздает сборник «Сатиры» в берлинском издательстве «Грани».

1922 — переиздает сборник «Сатиры и лирика» в берлинском издательстве «Грани»; «Живую азбуку» — в берлинском издательстве «Огоньки» с иллюстрациями М. Дризо; выпускает альманах для детей «Цветень».

1923, январь — отдыхает в деревне Шмилька (Саксонская Швейцария).
Зима–весна — редактирует стихотворный сборник «Горний путь» В. В. Набокова (Сирина); выпускает на собственные средства сборник стихов «Жажда».
Лето — переезжает в Рим, где гостит в семье Анны Ильиничны Андреевой (на виа Роверетто, 15). Работает над главами поэмы «Дом над Великой», детской книгой «Кошачья санатория».
1924, март — переезжает в Париж.
Май–октябрь — отдыхает в усадьбе в Гресси, под Парижем. Работает над циклом «Из дневника фокса Микки».
Сентябрь — становится сотрудником журнала «Иллюстрированная Россия», где ведет рубрику «Страничка для детей» под псевдонимом «профессор Фаддей Симеонович Смяткин».
Декабрь — организует свой первый в Париже литературный вечер в мастерской художника Ф. А. Малявина.
1925, 24 марта — участвует в вечере памяти Аркадия Аверченко, выступает с чтением стихотворения «Сатирикон».
Апрель — становится ведущим новой рубрики сатиры и юмора «Бумеранг» в «Иллюстрированной России».
Август–сентябрь — отдыхает на курорте Ле Буле вместе с семьей Н. В. Сорина.
7 октября — вместе с Тэффи, П. П. Потемкиным, Б. К. Зайцевым, А. И. Куприным и другими принимает участие в открытии «Дома артиста» на парижской рю Аспомпсьон, 70.
17 октября — участвует в «Вечере юмористов» вместе с Тэффи и Дон Аминадо (в зале Виктора Гюго на парижской рю Дидье, 46-бис).
18 октября — с А. И. Куприным участвует в «Детском утре» Общества русских студентов.
24 октября — принимает участие в вечере Общества русских студентов.
18 ноября — присутствует на балу русской прессы (в парижском отеле «Лютеция»), для которого написал лубок «Петрушка в Париже».
Декабрь — снимает квартиру по адресу: авеню Теофиль Готье, 8.
1926, 2 января — участвует в празднике детской елки, организованном Тургеневской библиотекой, пишет для него пьесу-шутку «Мистер Кукки и его труппа», в которой играет сам вместе с фоксом Микки.
Март — входит в состав Комитета по устройству общежития для русских мальчиков в Париже.
7 марта — принимает участие в детском утреннике в Медоне.
5 апреля — вместе с А. И. Куприным, И. С. Шмелевым, фельетонистом Лери и другими участвует в литературно-вокальном вечере в Собрании Союза галлиполийцев.
25 апреля — принимает участие в литературно-вокальном вечере в Собрании Союза галлиполийцев вместе с профессором В. П. Катеневым.
10 мая — присутствует на банкете в ресторане «Рампону» по случаю двухлетней годовщины «Иллюстрированной России».
16 мая — присутствует на банкете в честь трехлетия Союза галлиполийцев, слушает речь барона П. Н. Врангеля, фотографируется для прессы в обществе генералов А. П. Кутепова, Н. Н. Баратова и М. И. Репьева.
Июнь — вместе с А. И. Куприным выступает перед русскими эмигрантами в Брюсселе, в помещении Университетского дома.

Июль — гостит в Брюсселе; переносит воспаление легких.
5 августа — впервые приезжает в Лаванду, на пляж Ла Фавьер.
Октябрь — участвует в мероприятиях памяти П. П. Потемкина.
Ноябрь — передает рубрику «Бумеранг», которую вел в «Иллюстрированной России», фельетонисту Лери.
12 декабря — присутствует на банкете в честь 25-летия творческой деятельности Б. К. Зайцева.

1927, 13 января — участвует в праздничной встрече русского Нового года в отеле «Лютеция».
Февраль — переиздает книгу «Живая азбука» с иллюстрациями Ф. С. Рожанковского.
24 февраля — принимает участие в вечере памяти П. П. Потемкина.
17 апреля — участвует в литературном вечере Союза галлиполийцев вместе с фельетонистом газеты «Возрождение» Н. Я. Рощиным.
24 мая — на вечере Очага друзей русской культуры читает новый рассказ «Московский случай».
Лето — на собственные средства выпускает отдельное издание «Дневника фокса Микки» с иллюстрациями Ф. С. Рожанковского; отдыхает в Ла Фавьере на даче Б. А. и А. А. Швецовых.
Осень — становится сотрудником газеты «Последние новости».
19 декабря — устраивает литературный вечер, для которого пишет пьесу-шутку в одном действии «Третейский суд», обыгрывающую распри землевладельцев в Ла Фавьере, играет в ней одну из ролей, остальные распределены между Е. Н. Рощиной-Инсаровой, А. И. Куприным и М. А. Осоргиным.

1928, зима — заводит собственного жесткошерстного фокстерьера Микки; выпускает детскую книгу «Кошачья санатория» с иллюстрациями Ф. С. Рожанковского.
26 января — выступает с докладом «Русские народные песни по записям Гоголя» в Юношеском клубе Русского студенческого христианского движения (далее – РСХД).
15 марта — принимает участие в масленичном балу Союза русских писателей и журналистов во Франции в отеле «Лютеция».
27 мая — выступает вместе с А. М. Ремизовым в Медоне.
14 июня — принимает участие в пасхальном вечере в Юношеском клубе РСХД.
23 июня — 8 июля — выступает вместе с А. А. Яблоновским в Лионе, Гренобле, Марселе, Каннах и Ницце.
Осень — выпускает сборник юмористических рассказов для взрослых «Несерьезные рассказы».

1929 — издает в Белграде детскую книгу «Серебряная елка» с иллюстрациями Г. И. Самойлова.
21 марта — читает рассказ «Три спортсмена и табачный патриот» на вечере в Тургеневском артистическом обществе.
Апрель — присутствует на освящении детского приюта «Голодной пятницы» в Монморанси.
Лето — покупает участок земли в Ла Фавьере; отдыхает в Ла Фавьере на даче П. Н. Милюкова вместе с семьями Билибиных и Станюковичей, занимается благоустройством собственного участка, заказывает проект постройки дачного дома.

1930, 12 января — принимает участие в семейном вечере Союза адвокатов в Тургеневском клубе, читает святочные солдатские сказки.
13 марта — читает в Юношеском клубе РСХД доклад об апокри-

фах Н. Лескова по случаю 35-летней годовщины со дня смерти писателя.

Март — празднует 25-летие литературной деятельности.

Апрель — выпускает детскую книгу «Чудесное лето» (издательство «Москва—Логос»).

Лето — живет в Ла Фавьере в собственном доме.

31 декабря — читает святочные рассказы в Юношеском клубе РСХД.

1931 — выпускает в Белграде детскую «Румяную книжку» с иллюстрациями Г. И. Самойлова.

Апрель — становится сотрудником возрожденного М. Г. Корнфельдом журнала «Сатирикон».

Лето — отдыхает в Ла Фавьере.

Осень — публикует в «Последних новостях» поэму «Кому в эмиграции жить хорошо».

1932, 14 апреля — проходит ритуал посвящения в масонскую ложу «Свободная Россия».

5 августа — Саша Черный умирает в Ла Фавьере. Похоронен на кладбище в Лаванду.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ.

Александрова В. Памяти Саши Черного // Новое русское слово. 1950. 1 октября.

Александров Р. Саша Черный родился в доме у самого Александровского участка // Одесский альманах. 2011. № 45.

Алексеев Г. В. Заграница. Воспоминания Г. В. Алексеева // Сборник материалов ЦГАЛИ СССР. «Встречи с прошлым». Вып. 7. М.: Советская Россия, 1990.

Амфитеатров А. А. Записная книжка: О Саше Черном // Одесские новости. 1910. 29 июня/12 июля.

Андреев В. Саша Черный, мой учитель // Русская мысль. 1976. 19 октября.

Андреева В. Эхо прошедшего. М.: Советский писатель, 1986.

Бельский М. Р. По следам потаенной биографии Саши Черного // Мория. 2005. № 2.

Б<орис> Л<азаревский>. Памяти А. М. Черного // Часовой. 1932. № 88.

Войтоловский Л. Саша Черный // Киевская мысль. 1910. 30 мая/12 июня.

Горький и его современники. Исследования и материалы. Вып. 2. М.: Наука, 1989.

Гуль Р. Б. Саша Черный // *Гуль Р. Б.* Я унес Россию: Апология эмиграции. В 3 т. Т. 1: Россия в Германии.

Добровольский В. А. О Саше Черном // Русский глобус. 2002. № 5.

Дон Аминадо. Памяти Саши Черного // Последние новости. 1932. 7 августа.

Иванов А. Потаенная биография Саши Черного // Евреи в культуре Русского Зарубежья: Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе (1919—1939). Иерусалим, 1993. Вып. 2.

Измайлов А. Нестареющая легенда (Поэма А. Черного «Ной») // Русское слово. 1914. 30 мая / 12 июня.

Коноплин И. Саша Черный (Памяти умершего) // Новое русское слово. 1932. 28 августа.

Кранихфельд В. Литературные отклики // Современный мир. 1910. № 5.

Куприн А. И. А. Черный. Несерьезные рассказы. Париж, 1928 // Возрождение. 1928. 25 ноября.

Куприн А. И. Саша Черный. Детский остров. Берлин: Слово, 1920 // Общее дело. 1921. 9 мая.

Куприн А. И. Солдатские сказки. Изд. Парабола — Париж, 1933 // Возрождение. 1933. 26 октября.

Куприн А. И. Саша Черный // Возрождение. 1932. 9 августа.

Куприн А. И. Поэт-одиночка: О Саше Черном // Журнал журналов. 1915. № 7.

Куприна К. А. Саша Черный // *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 205—219.

Ладинский А. Похороны А. М. Черного // Последние новости. 1932. 9 августа.

Лазаревский Б. Последний разговор // Россия и славянство. 1932. 13 августа.

Маршак-Файнберг Ю. Я. Частица времени // «Я думал, я чувствовал, я жил...» М.: Советский писатель, 1971.

Мемуары М. И. Гликберг / Подг. к публ. и вступ. ст. Л. А. Спиридоновой // Российский литературоведческий журнал. 1993. № 2.
Н. В. Саша Черный. Детский остров. С рисунками Б. Григорьева. Берлин: Слово // Руль. 1920. 26 декабря.
Осоргин М. А. М. Черный // Последние новости. 1932. 7 августа.
Пильский П. Вдохновенная сатира: Памяти А. Гликберга (Саши Черного) // Сегодня. 1932. 9 августа.
Парчевский К. Путь поэта // Последние новости. 1932. 7 августа.
Парчевский К. Саша Черный: К 25-летию литературной деятельности // Последние новости. 1930. 6 марта.
Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским / Подг. к публ., коммент. А. С. Иванова // Новый журнал. 2006. № 245.
Письма Саши Черного к Горькому // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М.: Наука, 1989. Вып. 2. С. 20—29.
Праве В. Воспоминания о Саше Черном // http://www.dordopolo.ru/product67.html
Рощин Н. Печальный рыцарь // Возрождение. 1932. 7 августа.
Рысс П. Памяти А. М. Черного // Россия и славянство. 1932. 13 августа.
Седых А. Три юмориста // *Седых Андрей.* Далекие, близкие. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1979. С. 75—90.
Седых А. Юбилей без речей: К 25-летию литературной деятельности Саши Черного // Сегодня. 1930. 20 марта.
Сирин Вл. Памяти А. М. Черного // Последние новости. 1932. 13 августа.
Спиридонова Л. А. Литературный путь Саши Черного [Предисловие] // Саша Черный. Стихотворения. М.: Советский писатель, 1960. С. 23—67.
Станюкович Н. Саша Черный // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994.
Станюкович Н. Саша Черный // Возрождение. 1966. № 169.
Хохлов Е. С. Сатирикон и сатириконцы // Русские новости. 1950. 5 мая.
Хохлов Е. Саша Черный // Иллюстрированная Россия. 1932. № 33 (379).
Черный Саша. Собрание сочинений: В 5 т. / Сост., подгот. к публ., вступ. ст., коммент. А. С. Иванова. М.: Эллис Лак, 1996.
Чуковский К. Саша Черный [Предисловие] // *Черный Саша.* Стихотворения. М.: Советский писатель, 1960. С. 5—22.
Чуковский К. Саша Черный // Корней Чуковский. Современники: Портреты и этюды. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 366–386.
Чуковский К. Современные Ювеналы // Речь. 1909. 16/29 августа.
Чуковский К. Юмор обреченных // Речь. 1910. 17/30 апреля.
Шнейдерман Э. Новое о Саше Черном // Русская литература.1966. № 3.
Яблоновский А. А. Срезался по алгебре // Сын отечества. 1898. 8 сентября.

Ivanov A. S. Bibliographie des oeuvres de Sacha Tcherny. Paris: Insttut d'Études slaves, 1994. 217 s.
Wischhöfer, Elfriede: Das Deutschlandbild bei Saša Černyj: unter besonderer Berücksichtigung seines Aufenthaltes in Heidelberg 1906/07 / Elfriede Wischhöfer Heidelberg: Inst. für Übersetzen und Dolmetschen, Russ. Abt., 1995. 95 S.

СОДЕРЖАНИЕ

Миленко В. Д.

М 60 Саша Черный: Печальный рыцарь смеха / Виктория Миленко. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 366[2] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1506).

ISBN 978-5-235-03729-8

Саша Черный (1880—1932), знаменитый сатирический поэт, по одним оценкам — «безнадежный пессимист», по другим — «детская душа». Каким был этот человек, создавший язвительную картину своей эпохи и вдруг развернувшийся к противоположным жанрам? Что заставляло его бросаться от сатиры — к лирике, от революционных манифестов — к религиозному миссионерству, от ядовитых политических памфлетов — к стихам для детей? По каким причинам он ушел из процветающего журнала «Сатирикон»? Отчего сторонился людей, хотя в круг его общения входили Куприн, Аверченко, Горький, Чуковский, Маршак? Почему всю жизнь искал «вершину голую»? Как вышло, что он прошел всю Первую мировую войну, а в решающие дни 1917-го оказался в Пскове, эпицентре переломных для державы событий?.. Виктория Миленко, кандидат филологических наук, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания поэта, где обозначены и творческие, и географические вехи его пути: Одесса, Белая Церковь, Житомир, Петербург, Гейдельберг, Псков, Вильнюс, Берлин, Рим, Париж и наконец Прованс — желанная ему «вершина голая».

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

знак информационной продукции 16+

Миленко Виктория Дмитриевна
САША ЧЕРНЫЙ: ПЕЧАЛЬНЫЙ РЫЦАРЬ СМЕХА

Редактор **Л. С. Калюжная**
Художественный редактор **А. В. Никитин**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректор **Г. В. Платова**

Сдано в набор 16.05.2014. Подписано в печать 18.09.2014. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 19,32+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1411200.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

arvato BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03729-8


ISBN 978-5-235-03729-8
9 785235 037298 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ